

**В.С. ЛИСТОВ**

---

A detailed oil painting of Alexander Pushkin, shown from the chest up, looking slightly to the left. He has dark, curly hair and a full beard. He is wearing a dark, high-collared coat. The background is a dark, textured greenish-grey.

**НОВОЕ  
О  
ПУШКИНЕ**



model's

3a amos omni novum dicitur a populo unum  
terro terra usque sua meli' ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~



~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~

Kadr. um

~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

Mouno chadyin benema hurb

~~reputat~~ ~~reputat~~

Kadryla ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~

~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~ ~~reputat~~



D. dasomunfy amot ut

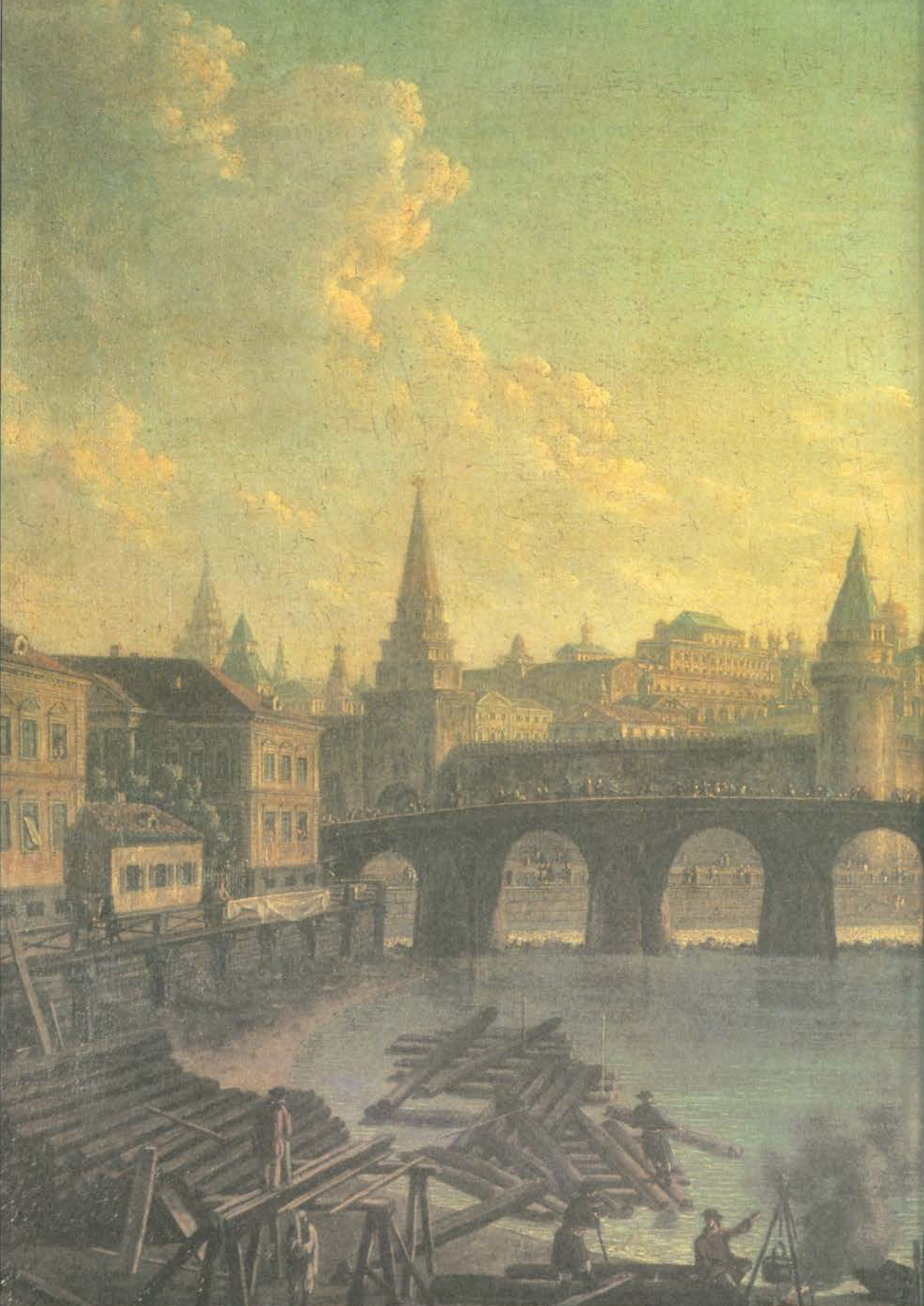






**200-летию со дня рождения А.С. Пушкина  
посвящается**







РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Отделение литературы и языка  
Пушкинская комиссия

ГОСКИНО РФ  
Научно-исследовательский институт  
киноискусства

В.С. Листов

# Новое о Пушкине

История, литература, зодчество  
и другие искусства в творчестве поэта

Москва  
Стройиздат  
2000

УДК 82.0  
ББК 83.3Р  
Л 63

Рецензенты: академик Академии образования, д-р филологических наук,  
проф. Н.И. Михайлова; проф. МАрХИ А.В. Щеглов; д-р исторических наук,  
проф. А.Д. Степанский

**Листов В.С.**

**Л 63** Новое о Пушкине. История, литература, зодчество и другие искусства в творчестве поэта. /РАН. Отделение литературы и языка. Пушкинская комиссия; Госкино РФ. Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М.: Стройиздат, 2000. — 448 с., ил. — ISBN 5-274-02257-х

Книга основана на новом прочтении А.С. Пушкина — в контексте мировой и отечественной культуры. Иллюстративный ряд вводит читателя в тот архитектурно-предметный мир, в котором жили Пушкин и герои его произведений.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся историей отечественной культуры.

Ил.

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Правительства Москвы в рамках городской издательской программы.

ISBN 5-274-02257-х

**ББК 83.3Р**

© Листов В.С., 2000

© Стройиздат, 2000

Научное издание

Листов Виктор Семенович

**Новое о Пушкине.**

История, литература, зодчество  
и другие искусства в творчестве поэта

Редактор *Н.И. Гинзбург*

Внешнее оформление и макет *В.А. Сысоев* и *Г.И. Метченко*

Корректор *Е.Б. Тотмина*

Компьютерная верстка *А.В. Агистиков*

Операторы *М.В. Карамнова*, *Н.М. Мухутдинова*, *Э.М. Лукьянчикова*

Художественно-технический редактор *Т.М. Кан*

Лицензия N 020441 от 14.04.97

Подписано в печать 16.08.1999 г. Формат 70х100 1/16. Бумага офсетная № 1.

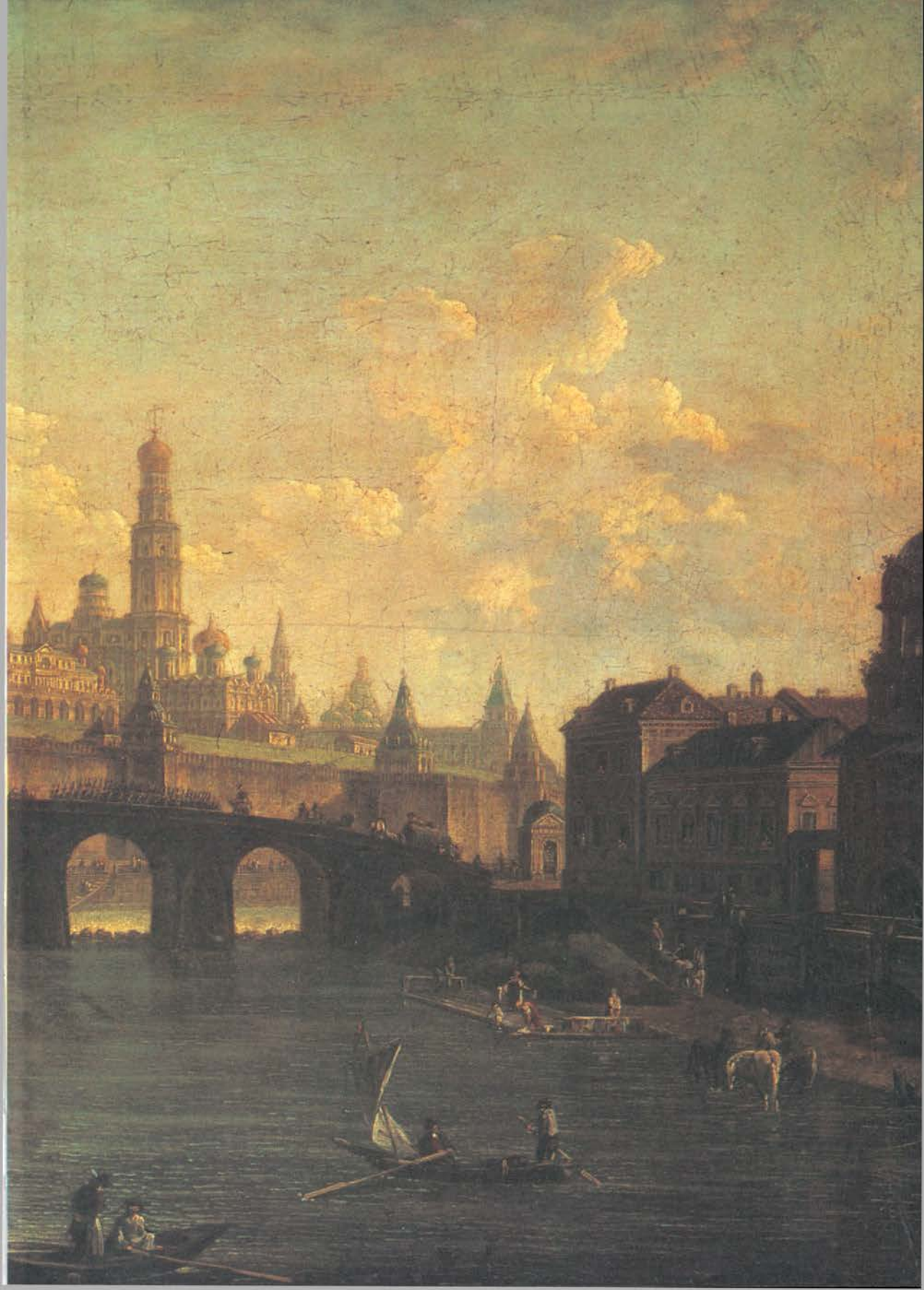
Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Усл.печ.л. 36,4. Уч.-изд.л. 36,9.

Изд. № 1 Заказ № 963

Стройиздат. 101442, Москва, Долгоруковская ул., 23а

АО «Московские учебники и Картолитография»  
125252 Москва, ул. Зорге, 15







Handwritten text in a cursive script, possibly a form or document, with some words underlined and crossed out. The text is written on aged, yellowed paper.



Vertical handwritten notes on the left margin, including the numbers 14, 12, 8, and 3, possibly indicating page numbers or a list.

Additional handwritten text at the bottom of the page, continuing the cursive script. It includes various lines of text, some with underlines and some with small symbols or marks.



## От автора

Что значит сегодня — «Новое о Пушкине»?

За последние два столетия каждая строка, каждое слово, написанные поэтом, внимательно изучены и растолкованы. Комментарии к его биографии и творчеству столь обширны, что не умещаются не только на книжных полках, но даже и в мелком шрифте библиографических справочников и указателей.

И все же, все же...

Чем дальше в прошлое уходит литературный «золотой век», тем шире становится пропасть, отделяющая нас с вами от реалий начала XIX столетия, от культуры, языка, зодчества, быта, да и самого «воздуха» пушкинской поры. Образованные читатели и исследователи ушедших поколений — и по времени, и по культурным навыкам — стояли к Пушкину куда ближе нас. А потому им и в головы не приходило объяснять в пушкинском тексте то, что и так было понятно. Ныне многое из тогдашних очевидностей нуждается в объяснениях и расшифровках. В этом смысле Пушкин становится все более недоступным, все менее исследованным автором. Вот это забытое старое теперь и есть наше «новое».

И потом — в основном тексте и черновиках одного только «Евгения Онегина» поминаются китайский мудрец Конфуций и фламандская школа живописи, Гомер и варяжский князь Рюрик, римский папа Пий VII и «вино кометы» — да мало ли что еще! Всю мировую культуру такой, какая она сложилась двести лет назад, мы можем получить и получаем из рук Пушкина. Часто другого пути приобщения к древним музам и грациям у нас нет.

Только Пушкин.

Только то «новое», что мы у него находим и всегда находить будем...

**В** основном корпусе пушкинских текстов слово «архитектура» встречается всего дважды, а его синоним – «зодчество» – и вовсе отсутствует<sup>1</sup>. Это обстоятельство наводит на мысль, что явный интерес поэта к архитектуре не нашел полного, осознанного выражения в его творчестве. Нет ни одной статьи, ни одного стихотворения – не говоря уж о произведениях более крупных жанров, – посвященного специально зодчему или его постройке. Такие предметы приходится «собирать» на многих страницах, связывать отдельные детали пушкинского мира архитектуры субъективно, почти без «подсказок» самого Пушкина.

Для знатоков, для исследователей творчества поэта тут нет ничего удивительного.

Поэзия и особенно проза Пушкина по своей образной природе скупы на описания того, что мы назвали бы сегодня предметной средой. Логика повествования, движения характеров у него так сильна, так влиятельна, что почти не оставляет возможности для медленного и подробного разглядывания обстановки, в которой совершается действие. Автор куда больше озабочен самой драмой, чем теми декорациями, в которых она развивается. Дается обычно только намек; а дальше читатель сам вообразит реальные обстоятельства – портреты, костюмы, интерьеры, фасады, улицы и т. д.

С некоторой долей допущения можно сказать, что читателю здесь отводится роль героя «Каменного гостя», впервые повстречавшего вдову Командора. Напомним его диалог со слугою:

#### ДОН ГУАН

... Ее совсем не видно  
Под этим черным вдовьим покрывалом,  
Чуть узенькую пятку я заметил.

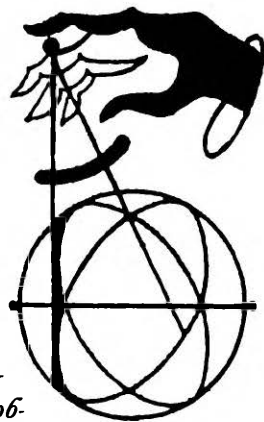
#### ЛЕПОРЕЛЛО

Довольно с вас. У вас воображение  
В минуту дорисует остальное;  
Оно у вас проворней живописца,  
Вам все равно, с чего бы ни начать,  
С бровей ли, с ног ли. (VII, 143).

Это потрясающее «довольно с вас» есть, может быть, главный ключ к чтению Пушкина; поэт дает одну-две детали (как здесь – «черное покрывало», «узенькая пятка»), а дальше читатель сам становится вольным художником – силой своего собственного воображения он дорисовывает всю картину. Иной раз поэт даже и вовсе ограничивается только названием предмета. Тот же Дон Гуан, рассказывая о своем поединке с Доном Алваром, совсем не обрисовывает места действия:

Когда за Ескурьялом мы сошлись... (VII, 153)





*И все.*

Читатель, знакомый с дворцом-монастырем, резиденцией испанских королей под Мадридом, вспомнит мощное кафе стен и ротонду храма Святого Лаврентия; незнающий — «дорисует» просто некий абстрактный, но непременно мрачный средневековый замок, обобщенно-скорбное место трагедии. Какой-нибудь другой герой, непущинский, мог бы здесь описать ночной Эскуриал, его храмы, угловые башни, рвы и ворота. Даже луну и звезды, взрывающие на противников.

Пушкину достаточно простого намека: «за Ескурьялом...».

Лев Толстой недаром называл прозу Пушкина «как-то голой» — ему, Толстому, и впрямь не хватало подробностей, картин, красок. Сухость, эскизность архитектурных пейзажей у Пушкина — не случайность, а коренной признак творческой манеры. Неопределенность «картинки», полная свобода читательского воображения, быть может, порождают широко распространенное явление, известное под названием: «мой Пушкин». Понятно: при беглом обозначении предметов среды у каждого читателя возникает в сознании своя декорация, в которой совершается действие. Примеров тому — много.

Во второй главе «Пиковой дамы» инженер Германн идет по одной из главных улиц Петербурга. Его мысли заняты историей графини и тайной трех карт. «Рассуждая таким образом, — замечает Пушкин, — очутился он /.../ перед домом старинной архитектуры» (VIII, 236). Это — все. Больше мы никогда ничего не узнаем о фасаде здания, в котором произойдут трагические события. Читатель может вообразить дом австрийского посла на Марсовом поле, любой «старинный» особняк или дворец, родственные по признаку неопределенности едва ли не каждому «знатному» петербургскому зданию XVIII столетия. И — вообще все что угодно, в соответствии со своими знаниями и фантазиями.

С этой точки зрения можно напомнить и о самом, пожалуй, «архитектурном» стихотворении Пушкина — «К вельможе» (1830). Оно посвящено одному из коренных московских вельмож — Николаю Борисовичу Юсупову, владельцу усадьбы «Архангельское». Как и в большинстве других случаев, поэт только обозначает здесь место действия:

*К тебе являюсь я; увижу сей дворец,  
Где циркуль зодчего, палитра и резец  
Ученой прихоти твоей повиновались  
И вдохновенные в волшебстве состязались. (III, 217)*

Как видим, Пушкина вновь занимает не столько сам дворец, сколько владелец – тот, по чьим вкусам и пристрастиям воздвигнуты чертоги. Ход «драмы» вновь торжествует над «декорациями». Но автор как бы напоминает своему герою, князю Юсупову, о Европе XVIII столетия. Вместе с вельможей он мысленно проходит тропинками «золотого века», века Просвещения. В непринужденных беседах поэта и вельможи легко и естественно возникают имена седого циника Вольтера, скептика Дидро, колкого Бомарше, ученых-энциклопедистов во главе с бароном д'Ольбахом – да мало ли кто еще! В монологе Пушкина даже пересекается рубеж XIX века, помянут кумир следующего столетия – Байрон. А наряду с учеными и писателями Пушкин отдает должное и европейским государям – русской императрице Екатерине II, французской королеве Марии Антуанетте с ее веселой и трагической судьбой, английской монархии и ее парламентарной гражданственности.

По следам героя-вельможи Пушкин в воображении своем посещает лучшие архитектурные ансамбли Европы: Версаль, где аристократия шумно забавлялась перед революцией; Лондон «над Темзойю скупой», зовущей плыть в дальние страны; испанскую Севилью с ее дворцами и храмами, «пленительный предел», где прелести искусства соперничают с восторгами любви и красотою природы...

Пушкин, как известно, никогда не бывал за границами России. В стихотворении «К вельможе» и многих других произведениях он восполнял свою «тоску по чужбине» так, что порой трудно поверить, будто все это писал человек, чья нога никогда не ступала там, где, якобы, нарисована поэтическая картина. Эту особенность Пушкина – увидеть невиданное – остро чувствовал Федор Шаляпин. На страницах его воспоминаний «Маска и душа» певец с удовольствием приводит монолог Лауры из «Каменного гостя»:

*Приди – открой балкон. Как небо тихо,  
Недвижим теплый воздух – ночь миллионм  
И лавром пахнет, яркая луна  
Блестит на синеве густой и темной –  
И сторожа кричат протяжно: Ясно!..  
А далеко на севере – в Париже –  
Быть может, небо тучами покрыто,  
Холодный дождь идет и ветер дует. –  
А нам какое дело? (VII, 148).*

«Далеко на севере» – в Париже, – удивляется Шаляпин. – А написано это в России /.../, в морозный, может быть, день, среди сугробов снега. Откуда Пушкин, вообразив себя в Мадриде, почувствовал Париж далеким, с е в е р н ы м!.. Не знаю»<sup>2</sup>.

Шаляпин прав. За холерными карантинами в осенне-зимнем Болдине Нижегородской губернии, где в 1830 году писан «Каменный гость», мудрено было различать «южный» образ Мадрида от «северного» облика Парижа. Но у Пушкина такие проникновения – не редкость. В том же Болдино, например, он



сопоставит и еще одну пару далеких городов – Арзрум и Стамбул, в котором никогда не бывал. В одной из дальнейших глав у нас будет случай обратиться к пушкинскому стихотворению «Стамбул гяуры нынче славят», где у читателя не возникнет и тени сомнения: автор детально видит те дворцы, улицы и базары турецкой столицы, о которых идет речь...

Ученой прихоти владельца «Архангельского» Н.Б. Юсупова «циркуль зодчего, палитра и резец» повиновались в несомненной реальности: усадьба возводилась многие десятилетия, требовала рабочих рук, строительных материалов, денежных затрат. Пушкинское «зодчество» через материал слова, через его образные возможности возводило архитектурные шедевры как бы росчерком легкого пера.

И эти «нерукотворные памятники» оказались воистину прочнее, долговечнее многих рукотворных.

<sup>1</sup>См.: Словарь языка Пушкина. В 4-х т. – Т. 1. – М., 1956. – С. 51; Т. 2. – М., 1957. – С. 156.

<sup>2</sup>Шаляпин Федор. Страницы моей жизни. Маска и душа. – М., 1990. – С. 231–232.



Handwritten text at the top of the page, partially obscured by the portrait.



Main body of handwritten text, continuing from the top section.



Handwritten text in the middle section of the page.



Handwritten text at the bottom of the page.



# Глава I

---

A decorative frame made of black calligraphic lines, featuring a large central oval and intricate flourishes extending upwards and downwards.

«На тихих берегах  
Москвы...»

В 1884 году на страницах журнала «Русская старина» В.Е. Якушкин опубликовал черновой набросок — восемь стихотворных строк, регулярно помещаемых с тех пор в собраниях сочинений Пушкина:

На тихих берегах Москвы  
 Церквей, венчаные крестами,  
 Сияют ветхие главы  
 Над монастырскими стенами.  
 Кругом простерлись по холмам  
 Вовек не рубленные рощи,  
 Издавно почивают там  
 Угодника святые мощи. (II, 261)<sup>1</sup>

Несмотря на вековое знакомство исследователей с этим наброском, его содержание все еще неясно. Тому свидетельством служит, например, комментарий Т.Г. Цявловской: «Вероятно, начало эпического произведения, замысел которого остается неизвестным»<sup>2</sup>. История создания отрывка также весьма скудна: основываясь, по-видимому, только на положении автографа в рукописной тетради, Цявловская относит стихи предположительно к апрелю-маю 1822 года (II, 1117). Осторожность комментатора здесь совершенно понятна. Включение отрывка в кишиневский период творчества Пушкина ставит его в близкое хронологическое соседство с «Гавриилиадой», стихотворениями «Царь Никита и сорок его дочерей», «Накажи, святой угодник», «Недавно я в часы свободы» и другими свидетельствами явно иного отношения к предметам, поминаемым в восьмистишии.

Эпический замысел, намеченный здесь Пушкиным, более естественно относился бы к времени его работы над «Борисом Годуновым» или к еще более позднему. Но формальных оснований переменять дату пока нет, и мы будем условно с нею считаться<sup>3</sup>.

Историю создания отрывка некоторые исследователи пытались связать с посланием Батюшкова «К Дашкову» (1813)<sup>4</sup>. Пушкин-читатель действительно отметил словом «прелесть» батюшковское четверостишие: «И там, где с миром почивали / Останки иноков святых, / И мимо веки протекали, / Святыни не касая их». Но бледное тематическое сходство двух стихотворений ничуть не доказывает, что пушкинский пейзаж навеян Батюшковым. Ибо Пушкин, как увидим, обращается к вполне реальным и конкретным обстоятельствам, известным ему помимо Батюшкова и раньше 1813 года.

Несколько важных смысловых оттенков текста отрывка содержится в его автографе. Это сильно перемаранный и трудно читаемый черновик. Нижняя часть страницы грубо оборвана, поэтому оказывается почти полностью утраченной третья строфа наброска. Читаются только первые два слова одного из вариантов девятой строки: «Щедротой царской...» и не связанные с ними рифмованные концовки строфы:

...цариц  
 ...молигвы  
 ...девиц  
 ...битвы.

Отступы во второй строфе и общий черновой характер неотделанного текста позволяют нам читать его с переменной мест двустрочий второй строфы:

...Над монастырскими стенами...  
Издавно почивают там  
Угодника святые мощи,  
Кругом простерлись по холмам  
Вовек не рубленные рощи.  
Щедротой царской...

Такое чтение формально равноправно общепринятому, но смысла в нем, кажется, больше — останки угодника несомненно покоятся за монастырской оградой, а не в нерубленных рощах.

Из вариантов, хранимых автографом, отметим еще важное для нас разночтение в шестой строке: «Густеют липовые рощи...»

Чтобы проникнуть в содержание отрывка, нам придется сначала его упростить, свести к набору весьма прозаичных историко-топографических данных. Вот они: у Пушкина речь идет о древнем монастыре, расположенном на холмистом берегу Москвы-реки и хранящем останки какого-то святого; вокруг монастыря — заповедные липовые рощи. Этих сведений оказывается достаточно для точного указания места, которому посвящен отрывок. Будем действовать методом исключения.

Прежде всего, это не Московский Кремль. В нем не один монастырь, берега реки в черте города не «тихие» и не покрыты заповедными лесами. Затем отпадают и все прибрежные подгородные монастыри — Новодевичий, Новоспаский, Симонов; они тоже не окружены «вовек не рубленными рощами».

«Мощей» обозначаемого угодника, как показывают справочники<sup>5</sup>, не было в нестоличных монастырях по течению Москвы-реки от ее истока до впадения в Оку. Единственное исключение — Савво-Сторожевский монастырь близ Звенигорода. Только он один удовлетворяет всем историко-топографическим условиям пушкинского пейзажа.

Ученик Сергия Радонежского монах Савва основал эту обитель в 1389 году над Москвой-рекой на горе Стороже. Умер Савва в 1407 году. Захоронение было весьма чтимо верующими; в 1652 году мощи Саввы были объявлены нетленными. В пушкинское время монастырь действовал (закрыт в 1918 году)<sup>6</sup>.

Еще и сейчас гора Сторожа и окрестные холмы над рекой покрыты липовыми и дубовыми лесами, хотя, вероятно, поредевшими за последние полтора века. Карамзин, очарованный звенигородским поречьем, свидетельствовал: «Нигде не видел я такого богатства растений: цветы, травы и деревья исполнены какой-то особенной силы и свежести; липы и дубы прекрасны; дорога оттуда к Москве есть самая приятная, гориста, но какие виды!...»<sup>7</sup>

Итак: Москва-река, холмы, поросшие липой, древний монастырь, мощи угодника в монастыре — между поэтическим отрывком и предметной реальностью нет «разночтений».



Все факты и суждения, приводимые далее, будут подтверждать отношение восьмишестидесятилетия к Звенигороду; это больше не подчеркивается, так как наша цель — не краеведческая.

Напомним только: Звенигород и его окрестности суть места хорошо Пушкину известные. Летние — а может быть и не только летние — месяцы с 1806 по 1811 год он проводит в имении своей бабушки Марьи Алексеевны Ганнибал сельце Захарове (или Захарыне) в нескольких верстах от Звенигорода. Двенадцатилетний мальчик бывал в знаменитом монастыре, знал окрестные холмы — такое предположение не кажется нам отчаянно смелым. Но все-таки куда важнее понять, какое место в сознании и творчестве Пушкина занимают захаровско-звенигородские впечатления? Вопрос не новый.

Еще тонкий истолкователь Пушкина Иннокентий Анненский, объясняя, почему «отечеством» поэта было Царское Село, попутно спрашивал себя: «Да, но отчего же Захарово и Москва гораздо реже вспоминались Пушкину...?»<sup>8</sup>

А так ли уж реже! Даже если не тревожить образную громаду старой столицы у Пушкина, то и на долю «тихих берегов Москвы» придется немало. Царскосельское «Послание к Юдину» (1815) начинается весьма обязывающим запевом («Ты хочешь, милый друг, узнать, Мои мечты, желанья, цели»), продолжается отрицанием модного столичного быта и кульминирует элегически:

Мне видится мое селенье,  
Мое Захарово; оно  
С заборами в реке волнистой,  
С мостом и рощею тенистой  
Зерцалом вод отражено. (I, 168)

Дальше сельская идиллия сменяется образом «воинственной долины»: наступают наполеоновские полчища... И как не вспомнить, что еще так недавно в местном обиходе существовали названия двух равно безвестных деревенок под Можайском и Звенигородом — Захарово и Бородино! И конечно же, летом двенадцатого года, ловя вести о продвижении французов, лицеист еще прежде Москвы волновался судьбой Звенигорода и «своего» Захарова.

Здесь не место разбирать подробно «Воспоминания в Царском Селе», это самое «царскосельское» из стихотворений Пушкина, но и в нем (строфы 10, 17, 18) слышатся кроме московских и звенигородские мотивы.

Пласт ранних детских впечатлений, навеянных в Захарове, мощно выступает в лицейском же стихотворении «Сон» (1816). Но отрывок «На тихих берегах Москвы» восходит и к менее заметным штрихам в творчестве Пушкина-подростка. Например, кроме общего соображения о том, что сказку о Бове-королевиче Пушкин слышал от бабушки Ганнибал, стоит заметить и такую подробность: героиня пушкинского «Бовы» (1814) служанка Зоя, напуганная явлением призрака Бендокира, обращается в молитве своей к святому Савве (I, 69). Тут не только первое нам известное упоминание Саввы Звенигородского у Пушкина, но и место, где юный автор нечаян-

но «проговаривается». Ведь все действие «Бовы» происходит в некотором условно-славянском городе Светомире, и только возглас Зои «Савва мученик!» на мгновение высвечивает русский прообраз.

Из звенигородского корня растет, по-видимому, и лицейская поэма «Монах» (1813), чей сюжет развертывается в монастыре на лесистом берегу Москвы-реки<sup>9</sup>.

Итак, поэтические воспоминания о местах, где прошло детство, вовсе не редкость у Пушкина; они проглядывают всюду — от одических опытов до элегии, от лирического стихотворения до фривольной поэмы. Поэтому появление разбираемого восьмистишия в начале двадцатых годов не кажется уже таким неожиданным. В звенигородском поречье, в Захарове, у Пушкина сложился стойкий — на всю жизнь! — образ родной страны, сельской России. Здесь начало, здесь исходная точка, с которой ему предстояло постичь многоликое, противоречивое существо русской истории, русской действительности. Вряд ли кто-то из современников поэта так остро, как он, чувствовал глубокое единство и глубокую несходственность допетровской и послепетровской эпох, Москвы и Петербурга, коренной России и незамирных окраин.

Потом к звенигородским пенатам прибавятся михайловские и болдинские, но детские впечатления будут сопровождать Пушкина всегда. Недаром же названия деревень Захарова и соседнего с ним Хлупина то и дело мелькают в пушкинских сочинениях. Их называет в «Борисе Годунове» хозяйка корчмы, показывая самозванцу путь в Литву; «захарьевские и хлупинские» — соседи барышни-крестьянки Лизы Муромской, а незабвенное село Горюхино граничит с захарьинскими полями, благоденствующими «под властью мудрых и просвещенных помещиков» (VIII, 134).

Но вернемся к тексту отрывка «На тихих берегах Москвы...». Попробуем если не понять замысел Пушкина, оставленный на третьей строфе, то хотя бы наметить слабый контур такого замысла.

Характер отрывка настраивает читателя на неторопливое стихотворное повествование о предметах давних, исторических. Древний монастырь и романтические рощи вокруг как бы очерчивают сцену для действия, которому надлежит развернуться в далеком прошлом. Но даже это суждение, на первый взгляд очевидное, нуждается в уточнении. А что, если звенигородским пейзажем Пушкин открывает не самую вещь, но лишь пролог к ней? Вероятность немалая. Достаточно поставить рядом две строки

На тихих берегах Москвы

и

На берегу пустынных волн...

чтобы разница между историческим временем пролога и современностью основного повествования стала очевидной. Как ни явственно связаны между собой живой Петр на пустынном невском берегу и «кумир на бронзовом коне», однако же столетие с лишним отделяет пейзаж вступления к «Медному всаднику» от времени петер-

бургского наводнения. Если бы петербургская поэма оборвалась на восьмой или десятой строке (вообразим невозможное), то неужели мы бы доверчиво полагали, что весь пушкинский замысел сводится к основанию города в начале XVIII столетия?

И все-таки смысловая и интонационная близость первой строки «темного» отрывка и начала великой поэмы — завораживает, подвигает на поиски в кругу известных Пушкину исторических событий. Вряд ли зачин, подобный разбираемому, вводил в чисто лирическую сферу или в область одной только частной жизни. Некий реальный аналог петербургской драмы 1824 года должен был, по нашему мнению, стоять перед мысленным взором автора.

Счастливой для исследователя была бы некая точка на карте, куда большая история ступала всего один раз. Скажем, Углич немедленно влечет за собой трагедию царевича Димитрия, Березов — ссылку Меншикова, а Таганрог — смерть Александра I. Звенигород и его монастырь не дают такого точного и единственного отзвука. В допушкинские и пушкинские времена крупные исторические события и личности посещали эти места многократно, что Пушкину несомненно было известно.

Мы уже говорили о волнениях лицейца при продвижении «воинственного галла» по западному Подмоскovie — в самом Савво-Сторожевском монастыре дислоцировался корпус Евгений Богарнэ<sup>10</sup>. Нам еще предстоит обсудить явный интерес Пушкина к основателю монастыря игумену Савве. Но все-таки прямое, буквальное содержание отрывка тяготеет к XVII столетию — даже точнее: ко второй его половине<sup>11</sup>.

Такое предположение основано на соотнесении смысла отрывка с историей монастыря.

Прежде всего, «угодника святые мощи» были «открыты» в Савво-Сторожевском монастыре 22 января 1652 года<sup>12</sup>. До этого дня, весьма памятного для обители, останки основателя монастыря просто не могли называться «святыми мощами». Затем весьма многозначительно также и обрывающееся начало строки девятой: «Щедротой царской...» Крупнейшей «щедротой царской» был вклад огромной суммы в 50 тысяч рублей золотом, сделанный в середине XVII века государем Алексеем Михайловичем<sup>13</sup>. Именно в это время архитектурный ансамбль монастыря сложился в том виде, в каком его знал Пушкин.

По мнению известного историка древнего русского зодчества В. Косточкина, строительство нового монастырского ансамбля было начато в 1652 (год открытия мощей) и завершено в 1654 году. В это время за стенами обители, ставшей загородной резиденцией двора, были воздвигнуты дворец царя и царицыны палаты. Тем самым мужской монастырь обрел черты традиционного богатого жилища с его разделением на мужскую и женскую половины.

Итак, крепость, способная выдержать осаду, а одновременно духовная обитель и жилье царское и царицыно. Рифмы утраченной третьей строфы «цариц — девиц» и «молитвы — битвы» если и не окончательно убеждают, что речь идет о времени после 50-х годов XVII века, то во всяком случае этому наблюдению не противоречат.

Еще один смысловой оттенок: «сияют ветхие главы»; это «ветхие» сразу выводит монастырский пейзаж из времени создания архитектурного ансамбля в пушкинские времена. От дней государя Алексея Михайловича до начала XIX века церковные главы успели постареть, обветшать.

Пушкинский замысел, конечно, не проясняется. Но содержание отрывка обретает кое-какое хронологическое обрамление. Поэт приводит нас на тихие берега Москвы сейчас, сегодня. Но взгляд его обращен к прошлому, хотя и не проникает глубже, чем в середину позапрошлого, т.е. XVII столетия.

Вся необъятная громада русской истории по-прежнему стоит перед мысленным взором исследователя, однако ясно, что 100–150 лет, предшествующих рождению Пушкина, требуют теперь особенно пристального внимания...

В начале уже говорилось об условной дате отрывка – 1822 год; теперь попытаемся двинуться вперед вне этой условности. И сразу же становится ясно, что Пушкина до конца дней не оставляли звенигородско-захаровские воспоминания.

В 1830 году, незадолго до своей свадьбы, Пушкин посещает Захарово, давно к тому времени проданное, чем немало удивляет свою мать. «Вообрази, – пишет она дочери Ольге Сергеевне, – он совершил этим летом сентиментальное путешествие в Захарово, отправился туда единственно для того, чтобы увидеть места, где провел несколько годов своего детства»<sup>14</sup>. Но единственно ли для того? И могли ли мать и сестра, две прилежные читательницы Стерна, вообразить, с какой острой болью в сердце Пушкин перед свадьбой бродил по звенигородским холмам, узнавал и не узнавал вовек нерубленные рощи, говорил с дочерью покойной няни Арины Родионовны? «Все теперь здесь идет не по-прежнему»<sup>15</sup>, – сказал ей Пушкин. По-прежнему стоял только монастырь на горе Стороже и по-прежнему тревожил воображение поэта.

Чем старше становился Пушкин, тем больше занимало его прошлое России – история Пугачева, история Петра, история села Горюхина...

Заметим, однако, что времена после Петра и до начала XIX века не отмечены сколь-нибудь крупными событиями, связанными с Савво-Сторожевским монастырем и – тем более – известными Пушкину. А звенигородскую историю в лета правления царевны Софьи Алексеевны и молодого Петра Пушкин несомненно знал во всех подробностях.

В подготовительных текстах «Истории Петра» Пушкин прямо приводит известный эпизод «хованщины». После доноса Милославского, утверждавшего, что Хованские намерены истребить царствующий дом, Софья с государями Иваном и Петром затворяется в Савво-Сторожевском монастыре и рассылает оттуда грамоты к верным городам, войскам и палатным людям (X, 15). Здесь без труда просматривается и хронологическая и тематическая близость к пушкинским планам повести о стрельце (VIII, 430-431).

Другому замыслу Пушкина – «Сын казненного стрельца...» (VIII, 431), о котором мы расскажем позже, близко соответствует такая подробность 1698 года: разбитые стрельцы-мятежники заключены в Савво-Сторожевский монастырь и отсюда



везены в Москву на казнь<sup>16</sup>. Один из этих казенных стрельцов в «Арапе Петра Великого» намечен как спаситель старика Ржевского и отец Валериана (VIII, 26).

Таким образом, звенигородская тема, начатая лицейскими стихами и подхваченная отрывком «На тихих берегах Москвы», продолжается в тридцатые годы прозой, т.е. подтверждает хорошо известную особенность творчества Пушкина, почти полностью посвятившего себя в конце жизни прозе и публицистике.

Пушкинская верность «тихим берегам Москвы» укрепляется и еще одним источником, живущим особняком и, кажется, совершенно не исследованным. Речь идет о сделанной Пушкиным выписке из Четьи-Минеи «Преподобный Савва Игумен», впервые опубликованной еще в начале нашего века<sup>17</sup>, но не вошедшей в академический семнадцатитомник полного собрания сочинений. Такой пробел непонятен тем более, что этот текст, строго говоря, не просто длинная выписка из пролога жития святого, а прежде всего пушкинский перевод с церковно-славянского языка на русский — следовательно, работа творческая.

При внимательном сличении текста Четьи-Минеи с пушкинским видны даже следы редактирования. Например, автор Четьи-Минеи, рассказывая о первом приходе отца Саввы на звенигородский берег Москвы-реки, замечает, что место это «отъ царствующаго града Москвы поприщъ четыредесять». Пушкин в своем переводе опускает слово «царствующаго» — историческая точность удивительная! Москву восьмидесятых годов XIV века еще нельзя назвать «царствующим градом»; лишь полтора столетия спустя Иван Грозный прибавит слово «царь» к титулу великого князя московского.

Перевод из жития Саввы Звенигородского датируется по водяному знаку бумаги не ранее чем 1830 годом. Текст этого перевода становится, таким образом, в ряд свидетельств о замыслах Пушкина, связанных со звенигородским Москворечьем...

Что должно было следовать за строками «На тихих берегах Москвы...»? Эпическое повествование о приходе мирного старца к зеленым холмам или буйная картина поспешного пиршества самозванца и Марины? Бегство царевны Софьи, напуганной Хованскими, или страшная тишина монастырских подвалов со стрельцами, обреченными казни? Или, наконец, французские проклятья солдат Богарнэ, раненных на Бородинском поле? Не знаем. Пока нет доводов, чтоб выбрать из этих и других вероятностей.

Независимо от этого пушкинское восьмистишие свидетельствует, как прочно вошли в сознание поэта детские, долицейские впечатления, до сих пор, видимо, не оцененные по достоинству. И еще: отрывок «На тихих берегах Москвы» вновь убеждает, что в пушкинских стихах неразделимо сосуществуют высокая поэзия и конкретное, протокольно точное восприятие мест, времен, событий...

\* \* \*

Несколько лет тому назад в одном из уголков Третьяковской галереи, где представлено было древнерусское искусство, шла стайка школьников с пожилой женщиной-экскурсоводом во главе. В ее отрывочных, сделанных на ходу объяснениях было несколько, сказанных голосом твердым и уверенным:

—... не так-то просто. Например, Пушкин не знал Андрея Рублева. Даже о его существовании не подозревал...

Так бывает: две фразы, брошенные походя; тот, кто сказал, поди, и забыл их давно. А у вас они долгие годы все не идут из головы, все тревожат. Но с общеизвестными фактами трудно спорить. Действительно, двух гениев русских — Андрея Рублева и Александра Пушкина — разделяет толща времен, равная четырем столетиям. Дворянская культура начала XIX века, кажется, не хранила памяти о великом художнике; в пушкинском кругу как будто никто и не знал о таком. Тщетно искать имя Рублева под пером Пушкина или в переписке, дневниках и мемуарах образованных современников поэта.

Только с конца прошлого века Рублев был открыт вновь: пошли научные исследования, альбомы, популярные издания, заговорила пресса. Усилиями И. Грабаря и художника Г. Чирикова отыскивались в подмосковном Звенигороде три большие иконы — «Звенигородский чин» кисти Рублева, ныне одно из лучших украшений Третьяковки. А тогда, в 1918-м, два шедевра валялись под дровяной поленницей, а третий служил ступенькой деревянной лестницы. До сих пор, правда, неясно, для какого из соборов мастер писал свои иконы, но одно несомненно: несколько веков они простояли в одном из звенигородских храмов. Отсюда и название: «Звенигородский чин».

Протягивается ли отсюда ниточка к Пушкину? Мы знаем теперь, что поэт бывал в Звенигороде и в детские годы, и позже. Посвящал этим местам стихи, всю жизнь помнил о холмах над Москвой-рекой. Но из всего этого еще не следует, что Пушкин непременно видел иконы кисти Рублева. Никто не мог бы поручиться, что «Звенигородский чин» простоял в соборе до начала XIX столетия.

Поэтому все наши разыскания вокруг стихотворного отрывка «на тихих берегах Москвы» сами по себе ничуть не колебали мнения экскурсовода из Третьяковки: нет, не знал Пушкин Рублева. Ибо нет доказательств, что в пушкинские времена хотя бы один из здешних храмов располагал изображениями кисти Рублева.

Твердых данных нет и по сей день. Но весьма красноречивый факт, близко к ним подводящий, недавно нашелся. Сотрудники звенигородского музея-заповедника изучали приходно-расходную книгу Савво-Сторожевского монастыря за 1738 год и среди множества хозяйственных записей обнаружили и такую: «Куплено к деланию иконостаса Рублева клею пуд...»<sup>18</sup>.

Бухгалтерская лаконичная запись «сказала» историкам и искусствоведам о многом. Во-первых, доказано, что иконостас кисти Андрея Рублева находился в одном из местных сборов в конце царствования императрицы Анны Иоанновны. Во-вторых, среди монашествующей братии имя гениального художника не было забыто. И в-третьих: за долгие века иконы Рублева обветшали, требовали поновления.

Но ведь 1738 год — шесть десятилетий до рождения Пушкина! Если иконостас простоял всего только до начала следующего века, то Пушкин-мальчик, приведенный в монастырь няней, вполне мог перекреститься, например, перед образом рублевского Спаса.

Конечно, тут еще далеко до вывода: Пушкин, мол, знал Рублева. Ведь даже в лучшем случае поэт видел иконостас «поновленный», т.е. искаженный, может быть, донельзя. А потом: вовсе маловероятно, что монастырская братия делилась с мальчиком своими соображениями об авторстве икон.

Казалось, в этой нерадостной точке развития сюжет «замерзнет» на долгие годы. К счастью, новые сведения обнаружались — да еще и в столь хорошо известном источнике, что их и находкой-то называть как-то неудобно. Ведь речь идет о знаменитом двенадцатитомнике Николая Михайловича Карамзина «История Государства Российского».

Первые восемь томов карамзинской «Истории» вышли к 1818 году. Не будет преувеличением сказать, что в России не было более внимательного, более острого читателя Карамзина, чем восемнадцатилетний Пушкин. В известном отрывке своих воспоминаний поэт пишет, что прочел первые восемь томов «с жадностью и со вниманием». И далее: «Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление, 3000 экз/емпляров/ разошлись в один месяц... — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать Историю своего Отечества, дотоле им неизвестную» (XII, 305).

Карамзин построил свое сочинение так, что основному тексту сопутствовали сотни примечаний в конце каждого тома. В них автор щедро цитировал документальные и летописные памятники древней России, прошлое звучало полным, неискаженным голосом. Пушкин это особенно оценил.

К материалу примечаний карамзинской истории Пушкин обращался десятки раз, перечитывал их на протяжении двух десятилетий. Именно на них основаны многие сцены и строки «Бориса Годунова» и других исторических сочинений Пушкина.

А теперь раскроем восьмой том «Истории Государства Российского», в котором повествуется о начале царствования Ивана Грозного. Карамзин под 1547 годом описывает страшный пожар, охвативший Москву в канун народного восстания против бояр Глинских. Дав сильную картину пылающих Арбата и Неглинной, Мясницкой и Тверской, Дмитровки и Яузы, историограф отсылает читателя к примечанию. В нем — рассказ древнего летописца о пожаре в Московском Кремле:

«Загоряся у Соборныя церкви верх, и на Царском дворе кровли и избы деревянные, и полаты, украшенные золотом, и казенный двор с царскою казною, и церковь на царском дворе Благовещение златоверхая, Дейсус Андреева письма Рублева златом обложен и образы многоценныя Греческого письма...»

Пушкин читал — и не раз! — это место летописного повествования. А значит, ему известно было не только имя Андрея Рублева, но и название произведения художника: Деисус из Благовещенского собора в Московском Кремле.

Пушкин не знал Рублева.

Да. Но только теперь, вооружившись фактами, можно понять, каким реальным смыслом наполнено это утверждение. Скорее всего, Пушкин не объединял имя, мелькнувшее у него перед глазами, с изображениями, которые видел. Или мог видеть.



Вот и все.

По крупицам, по едва заметным следам собираем мы нынче знания о высоких художественных ценностях древней Руси. Память о ее культурном наследии лучшие люди пронесли через века. Заслуга их в том, что не затерялась, не прервалась нить духовного нашего родства с Андреем Рублевым. Пушкин — в их числе.

<sup>1</sup>Здесь и далее в скобках ссылки на издание: Пушкин. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР. — 1937—1959.

<sup>2</sup>Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. — Т. 2. — М., 1974. — С. 720.

<sup>3</sup>Возможность более поздней датировки стихотворения не противоречит последним работам текстологов. См.: Фомичев С.А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 832 // Пушкин. Исследования и материалы. — Л., 1986. — Т. 12. — С. 224—242.

<sup>4</sup>См., например: Сочинения и письма А.С. Пушкина /Под ред. П.О. Морозова. — Т. 1. — Спб., 1903. — С. 642.

<sup>5</sup>См.: Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших и ныне существующих монастырях в России. — М., 1852; История Российской иерархии., собранная иеромонахом Амвросием. Ч. 1—6. — М., 1807—1815; Иерархия Всероссийской церкви от начала христианства в России до настоящего времени. — М., 1892; Денисов Л.И. Православные монастыри Российской империи. — М., 1908; Описание Российских монастырей. — Б.г., б.м.; Материалы для статистики Российской империи. — Т. 1—2. — Спб., 1839—1841, и др.

<sup>6</sup>Фиалковский П. Из прошлого монастыря. Очерки по истории Савво-Сторожевской обители. — Звенигород, 1930.

<sup>7</sup>Карамзин Н.М. Отечественные достопамятности // Карамзин Н.М. Собрание сочинений. Изд. 3-е. — М., 1820. — Т. 9. — С. 280.

<sup>8</sup>Анненский Иннокентий. Книга отражений. — М., 1979. — С. 311.

<sup>9</sup>А.А. Ахматова показала, что в последней пушкинской сказке — «Сказке о золотом петушке» — присутствуют автобиографические мотивы. Как видим, в более простой форме это прослеживается уже и в сказочных сюжетах лицейских времен.

<sup>10</sup>См.: Тюрин Ю. Звенигород // Москва. — 1977. — № 3. — С. 166—167.

<sup>11</sup>Правда, Лжедмитрий I устроил в Савво-Сторожевском монастыре свою загородную резиденцию. А у Пушкина был, как известно, замысел о Самозванце. Но для такого сближения нет, кажется, пока никаких оснований.

<sup>12</sup>Фиалковский П. Указ. соч. — С. 13. Здесь и далее все даты приведены по старому стилю.

<sup>13</sup>Боровкова С. Звенигород и окрестности. — М., 1970. — С. 118.

<sup>14</sup>Пушкин А.С. Письма /Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. — Т. 2. — М., 1928. — С. 447 (фр.).

<sup>15</sup>Майков Л.Н. Пушкин: Биографические материалы и историко-литературный очерк. — Спб., 1899. — С. 324.

<sup>16</sup>Боровкова С. Указ. соч. — С. 118.

<sup>17</sup>Сочинения и письма А.С. Пушкина /Под ред. П.О. Морозова. — Т. 6. — Спб., 1904. — С. 438—439; Пушкин /Под ред. С.А. Венгерова. — Т. 5. — Спб., 1911. — С. 326—327.

<sup>18</sup>См.: Боровкова С. Указ. соч. — С. 100.

**В** январе 1825 года к ссыльному Пушкину в Михайловское приехал дорогой гость, лицейский друг – Иван Иванович Пущин. В его дорожной сумке был замечательный подарок: еще не известный поэту список неопубликованной стихотворной комедии Грибоедова «Горе от ума». Чтение грибоедовской пьесы стало для Пушкина настоящим праздником. Ее страницы погрузили михайловского невольника в прошлое, в мир московского детства.

Даже одни только названия московских улиц – Покровка, Кузнецкий мост – должны были ласкать слух, напоминать о прошлом, о первых впечатлениях бытия. К тому же Пушкин в это время писал «Бориса Годунова», едва ли не самое «московское» свое произведение, и каждое напоминание о старой столице было для него драгоценно. Полтора десятилетия «горестной разлуки» с родным городом сказывались, обостряли интерес к «особому отпечатку», лежащему на всем московском.

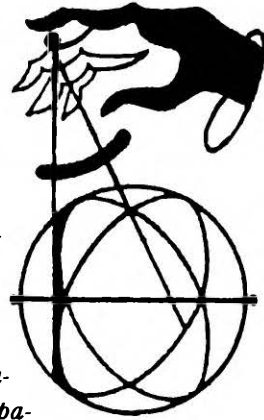
Подробных и связных воспоминаний о Москве своего детства Пушкин не оставил. Можно только догадываться о том, что запомнилось мальчику больше всего, какие улицы любил, в каких домах бывал гостем, где пролегли маршруты обычных прогулок. Но должно, кажется, понять то общее впечатление, которое оставлял огромный город, где в едином пространстве сошлись Европа и Азия, патриархальная старина и новомодные веяния.

Даже в наши дни люди старшего поколения иногда еще называют Москву большой деревней. В пушкинские времена это имело не только образно-иронический, но и строго фактический смысл. Единцей построения старой столицы действительно был довольно отчетливый замкнутый мирок, примерно совпадавший с церковным приходом. Вокруг храма располагалось все, чему и полагалось быть в селе: барский дом с огромным садом, конюшни, каретные сараи, поленницы дров, колодезь, поварни, жилища дворовых, службы. К стенам монастырей лепились лачужки ремесленников. Ткань городской застройки часто прерывалась выпасами, огородами, пустошами.

По весне в Москве цвели яблоневые и вишневые сады, вечерами самоварный дым стался между кустами сирени, а в короткие майские ночи пели соловьи. Громкие петушиньи крики будили горожан по утрам; лай собак, скрип колодезного журавля, балалайка у порога кабака – все роднило столицу с провинцией, с деревней.

Одно из самых красочных описаний допожарного московского пейзажа, знакомого Пушкину, оставил Николай Михайлович Карамзин:

«Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си/мо/нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного а м ф и т е а т р а: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими весла-



ми рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подальше, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синятся Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское...»

Это – из знаменитой сентиментальной повести «Бедная Лиза», вышедшей в свет всего за семь лет до рождения Пушкина. Подобные виды должны были остаться в памяти поэта на всю жизнь; Грибоедовская комедия только оживляла детские впечатления, только пробуждала образы старой, допожарной Москвы. Ведь нового города, того, в котором развивалось действие «Горя от ума», Пушкин еще не знал. Однако поэт хорошо представлял себе ту предметную и языковую среду, в которой жили москвичи – герои Карамзина и Грибоедова. Московский классицизм, мир «модных» и «старинных» зал, найдет потом свое отражение во многих пушкинских произведениях – от романа «Евгений Онегин» до незаконченной повести «Рославлев».

Лефортово, Харитоньевский переулоч, Молчановка – все это адреса, по которым жила семья Пушкиных; все коренные московские края. Недалеко от «Харитонья в переулке» пролегает Мясницкая улица, помянутая потом в прямой связи с детскими впечатлениями. В черновой редакции статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин рассказывает:

«В 1810 /году/ в первый раз увидел я Государя. Я стоял с народом на высоком крыльце Николы на Мясн./ицкой/. Народ, наполнявший все улицы, по которым должен он был проезжать, ожидал его нетерпеливо. Наконец показалась толпа генералов, едущих верхами. Государь был между ими. Подъехав к церкви, он о д и н перекрестился, и по сему знаменью народ узнал своего Г./осударя/».

Герой-автор публицистического эссе «Путешествие из Москвы в Петербург» неполностью равен Пушкину. Но тут можно не сомневаться – воспоминание о встрече императора на Мясницкой принадлежит самому поэту, с детских лет помнившему высокую паперть Никольской церкви и крестное знамение императора Александра I.

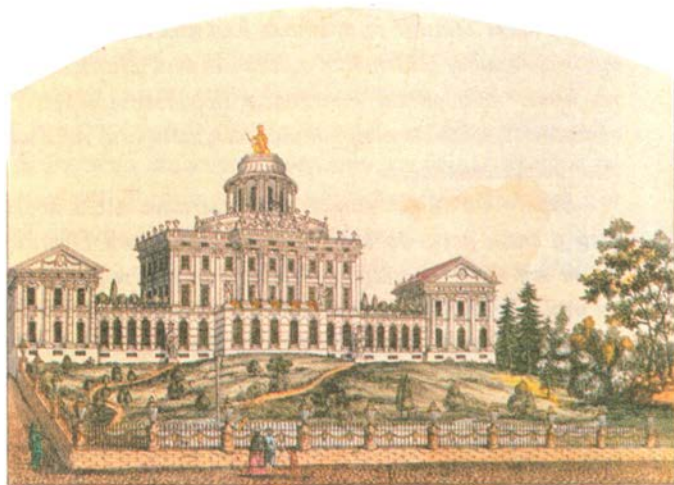


Москва. Странноприимный дом Шереметева. Литография



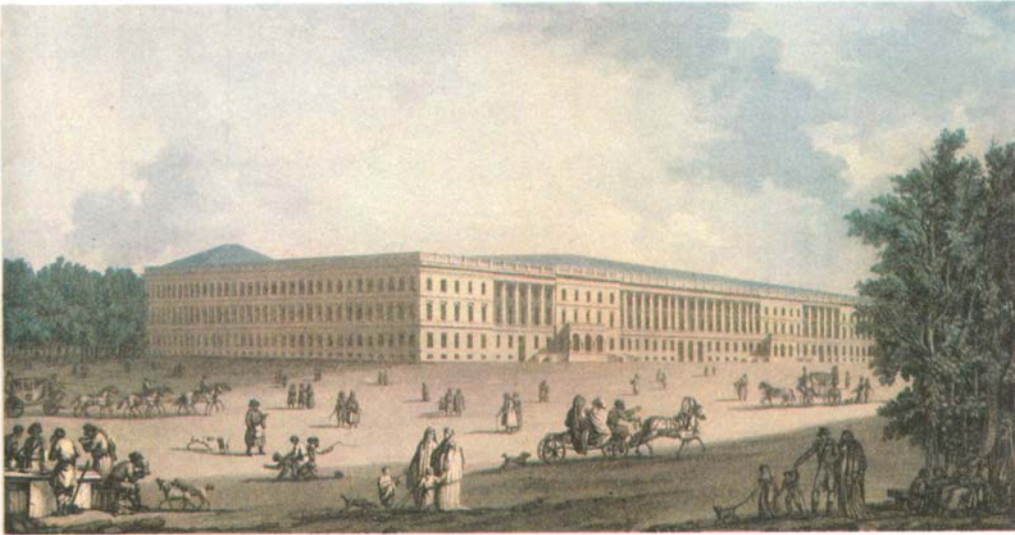
Церковь св. Гавриила Архангела, т.н. Меншикова башня. Архит. И. Зарудный

Пашков дом на Моховой. Гравюра с раскраской Ф.Дюрфельда по рис. Д.Антинга. 1786–1790-е годы



Петровский дворец. Рис. М.Ф.Казакова





Екатерининский дворец в Лефортове. Акватинга М.Даман-Дематре. 1812

Вид Мясницкой улицы. Акв. И.И.Шарлеманя

Покровка от дома Апраксиных. Реконструкция О.В.Гришинчук



План столичного города Москвы 1825 г. Литография с раскраской. В левом ряду второе сверху изображение — московский критско-комисариат







Церковь Святого Духа



Вид с Арбата на Спасскую Палату



Вид с Триумфальной Колонны на Соборную Палату

1803 г.  
Старинная Карта Города Москвы.



- II. Кремлевская
- IV. Китайская
- V. Китайская
- VI. Китайская
- VII. Китайская
- VIII. Китайская
- IX. Китайская
- X. Китайская



Вид с Царыцынской Палаты



Червоная Площадь на Собор



Червоная Площадь



Университет

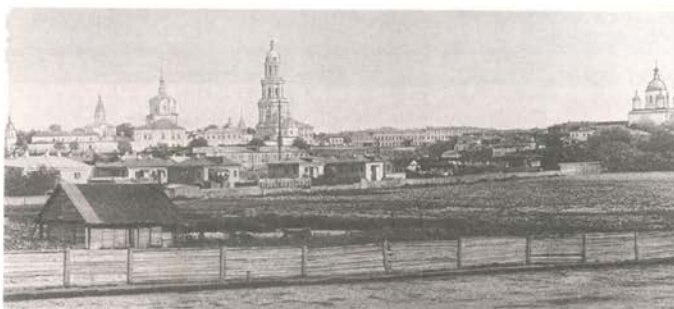


Вид с Университетского Здания



Вид с Соборной Палаты









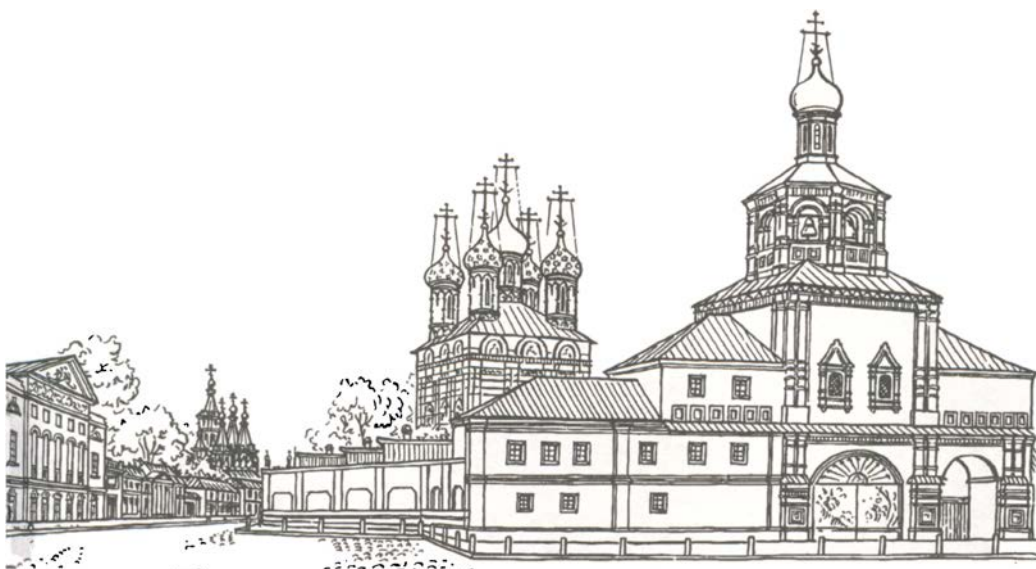
Симонов монастырь от Москвы-реки. Акв. Л.П.Бишбуа

Данилов монастырь. Литография

Страстная площадь в конце XVIII – нач. XIX в. Реконструкция Т.Н.Кудрявцевой

Заиконоспаский монастырь в панораме Китай-города. Фото конца XIX в.

Спас-Андроников монастырь. Фото конца XIX в.

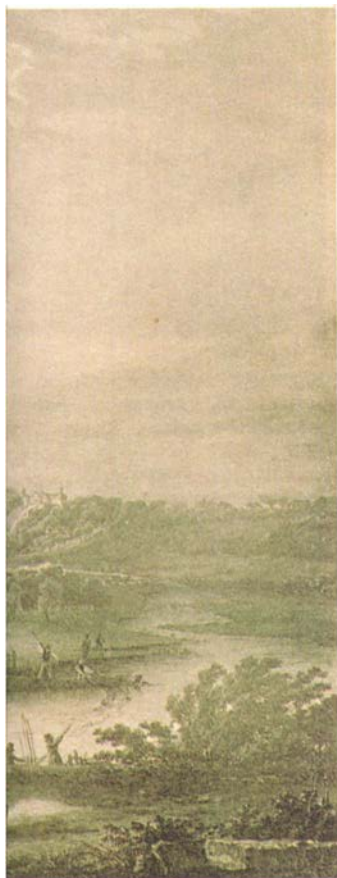




ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ №







Коломенское. Рис. Д. Кваренги.  
1795

Ильинские ворота Китай-города.  
Акв. Ф.Алексеева. Нач. 1800-годов

Вид Подмоскownого предместья.  
Гравюра с раскраской Д. Ла-  
фонда и Г. Лори по рис.  
Ж.Делабарта. Нач. 1800-х годов

Вид на Москву со стороны  
Воробьевых гор. Литография.  
Кон. 1790-х годов

Потешный дворец в Москов-  
ском Кремле. Вид с южной  
стороны. Акв. Ф.Алексеева.  
Нач. 1800-х годов





Вид на Москву с башен Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. Худ. Ж.Делабарт. 1797

Москворецкая улица. Акв. мастерской Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов

Улица Ильинка в Кигай-городе. Акв. мастерской Ф.Алексеева. 1800–1802





Вид на Москву с башен Кремлевского дворца в сторону Каменного моста. Худ. Ж.Делабарт. 1797



Вид на Воскресенские ворота со стороны Красной площади. Аква. мастерской Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов

Вид Воскресенских ворот и бастионов около Собакиной башни со стороны Тверской улицы. Аква. мастерской Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов



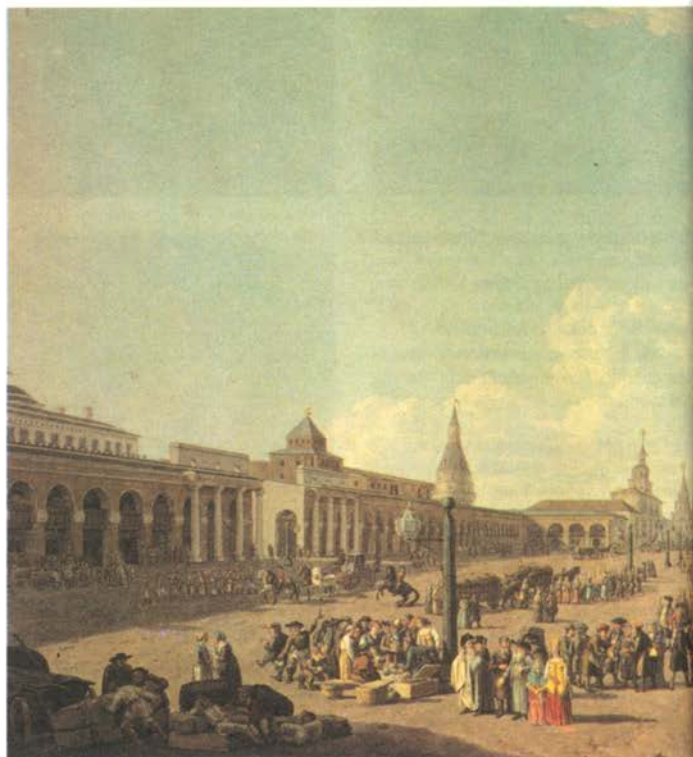
Владимирская башня Китай-города. Аква. мастерской Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов





Вид ледяных гор (на месте Александровского сада). Гравюра по рис. Ж.Делабарта. Нач. 1800-х годов

Кремлевское строение и его окрестности в Москве. Гравюра с раскраской Д'Лафонда и Глори по рис. Ж.Делабарта. Нач. 1800-х годов







Вид на Китай-город с руин  
Пушечного двора. Акв. нач.  
1800-х годов неизв. художника

Старая площадь. Раскрашенная  
гравюра Ж.Делабарта. 1795





Никольские ворота Кремля. Акв. мастерской Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов

Красная площадь (у Спасских ворот). Акв. Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов

Вид Сената и Арсенала в Кремле. Акв. мастерской Ф.Алексеева. 1800—1802



*В 1799 году, когда родился Пушкин, на российском престоле сидел Павел I. А наследником престола был его старший сын Александр Павлович. В дворянских семьях нередко называли старшего сына именем государя-наследника, в будущее царствование которого предстояло жить мальчику. Это считалось счастливым предзнаменованием. Скорее всего имя Александр маленький Пушкин получил как раз в предвидении вступления на престол императора Александра I. Так что встреча царственного всадника на Мясницкой была для Пушкина особенно значительна.*

*Нетрудно представить себе, что и другие поминаемые поэтом места Москвы – Разгуляй и Никитские ворота, Тверская и Басманная, Девичье поле и Всехсвятское, Останкино и Тюфелева роща – так же памятны Пушкину-мальчику, как и Мясницкая. Но чем? По каким поводам? Не знаем. И вряд ли узнаем когда-нибудь...*





## Глава II

---



От «Бориса Годунова»  
к «Арапу Петра Великого»  
и «Медному всаднику»



## ПЕРЕКЛИЧКИ ЧЕРЕЗ ВЕКА И ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Уличать поэта — а тем более Пушкина — в разного рода хронологических или топографических несообразностях есть занятие неплодотворное и само по себе вряд ли нужное. Вольное творческое воображение художника, обращенное к материалу прошлого, мало стесняется узкими рамками сведений, почерпнутых из источников.

Несовпадения пушкинского текста с установленными фактами прошлого важны не сами по себе, но как свидетельства сложной творческой истории произведений поэта. Понятно: обращаясь к событиям прошлых эпох, Пушкин использует далеко не только источники и исследования. Его собственный, личный опыт несомненно «растворен» в тех красках, которыми пишется историческая картина. Поэт и сам охотно это признает. Недаром его Марина Мнишек «славная баба: настоящая Катерина Орлова»! (XIII, 226, 240), а его Пугачев мог бы быть «лихим урядником» в отряде Дениса Давыдова (III, 257).

Подобные «переключки» через века и десятилетия легко обсуждать, когда Пушкин сам их выявляет (хотя бы даже в интимных посланиях друзьям). А как быть там, где автор молчит? Как отделить струю личного опыта в широком течении исторического повествования? Обычно задача эта очень трудна или даже вовсе не разрешима.

Тут-то иногда и приходят на помощь случайности, которые мы назвали «историческими неточностями». Ибо нигде так прямо не проявляется личный опыт автора, как в отступлениях — порой и бессознательных — от строго документированной исторической канвы.

В ткань исторических сочинений Пушкин вводит впечатления всей своей жизни — в том числе, оказывается, и детские впечатления. Мы уже говорили о том, что многие исследователи склонны недооценивать детство поэта. Так, Ю.М. Лотман в строго утверждающей форме пишет: «наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем»<sup>1</sup>.

В этом утверждении содержится формальная логическая ошибка — редкие воспоминания о детстве никак не могут быть «разительной чертой» самого детства. Но оставим ее в стороне. Нам предстоит показать, что и по существу указанные суждения слишком категоричны.

\* \* \*

Третья сцена трагедии «Борис Годунов» носит у Пушкина название «Девичье поле. Новодевичий монастырь». Здесь точно указано место, где развивается действие. Нетрудно назвать и время действия — 1598 год<sup>2</sup>, когда по смерти царя Феодора Иоанновича на русском престоле воцаряется Борис Годунов. «Девичье поле. Новодевичий монастырь» — народная сцена, в которой толпа простолюдинов, пришедшая к стенам монастыря, куда затворился Борис, должна просить правителя при-

нять венец. В этой толпе Пушкин выделяет нескольких безымянных лиц, обозначенных лишь по порядку произнесения реплик. — «Один», «Другой», «Третий».

Вот интересующий нас фрагмент диалога из этой сцены:

**Один**

Нельзя ли нам пробраться за ограду?

**Другой**

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,  
Не только там. Легко ли? Вся Москва  
Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,  
Все ярусы соборной колокольни,  
Главы церквей и самые кресты  
Унизаны народом. (VII, 11)

Топографический комментарий в реплике «Другого» на первый взгляд очень прост. Поле — это Девичье поле, обозначенное в заголовке сцены. Ограда — стены Новодевичьего монастыря. В самом монастыре — церкви; над ними ярусная соборная колокольня. Таким образом, взгляд безымянного персонажа сначала как бы устремляется снизу вверх: поле, над полем стена, над стеной кровли монастырских построек, над кровлями соборная колокольня. Здесь от доминанты (колокольня) взгляд чуть опускается: главы церквей с крестами.

Вот уже три столетия возвышается над юго-западными окраинами Москвы 72-метровая ярусная колокольня Новодевичьего монастыря. Но люди, звавшие Бориса Годунова на царство, не могли ее видеть: она построена на век позже — в 1689—1690 годах<sup>3</sup>, т.е. в начале царствования Петра I.

Возможно ли, что в сознании Пушкина живет вид какой-нибудь другой постройки? Нет. Об этом надежно свидетельствуют варианты строки:

Все ярусы высокой колокольни...

или:

И ярусы витые колокольни...<sup>4</sup>

Если на рубеже XVI и XVII веков в Новодевичьем монастыре даже была ярусная колокольня, то о ее членениях нельзя сказать: «ярусы витые». Это признак сооружения в стиле нарьшшинского барокко, т.е. той самой колокольни, которую видел Пушкин; она и сегодня знакома каждому москвичу.

Значит, пейзаж Девичьего поля, над которым возвышаются «ярусы соборной колокольни», сложился в сознании автора совсем не как результат изучения истории. В его основе — зримая, реальная картина, непосредственное наблюдение.

Строка о колокольне явно тяготеет к впечатлениям детства поэта, к его долинейским годам. Пушкин покинул Москву двенадцатилетним, в 1811 году, и в следующие пятнадцать лет в старой столице не бывал. Царское Село, Петербург, южная ссылка, ссылка в Михайловское — все это время пути Пушкина пролегли в стороне от родного города. Поэт возвращается в Москву из Михайловского только осе-

ню 1826 года; он привозит с собой в карете готовую рукопись трагедии «Борис Годунов». Значит, в реплике «Другого» отражены воспоминания мальчика, проне-сенные через полтора десятилетия.

Можно предположить, что скопление людей, толпа на Девичьем поле — не про-сто плод воображения поэта. В XVIII — XIX столетиях под стенами монастыря ус-траивались большие народные гулянья<sup>5</sup>. Ничто не мешало семейству военного со-ветника С.Л. Пушкина участвовать в таких увеселениях, скажем, в 1811 году. Мы ничего достоверно об этом не знаем<sup>6</sup>. Но текст «Бориса Годунова» (с анахронизмом ярусной монастырской колокольни и толпою на Девичьем поле, где «сперлася вся Москва») заставляет считаться с такой возможностью.

Москва — основная историческая сцена, на которой развивается действие траге-дии. Но не только поэтому, работая в Михайловском над «Борисом Годуновым», Пушкин постоянно мобилизует свои московские воспоминания. Страницы о «смут-ном времени» перемежаются под его пером со страницами автобиографических записок, потом, после 14 декабря, сожженных. И то, и другие поэт, может быть, записывает в одну тетрадь<sup>7</sup>. Характер уничтоженных записок понять нелегко, но все-таки знакомство автора с обликом и бытом допожарной Москвы должно было как-то в них проявиться.

Точно так же город пушкинского детства может «просвечивать» и в «Борисе Годунове». Например, что предстает перед мысленным взором автора трагедии, когда пишет он слова: «палаты», «дом», «чертоги»? Только Москва. Только впечат-ления мальчишеских лет. В особенности существенно близкое знакомство Пушקי-на с известными палатами князей Юсуповых в Харитоньевском переулке, до сих пор в основном сохранившимися в формах XVII века<sup>8</sup>. Место это — «у Харитонья в переулке» (VI, 156) — помянуто в «Евгении Онегине» как цель путешествия Лари-ных.

До недавнего времени считалось, что отец поэта нанимал у Юсуповых деревян-ный флигель, примыкавший к главному зданию. Московский исследователь С.К. Ро-манюк, однако, доказал, что Пушкины жили в самих палатах. Значит, несколько лет детства поэта прошли под сводчатыми перекрытиями и за толстыми стенами, воздвигнутыми в XVII веке.

Это обстоятельство вряд ли нейтрально к действию и декорациям «Бориса Году-нова», которые воображает Пушкин.

Заметим, что одна из основных сцен трагедии — «Царские палаты» — начинает-ся ситуацией: мальчик-царевич под сводами палаты чертит географическую карту<sup>9</sup>. Затем входит его отец, царь Борис, и обращается к мальчику с монологом о науке и «опытах быстротекущей жизни». Всю сцену как исторический эпизод XVII века надо полагать вымыслом. Но в творчестве Пушкина есть еще одна очень похожая ситуация, относимая к следующему XVIII столетию. Речь идет об одном из началь-ных эпизодов «Капитанской дочки». Петруша Гринев сидит над географической картой («прилаживая мочальный хвост к мысу Доброй Надежды»), входит отец; как бы оценивая «успехи» сына в науках, дергает мальчика за ухо (VIII, 280).



Между реальными Годуновыми и вымышленными Гриневыми полтора столетия исторического времени и десять лет творческой биографии Пушкина; ничего общего, кажется, нет у московской палаты царей и скромного жилища провинциальных екатерининских дворян. А сходство эпизодов — очевидное. Откуда оно?

Можно предположить, что тут нечто от детских воспоминаний поэта, хранимых с времен жизни «у Харитонья в переулке»: в старинной палате сидит мальчик над картой; входит отец; важный разговор о науке, о просвещении...

### «ОН РОДУ НЕ ПРОСТОГО...»

В конце второй главы «Арапа Петра Великого» Пушкин рассказывает о том, как Петр жалует своего крестника Ибрагима. Когда-то, в детстве, Ибрагим принадлежал царской семье; прошли годы; крестник вырос, воевал в Испании, выслужил во Франции офицерский чин, вернулся в Россию. И вот государь вновь вводит Ибрагима в свое семейство. Он представляет арапа жене Екатерине и дочери Лизе, будущей императрице Елизавете Петровне:

«Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие, как розы... почтительно приблизились к Петру. «Лиза», сказал он одной из них, «помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела» (VIII, 11).

Строго исторически вся эта сцена невероятна.

Ибрагим родился около 1696 года<sup>10</sup>. Год рождения Елизаветы Петровны — 1709-й. Разница в тринадцать лет. Поэтому дочь Петра не может помнить «маленького арапа». А Пушкин все-таки наделяет ее воспоминанием, от которого «великая княжна засмеялась и покраснела».

Невозможен и факт кражи яблок в Ораниенбауме. Начало этому городу под Петербургом было положено в 1714 году закладкой Меншикова дворца<sup>11</sup>. В том же году завершилась война за испанское наследство («Испанская война»), в которой Ибрагим успел отличиться (VIII, 3). Яблоневые деревья Ораниенбаума вряд ли плодоносили в детстве Елизаветы. Известный мемуарист камер-юнкер Ф.В. Берхгольц записал в своем дневнике под 1721 годом, что в Ораниенбауме «перед домом обширный сад, который, однако, еще не приведен в порядок»<sup>12</sup>.

Как и в случае с ярусной колокольней московского монастыря, источники сцены, думается, надо искать не в династической истории, а просто в биографии автора.

В воспоминаниях И.И. Пущина есть известный эпизод из лицейской жизни. Пушкин-мальчик влюблен в Наташу, горничную фрейлины Волконской. Однажды в темном коридоре он принимает за Наташу самую престарелую фрейлину и по ошибке ее целует. Об этом скандале доносят императору Александру I.

«Государь, — пишет Пущин, — на другой день приходит к Энгельгардту (директору лицей — В.А.). «Что ж это будет? — говорит царь. — Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Ля-

мина (точно, была такого рода экспедиция /.../), но теперь уже не дают проходу фрейлинам...»<sup>13</sup>.

По-видимому, ответ какого-то лицейского происшествия падает на страницы романа о царском арапе. Дева, краденые яблоки, государь — все это равно присутствует и в мемуарах, и в исторической прозе. Можно заметить, как Петр Великий и Александр I, разделенные столетием русской истории, пользуются в разговоре сходной смысловой конструкцией: «крал у меня яблоки», «снимают мои яблоки».

Не углубляясь в библейские параллели (Ева и яблоко), можно все-таки утверждать, что сопоставление реальной и романной ситуаций обогащает наше понимание и той, и другой. Например, проступают контуры ответа на вопрос: почему Елизавета «засмеялась и покраснела», когда отец ее упомянул о краже яблок? Не вспомнила ли она что-нибудь вроде невинного поцелуя в темном коридоре? И наоборот. Для чего лицеисты затеяли «экспедицию» с кражей наливных яблок? Не было ли «девы» или «дев», которых они угощали? Тогда избиение сторожей надо толковать как рыцарский поступок в честь красавиц.

Тем самым Пушкин в какой-то мере отождествляет себя с Ибрагимом. А намек на роман — хотя бы и детский — между будущей императрицей и арапом, он возносит своего предка на головокружительную историческую высоту, как бы подготавливая реплику боярина Ржевского об Ибрагиме: «Он роду не простого /.../, он сын арапского салтана» (VIII, 25).

В неоконченном романе о царском арапе есть, как нам кажется, не только отзвуки лицейских времен, но и впечатления московского детства поэта. Так же, как в «Борисе Годунове», они выявляются в моменты отступлений от строгой исторической правильности.

Напомним: у Пушкина не было вещи под названием «Арап Петра Великого». Под этим не принадлежащим автору заголовком шесть глав незавершенного романа публиковались в посмертной Пушкину шестой книге «Современника» на 1837 год. Сам Пушкин напечатал только два фрагмента текста: один — в «Северных цветах на 1829 год», другой — в «Литературной газете», 1830 года. Затем эти два отрывка поэт объединил под заголовком «Две главы из исторического романа» и в 1834 году опубликовал в сборнике «Повести, изданные Александром Пушкиным». Главы эти носили самостоятельные авторские названия:

1. Ассамблея при Петре Первом.
2. Обед у русского боярина.

Отрывки и выбраны, и объединены не случайно. В них предстает зримый контраст между старинным допетровским укладом и новым бытом, определяемым преобразованиями Петра I. Кроме того, оба фрагмента самостоятельны, т.е. почти освобождены от привычного для нас фабульного контекста женитьбы приехавшего в Петербург Ибрагима.

Попробуем прочесть главу «Обед у русского боярина» по тексту «Повестей» и глазами читателя 1834 года. Этот читатель не знает, что Петр-сват приезжает в дом боярина Ржевского после беседы с Ибрагимом в токарне петербургского домика.

Не знает читатель и о женихе, который во время сватовства бродит по невской набережной. Не подозревает он и о последующей встрече Петра и Ибрагима, после которой арап провожает государя до дворца Меншикова на Васильевском острове.

Но как только отрывок не «погружен» в движение романной фабулы, так он немедленно теряет связь с Петербургом. **У читателя 1834 года нет возможности прикрепить «Обед у русского боярина» к берегам Невы.** Весь чин, весь традиционный ход обеда тяготеют к старой Руси, где «нескоро ели предки наши». Вспомним детали трапезы. Дочь хозяина подносит гостям серебряный поднос с золотыми чарочками. За стол садятся «наблюдая старшинство рода» (местничество), да притом еще мужчины по одну сторону стола, женщины — по другую. На столе — «произведения старинной нашей кухни» (VIII, 20).

За стенами дома Ржевского трудно вообразить Васильевский остров, зато легко представить себе Мясницкую, Разгуляй или Тверскую.

Под напором чисто московских впечатлений Пушкин приводит любопытную деталь в самом начале главы. Вот первые строки:

«День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались...» (VIII, 19).

Потом, в конце отрывка, в эту «старинную залу» придет Петр I. А откуда могла появиться «старинная зала» в Петербурге при жизни Петра? В ткани шести глав неоконченного романа деталь явно неточна. Зато в пределах новеллы «Обед у русского боярина» она совершенно естественна: московский вельможа, ушедший от дел окольный государя Феодора Алексеевича (VIII, 530), и должен потчевать гостей в старинной палате.

Сам по себе приезд Петра на обед не делает трапезу петербургской. Царь наезжал в старую столицу довольно часто — например, Пушкин позже отметит его визит в Москву в январе 1718 года (X, 237).

Таким образом, «старинная зала» в «Северных цветах» и «Повестях» (1834 года) вовсе не ошибка. Ошибка возникла позже, когда издатели после смерти Пушкина напечатали «полный» текст, не предназначенный автором к публикации. В него и открылись невозможные соотношения «старинной залы» и Петербурга, «местничества» и Васильевского острова. Мы не знаем (да и никогда не узнаем) всех причин, по которым Пушкин не завершил свой роман о царском арапе. Но, возможно, одна из многих причин та, что поэт сам обнаружил анатопизм, отторжение быта семьи невесты от предлагаемых в повествовании петербургских обстоятельств...

Возвращение Пушкина в Москву осенью 1826 года после пятнадцатилетней разлуки — одно из самых потрясающих событий его жизни. О том есть масса свидетельств, а первое — московские строфы в седьмой главе «Евгения Онегина». Работа над седьмой главой совпадает по времени с началом написания романа о царском арапе (лето 1827 года). Думается, возвращение в родной город оживило детские воспоминания поэта, наполнило их новым смыслом и значением.

Можно предположить, что у дифирамба старой столице в онегинской главе и у «московской» атмосферы в эпизоде романа — общий исток, общая творческая исто-

рия. Она восходит к ранним впечатлениям маленького москвича, жившего в старинных палатах «у Харитонья в переулке»...

### ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ ПРЕДКЕ

К биографии своего предка по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала Пушкин испытывал, как известно, постоянный интерес и возвращался к подробностям ее многократно и по разным поводам. Если вспомнить, что еще в 1817 г. в псковской деревне недавний выпускник лицея расспрашивал своего двоюродного деда о черном предке, а два десятилетия спустя придворный историограф отыскивал всякую строку об африканском сподвижнике Петра I, то станет ясным: вся жизнь Пушкина прошла под знаком самого высокого уважения к этой исторической личности.

Надо ли напоминать о том, как могучая фигура Абрама Ганнибала выступала на страницах пушкинских произведений – от «Евгения Онегина» и «Арапа Петра Великого» до «Моей родословной» и «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений»? Написано об этом много<sup>14</sup>. Однако тема и до сих пор не кажется исчерпанной.

В сознании поэта «царский арап» был персонажем объемным и многозначным – это очевидно. Пушкин не был бы Пушкиным, если бы в размышлениях своих ограничивался только реальным, документально достоверным Ганнибалом. Сколько бы ни занимали его факты из жизни «негра безобразного», все ж поэт и философ порою должны были торжествовать здесь над историографом. Поэтому, предполагаем мы, образ Ганнибала слагался у Пушкина как некое многогранное единство, возникающее на скрещении истории и современности, фактографии и мифологии, прозы и поэзии.

В этом смысле весьма показательно одно пушкинское замечание из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений». Оно навеяно известным случаем: Булгарин в «Северной пчеле» наносит едва замаскированное оскорбление памяти Ганнибала. На это Пушкин откликается так: «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой <...> был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русской произносит с уважением и не всуе». Это о Петре. И далее о Булгарине: «... не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (XI, 153).

Таким образом, Ганнибал назван в первый раз среди «лучших сограждан», а во второй – среди «праотцев». Несходные смысловые ряды, в которых упоминается царский арап, различаются здесь совершенно ясно. Первое определение вполне естественно звучит под пером гражданского историка, публициста, литератора. Второе влечет за собой совсем иной круг ассоциаций. Недаром же Пушкин так редко,

так осмотрительно им пользуется. Только еще однажды<sup>15</sup> решается он назвать «праотцами» Кочубея и Искру — в финале «Полтавы»:

Цветет в Диканьке древний ряд  
Дубов, друзьями насажденных;  
Они о праотцах казенных  
Доньне внукам говорят. (V, 64)

Понятие «праотцы» тяготеет к легендарной старине. Словарь В.И. Даля определяет прародителей как «первую известную по родословной чету, от коей вышел род, поколение, дом, колено». В церковном календаре «неделя праотцев» отмечается перед праздником Рождества. Пушкин отчетливо различает отцов как предков вообще и праотцев как основоположников рода, как святыню — церковно-славянское окончание в родительном падеже: «праотцев» — усиливает здесь этот смысловой оттенок.

Когда же речь идет просто о предшествующих поколениях, Пушкин тщательно избегает приставки «пра» к словам «отцы», «родители». Например, в «Евгении Онегине»:

... отослать его к отцам  
Едва ль приятно будет вам. (VI, 131)

Но в том же романе:

О люди! все похожи вы  
На прародительницу Эву. (VI, 177)

Осмысление Ганнибала как праотца знаменательно. Оно обязывает Пушкина ко многому. Древний культ предков, хотя бы и облагороженный веком Просвещения, вступает в свои права. Недаром же литературный противник обвиняется не просто в неуважении старины, но в загрязнении «священных страниц».

Следовательно, история рода разворачивается и как священная история.

Для людей пушкинской поры и пушкинского круга мысленное восхождение от ситуации частного быта к высоким аналогиям из священной истории было нетрудным, в порядке вещей. Традиция прямого соотнесения горнего и дольного вела к истокам культуры — уже первоначальные русские летописи, известные Пушкину и по Карамзину, и в оригиналах, предваряли реальную историю изложением «событий» от сотворения мира, согласованным с библейскими текстами. Эта неразделимость «священных страниц» и хода исторического времени помогала видеть в фактах современности и близкого прошлого прямую аналогию идеальным примерам.

В «Сценах из рыцарских времен» такой мотив хорошо слышен в диалоге Франца и Бертольда. Первый жалуется на неравенство, которое несправедливо, — ведь все произошло от Адама. А второй отвечает, что Каин и Авель «не были равны <...> В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть» (VII, 220). Подразумевается, что в последующих семействах повторяется то же, что было в начальных, у праотцев.



Поэтому судьба Ганнибала могла быть для Пушкина не просто фактом реальной истории, но и некоторой аналогией общеизвестным «священным страницам». В культурно оформленном сознании того времени само имя предка (Ибрагим—Авраам) намекало на праотцовство, на богоизбранность потомства. Разумеется, прямая аналогия тут и заканчивается. Ибо ничто, кроме имени, кажется, не связывает царского арапа с тезкой-патриархом.

Однако достойны внимания некоторые подробности бытования имен в семействе Ганнибала, подробности, прекрасно Пушкину известные. Так, Петр I при крещении мальчика дал ему свое имя, т. е. Петр. Но арап не согласился, и «так как прежде, на родине, его именовали Ибрагимом <что по-арабски значит Авраам <.. >, то по общей привычке» звали его Авраамом<sup>16</sup>.

У Ганнибала было 11 детей. Три его младших мальчика, «сыновья старости», родившиеся, когда отцу шел пятый-шестой десяток лет, носили имена: Осип (Иосиф), Исаак, Яков (Иаков)<sup>17</sup>. Цепочка имен от Авраама до Иосифа вряд ли могла быть выстроена случайно, вне ориентации на «священные страницы». При этом любопытна аналогия между биографиями прадеда и деда Пушкина. Первый был крещен Петром, а назывался Авраамом. Второй получил при крещении имя Януарий, но прожил жизнь под именем Осип (Иосиф)<sup>18</sup>. Отсюда отчество матери Пушкина — Надежда Осиповна. Кажется, сама судьба не дает роду отступить от традиционного ряда имен.

Итак, родной дед Пушкина зовется Осип, т. е. Иосиф. Это имя, согласно библейской истории, носит правнук Авраама, «сын старости» Иакова и Рахили. Легенда об Иосифе Египетском должна была осознаваться Абрамом Ганнибалом как священная аналогия его собственной судьбе.

Исходным моментом библейского повествования об Иосифе служит, как известно, продажа в рабство. Старшие братья юноши, завидуя той любви, которую их отец питает к младшему, продают Иосифа кушцам-измаильтянам. Из рук измаильтян невольник переходит в руки египтян. В Египте же после многих злоключений Иосиф становится ближайшим советником фараона.

Совпадение легендарной судьбы Иосифа с реальной судьбой Ганнибала было совершенно очевидно и для него самого, и для всех, кто знакомился с основными вехами его биографии. Рабство Иосифа у измаильтян находилось в прямом соответствии с невольничеством юного Ибрагима у турок в Константинополе. А служение фараону на далекой чужбине явно «перекликалось» со службой проданного арапа русскому царю.

Мысль Пушкина должна была сближать «праотцев» Иосифа и Ибрагима; утверждать это можно не только на основании общих соображений, хорошо подытоженных самим поэтом: «Я слишком с Библией знаком» (II, 291). Есть и конкретное свидетельство такого сближения. Как известно, одним из главных источников, которыми Пушкин пользовался, изучая жизненный путь прадеда, была биография царского арапа, написанная по-немецки мужем младшей дочери А.П. Ганнибала Адамом Карповичем Роткирхом<sup>19</sup>. Этот текст, созданный несколько лет спустя по-

сле смерти А.П. Ганнибала, несомненно, отражает семейное предание. В нем есть важный эпизод, повествующий о попытке африканской семьи вернуть мальчика на родину. Вот как об этом пишет автор «Немецкой биографии»: «В это время его (А. П. Ганнибала. – В. Л.) правящий сводный брат, я думаю, побужденный тогда еще живой матерью этого европейского Ганнибала, в предположении, что этот сводный брат еще находится в Константинополе в качестве заложника, захотел его выкупить через посредство других, и выполнение этого поручил одному из своих младших братьев; последний отправился по следам увезенного нового Иосифа»<sup>20</sup>.

В переводе – а точнее, в пересказе – Пушкина это место записано так: «В сие время брат его, полагая его в Конст<антинополе) и вероятно побужденный к тому матерью сего последнего, послал братиев для искупления сего нового Иосифа»<sup>21</sup>.

Сличение немецкого текста с пушкинским выявляет два существенных для нас обстоятельства.

Во-первых, и в целом, и в интересующем нас месте пересказ Пушкина заметно короче оригинала. От неважных подробностей Пушкин отказывается. Но сравнение предка с библейским Иосифом Пушкин не упускает; оно важно и потому сохраняется в пушкинском тексте.

Во-вторых, сопоставление приведенных мест убеждает, что Пушкин не следует за фактами рабски. «Немецкая биография» утверждает, что старший брат невольника поручает его освобождение «одному из своих младших братьев». Пушкин же переосмысливает ситуацию: «послал братиев». Тем самым повествование чуть удаляется от оригинала и чуть приближается к библейской версии. Формула «Иосиф и его брат» как-то нетрадиционна; зато «Иосиф и его братья» вполне в русле традиции. Век спустя так будет назван известный роман Т. Манна.

Мотив, сближающий мальчика Ибрагима с юным Иосифом, находим в одном из вариантов примечаний Пушкина к главе первой «Евгения Онегина», где автор пишет: «До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшей; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен...» (VI, 654). Подобно ветхозаветному Иакову, отец любит и балует младшего из сыновей в ущерб отношениям со старшими. И так же, как Иаков, вынужден расстаться именно с ним.

Итак, семейное предание Ганнибалов, восходящее к самому герою, рекомендует его как «нового Иосифа». Для Пушкина такое сопоставление полно жизни и смысла. Можно для сравнения вспомнить его суждение о Гавриле Пушкине, действующем лице трагедии «Борис Годунов», – «один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах».

Сложный сплав «истории» и «семейных бумаг» мог участвовать и в создании образа другого пушкинского предка – Ганнибала. И, следовательно, аналогия царского арапа и библейского праотца способна была как-то отразиться в сознании Пушкина, как-то повлиять на его творчество.

Для нашей темы будет важна еще одна черта, сближающая реальный жизненный путь Абрама Ганнибала с ветхозаветным мифом. Дело в том, что, как пишет

современный исследователь, «во всей истории Иосифа особую роль играют вещие сны, при этом Иосиф выступает то как «сновидец», то как толкователь снов»<sup>22</sup>. Мальчик рассказывает братьям свои сны, недвусмысленно намекающие на его, Иосифа, первенство в роде: «... вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу» (Быт. 37:7). Это и служит непосредственным поводом продажи мальчика в рабство. Сон оказывается вещим: старшие братья в голодный год придут на поклон к младшему и попросят хлеба. В Египте сновидческая линия Иосифа продолжается: он верно толкует сны опальных фараоновых вельмож, а затем и сны самого фараона — о семи тучных и семи тощих коровах. Именно правильная интерпретация снов делает Иосифа доверенным лицом монарха, его ближайшим советником.

Впрочем, ветхозаветный сюжет более чем знаменит и не нуждается здесь ни в дальнейшей детализации, ни даже в обсуждении. Он упомянут только потому, что в «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала есть мотив, живо напоминающий миф об Иосифе-сновидце. Вот что читал в ней Пушкин о своем прадеде: «Что касается Ганнибала, то он спал в дополнительном кабинете государя, в токарне, и вскоре сделался во многих важных случаях секретарем своего государя; у последнего над постелью всегда висело несколько аспидных досок (как бы он ни был утомлен от дневных трудов и как бы ни нуждался в покое, его великий дух, вечно деятельный во благо подданных, этот почти никогда не отдыхающий дух, часто будил его и поддерживал в бодрствующем состоянии;) и тут в темноте, без света, записывал он по вдохновению важные и длинные проекты; наутро его питомец должен был эти заметки переписывать начисто и после надлежащего подписания рассылать их по коллегиям (и соответственным учреждениям в качестве новых законов и повелений для исполнения) ... Монарх ... убеждался в способностях этого юноши, (которые предвещали больше, чем судьбу писца. . .)»<sup>23</sup>.

Это место биографии в записи Пушкина читается куда более энергично и опять несколько приближается к «священным страницам»: «Ганнибал, неразлучный с Императором, спал то в его кабинете, то в его *токарне* и вскоре потом сделался тайным секретарем своего Императора.— Государь имел всегда над своей постелью Аспидную доску; государь писал ночью приходившие ему мысли, а Ан(нибал) утром переписывал и рассылал по разным коллегиям. Государь был день ото дня более убежден дарованиями сего юноши...»<sup>24</sup>.

Отступления Пушкина от использованного источника опять весьма многозначительны. Молодой арап, соучаствующий в законодательном снотворчестве Петра, назван тайным секретарем — такой должности, как известно, не было. На легенде, творимой поэтом, могли отразиться чуть более поздние исторические реалии: например, чин тайного советника в Табели о рангах (1722) или даже существование высшего имперского учреждения — Верховного тайного совета (1726—1730). Так ли, иначе ли, но Пушкин совершенно пренебрегает намеком немецкого источника на роль писца, с которой начинается служба юного арапа при государе. Более того. Текст «Немецкой биографии» сообщает, что ночные вдохновения Петра становились законами лишь «после надлежащего подписания». А Пушкин, следуя своей



логике, опускает этот момент. И тем возносит своего предка на головокружительно высокую ступень государственности. Разумеется, поэт бесконечно далек от чванливого преувеличения роли своего прадеда. История рода, сознаваемая как параллель священной истории, настоятельно требует наполнения будущей формулы «царю наперсник, а не раб» (III, 263).

Тот же мотив Пушкин знал и по другому источнику — анекдоту, записанному И.И. Голиковым. С многотомной голиковской историей Петра поэт познакомился не позднее середины 1820-х годов<sup>25</sup>, и рассказ, записанный со слов самого предка, несомненно запомнил:

«Сей российский Ганнибал, между другими дарованиями, имел чрезвычайную чуждость, так что, как бы он ни крепко спал, всегда на первый спрос просышался и отвечал. Сия чуждость его была причиною, что монарх сделал его своим камердинером и повелевал ночью ложиться или в самой спальне, или подле оной.

Сей Ганнибал сам предлагал нам сей анекдот, рассказывая всегда оный со слезами, то есть что не проходило ни одной ночи, в которую бы монарх не разбудил его, а иногда и не один раз. Великий сей государь, просыпаясь, кликивал его:

«Арап!»—и сей тотчас же отвечивал: «Чего изволите?»— «Поддай огня и доску» (то есть аспидную, которая с грифелем висела в головах государевых). Он подавал оную, и монарх пришедшее себе в мысль или сам записывал, или ему приказывал и потом обыкновенно говорил «Повесь и поди спи». Поутру же неусыпный и попечительный государь обдельывал сии свои мысли»<sup>26</sup>.

Пушкин и здесь, как и в случае с «Немецкой биографией», внимателен и к месту арапа при Петре, и к принижению роли предка. Один из своих полемических пассажей Пушкин снабжает характерным примечанием, относящимся к приведенному тексту: «Голиков говорит, что он (арап. — В.Л.) был прежде камердинером у государя. ... Голиков ошибся. У Петра I не было камердинеров...» (XI, 153). Человек царского рода, чья биография сходствует с судьбой праотца Иосифа, не может, не должен восприниматься в ряду с обыкновенными слугами. Тут Пушкин стоит твердо.

Отзвук полуполюгендарной ситуации, в которой черный «тайный секретарь» записывает и толкует мысли государя, пришедшие во время сна, есть и в незаконченном романе Пушкина о царском арапе. В конце второй главы автор помещает эпизод, в котором Петр спит после обеда, а проснувшись, обращается к Ибрагиму: «Посмотрим ..., не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. ... Потом выходя из токарни сказал Ибрагим: Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину...» (VIII, 11–12).

Но почему так существенна для нас связь между ролью праотца Иосифа как сновидца, толкователя снов фараона и «должностью» арапа, расшифровывающего «сны» Петра? Видимо, потому, что Пушкин отождествляет себя с предком — подчас, быть может, и подсознательно<sup>27</sup>.

Давно замечено то особое место, которое сны, сновидения занимают в поэтическом мировосприятии Пушкина. Еще М.О. Гершензон показал, что сон, забвение

осознаются Пушкиным как некое особое творческое состояние души, глухой к «затем суетного света», но зато открытой всему возвышенному, истинно поэтическому<sup>28</sup>. Особенно ясно это над страницами «Евгения Онегина». Главные герои романа являются автору в «смутном сне» (VI, 190); «среди поэтического сна» (VI, 140) приходят видения прошлого, образы дальних стран; верит «снам» Татьяна (VI, 99), и знаменитое сновидение едва ли не главное средоточие ее поэтического характера; да и сам поэт рожден для «творческих снов», оживающих в глуши (VI, 28).

«Более 30 раз в романе слова «сон», «забвение» и производные от них встречаются именно в значениях, определяющих внутреннюю жизнь»<sup>29</sup>.

Когда Пушкин при всякой возможности упоминает и подчеркивает в мифологизированной биографии Ганнибала роль, близкую к истолкователю снов, то тут, вероятно, можно видеть намек не только на кровное родство с царским арапом, но и на некую тесную духовную связь потомка с предком. Цикличность, повторяемость того, что происходит с праотцем и с ним самим, — это должно быть ясно для Пушкина.

Например, интересно проследить, как с течением времени в сознании поэта образ Ганнибала меняется, играет новыми смысловыми оттенками. Сперва, в молодости, Пушкин, по-видимому, ощущает черного прадеда как некую странность, как курьез, отличающий его род по материнской линии. Отсюда очень понятная игра в африканские страсти, так что друзьям приходится «сдерживать и обуздывать кипучий темперамент потомка Ганнибала»<sup>30</sup>. Даже еще в начале 1825 г. Пушкин пишет брату: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143).

Междоусобица 1825 г., восстание декабристов и события, за ним последовавшие, отмечают собою важнейший поворот в биографии и творчестве Пушкина. Одним из многочисленных знаков этого поворота можно считать новое, куда более серьезное и обязывающее отношение к праотцу Ганнибалу, к причудливым зигзагам его жизненного пути.

Если александровская эпоха прошла под знаком преимущественного государственного почитания Екатерины II, то Николай I воцарился с именем Петра Великого на устах. Возрождая в полной силе культ царственного реформатора, Николай не прочь был поиграть в нового Петра. В кремлевской беседе с Пушкиным в сентябре 1826 г. эта роль венценосному актеру, по-видимому, удалась. На некоторое время поэт поверил тому, что новый император олицетворяет петровское наследие. Эта вера получила скорое подтверждение — царь приказал Пушкину составить записку «О народном воспитании». Для Пушкина чуть забрезжила личная ситуация, определяемая формулой «царю наперсник, а не раб».

Как тут было не вспомнить о предке! Если Николай — новый Петр, то ничто не мешает Пушкину сознавать себя новым Ганнибалом. Советником. Сподвижником. Тайным секретарем. Помощником державных вдохновений. Этой творимой легенде как нельзя лучше соответствовали «Стансы» и особенно роман о царском арапе.

Любопытно наблюдать, как в исторической прозе, где действие развивается от Пушкина век тому назад, звучат вполне современные автору мотивы. Пушкин не останавливается на детских годах своего героя — он прямо начинает с поездки Ибрагима в чужие края. Вся первая глава и даже начало второй посвящены Парижу, молодым безумствам Ибрагима, временному забвению его долга перед Петром и Россией. Прежде чем вернуться, подобно блудному сыну, к своему крестному, арап проходит полосу парижских искушений. Аналогия с молодым Пушкиным на юге тут явно напрашивается.

Возможно, здесь одна из причин, по которым автор не завершил своего романа о царском арапе. Довольно скоро Пушкин начинает догадываться, что император вовсе не подобен пращуру; исторические параллели «Петр — Ганнибал», «Николай — Пушкин», уже исходно шаткие, все более тускнеют, выветриваются. Кроме того, фигура революционера Петра в сознании поэта день ото дня растет и усложняется; его эпоха становится равной по сложности и кровавости всей мировой истории. А личность Николая I мельчает, падает в глазах Пушкина с каждым нерыцарственным поступком. Прапорщик постоянно берет верх над Петром Великим, и с какого-то времени уже нет ни повода, ни смысла напоминать о праотческой идиллии: идеальный наперсник на службе у идеального государя.

Уже в «Полтаве» Пушкин не следует своему же собственному совету, обращенному к Рылееву, — в поэме нет «арапской рожи» прадеда рядом с «ужасным ликом» царя. Нет подробностей о Ганнибале и в подготовительных материалах к «Истории Петра» — два незначительных упоминания в перечнях имен, конечно, не в счет (X, 4, 269).

«Священные страницы летописей» молчат.

В последние годы жизни Пушкин, как и в молодости, остается верен высокой истории рода. Но теперь поэта прежде всего занимают личные свойства предков, а не их служба властям, более или менее тираническим. Не позднее 1834 г. Пушкин «возвращается к оппозиции»<sup>31</sup> — не потому ли из его писаний и разговоров почти исчезают воспоминания о Пушкиных, приложивших руку к возведению Романовых на царство? Не потому ли мысли о черном предке все реже возвращаются в круг размышлений о Петре I, но все чаще приводят к шекспировскому Отелло?

Конечно, это совсем другая тема. И не здесь ее начинать. Но все-таки попутно можно заметить, что выстраивая линию «мавр — арап — Пушкин», поэт подчеркивает, что герой Шекспира «не ревнив—напротив: он доверчив» (XII, 157). Суждение глубокое, вряд ли сводимое к одним лишь свойствам мужского характера. Отелло доверчив не только к Дездемоне или к Яго; он вообще доверчив. Его жизнь простодушна и тем напоминает жизнь поэта. «Но вы не верите простодушию гениев» (VIII, 420) — упрек, обращенный Пушкиным к обществу, к власти. Отношение поэта к царю в середине 1830-х годов, видимо, и есть обманутая доверчивость — А.А. Ахматова давно об этом догадывалась<sup>32</sup>. И новое наполнение фигуры «негра безобразного» в сознании Пушкина подтверждает ее догадку.



А образ прекрасного Иосифа, сновидца и наперсника государя, не испаряется вовсе, но как бы отступает во второй ряд сознания; как бы теплится посреди враждебных ветров. Так, отбирая фрагменты из проповедей Георгия Кониского для первой книжки «Современника», Пушкин останавливается на отрывке, первая фраза которого весьма знаменательна: «Иосиф, проданный братьями своими во Египет, соделавшись правителем царства, дал им в удел самую богатую землю...» (XII, 15). Выписывая эти строки за несколько месяцев до гибели, Пушкин мог мимолетно вспомнить «другую жизнь и берег дальний» — не африканский ли? Времена Петра прошли. Рабы и льстецы теперь приближены к престолу, и нет исхода от «строения фараоновых пирамид ... под бичами» (XI, 232).

Пройдет полтора века после гибели Пушкина, и наш современник напишет прекрасную поэму о царском арапе. И назовет ее с совершенной точностью, с тончайшим чутьем пушкинской традиции — «Сон о Ганнибале»:

Однажды на балтийском берегу,  
Когда волна негромко набегала,  
Привиделся мне образ Ганнибала.  
Я от него очнуться не могу.  
Все это правда и подобье сна,  
И мой возврат в иные времена<sup>38</sup>.

Размышления о царском арапе и для Пушкина были «возвратом в иные времена». И способом понять себя и свое время.

### «КОПЕЕЧКА» И ЦАРСТВЕННЫЙ ВСАДНИК

Сцена «Площадь перед собором в Москве» из пушкинской трагедии «Борис Годунов» — одна из самых знаменитых. Ее ключевой, многократно изученный мотив есть диалог царя и юродивого, обнажающий острое противостояние несправедливой власти и народа.

Этим, конечно, смысл сцены далеко не исчерпывается.

Напомним начало эпизода: толпа московских простолоудинов стоит у собора и ждет выхода царя Бориса. В соборе проклинают Гришку Отрепьева и поют «вечную память» царевичу Димитрию. Затем следуют две реплики, брошенные людьми из толпы, обозначенными как «Третий» и «Четвертый». Вот они:

**«Третий».**

Чу? шум. Не царь ли?

**«Четвертый».**

Нет; это юродивый». (VII, 76–77)

С первого взгляда может показаться, что быстрый обмен репликами есть случайный блик на поверхности сцены, проходная, ни к чему не обязывающая подробность. Ждали государя, а вместо него почему-то появился юродивый, Николка

Железный Колпак. Но внимательный читатель (или зритель) должен, по крайней мере, отметить ошибку человека из толпы: шум при появлении Николки он готов принять за церемониальное звучание царского выхода. Монарх и нищий здесь не уравнены в своем достоинстве, но впервые ясно и отчетливо сопоставлены. Это сопоставление, как нам предстоит убедиться, во-первых, отражено в символике пушкинской трагедии, а во-вторых, идейно «растворено» и в других произведениях поэта.

Между явлением Николки и ремаркой «Царь выходит из собора» игра, как известно, строится вокруг копейки, которую старуха подает юродивому. Если придерживаться плоско понимаемой «исторической правды», то придется признать, что действия старухи малодостоверны. Пушкин — по опыту своего времени — полагал копейку мелочью, мелкой монетой. Но в 1598 году, когда происходит действие сцены, на Руси самой крупной монетой была как раз серебряная копейка. От нее по уменьшению достоинства шли денга (полкопейки) и полушка (четверть копейки)<sup>34</sup>.

Небогатая женщина из толпы одаряет Николку сверх нищенской меры. Сумма в одну копейку несообразна даже с условным денежным счетом самой пушкинской трагедии: монах Варлаам, герой сцены в корчме, за три дня собирает три полушки, т.е. три четверти копейки (VII, 33). В реальных условиях русского средневековья нищим, «людям Божьим», вообще обыкновенно подавали не деньгами, а съестным (кусок хлеба или пирога, огурец, репа и т.д.).

Пушкин хорошо знаком с этим обычаем. И все-таки он награждает «бедного Николку» копейкой. Почему? Разумеется, не по бытовым мотивам. Копейка выступает здесь не как прозаическая денежная единица, а как предмет другого, куда более возвышенного ряда.

До XVI столетия копеек на Руси не было.

В 1534—1535 годах великая княгиня Елена Глинская, правительница при малолетнем Иване IV, провела денежную реформу. С той поры и стали чеканить монету, на которой изображался всадник с копьём. Отсюда монета получила название «копейная денга», а потом и просто «копейка». Сначала всадник, или по-старинному «ездец», был безымянным; позже на монете чеканилось имя царя, а с времен Федора Иоанновича и его отчество<sup>35</sup>.

В следующем веке традиция изображения царя на копейках продолжалась. Подьячий Григорий Котошихин, сбежавший в Швецию в 60-х годах XVII столетия, писал: «А делают деньги серебряные мелкие: копейки — на одной стороне царь на коне, а на другой стороне подпись: «Царь и великий князь» — имя царское и титла самая короткая...»<sup>36</sup>.

О том, что на копейке изображен царь-всадник, Пушкин знал; это легко доказать. Глубокое знакомство Пушкина с карамзинской «Историей Государства Российского» общеизвестно. Но, как сказал бы историк, «сего не довольно». В особом отрывке, посвященном труду историографа, поэт отметил: «Примечания к Русской Истории свидетельствуют обширную ученость Карамзина» (XI, 57)<sup>37</sup>.

Отсюда следует, что к карамзинским примечаниям Пушкин относился с тем же, если не с большим, вниманием, что и к основному тексту.

Именно в примечании к восьмому тому «Истории Государства Российского», где Карамзин рассказывает о денежной реформе Елены Глинской<sup>39</sup>, есть описание новой монеты. Оно дано по Синодальной летописи:

«А при Великом Князе Василии Ивановиче бысть знамя на деньгах Князь Великий на коне, а имея меч в руке; а К.В. Иоанн Вас. учини знамя на деньгах Князь Великий на коне, а имея копие в руке, и отголе прозваша деньги копейные...»<sup>39</sup>.

Позже, в XVIII столетии, всадник на монете будет трактован как святой Георгий Победоносец. Но допетровская, московская Русь еще строго соблюдает евангельское разделение на «Богово» и «кесарево» (Марк., 12, 16-17); поэтому на деньгах не помещались изображения святых, а свое законное место занимал именно «кесарь», т.е. царь.

Таким образом, Пушкин знает происхождение названия монеты — копейка; знает и тот факт, что на копейке отчеканен всадник-монарх. Это и дает некоторые возможности для комментария к сцене из «Бориса Годунова». Под пером Пушкина возникает замечательное драматическое положение: юродивый Николка из рук безымянной старухи получает не просто «копеечку», но изображение царя.

Чтобы вполне оценить «динарий кесаря» в руке Николки, необходимо напомнить традиционный смысл юродивого и юродства. Его понимание восходит к изречениям верховных апостолов Петра и Павла. В «Послании к Коринфянам» Павел приписывает все черты юродства себе и другим апостолам и отличает юродивых от остальных христиан:

«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии... Даже доньше терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся... Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доньше» (I Коринф., 4, 10–13)<sup>40</sup>.

Юродивый есть изгой; в народном сознании он олицетворяет божественную справедливость и пользуется всеобщим уважением. Его глас — глас Божий. Вот как описывает юродивых православная энциклопедия, изданная около столетия тому назад: «Юродивые не признавали никаких общепринятых правил поведения, не считались ни с какими общественными подразделениями; поэтому-то они облачали сильных мира сего, не стесняясь говорить им часто горькую правду; вращались среди подонков общества...»<sup>41</sup>.

Совершенно ясно, что человеку в положении юродивого деньги не могут служить ни целью, ни средством. Юродивый, конечно, «Божий», а не «кесарев». Поэтому «динарий» — копеечка — не его принадлежность. Для сравнения можно привести известный евангельский эпизод исцеления хромого апостолами Петром и Иоанном. Перед входом во храм хромой просит у апостолов милостьню. «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа встань и ходи» (Деян., 3, 6).



Вот и у Николки-юродивого по обычаю не должно быть серебра и золота; он существует и кормится «Христовым именем». Приняв все это во внимание, можно теперь расставить некоторые акценты в сцене «Бориса Годунова».

Репликами простолюдинов, которые обсуждают, кто идет — царь или юродивый? — начинается линия соотнесения «кесарева» и «Божьего» начал. Она продолжается тогда, когда старуха одаряет Николку копеечкой с изображением царя. Этот «динарий» на мгновение нарушает достоинство Николки как человека «божьего». Но в образе мальчишек вмешивается Провидение — копеечка похищена, юродивый свободен от царского серебра и возвращается к своему первоначальному владению — одним только «Христовым именем». Так что появление Бориса Николка встречает в чисто «боговом», пророческом облике. Входит царь. Услышав плач Николки, он распоряжается: «Подать ему милостыню» (VII, 78). Другими словами, Годунов готов опять одарить юродивого «динарием» с изображением кесаря, вернуть пророка к маммоне. Но Николка, только что принявший копеечку от старухи, не принимает такого же дара от государя. Следует — во всем его блеске — обличение Годунова, нового царя Ирода.

«Богово» торжествует над «кесаревым».

В библейских аналогиях находит объяснение и странная просьба Николки к царю: резать детей, похитивших копеечку. Конечно, тут надо чувствовать иронию блаженного Николки; но дети, обижающие пророка, встречаются на библейских страницах нередко. Например, малые дети презирают Иова многострадального, издеваются над ним (Иов., 19, 18). Они насмеяются и над пророком Елисеем; и тут уж дело серьезное; после проклятия Елисея из леса выходят две медведицы, чтобы растерзать сорок два ребенка (4 Царств, 2, 23—24)...

Серьезный, обязывающий мотив у Пушкина обычно не замыкается в рамках одного произведения — замечено давно и не нами; известно с времен В.Ф. Ходасевича, а может быть, и раньше. Смысловые и образные «созвездия» движутся по пушкинскому небосводу, «перетекают» из одного произведения в другое. Так происходит и с мотивом соотношения «Божьего» и «кесарева», с эмблематическим изображением монарха-всадника.

Если в «Борисе Годунове» все это неявно, отчасти спрятано в игре с копеечкой, то в «Медном всаднике» эмблема выходит на первый план, а мотив царя и юродивого становится главным.

Когда безумец Евгений выходит на Петрову площадь, то он видит перед собой объемный, скульптурный образ, родственный древнему монетному чекану: царь на коне, медный всадник. Снова противостояние жестокого кумира и человека, влачащегося во прахе. Но век другой, другой исход трагедии. Медный кумир не знает угрызений совести. От него нечего ждать пощады. Он не сделает и не скажет ничего, что напоминало бы покаянное годуновское: «Молись за меня, бедный Николка».

Чисто исторически века, отделяющие бедного Николку от «безумца бедного» Евгения отягчены государственной и церковной революцией Петра Великого. Все московские государи — и Борис Годунов в их числе — только цари, кесари. Но Петр,

упразднивший патриаршество, уже не просто монарх. Он присвоил себе достоинство главы русской православной церкви. Пушкин, за два года «до «Медного всадника» приступивший к «Истории Петра», прекрасно знает все подробности императорского огосударствления духовной жизни народа. Поэт чувствует, что в меди памятника теперь нерасторжимо слиты оба начала — и жестокое кесарево, и извращенное Богово<sup>42</sup>.

Человек допетровской эпохи, обижаемый государством, находил в лоне церкви утешение и нравственную поддержку. Новая, синодальная церковь сама стала государственным, по существу, бюрократическим учреждением. Теперь человек, куда бы «стопы ни обращал» — даже и в церковь, — всюду будет слышать «тяжелый топот» державного преследования.

Различия идейного поля в «Борисе Годунове» и «Медном всаднике» совершенно очевидны; это, прежде всего, несходство двух исторических эпох. Нас же, как уже было сказано, занимают идейные и образные совпадения, доказывающие единство пушкинского творчества, независимое от жанра вещи, конкретного фабульного материала, времени написания и т. д.

Например, существенная деталь, роднящая «кесарей» — Бориса и Петра. Оба они повинны в гибели наследников престола, соответственно, царевичей Димитрия и Алексея. Пусть даже права Димитрия на престол и участие реального Годунова в убийстве сомнительны — все равно; в мире пушкинских произведений эти обстоятельства предъявлены как безусловные. С другой стороны, в «Медном всаднике», кажется, и намек нет на дело царевича Алексея. Николка-юродивый прямо говорит Борису: «зарезал ты маленького царевича». Евгений же никаких конкретных обвинений, кажется, Петру не выставляет. Его инвектива носит самый общий характер:

«Добро, строитель чудотворный! —  
Шепнул он, злобно задрожав, —  
Ужо тебе!...» (V, 148)

Близкое родство эпизода, где Евгений у «решетки холодной», и годуновской сцены «Площадь перед собором...», выявляется даже на простом материале сходства реплик. Напомним: в соборе поминают убиенного Димитрия, и вот как это отражается в диалоге людей из толпы:

**«Другой:**

А Царевичу поют теперь вечную память.

**Первый:**

Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам». (VII, 76)

В трагедии этим грозным «ужо» подготавливаются принародное разоблачение Бориса юродивым и последующее свержение с престола его наследника. Можно предположить, что «ужо» в устах Евгения столь же зловеще. В полном, развернутом виде оно бы звучало примерно так же, как в «Борисе Годунове»: добро, строи-

тель чудотворный! Вот уж будет тебе, безбожнику. В этой реплике та же угроза расплаты за все преступления, совершенные «волей роковой», — от убийства царевича Алексея до гибели Параша в пустынных волнах петербургского наводнения.

Безбожный Борис, безбожный Петр... У них, разделенных веками, мгновенно проступают общие характерные черты.

С известной осторожностью можно отметить, что ключевой эпизод петербургской поэмы кое-что обратным светом высвечивает в характере и поступках заглавного героя пушкинской трагедии. Царь Борис ведь тоже «строитель чудотворный». Об этом много и подробно пишет неоднократно прочитанный Пушкиным Карамзин. Например, в Москве при Годунове построены стены Белого города и колокольня Ивана Великого в Кремле. В одном из вариантов «Евгения Онегина» Пушкин прямо называет эту колокольню «башней Годунова» (VI, 478). Ясный намек на годуновское градостроительство слышен и в самой трагедии, в монологе Бориса «Достиг я высшей власти»:

Пожарный огонь их дома истребил,  
Я выстроил им новые жилища,  
Они ж меня пожаром упрекали! (VII, 26)

Если бы кумир на бронзовом коне снизошел до объяснений с Евгением, то он мог бы сказать то же самое: я выстроил вам новую столицу, я сыскал вам настоящие работы, я одержал военные победы. А вы меня упрекаете — чем? Наводнением, пожаром, стихийным бедствием, которое мне неподвластно? Тем, что сам Бог вас наказывает?

В этой связи стоит оценить и тот эпизод первой части «Медного всадника», где на балкон дворца в разгар наводнения выходит Александр I: «Печален, смутен вышел он / И молвил: «С Божией стихией / Царям не совладеть» (V, 141). Император как бы подхватывает, в смягченной форме продолжает монолог Бориса, с которого все спрашивают за последствия Божьего гнева. Разбирая это место «Медного всадника», Н.В. Измайлов заметил, что единственным источником для Пушкина здесь послужила статья «Частные случаи петербургского наводнения», написанная А.С. Грибоедовым. «Не известен, — заметил Измайлов, — источник слов, произнесенных царем, — возможно, Пушкин знал их по устным рассказам очевидцев. Пушкину этот эпизод был нужен...»<sup>43</sup>.

Исследователь совершенно прав. Остается только добавить, что слова Александра I нужны Пушкину прежде всего потому, что они находятся в русле постоянных размышлений поэта о «Божьем» и «кесаревом». Источник слов царя потому, думается, и не найден, что реплика вымышлена самим Пушкиным — как вымышлены многие реплики и монологи Годунова и других действующих лиц трагедии.

Так обстоит дело с «кесаревым» началом. В «Годунове» оно выражено эмблематической «копеечкой» и живым Борисом; в «Медном всаднике» — эмблематическим, но оживающим памятником. И — Александром I на балконе.

Столь же едины, по существу сходны, символические образы тех, кто противостоит кесарям и в трагедии, и в поэме. Мы далеки от того, чтобы реально отождест-



влять юродивого и Евгения. Но кое-какие символические переключки все же нуждаются в обсуждении.

Первое важное наблюдение принадлежит здесь тому же Н.В. Измайлову, который давно заметил особенность одной предфинальной строки «Медного всадника». Когда после ужасной ночи Евгению случалось вновь видеть памятник Петру, то

...К сердцу своему  
Он прижимал поспешно руку,  
Как бы его смиряя муку,  
Картуз изношенный съмал. (V, 148)

Измайлов пишет, что поправляя текст по цензурным замечаниям, Пушкин заодно переделывает и строку о головном уборе героя. В предшествующем варианте было:

Колпак изношенный съмал. (V, 495)

Это, по словам Измайлова, нечто, «напоминавшее о Юродивом в «Борисе Годунове»<sup>44</sup>. В трагедии мальчишки прямо называют Николку «железным колпаком» (VII, 77). Оба оппонента царям, таким образом, безумны и носят колпак — то ли дурацкий, то ли намекающий на «фригийский» головной убор свободолюбцев времен Великой Французской революции<sup>45</sup>. Известно, что Пушкин хотел упрятать «свои уши» под колпак юродивого (XIII, 240). Не исключено, что, меняя в поэме «колпак» на нейтральный «картуз», Пушкин пытался упрятать эти «свои уши» еще глубже. Если так, то юродивый и Евгений находятся в близком родстве потому, что представляют от авторской позиции и в трагедии, и в поэме.

Но это другая тема.

Во всяком случае, юродство Евгения определяется далеко не только его безумием, но и разбираемым противостоянием кесарю в его эмблематическом образе. В «Медном всаднике» этот мотив — как в случае с колпаком — нередко спрятан в вариантах и разночтениях, не вошедших в основной текст. Например, в начальных — еще до наводнения — раздумьях Евгения возникает знакомый мотив «Божьего» и «кесарева». В основном тексте: «Что мог бы Бог ему прибавить / Ума и денег...» (V, 139). А в варианте: «Что мог бы [царь] ему прибавить / Ума и денег...»<sup>46</sup>.

Раздумья Евгения были бы сходны с назойливой просьбой Николки к старухе — «дай, дай, дай копеечку», — если бы не адрес обращения. Колебания Пушкина тут понятны: поминать Бога ради денежной прибавки — ход сомнительный, несколько суетный; ждать от царя, что он сделает героя умнее, — просто глупо. В результате Евгений теряет и деньги, и даже разум. Но обретает священное безумие обличителя: «Ужо тебе...».

А.Е. Тархов пытался представить Евгения как некий вариант библейского пророка Иова<sup>47</sup>. Некоторые основания к тому есть. Например, безумного героя поэмы преследуют «злые дети», что роднит его с ветхозаветным страдальцем. В русле традиции Евгению как человеку Божию не подают «копеечку»; он питается «в окошко поданным куском» (V, 146)...

Таким образом, от реплик в толпе, ждущей Годунова, до мотивов петербургской повести возникает единое, весьма напряженное образное и философской пространство. Монарху на коне, символически обозначающему державную Россию, противостоит Россия живая, в ее священном безумии и бескорыстии. Далеко не только в «Борисе Годунове» и «Медном всаднике» размышляет Пушкин об этом коренном противостоянии. Можно было бы напомнить о Мельнике из «Русалки», который бросает в воду монеты, поданные князем. Или о Самсоне Вырине, швыряющем деньги на потрясенную петербургскую мостовую. Или даже о скупом рыцаре Филиппе, замороженном блеском «динариев», и о его страхе захлебнуться, утонуть в крови, поте и слезах, пролитых за куски металла с государственной эмблемой. Филипп боится «потопа», и в этой обмолвке скупого рыцаря, может быть, провидится петербургское наводнение...

Мир Пушкина един, и разделение его на отдельные произведения иногда существенно, а иногда — как в нашем случае — условно и необязательно.

<sup>1</sup>Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. — Л., 1982. — С. 12.

<sup>2</sup>Первую сцену «Кремлевские палаты», хронологически чуть предшествующую третьей, Пушкин датирует точно («1598 года, 20 февраля»).

<sup>3</sup>Овсянников Ю. Ново-Девичий монастырь. — М., 1968. — С. 27-28 (пагинация наша).

<sup>4</sup>Пушкин. Полное собрание сочинений. — Т. 7. — Драматические произведения. 1935. — С. 272.

<sup>5</sup>Москва. Энциклопедия. — М., 1980. — С. 233. Обычай гуляний на Девичьем поле дожил до нашего века. Например, хроникальный сюжет «Гулянье на Девичьем поле» вошел в первый номер экранного журнала «Кино-Неделя» в мае 1918 г. См.: Советская кинохроника. 1918—1925: Аннотированный каталог. — М., 1965. — Ч. 1. — С. 10.

<sup>6</sup>Позже, 15 сентября 1826 года, Пушкин участвовал в гулянье на Девичьем поле по случаю коронационных торжеств (XIII, 296, 559).

<sup>7</sup>Фомичев С.А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 935 (из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. — Л., 1983. — Т. 11. — С. 32, 52, 64.

<sup>8</sup>Волович Н.М. Пушкинские места Москвы и Подмоскovie. — М., 1979. — С. 23.

<sup>9</sup>Г.О. Винокур указал источник, связывающий царевича и карту: в т. XI карамзинской «Истории» сказано, что Ф.Б. Годунов был автором ландкарты России, изданной в 1614 году немцем Герардом. — См.: Пушкин. Указ. соч. — С. 473.

<sup>10</sup>Леес Г. Абрам Петрович Ганнибал: Биографическое исследование. — Таллин, 1984. — С. 15. Пушкин, основываясь на ошибочных данных так называемой «немецкой биографии Ганнибала», мог думать, что его предок еще старше, родился в 1688 году. См.: Рукою Пушкина. — М.-Л., 1935. — С. 59.

<sup>11</sup>Земцов С. Ораниенбаум. — М., 1946. — С. 8.

<sup>12</sup>Там же. — С. 15.

<sup>13</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 1. — М., 1974. — С. 91. См. также письмо Е.А. Энгельгардта к Ф.Ф. Матюшкину от 24.XI.1836 года в кн.: Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. царскосельскому лицей: В 3-х т. — Т. 2. — Спб., 1912—1913. — С. 95.

<sup>14</sup>Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал: Биографическое исследование. — Таллинн, 1980; Телетова Н.К. К «Немецкой биографии» А.П. Ганнибала//Пушкин: Исследования и материалы. — Л., 1982. — Т. X. — С. 272—285; Сергеев М. Сибирские злключения Арапа Петра Великого //Ангара. — Иркутск, 1970. — № 6. — С. 56—87; см. также: Малеванов Н.А. Прадел поэта //Звезда. — 1974. — № 6. — С. 156—167; Козмин Б.М. «В деревне, где Петра питомец...» //Временник Пушкинской комиссии. 1979. — Л., 1982. — С. 167—171; Букалов А. Роман о царском арапе. — М. 1990.

<sup>15</sup>Лицейские строки Пушкина о «праотце Фатаме», конечно, не могут считаться серьезным словоупотреблением (XVII, 15).

<sup>16</sup>Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. — М.—Л., 1935. — С. 52.

<sup>17</sup>Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал (1984). — С. 169.

<sup>18</sup>В своем «(Начале автобиографии)» Пушкин связывает перемену имени с трудностями, которые имя Януарий могло вызывать у жены арапа с ее немецким произношением (XII, 313).

<sup>19</sup>См.: Телетова Н.К. Указ. соч. — С. 277—278.

<sup>20</sup>Рукою Пушкина. — С. 52.

<sup>21</sup>Там же. — С. 36.

<sup>22</sup>Аверинцев С.С. Иосиф прекрасный //Мифы народов мира. — М., 1980. — Т. 1. — С. 555.

<sup>23</sup>Рукою Пушкина. — С. 51—52.

<sup>24</sup>Там же. — С. 35—36.

<sup>25</sup>Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. 7-е изд. — М., 1979. — С. 86.

<sup>26</sup>Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... 2-е изд. — М., 1843. — Т. 15. — С. 156—157.

<sup>27</sup>Недаром же, например, болгаринский выпад против Ганнибала поэт принимает как оскорбление, нанесенное ему, Пушкину, лично. Не чужд Пушкин и прямому самоотжествлению с библейским патриархом — дважды в письмах он сравнивает себя с Иосифом, ускользающим от несправедливой женской любви (XIV, 74; XV, 30).

<sup>28</sup>См.: Гершензон М. Сон и явь //Гершензон М. Статьи о Пушкине. — М., 1926.

<sup>29</sup>Тархова Н.А. Сны и пробуждения в романе «Евгений Онегин»//Болдинские чтения. — Горький, 1982. — С. 55.

<sup>30</sup>Мушина И.Б. Пушкин и его эпоха в переписке поэта//Переписка Пушкина: В 2 т. — Т. 1. — М., 1982. — С. 9.

<sup>31</sup>Вульф А. Н. Из «Дневника» //А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. — Т. 1. — М., 1974. — С. 421.

<sup>32</sup>Ахматова Анна. О Пушкине. //Статьи и заметки. Изд. 2-е. — Горький, 1984. — С. 29—30.

<sup>33</sup>Самойлов Д. Весть. — М., 1978. — С. 87.

<sup>34</sup>См.: Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. — М., 1975. — С. 171.

<sup>35</sup>Там же. — С. 170—172.

<sup>36</sup>Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. — Спб., 1840. — С. 77.

<sup>37</sup>Эта же мысль повторена в автобиографических записках Пушкина (XII, 305—306).

<sup>38</sup>Карамзин Н.М. История Государства Российского. — Т. 8. — Спб., 1817. — С. 42-43.

<sup>39</sup>Там же. — С. 325. В 1547 г. великий князь Иван IV принял титул царя, что и было отражено на копейках позднейших выпусков.

<sup>40</sup>Именно через это изречение апостола Павла православная церковь толкует понятие «кородивые». См.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. — Спб., 6/т. — С. 2394-2395.



<sup>41</sup>Там же. — С. 2394.

<sup>42</sup>Е.С. Хаев в статье «Эпитет «медный» в поэме «Медный всадник» совершенно точно обозначил этот двойной смысл металла: «Библейская медь — своего рода праметалл, связанный с богослужением... Медь античная — прежде всего военная и государственная» //Временник Пушкинской комиссии. 1981. — Л., 1985. — С. 182.

<sup>43</sup>Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения //Пушкин А.С. Медный всадник. — Л., 1978. — С. 203.

<sup>44</sup>Измайлов Н.В. Указ. соч. — С. 226.

<sup>45</sup>Подробнее об этом см.; Вапуно В.Э. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина //Пушкин. Исследования и материалы. — Т. 12. — Л., 1986. — С. 308–311.

<sup>46</sup>Пушкин А.С. Медный всадник. — С. 37.

<sup>47</sup>См. Тархов А. Повесть о петербургском Иове //Наука и религия. — 1977. — № 2.

**К**рупные города, в которых бывал Пушкин, известны наперечет. Это обе российские столицы (Москва, Петербург) да десятка полтора губернских центров, в разной степени знакомых поэту. В одних жилал; в других останавливался; третьи видел только из окна кареты. Но для образной памяти писателя вряд ли проходил бесследно хотя бы и один вскользь замеченный городской пейзаж.

В наши дни знатоки стихов нередко предпринимают издания сборников, которые можно условно объединить рубрикой: поэты о городах. Пушкин в таких книгах обычно представлен отрывком о Москве из седьмой главы «Евгения Онегина» и вступлением к «Медному всаднику», где во всем блеске нарисован Петербург, военная столица на берегах Невы. Тому, кто причастен русской культуре, напоминания не нужны: пейзажи романа в стихах и петербургской поэмы хрестоматийно известны, выучены наизусть.

Въезд Лариных в Москву вот уже скоро два века потрясает русского читателя быстрой сменой картин, причудливой игрой деталей, блеском европейско-азиатской роскоши. Особая свежесть, острота взгляда поэта объясняются здесь не только многолетним отсутствием автора в родном городе («как часто в горестной разлуке...»), но и несомненной новизной впечатлений. «Московские» строфы седьмой онегинской главы написаны под впечатлением неожиданного и невольного возвращения в старую столицу в сентябре 1826 года. Когда фельдъегерский экипаж съехал через Тверскую заставу, взгляду Пушкина предстал новый, невиданный город. Старый, тот, что был памятен Пушкину-мальчику, сгорел в пожаре 1812 года. И теперь с местами детских игр предстоялознакомиться заново, как бы впервые.

Напомним, как Пушкин начинает поэтический рассказ о своем (Лариных?) прибытии к северным московским заставам.

*Но вот уж близко. Перед ними  
Уж белокаменной Москвы,  
Как жар, крестами золотыми  
Горят старинные главы.  
Ах, братьцы! Как я был доволен,  
Когда церквей и колоколен,  
Садов, чертогов полукруг  
Открылся предо мною взруг. (VI, 154)*

*Картина на редкость ясная.*

Молодого города, восставшего из руин и пепла, Пушкин еще не видел, не знает. Поэтому в новой застройке он прежде всего выхватывает взглядом какие-то старые опорные точки, помогающие отличить одну московскую часть от другой. Такими ориентирами, понятно, становятся каменные храмы, почти не пострадавшие по пожара, — старинные, как жар горящие золотыми крестами соборы. В «полукруге» пейзажа именно вид «церквей и колоколен» прежде всего связывает прошлое с настоящим, помогает, например, отличить Пресню от Бутырок или Арбат от Покровки.

Такая «привязка» не только дает возможность чуть-чуть лучше понять онегинские строфы, но и просто окунуться в московские традиции. В старой сто-



лице в пушкинские времена даже почтовый адрес старались указывать не по улице, а по церковному приходу и домовладельцу.

Иное дело Петербург. Во вступлении к «Медному всаднику» доминантами невской столицы названы не церкви, а некие вообще высокие постройкИ:

*По оживленным берегам  
Громады стройные теснятся  
Дворцов и башен... (VII, 136)*

Конечно, ничто не мешает понимать под «башнями», скажем, колокольни петербургских храмов или увенчанные крестами башни Невского монастыря. Но суть не в этом. Петербург в сознании Пушкина совсем иначе построен. Это не московское созвездие приходоВ – «деревень», а четкая, логическая сетка улиц, площадей, каналов. Москва растет естественно, как дерево, наслаивая с годами очередные кольца; Петербург есть регулярное, сознательное произведение искусства. Так повелось от самого основания города. Вот записанная рукой Пушкина своеобразная прозаическая параллель к введению «Медного всадника» – из конспектов поэта к «Истории Петра» под 1718 годом:

«Петербург, по обстоятельствам утвержденный уже надежно за Россией, быстро отстраивался. Петр прибыл прямо на Васильевский остров, который должен был быть обстроен на манер Амстердама.

Заметя, что каналы уже амстердамских, и справясь о том у резидента Вильда, он закричал: «Все испорчено» и уехал во дворец в глубокой печали.

Петр жестоко пенял за то Меншикову. Архитектор Леблонд советовал сломать дома и завалить каналы и строить все вновь. «Я 9 т о д у м а л», отвечал Петр и после никогда о том не говорил» (X, 244).

Регулярность, намеренность петербургской застройки выступают здесь со всей очевидностью. Сетка улиц и каналов не только задана, но и подражает образцам – Амстердаму, Венеции, может быть, Гамбургу. Разница между новой и старой столицами постоянно занимала Пушкина; устами героя своего «Романа в письмах» он даже сравнивает Петербург с гостиницей, а Москву – с девичьей. Однако ж понимание особенности столиц находим у Пушкина вовсе не только в сфере историко-культурных суждений, но и как бы в самой ткани, в самой плоти творчества.

В наши дни никого не удивит понимание архитектуры как среды, в огромной степени определяющей образ жизни, образ мышления людей. В пушкинское время роль нерукотворных, природных факторов была больше, влия-

тельнее. И все-таки: в пушкинских стихах отчетливо слышны отдельно – мотивы строгого петербургского урбанизма и мотивы куда менее упорядоченного московского патриархального быта.

Вернемся к нашим основным примерам – седьмая глава «Евгения Онегина» и вступление к «Медному всаднику». И роман в стихах, и петербургская поэма написаны одним размером – классическим четырехстопным ямбом. Характер стиха, его структурные и просодические особенности, оказывается, существуют в тесной зависимости от городского пространства – московского или петербургского.

Нетрудно заметить, что пушкинский ямб с его правильным чередованием акцентированных и паузных стоп и полными рифмами в конце строк хорошо укладывается в строгую пространственную сетку Петербурга. Само развитие вступления к «Медному всаднику» воспринимается как отчетливая словесная параллель к регулярно выстроенной сетке улиц, площадей и каналов. Классический стих и классическая застройка воспринимаются как явления близкородственные, связанные единой традицией.

Проверим себя. Вот две строки из вступления к петербургской поэме:

Темнозелеными садами  
Ее покрылись острова. (V, 136)

Здесь образ некоего волшебства, чуда. Стремительности, с которой на мшистых, топких берегах возникает город, соответствуют живость, быстрота сложения стихотворной ткани. Не хочется заниматься унылой арифметикой; но

Петербург. Застройка Верхней (Дворцовой) набережной в 20-х годах XVIII в. Гравюра по рис. Х.Марселлуса

Петербург. Здание Двенадцати коллегий. Картина Ф.Алексеева (?) по рис. М.Махаева

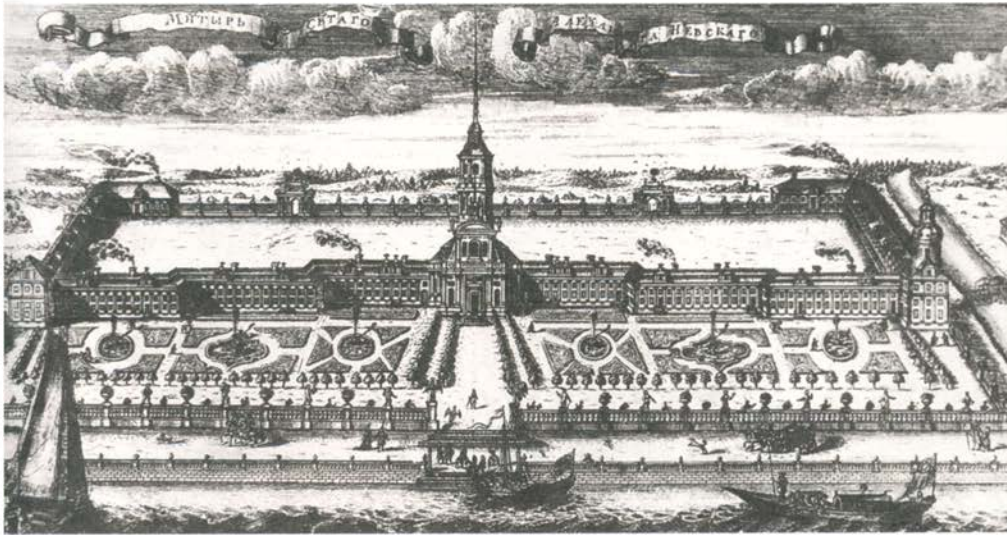
Александро-Невский монастырь. Клеймо «Панорамы Петербурга» 1716

Петербург. Казармы Белозерского полка. Перв. четв. XIX в. Вид со стороны двора

Петербург. Застройка Верхней (Дворцовой) набережной в 20-х годах XVIII в. Гравюра по рис. Х.Марселлуса

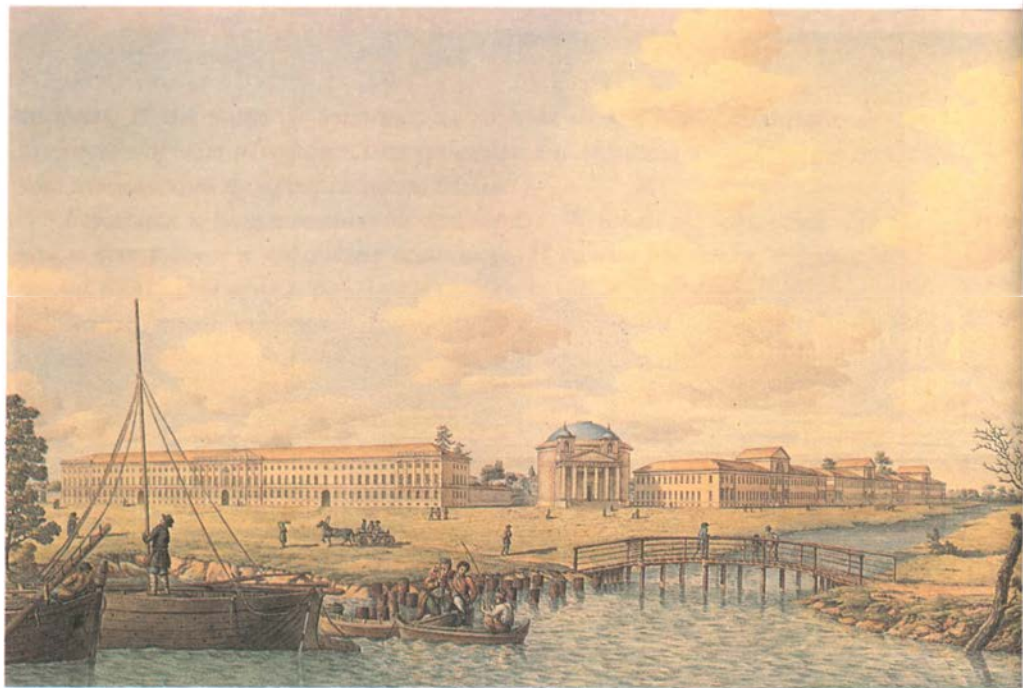






ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ∞



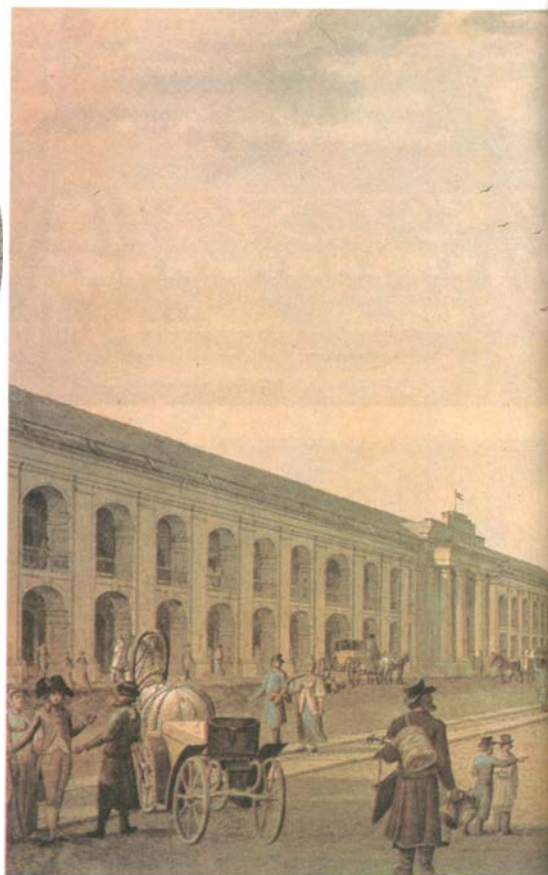


Петербург. Казармы Белозерского полка. Перв. четв. XIX в. Вид с реки

Панорама Адмиралтейской части Петербурга. Худ. Ж.Бернадаци. Фрагмент

Петербург. Вид Марсова поля (Царицына луга) от Летнего дворца. Литография—акварель С.Галактионова. 1821

Петербург. Невский проспект у Гостиного двора. Худ. Б.П.Патерсен







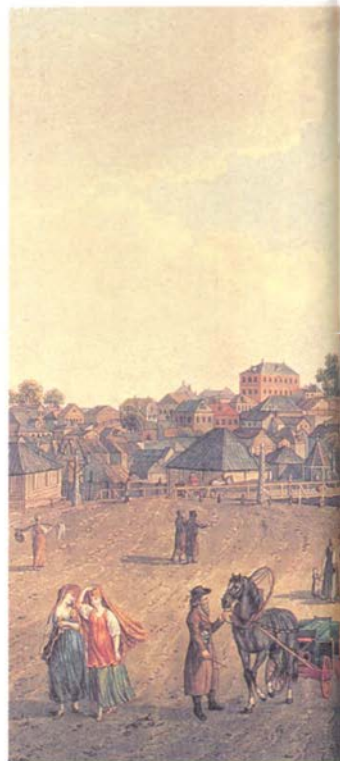
ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ∞



Москва. Измайлово. Покровский собор, Мостовая башня и Передние ворота. Литография А.Дюрана. 1845

Москва. Вид Яузского моста и дома Шапкина. Гравюра Ф.Лорье по рис. Ж.Делабарта. 1797

Вид на Кремль и Китай-город со стороны Москвы реки. Акв. Ф.Алексеева. Нач. 1800-х годов





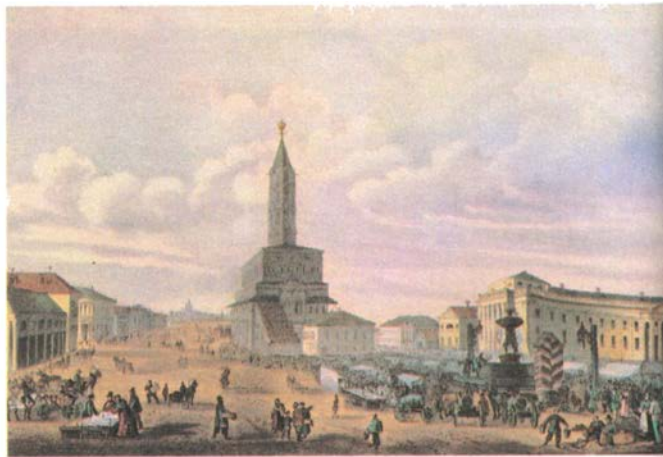


Москва. Пресненские пруды и Горбатый мост. Литография О.Кадоля. 1834

Москва. Триумфальные ворота у Тверской заставы. Литография Ф.Бенуа







все же заметим – в первой строке всего два слова, а во второй – три. Всего, значит, пять. Они стоят в «теле» строфы с такой же гармонической точностью, с какой, например, равняются в линию дворцы на невской набережной или чередуются элементы декора петербургского конногвардейского манежа.

Если отвлечься от стиховедческих тонкостей, то можно сказать, что сам образный строй «Медного всадника» задан петербургской гармонией организованного пространства. Трагедия приходит тогда, когда «строгий, стройный вид» нарушается наводнением, стихией, неподвластной человеку. Вместе с катастрофическим размыванием образа города происходит и разрыв ткани стиха. Вот самое начало, первый выплеск наводнения – по ходу поэмы:

*Погода пуще свирепела,  
Нева вздувалась и ревела,  
Котлом клюкоча и клубясь,  
И вдруг, как зверь остервенясь,  
На город кинулась. Перед нею  
Все побежало... (V, 140)*

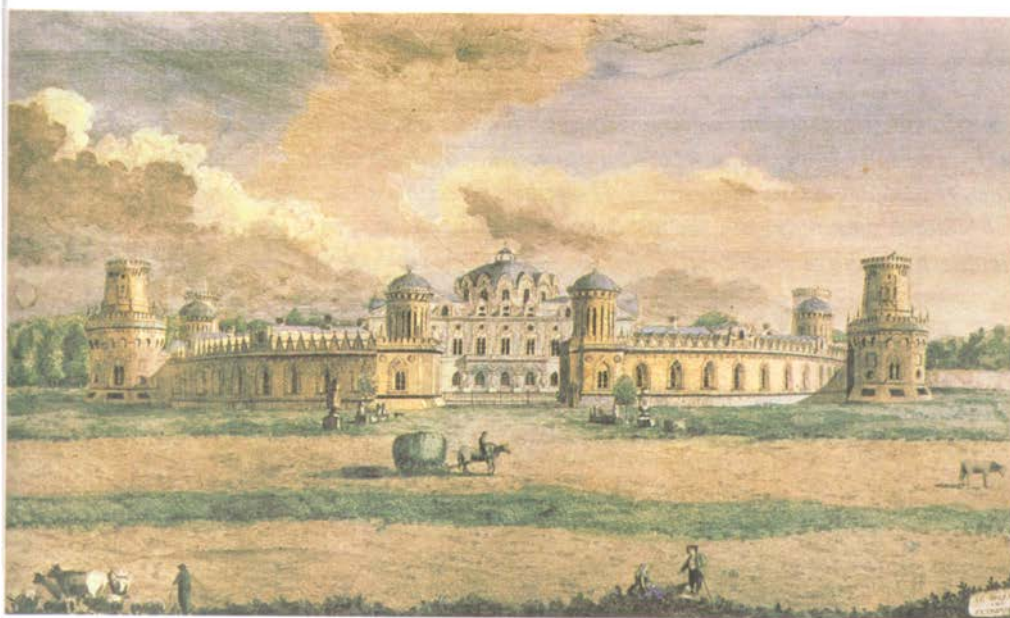
Вряд ли случайно строка «На город кинулась. Пред нею» – ни с чем не рифмуется. Она оставлена как облом, как руина прежней гармонии. И тем еще раз доказывается точное соответствие петербургского стиха и петербургского пейзажа.

Совсем другое дело – Москва.

Классический, как бы в мундир затянутый ямб, должен бы казаться чужеродным в путанице Кривоколенных и Кривоарбатских переулков, свернутых кольцом Садовых, диких пустырей, оврагов, огородов. Все так. Но не будем забывать, что Пушкин въезжает в Москву почти через полтора десятилетия после пожара 1812 года – город отстраивается, обретает новые черты. В его застройке все влиятельнее становятся ампирный особняк, колонны, поддерживающие классический фронтоны, триумфальные ворота, «львы на воротах» – да мало ли еще какие петербургские атрибуты.

После пожара Москва испытала на себе очередную экспансию петербургского зодчества. Облик дома, облик городской усадьбы изменялись, обретали обще-





Москва. Высоко-Петровский монастырь. Вид с улицы Петровка. Фото из альбома Н.Найденова

Москва. Петровский дворец. Гравюра с раскраской по рис. Ф.Кампорези. 1790

Москва. Красная площадь после перестройки Верхних Торговых рядов О.И.Бове. Литография И.Л.Деруа. 1825. По оригиналу О.Кадоля

Москва. Вид Сухаревой башни и части Шереметевской больницы. Литография по рис. Д.Струкова. 1836



европейские черты. Однако ж принципиально не была разрушена причудливая планировочная структура города; и прежде всего она сохранила своеобразие Москвы, ее патриархальную прелесть. Пушкинский ямб в «Евгении Онегине» весьма любопытно откликнулся на послепожарный пейзаж. Напомним уже приводившиеся в начале ключевые строки:

*Ах, братцы! Как я был доволен,  
Когда церквей и колоколен...*

*В первой строке – шесть слов; во второй – четыре.*

*И на глаз, и на слух строчки более протяженные и более дробные, чем в петербургской поэме. Логично воздвигнутый городской ансамбль за ними как-то не проступает. Тем не менее это все тот же классический ямб, что и в «Медном всаднике»; те же четыре стопы с рифмой на конце. Только устроены они несколько иначе.*

*Все дело в эмоциональном: «Ах, братцы!»*

*В нем слышатся чисто московские сердечность, нечиновность; если угодно, даже нерегулярность. Это «Ах, братцы!» длиною в полторы стопы носит вводный характер и как бы дополняет строку*

*... Как я был доволен...*

*приводит ее к классическому размеру – четырехстопному ямбу. Как Москва после пожара обретает отдельные черты регулярной застройки, так и пушкинский ямб, хорошо отражающий строгую петербургскую логику, начинает приспособливаться к путанице средневековых улиц, тупичков, свободно текущих ручьев и речек. В сущности эмоциональное «Ах, братцы!» ничего зримого не добавляет к пейзажу. Это всего лишь красочная вставка, с помощью кото-*







Москва. Вид на Богоявленский собор на Елоховской площади.  
Акв. С.Андряки



Москва. Церковь Успения Богородицы на Покровке.  
Литография сер. XIX в.

Москва. Церковь Прсв. Троицы в Троицкой слободе. Неизв. художник. Литография перв. пол. XIX в.



Москва. Церковь Похвалы Богородицы что в Башмакове у Всехсвятских ворот (близ Каменного моста). Не сохр. Фото из альбома Н.Найденова





Москва. Донской монастырь.  
Литография сер. XIX в.

Москва. Церковь Казанской  
Богоматери и Георгия Георгиев-  
ского монастыря. Не сохр.  
Фото из альбома Н. Найденова

рой картина старой столицы как бы «вгоняется» в рамки «мундифных» классических созвучий.

Примерно то же самое происходит в это время и в московской застройке. Петербург-то с самого начала парадно вытягивал свои фасады по «красным линиям» улиц. В послепожарной Москве тоже видны, наконец, попытки выпрямить старую деревенскую улицу, жестко провести «красные линии» и тем обозначить новую, европейскую упорядоченность. Но старомосковская традиция сильна, с трудом поддается петербургским регламентам. Поэтому здесь чаще приводят к прямой линии не дома, а участки. Московский барин был склонен ставить дом в глубине своего владения, чтобы окна выходили не на улицу, а в палисадник, в цветники и деревья.

И очень часто получалось так, что по петербургской «красной линии» в Москве выстраивались не фасады, а палисадники. Они-то, палисадники, и дополняли участок, квартал, улицу до регулярной прямизны. Старая московская вольность застройки часто прячется теперь за оградями и заборами, строго вытянутыми в линию. За этой линией начинались традиционная дробность, свобода расположения объектов – дом, беседка, конюшня, огород, сад, сараи, колодузы...

Может быть, онегинский стих из седьмой главы «устроен» на тех же началах. Вставное, «Ах, братцы!», подобное едва ли не палисаднику, дополняет «участок» стиха до классической правильности. А дальше, в глубине поэтического пространства, зримые объекты разбросаны в старомосковском беспорядке. Кто не помнит этого великого пира веселых, совершенно не официальных, непредусмотренных случайностей?

Возок несется чрез ухабы.  
 Мелькают мимо будки, бабы,  
 Мальчишки, лавки, фонари,  
 Дворцы, сады, монастыри,  
 Бухарцы, сани, огороды,  
 Купцы, лачужки, мужики,  
 Бульвары, башни, казаки,  
 Аптеки, магазины моды,  
 Балконы, львы на воротах  
 И стаи галок на крестах. (VI, 155–156)

Если продлить это наблюдение до нашего, двадцатого века, то, возможно, окажется, что и модерн, и стих, тяготеющий к модерну, по-разному ведут себя в наших столицах. Вольность, изначальная незаданность модерна легко и естественно укореняются в цветаевско-пастернаковской Москве. А вот регулярная сетка Петербурга с трудом «поглощает» свободные линии новых стилей.

Петербург модерна – город Ахматовой. Ведь именно ее классический стих наполнен новым, далеко не классическим смыслом. И гармония возникает по пушкинским образцам: через «вставки», через вынужденные смысловые разрывы внутри поэтической ткани.

Но это – другая тема...

~~Handwritten text at the top of the page, including the word 'Nosa' and several lines of illegible script.~~

~~Handwritten text in the upper middle section, possibly a title or introductory line.~~

Handwritten notes on the left side, including the word 'Mamma'.

Handwritten text in the middle section, starting with 'Et causa'.

Handwritten text in the middle section, starting with 'Nada, quia'.



Handwritten text in the middle section, including the word 'Tamen'.

Handwritten text in the middle section, including the word 'Nunc'.

Handwritten text in the middle section, including the word 'Sed'.

Handwritten text in the middle section, including the word 'Et'.



Handwritten text in the lower middle section, including the word 'Et'.





## Глава III

---

A decorative calligraphic frame consisting of a large, central oval shape with intricate, swirling lines extending from the top and bottom. The lines are black and have a fluid, cursive quality.

Над страницами  
«Евгения Онегина»

## ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В СТИХАХ

В разное время Пушкин по-разному называл «Евгения Онегина»: «роман в стихах», «свободный роман», «большое стихотворение», «собрание пестрых глав», «рассказ несвязный». В их ряду есть, однако, определение, уступающее остальным в изученности, но не в важности – строфа IV главы шестой начинается восклицанием:

Вперед, вперед, моя история (VI, 118).

Итак, сам автор считает свое произведение «историей», и его мнение, высказанное в момент преддзельного обострения сюжета, естественно входит в круг наших представлений. Называя «Евгения Онегина» историей, Пушкин, конечно, имеет в виду не только простое движение фабулы, но и нечто более высокое и сложное. Энциклопедия русской жизни по необходимости должна быть и исторической энциклопедией – иначе она неполна. Проблема, таким образом, не в существовании онегинского историзма, а в его характере, в его специфических особенностях.

Современный Пушкину читатель мог заметить крайнюю бедность романа историческими фактами. Вплоть до середины седьмой песни, когда, наконец, слышатся мотивы грозного восьмьсот двенадцатого года, повествование почти не касается крупных, общеизвестных событий. Исторический климат «Онегина» конечно же не определяется разрозненными ретроспективными деталями вроде «модных и старинных зал» (которые для героя, кстати сказать, равны), «очаковской медали» или «племен минувших договоров». Историческое в «Онегине» и масштабнее, и тоньше.

По-видимому, замечание Пушкина о том, что время в романе расчислено по календарю (VI, 193) либо относится только к фабуле, либо может быть истолковано чисто философски: смена времен года как образ замкнутого жизненного цикла. Если бы мы попытались этим календарем исчерпать исторический потенциал романа, то он сузился бы до шести-семи лет, где-то между 1819 и 1825 годами. Подобное суждение вряд ли плодотворно.

Прошлое в «Онегине» не подчинено простой календарной хронологии. Оно скорее напоминает мощные выходы геологических напластований; их мгновенный срез дает понятие о тектонике культурных слоев – по ним можно прочесть, как веками складывалась та социальная и нравственная почва, по которой ступают автор и его герои. В романе давно замечено органическое сосуществование всех образов исторического быта, известных к началу XIX столетия. Онегинский «брегет» в Петербурге отсчитывает те же часы и дни, в кои Татьяна верит преданьям простонародной старины; дева прядет при лучине в тот самый миг, когда негоцианка молодая слушает Россини в темноте театральной ложи, а поклонник Канта спокойно просит вечер у самовара.

Прошлое, застигнутое в современности, в полный голос звучит во многих онегинских строфах. Ночная беседа Татьяны с няней, например, есть диалог двух исторических эпох, и Пушкин отлично сознает это. В другом месте он прямо замечает, что алеуту никак не растолковать смысл дуэли двух офицеров (XI, 97); тут ясная

аналогия с Савельичем из «Капитанской дочки», совершенно по-алеутски не одобряющим рыцарского поединка. Понимание древнейших воззрений и форм поведения в современном мире есть вообще характернейший признак пушкинского творчества. Способом, подобным тому, каким Льюис Морган изучал быт индейцев, можно было бы при желании по одному только «Евгению Онегину» реконструировать весь тысячелетний путь России от патриархального язычества до Нового времени.

Но бытописание земли, или, говоря по-современному, этнографизм, далеко не единственный способ освоения истории в пушкинском романе.

Основное действие, определяемое жизненными путями Онегина и Татьяны, развивается как бы на неподвижном историческом фоне. Пушкин как образованный современник своих героев, конечно, знает и понимает крупные происшествия конца десятих — начала двадцатых годов — вроде бунта семеновцев или испанской революции. Но мотивы «голода, войны или подобной новизны» (VI, 204) в протяжении восьми глав не имеют никакого видимого влияния на судьбы и поступки героев. Историческое время идет, но ход его для России такой медленный, что им в романе можно пренебречь — Пушкин так и делает. Тут подход автора к русской действительности в точности соответствует ее особенностям.

Пушкин ощущает великую несобытийность отечественной жизни. Познакомившись, например, с записками австрийского путешественника XVII века, он не забывает отметить: «Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта елка, это печальное тавро северной природы — ничто, кажется, не изменилось» (XI, 230). Все описания деревенской России в «Онегине» родственны этому.

Шаг русской истории шире, масштабнее судьбы отдельного человека, чья жизнь могла и не прийтись на «минуты роковые» крупных сломов и революционных перемен. Таков Онегин; во всяком случае таков известный нам декабрьский Онегин. Татьяна, Ольга, Ленский — все они принадлежат бытописанию русской земли, но все тоже существуют как бы «мимо» текущих исторических происшествий. И здесь не случайность, а важная особенность произведения или, если угодно, авторской установки.

Проверим себя. За долгие годы, пока создавался роман, перо Пушкина на страницах «Онегина» не раз наталкивалось на злободневные реалии крупного исторического свойства. Но за редчайшими исключениями мы не находим их в окончательном тексте восьми основных глав — все это оставалось в черновых вариантах или перетекало в лирику, сопутствующую роману. Вот несколько примеров — общеизвестных, но с этой стороны недостаточно осмысленных.

Хрестоматийная строка «Хранить молчанье в важном споре» из строфы V первой главы в черновом наброске отсутствовала; зато содержание этого «спора» раскрыто автором с абсолютной исторической конкретностью:

...о Манюэле,  
О карбонарах, о Парни,  
Об генерале Жомини. (VI, 217)

Ни французский политик Жак-Антуан Манюэль (1775—1827), ни швейцарец на русской службе Генрих Жомини (1779—1869) в окончательный текст не попадают. Умалчивает беловая V строфа и о движении итальянских карбонариев, сильно занимавшем сознание Пушкина и современное ему общество. Всего этого ни в первой, ни в семи последующих главах романа нет и не будет. Понятно, что черновая строфа проясняет для комментатора<sup>1</sup> характер салонных споров вокруг героя, но к читателю она не обращена. Читатель-современник либо сам знает обычное содержание бесед в салонах, либо упомянутые имена ему все равно ничего не скажут. Таким образом, исторически конкретное при переходе от черновика к беловику как бы испаряется, переходит на степень обобщения, при которой отдельные лица и события становятся неразличимы.

Подобные переходы в «Онегине» не редкость.

Строки из IV строфы второй главы: «В своей глуши мудрец пустынный /Ярем он боярщины старинной/ Оброком легким заменил.../» (VI, 32) звучали в черновиках существенно иначе:

Свободы/ сеятель пустынный/

И далее:

Ярмо боярщины старинной (VI, 265).

В такой редакции стихи не только вступали в сложные отношения с цензурным уставом, но и (что для нас важнее) выбивались из ткани романа своей прямой причастностью к «истории современности», т.е. своею публицистичностью<sup>2</sup>. Почему из основного текста ушли «свободы сеятель» и «ярмо боярщины»? «...вероятно, из-за неуместности явной переключки со стихотворением «Свободы сеятель пустынный», которое выделилось из черновиков этой же второй главы», — замечает современный исследователь<sup>3</sup>. Значит, строки родились как онегинские, но не ужились в романе, ибо он замешан на других исторических дрожжах: причина, быть может, не единственная, но важная несомненно.

Таким же образом в подпочву «Онегина» ушел отрывок «В сраженьи /смелым/ быть похвально», традиционно относимый по смыслу к XXXIV строфе песни шестой. Мы не знаем (и вероятно не узнаем никогда) всех мотивов, по которым две строфы оказались за пределами основного текста, но интересующий нас признак налицо — злободневная конкретность исторического фона:

О, страх! О горькое мгно/венье/  
О Строганов/ когда твой сын  
Упал сражен, и ты один.  
/Забыл ты /Славу/ и/ сраженье. (VI, 412)

Тынянов догадался, что речь здесь идет о П.А. Строганове, чей сын погиб зимой 1814 года; узнав об этом в разгар битвы при Кране, Строганов-отец сложил с себя командование дивизией<sup>4</sup>. Если гибель Строганова-сына действительно предполагалась автором как параллель или как антитеза гибели Ленского, то неосуществлен-



ность этого сравнения в окончательном тексте говорит за себя сама: что-то удержало Пушкина от введения в шестую главу черт реального исторического события.

По-видимому, точно так же Пушкин отказывается в восьмой песни от строфы, в которой Онегин и Татьяна встречаются на балу, почтенном присутствием высочайших особ (VI, 637) — Александра I и великой княгини Александры Федоровны, будущей императрицы. А «Екатерининский сержант» (VI, 293) из черновика переходит во вторую главу как «Игрок и гвардии сержант» (VI, 45) — снова частно-историческое уступает обобщенной формуле. Медленность, неизменность русской жизни видны и в большом, и в малом: неважно, какие именно государи и государыни присутствуют на балу; а игроком мог быть равно и елизаветинский, и екатерининский, и павловский гвардеец.

Таким образом, роман как бы открыт конкретному историческому движению, но эта открытость почти на всем его протяжении остается нереализованной. Исторический потенциал «Онегина» переходит в кинематику главным образом за пределами основной фабулы — в примечаниях, в «Отрывках из путешествия Онегина» и особенно в «десятой главе», где романное повествование обретает вид исторической хроники. Здесь, наконец, проявляется способ обращения к прошлому, которого автор тщательно избегал в предыдущих песнях. Выведение хроники и исторических реминисценций за рамки фабульного единства «Онегина» убеждает в том, что роман к своему финалу изменяется, переламывается. И одним из главных показателей этого перелома служит другой историзм, другой подход к конкретно-историческим событиям.

Проверим себя еще раз.

По мере того, как к концу романа прорывается, наконец, движение исторического фона, дотоле почти неподвижного, отходят на второй план фабульные связи и даже герои. Сам главный герой, Онегин, исчезает где-то на половине отрывков из своего путешествия и совсем не появляется в «десятой главе». С некоторой долей допущения можно сказать, что на восьмой главе кончается один исторический роман, а дальше начинается другой исторический роман, связанный с первым, но существенно от него отличный. В конкретной событийности этого другого романа не видятся ли уже черты, которые будут отличать и «Медный всадник», и «Капитанскую дочку», и «Историю Петра»?

Но вернемся сейчас к законченному онегинскому восьмиглавию.

Итак, исторический фон восьми песен, по-видимому, нейтрален: административный произвол, голод, война или «подобная новизна» не вмешиваются в ход повествования. Но это и делает роман тем, что он есть: гениально **полным проявлением свободной воли героев**. Ход мировых событий как бы вынесен за скобки, а внутри этих скобок возникает неискаженная логика человеческого поведения. Всеобъемлющая формула «свободный роман», по-видимому, включает в себя и эту свободу — свободу от приземленно-буквальной исторической событийности.

Движение онегинской фабулы надо прежде всего понимать **как естественное** движение. Его исходная точка — смерть дяди — продолжается линией, в кото-

рой сплетены самые первозданные силы и проявления бытия: дружба, любовь счастливая и любовь несчастная, ревность, раскаяние, надежда, сожаление...

Общечеловеческое в «Онегине» столь очевидно, что ни в доказательстве, ни даже в обсуждении здесь не нуждается. По-ахматовски понимаемая «Онегина» воздушная громада/ Как облако» стоит над временем, над средой, хочется сказать, над историей.

Но — нет. Пути, по которым следуют в романе Онегин и его окружение, суть все-таки и пути исторические. И критерии, по которым автор судит своих героев, суть критерии исторические. Только это особый, присущий Пушкину историзм. Корни его надо, по-видимому, искать в умственной жизни «века просвещения», основанной на органических социальных теориях, на понятиях свободы и естественного права.

Французская Энциклопедия щедро черпала из прошлого; оно служило в сочинениях энциклопедистов и для доказательства исторической невозможности существования современного им рабского общества, и как нравственный урок монархам и вельможам. Здесь не место для широкого сопоставления исторических позиций французских просветителей с родственными им взглядами Пушкина — тем более, что такие сопоставления не раз делались. Нас будет интересовать только одно убеждение энциклопедистов, важное для понимания пушкинского романа. А именно: единые законы естества одинаково действуют и в жизни частного человека, и в деяниях исторической личности — будь то король, министр, папа и т.д. А значит и судить о частном человеке и об исторической личности надо на основе одних и тех же критериев.

Хорошим примером таких взглядов и примером, несомненно известным Пушкину, может служить статья Д. Дидро «Политическая власть» из первого тома Энциклопедии (1751). Она начинается с дефиниции, отнюдь не безразличной к ткани свободного романа: «Свобода — это дар небес, и каждый индивид имеет право пользоваться ею, как только начинает пользоваться разумом. Если природа установила какую-то власть, то лишь родительскую, притом она имеет свои границы и в естественном состоянии прекращается, как только дети начинают руководить собой»<sup>5</sup>.

Далее Дидро выводит из этого определения важные суждения о том, как соотносятся власть и частный человек; оказывается, монархи, будучи главами государства, «тем не менее остаются его членами» — приблизительно так, как глава семьи является и членом семьи. Но если естественный закон требует границ власти отца над взрослым сыном, то так же необходимы границы власти монарха над разумным подданным. Великий французский просветитель обращается к идеализированному примеру короля Генриха IV, чей образ главы и одновременно члена семьи-страны строится не только по канонам научно-исторического повествования, но и конечно же по художественным принципам. Так, в эпизоде принятия Нантского эдикта, коим во Франции была провозглашена веротерпимость, король принимает парламентариев со словами: «Вы видите меня в моем кабинете, и я говорю с вами не

в королевской одежде.., а как отец семейства, одетый в камзол, как для дружеского разговора с детьми»<sup>6</sup>.

Возможность облечь государственную историю в одежды, принятые в семейной или частной жизни, бесспорно осознавались и французскими энциклопедистами, и вслед за ними Пушкиным. Эта возможность, выведенная из естественных законов, потенциально несла в себе и обратный ход: разыграть высокую драму в кругу частных лиц и выстроить ее как аналог исторического действия.

Именно таким ходом можно попытаться объяснить историческое в «Онегине».

В самом деле: внимательно читая его строфы глазами историка, нетрудно убедиться, что действие и характеры романа близко родственны историческим. Тут те самые «странные сближенья» (XI, 188), которые в одном случае дают шутку с серьезным привкусом («Граф Нулин»), а в другом вполне серьезную драму, несколько пародирующую всемирную историю («Евгений Онегин»). Сближение коллизий и характеров «Онегина» с теми, что остаются с летописания народов, мощно пропускает на протяжении восьми глав.

Разбор всего романа с этой точки зрения занял бы, конечно, слишком много страниц, поэтому мы должны будем ограничить себя обращением к некоторым только строфам второй главы — она выбрана как самая «деревенская», самая удаленная, казалось бы, от хода мировой истории.

Случайная дружба и случайная вражда двух соседей-помещиков, разочарованного и восторженного, есть явление глубоко уездное. Увидеть здесь аналогию мировой ситуации было бы так же трудно, как пародирование истории в «Графе Нулине», если бы не пушкинская саморасшифровка. Представим себе, что вместо строфы XIV Пушкин по причинам, важным для него, а не для публики, выставляет только цифру. Тогда поверхностное чтение так и остается на уездном уровне. Но — счастливое обстоятельство — Пушкин вносит строфу в основной текст, а в ней ключ, в ней важнейшая историческая аналогия:

Мы все глядим в Наполеоны;  
Двуногих тварей миллионы  
Для нас орудие одно... (VI, 37)

Провинциальный случай, оказывается, той же природы, что и события, потрясшие Европу. По лучшим образцам Просвещения единые естественные законы господствуют и на исторической поверхности, где в битвах проявляются эгоизм и честолюбие Бонапарта, и за сельской мельницей, где гордец утверждает над ближним свое превосходство, быть может, мнимое. Тем самым наполеоновская тема («все глядим») подспудно пронизывает роман.

Не менее ясный случай родственного сближения частного и державного дают XXXI–XXXII строфы. В них — судьба старушки Лариной, которая в деревне «рвалась и плакала сначала», а потом примирилась; ее жизнь подытожена стихотворным переложением штаббриановой формулы о привычке:

Привычка свыше нам дана:  
Замена счастью она. (VI, 45).



Следующая строфа выясняет смысл замены счастию: жена «открыла тайну, как супругом Самодержавно управлять». В этом «самодержавно», конечно, привкус иронии. Но тем не менее слово сказано. Поместье понимается как государство, и в его династической истории отмечено фактическое правление женщины, государыни. Постулат о привычке потом найдет у Пушкина продолжение в «Борисе Годунове». Умиравший Борис будет внушать своему наследнику Феодору:

Не изменяй теченья дел. Привычка  
Душа держав... (VII, 90)

Органические представления века здесь несомненны: «душа держав» и срокная душа старушки Лариной оказываются сходны, основаны на неизменяемой привычке. Общество понимается как организм, подобный человеческому, а человек как часть общества, повторяющая целое. Маленькая помещица тоже, «как все», глядит «в Наполеоны», но по-своему, патриархально.

Попутно можно заметить, что из этого обобщенного «все» Пушкин исключает только Татьяну, не наделяя ее державными притязаниями; она кажется чужой в своей семье, а значит и в своей среде. Любопытно следить, как государственно-правовые и сословные понятия обнимают собой все, включая детскую:

Охоты властвовать примета,  
С послушной куклою дитя  
Приготовляется шутя  
К приличию — закону света,  
И важно повторяет ей  
Уроки маменьки своей. (VI, 43)

Татьяна, с детства не игравшая в куклы, не приготовлена властвовать ни другими, ни собою, что с позиций Онегина одно и то же. Его «учитесь властвовать собою» (VI, 79) — целая философия, которую Татьяна принять не может. Хотя впоследствии она поймет игру Онегина с «куклою чутунной» (VI, 147), т.е. те же наполеоновские устремления своего кумира.

Так обстоит дело, когда Пушкин дает понять — прямо или намеком — общность малого, бытового мира и мира большой истории. Но делает он это далеко не всегда: чаще всего такие соответствия живут в невидимой подпочве романа, однако они-то и создают у читателя острое ощущение конкретной исторической ткани даже там, где повествование, кажется, не поднимается над бытом. Когда Онегин заменяет барщину легким оброком, то нужно видеть, как «За то в углу своем надулся/ Увидя в этом страшный вред,/ Его расчетливый сосед» (VI, 32–33). Конечно, тут уездные дрязги. Но не только они. Ничто не мешает понять пушкинское описание в ином, обобщенном плане: если поместье повторяет собой целое государство, то и дрязги помещиков должны походить на международные отношения.

Корректность такого сравнения в данном случае укрепляется и экономической историей Европы XVIII–XIX веков. Фритредерство, основанное на невмешательстве государства в производство и свободе торговли, противопоставлено протекционизму, построенному на обратных принципах, что в русских условиях приблизительно со-

ответствует, с одной стороны, оброчному товарному хозяйству и отходничеству, а с другой — натуральному хозяйству и барщине. Поэтому на более высоком уровне «надувшимся соседом» может быть, например, протекционистская Франция против фритредерского Альбиона.

Все это несколько странно на сегодняшний взгляд, однако легко укладывается в русло воззрений пушкинского времени. Общине англазированной Онегина («дэнди лондонского») с «надутым соседом», не пошедшим от боярства дальше французского легитимизма, и не могло быть иным...<sup>7</sup>.

Таким образом, исторический «анекдот» разыгран на неисторических личностях, но полностью сохраняет все признаки исторической канвы. Осознавая «Онегина» как «историю», можно в заключение наметить и еще одну его особенность. Давно замечен вероятностный характер этого произведения. Например, Онегина, может быть, при других поворотах ждала судьба военного героя или декабриста; Ленский в ином случае становился известным поэтом, гордостью нации.

Другими словами, с самого начала романа была вероятность, что его герои воспарят над безвестностью, станут во главе политической и умственной жизни России. Что же тогда? Были у Пушкина исторические критерии для суда над персонажами? Несомненно были. Недаром же Пушкин, завершая восьмиглавие, поминает в черновике наряду с Державиным и Николая Михайловича Карамзина:

...И быта русского хранитель  
Скрижаль оставя, нам внимал  
И Музу робкую ласкал. (VI, 621).

Этический подход к исторической личности, привнесенный в русскую историографию Карамзиным на смену провиденциализму летописей, можно выявить и в нравственном потенциале «Онегина». Тема эта сложна и, кажется, совершенно не исследована, в ее разработке плодотворной параллелью свободному роману должны стать не только томы «Истории государства Российского», не только «Записка о древней и новой России», но и «Борис Годунов», «Полтава», «История Пугачева» и другие высокие приобщения Пушкина к прошлому России.

Александр Блок называл искусство напоминанием. Но искусство пушкинского «Евгения Онегина» не простое напоминание. В нем сгущается опыт веков, звучит голос многих времен и народов.

### ПОЭТ «ФОНВИЗИНСТВОВАЛ»...

Напомним строфу XI шестой главы романа:

Он мог бы чувства обнаружить,  
А не щегиниться как зверь;  
Он должен был обезоружить  
Младое сердце. «Но теперь  
Уж поздно; время улетело...

К тому ж — он мыслит — в это дело  
Вмешался старый дуэлист,  
Он зол, он сплетник, он речист...  
Конечно: быть должно презренье  
Ценой его забавных слов,  
Но шепот, хохотня глушцов...»  
И вот общественное мнение!  
Пружина чести, наш кумир!  
И вот на чем вертится мир! (VI, 121–122)

В контексте романа строфа представляет собой преддуэльное размышление героя, сопровождаемое авторскими комментариями. И мысленный монолог Онегина, и особенно обобщающие суждения Пушкина обнажают страшную пропасть между здравым смыслом и нормами светского поведения, между естественными проявлениями и реальными условиями существования онегинского круга.

Пушкин не был первооткрывателем этой пропасти. Он хорошо знал своих предшественников — и западных, и отечественных. Ближайшим из последних был А.С. Грибоедов. Недаром же строка «И вот общественное мнение!» здесь процитирована и снабжена особым авторским примечанием: «Стих Грибоедова» (VI, 194).

Чего боится Онегин, принимая заведомо бессмысленный вызов мальчишка-Ленского? «Стих Грибоедова», заимствованный из монолога Чацкого, объясняет последствия возможного отказа героя от поединка. Может родиться слух о трусости Онегина. А дальше — точно по «Горю от ума»:

Поверили глушцы, другим передают,  
Старухи вмиг тревогу бьют,  
И вот общественное мнение!<sup>19</sup>

Но грибоедовской строкой об «общественном мнении», бессмысленном и ложном, строфа не завершается. Пушкин ведет ее дальше, и итоговому восклицанию, в котором содержится другая, куда большая, чем в строке из «Горя от ума», мера обобщения:

И вот на чем вертится мир!

Стих о бессмысленном верчении мира, построенного на механическом приложении общих понятий («пружина») к каждому отдельному случаю, есть, по нашему мнению, еще одна цитата в ткани строфы. На этот раз цитата скрытая. Но так же, как и в первом случае, она заимствована из стихотворного текста.

Автор его — Д.И. Фонвизин.

Сюжет фонвизинского «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (1769) хорошо известен. Автор послания обращается к трем своим «людям» с философским вопросом: «на что сей создан свет?». И получает три разных ответа. Все они так или иначе клонят к мнению о тщете и бессмысленности мира. Нас будут интересовать несколько строк из монолога домашнего парикмахера Петрушки:



Я мысль мою скажу, — вещает мне Петрушка. —  
Весь свет, мне кажется, ребячья игрушка...  
Создатель твари всей, себе на похвалу,  
По свету нас пустил, как кукол по столу.  
Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,  
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.  
Вот как вертится свет!..<sup>9</sup>

Близкое текстуальное сходство между восклицанием фонвизинского Петрушки и завершающей строкой онегинской строфы — вряд ли простая случайность. Его следует комментировать.

Фонвизинское произведение Пушкин хорошо знал. Еще в лицейском стихотворении «Тень фон Визина» (1815) поэт не просто обнаруживает знакомство с «Посланием к слугам...», но в воображаемом монологе Дениса перефразирует именно приведенные строки из речи Петрушки:

Вздыхнул Денис: «О боже, боже!  
Опять я вижу то ж да то же.  
Передних грозный Демосфен,  
Ты прав, оратор мой, Петрушка:  
Весь свет бездельная игрушка.  
И нет в игрушке перемен. (I, 157)<sup>10</sup>

Онегинская строка тоже вариант фонвизинской. Пушкин заменяет здесь «вертится свет» на близкое, синонимическое: «вертится мир». Объяснить замену нетрудно. Пушкин даже в прозе, где меньше права на «вольность» при цитировании, нередко подставляет близкое по значению слово. Примером может служить заимствование как раз из Фонвизина. В эпиграфе к главе третьей «Капитанской дочки» автор ставит: «Старинные люди, мой батюшка. *Недоросль*». Между тем в «Недоросле» эта реплика госпожи Простаковой звучит несколько иначе: «Старинные люди, мой отец!» (действие III, явление 5).

Но сходство пушкинской и фонвизинской строк не только текстуальное. Их сближает и смысловой контекст произведений. В пределах комментируемой онегинской строфы все действующие лица — Евгений, Ленский, Зарецкий, хохочущие глупцы — лишены собственной воли, поступают сообразуясь с внешними обстоятельствами. Их поступки по существу и есть танец марионеток, движимых не разумом, а посторонней механической силой — «пружиной». К ним (опять-таки только в пределах строфы) вполне приложимо сравнение, которым пользуется Петрушка:

По свету нас пустил, как кукол по столу...

Образ куклы, как существа, движимого не разумом, а механическим усилием светской условности, хорошо знаком читателям пушкинского романа. Уже в главе второй присутствует важный мотив жизни-игры, жизни — кукольной комедии, насаждаемой в дворянском быту с детства:

С послушной куклою дитя  
Приготовляется, шутя,  
К приличию — закону света. (VI, 43)

Татьяна — по крайней мере в начале романа — далека от подобных игр. Онегин погружен в них целиком; недаром же мы уже замечали, что его идол — «столбик с куклою чугунной» (VI, 147), т.е. Наполеон, как бы олицетворяющий антигуманное начало, являющий собой некий предел несвободы...<sup>11</sup>.

Теперь попробуем понять, почему Пушкин отметил примечанием заимствование из «Горя от ума», но молчит о прямом родстве последней строки с «Посланием к слугам...» Ю.М. Лотман, комментируя XI строфу, пишет: «Грибоедовская цитата входит в (авторский текст), интонационно и идеологически в нем растворяясь: Пушкин как бы солидаризуется с Грибоедовым, опираясь на его авторитет. Поэтому он отмечает самый факт цитаты, но не выделяет ее графически»<sup>12</sup>.

Вероятно, такое же растворение происходит и с фонвизинской строкой: она совершенно точно совпадает с идеей и интонацией строфы. Думается, однако, что Пушкин дает примечание «Стих Грибоедова» вовсе не потому, что «солидаризуется» с автором «Горя от ума». Дело проще. В 1826 году, когда идет работа над шестой главой романа, комедия Грибоедова еще не опубликована. Это и обязывает Пушкина дать примечание. А фонвизинское «Послание...» напечатано почти шесть десятилетий тому назад. Оно — образцовое сочинение, оно у всех на устах; ссылка на источник, видимо, не нужна.

Близость общественных и литературных взглядов Пушкина к традициям Фонвизина — общеизвестна<sup>13</sup>. Например, в одном из писем, адресованных П.А. Вяземским М.И. Бартеневу, прямо было замечено, что на рубеже 20–30 годов Пушкин в дружеских и литературных спорах «фонвизинствовал»<sup>14</sup>. И строка, завершающая XI строфу шестой главы, — еще одно тому свидетельство.

### «УМ, ЛЮБЯ ПРОСТОР, ТЕСНИТ...»

На протяжении своего романа Пушкин дважды обращается к известному и расхожему выражению: «ум, любя простор, теснит». Этот афоризм весьма популярен у исследователей «Онегина», он давно, если воспользоваться выражением В.О. Ключевского, «оброс литературой».

Не вдаваясь в детали противоречивых оценок, мы ограничимся лишь указанием на один забытый источник формулы и постараемся поставить ее в связь с некоторыми суждениями современников Пушкина.

Но напомним оба контекста, в которых Пушкин приводит афоризм о теснящем уме. Сначала — в беловом автографе главы седьмой, в строфе I «Альбома Онегина», не вошедшего в основной текст. В альбомной записи герой отмечает, что его не любят в обществе, на него клеветают:

За что? за то, что разговоры  
Принять мы рады за дела,  
Что вздорным людям важны вздоры,  
Что глупость ветрена и зла,

Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит —  
Что ум любя простор — теснит. (VI, 614).

В основном тексте главы восьмой (строфа IX) сходное суждение дано не в первом лице, как в «Альбоме», а в третьем. Это как бы авторская реплика в защиту Онегина перед лицом высшего света:

— Зачем же так неблагоприятно  
Вы отзываетесь о нем?  
За то ль, что мы неутомно  
Хлопочем, судим обо всем,  
Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет иль смешит,  
Что ум, любя простор, теснит, /.../  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна. (VI, 169)

Источник стиха о теснящем уме не раз обсуждался. В.В. Виноградов по этому поводу писал: «Этот стих — ходячая, хоть и несколько видоизмененная цитата. Ее исторические корни раскрываются у И.С. Аксакова: «Говорить снова о перевороте Петра, нарушившем правильность нашего исторического развития, было бы излишним повторением. Мы могли бы, кстати, говоря об уме, припомнить слово, приписываемое Кикину и хорошо характеризующее наше умственное развитие. Предание рассказывает, что Кикин на вопрос Петра, отчего Кикин его не любит, отвечает: «Русский ум любит простор, а от тебя ему тесно»<sup>15</sup>.

Следуя в своем комментарии за В.В. Виноградовым, Ю.М. Лотман приводит ту же цитату из И.С. Аксакова и вскользь замечает, что «мы располагаем несколькими близкими версиями этого устного предания»<sup>16</sup>. Далее Ю.М. Лотман пишет: «Раскрытие источника цитаты объясняет ход мысли Пушкина: судьбы русских онегинных связываются для автора с размышлениями над итогами реформы Петра I. Одновременно можно отметить резкий сдвиг в решении этих проблем, произошедший между седьмой и восьмой главами: сочувственная цитация слов Кикина — заметный шаг на пути от концепции «Полтавы» к «Медному всаднику»<sup>17</sup>.

Но, во-первых, неясно, что понимается тут под «раскрытием источника цитаты». По причинам чисто хронологическим Пушкин не мог читать произведений И.С. Аксакова (1823–1886). Во-вторых, непонятно, какой «резкий сдвиг» в оценке петровских реформ произошел у Пушкина за время между седьмой и восьмой главами. Ведь в «Альбоме Онегина» (седьмая глава) и в IX строфе (восьмая глава) комментируемая строка существует в одной и той же редакции и в совершенно аналогичном смысловом контексте.

Пусть кикинский эпизод восходит к устным преданиям, бытовавшим в XVIII столетии. Но едва ли не с полной уверенностью можно сказать, что Пушкин знает



реплику Кикина не в изустной передаче, а из печатного текста. Ибо она приведена в хорошо известном поэту сочинении И.И. Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России». Давно доказано, что с многотомным трудом Голикова о Петре Пушкин познакомился во всяком случае не позднее 1825 года<sup>18</sup>, т.е. до работы над седьмой и восьмой онегинскими главами.

Голиковский анекдот, о котором идет речь, носит длинное — в традициях XVIII века — название: «Один злодей в сонного Государя дважды стреляет из пистолета, но оба раза онъй осекается».

Что же узнает Пушкин из этого сочинения?

Апологет Петра Голиков начинает свой рассказ как историю избавления государя от смертельной опасности: некий злодей проникает к постели Петра, стреляет в спящего, но божественному провидению угодно отвести гибельный исход. Далее историограф пишет: «Впрочем и не утверждая заподлинно, чтобы изверг сей был Кикин, можно однако-же о нем сказать, что крайняя неблагодарность его /.../ доказывает чудовищное его сердце, способное к самым величайшим злодействам»<sup>19</sup>.

Так и не решив, Кикин ли пытался убить Петра, Голиков продолжает рассказ о Кикине как о величайшем преступнике. Государь возводит злодея в достоинство «Адмиралтейского Президента», а он ворует на хлебных подрядах. За «похищение казенных интересов» суд приговаривает президента к лишению имущества и ссылке, но Петр его прощает и даже оставляет в прежнем «толь важном звании». Однако милость не впрок: Кикин становится главным развратником несчастного царевича Алексея Петровича. Тут уж «благодетельный государь» вынужден предать Кикина казни<sup>20</sup>.

«Но кажется, — пишет Голиков, — что Его Величество, и тогда еще жалея лишиться в нем ума тонкого и способного к важным препоручениям, расположен был еще простить его, ежели б только увериться мог в сердечном его раскаянии. И в сем-то намерении (как уверяли меня) благоволил он, накануне казни его, еще его видеть и спросить, что принудило его употребить ум свой в толикое зло? Какой же от него получил на сие Монарх ответ? Ум (сказал нераскаянный сей злодей) любит простор; а от тебя было ему тесно»<sup>21</sup>.

Голиковская версия анекдота, разумеется, не обязательна для Пушкина. И нет повода думать, будто в пушкинском романе буквально процитирован простодушный историограф. Но его запись все же важна как некая отправная точка размышлений и чувствований поэта.

Прежде всего отметим существенное различие между Голиковым и Аксаковым. Автор XVIII века не считает любовь к простору отличительным свойством русского ума. В уста Кикина он вкладывает суждение об уме вообще; реплика умного злодея носит, следовательно, общечеловеческий характер. Поздняя формула Аксакова, по видимому, тоже восходит к Голикову. Но, верный славянофильским пристрастиям, Аксаков не поминает криминальных действий противника Петра — вроде воровства на хлебных подрядах. Затем, вводя понятие «русский ум», Аксаков трактует всю

ситуацию противостояния Кикина и Петра как борьбу здорового национального начала с тлетворным космополитическим реформаторством — тоже в славянофильском духе.

Все это тяготеет к другому этапу общественных и литературных воззрений и мало помогает в истолковании «Онегина». Тема Петра, конечно, вырисовывается в подтексте строки, однако прямая оценка петровских реформ вряд ли здесь присутствует.

Но заметим: традиция, начатая Голиковым и продолжаемая Аксаковым, при всех различиях авторских воззрений, подчеркивает одно и то же положение — есть некий ум, которому тесно в предлагаемых общественных обстоятельствах. Пушкин же все переиначивает, описывает совершенно противоположную ситуацию: онегинский ум активен; не его теснят, а он сам «теснит» косную светскую среду.

Сочувствие Пушкина на стороне теснящего, а не на стороне теснимого (или теснимых). Отсюда, конечно, не следует, будто Пушкин непременно берет сторону Петра против Кикина или — уж вовсе неправдоподобно! — сторону Александра I против свобомыслия. Нам представляется, что обращение поэта к анекдоту XVIII века лежит совсем в иной плоскости. Оно навеяно скорее причинами личными и этическими, чем общественно-историческими мотивами.

В связи с голиковским рассказом не стоит обсуждать, как относился Пушкин к неудавшемуся царевубийству (в чем, кстати, обвиняли декабристов), к делу царевича Алексея, а тем паче к воровству на хлебных подрядах. Рискнем предположить, что внимание Пушкина привлек ясно выраженный поединок персонажей, спорящих об уме и чести. В самом деле: царь и подданный. Подданный осужен, но царь искушает его последним вопросом. Сказав правду, можно сохранить честь и лишиться головы; солгав, можно сохранить голову и лишиться чести. Кикин выбирает первое. Тем и определяется, мы думаем, отношение Пушкина к опальному адмиралу.

Седьмую главу «Онегина» Пушкин начал писать примерно в сентябре 1827 года, т.е. через год после знаменитой беседы с царем в Московском Кремле. Обстоятельства этого диалога близко напоминают ситуацию голиковского рассказа. Конечно, Пушкину грозит не казнь, но крепость или Сибирь вполне возможны. Вопрос Николая I — «что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — искушает собеседника. Правдивый ответ с точки зрения царя неблагополучен — за преступное намерение можно сильно поплатиться. Но и неправда опасна: царь ведь неглуп, поймет, что собеседник лукав и неискренен. Пушкин, как известно, выбрал тот же путь, что и Кикин — сказал опасную правду.

Важное свидетельство Д.Н. Блудова: после беседы с Пушкиным Николай I понял, что «разговаривал с умнейшим человеком в России»<sup>22</sup>. В словесном поединке поэт явно «потеснил» царя.

Таким образом, Пушкин переиначил формулу Голикова сначала в жизни, а потом в строке «Онегина»: теснящий ум выше, достойнее ума теснимого, в умственной среде нет царственных привилегий, **«истина сильнее царя»** (XVI, 224).

Тот же мотив появится потом в «Капитанской дочке». Пленный Гринев должен ответить на вопрос Пугачева: «Ты не веришь, что я великий государь?» Ответ Гринева построен совершенно по тому же принципу, что и ответ Пушкина Николаю I. Сильно рискуя, офицер тем не менее апеллирует к разуму мнимого царя: «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смьшленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую» (VIII, 332). Эту реплику своего героя Пушкин сопровождает многозначительным замечанием в скобках: «и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту» (VIII, 332). Нет ли тут самооценки Пушкина через десять лет после кремлевского разговора с царем?

Но вернемся к онегинской теме. По признаку «теснящего ума» Онегин близок Петру I, декабристскому кругу, наконец, самому Пушкину. Родственность, сомасштабность героя историческим личностям, намеченная строками «Альбома» и восьмой главы, существенны. Возможно, в них теплится след нереализованной перспективы «Большого Онегина», где вчерашний «добрый приятель» обретал бы масштаб исторической личности.

Так ли, иначе ли, но в комментируемой строке Пушкин намечает важнейшую эволюцию Онегина. Если в первой главе свет снисходительно решает: «умен и очень мил» (VI, 7), то теперь онегинский ум уже не так безобиден. Потому-то общество откликается нелюбовью и клеветой. Тем самым Пушкин акцентирует здесь не только на том, как среда одолевала героя, но и на том, как Онегин «теснил» общество, как он был опасен для света.

А.А. Ахматова, один из самых чутких к Пушкину исследователей, давно заметила, что мы с привычной односторонностью судим о том, почему высший свет, его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. «Теперь настало время, — отмечает Ахматова, — вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что **они** сделали с ним, а о том, что **он** сделал с ними»<sup>23</sup>, и утверждает: Пушкин выгеснил из нашей памяти, из истории, огромное большинство своих посредственных современников...

Онегин — не Пушкин; он не удостоился такой судьбы. Но был готов к ней. Именно об этом напоминает нам историческая реплика петровского времени, сильно переосмысленная Пушкиным и примененная к герою романа.

### СКРЫТЫЙ ПСАЛОМ

В черновых рукописях «Путешествия Онегина» составители Большого академического собрания сочинений Пушкина выделили раздел «Сводные рукописи предполагаемой главы осьмой», включающей 34 строфы. Три завершающие строфы посвящены здесь расставанию с Онегиным, который «пустился к невским берегам» и «печальному приезду» автора в далекий северный уезд. В воображении своем поэт вечно видит «мир и сон Тригорских нив»:



И берег Сороти отлогий  
И полосатые холмы  
И в роще скрытые дороги  
И дом, где пировали мы —  
Приют, сияньем муз одетый  
Младым Языков/ым/ воспетый  
Когда из капища наук  
Являлся он в наш сельский круг  
И нимфу Сор/оти/ прославил  
И огласил поля кругом  
Очаровательным стихом;  
Но там и я свой след оста/вил/  
Там ветру в дар, на темну ель  
Повесил звонкую свирель —

18 сент. Болдино  
1830. (VI, 506)

В нашу задачу не входит изучение места этой строфы в контексте романа; современный комментатор дает подробную сводку мнений по этому вопросу<sup>24</sup>. Наше внимание будет сосредоточено на завершающих строках строфы, ставших хрестоматийными.

Литературная ориентация последнего двустишия с первого взгляда кажется простой и очевидной. Образ свирели, повешенной на ель, тяготеет к позднему мифу о золотой эоловой арфе, покоющей от дуновения ветра. Очевидна и руссификация образа: свирель вместо арфы, «темная ель», конечно, невозможная в священных рощах Эллады. Такое объяснение вполне корректно. Оно подкреплено и другими образами строфы: рощи, «приют, сияньем муз одетый», речная нимфа и т.д.

Слышатся в двустишии и пасторальные мотивы, близкие Руссо. Пушкин несомненно помнит описание Эрменонвиля, где жил и похоронен Руссо, сделанное Н.М. Карамзиным в «Письмах русского путешественника»: «Прежде всего поведу вас к двум густым деревьям, которые сплелись ветвями, и на которых рукою Жан-Жака вырезаны слова: **любовь все соединяет**. Руссо любил отдыхать под их сенью/.../. Тут рассеяны знаки пастушеской жизни: на ветвях висят свирели...»<sup>25</sup>.

Но строки о свирели, повешенной на ель, могут, как нам кажется, восприниматься и в другом смысловом ряду, не менее важном для Пушкина. Иная ориентация образа подтверждается обращением к широко известному в пушкинское время литературному источнику. Речь идет об иеремиаде «Плач при реках Вавилонских» из 136-го псалма.

1. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.
2. На вербах, посреди его, повесили мы наши арфы<sup>26</sup>.
3. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселия: «пропойте нам из песней Сионских».
4. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?<sup>27</sup>.

Знакомство Пушкина с псалмом, в котором певцы-пленники вешают арфы свои на вавилонские вербы, не подлежит сомнению. Ведь ситуация просто азбучная — по псалтирю учили детей читать. Можно только заметить, что первые стихи из 136 псалма активно живут в сознании поэта. Доказательство тому — черновики пушкинского письма, адресованного из Кишинева арзамасцам:

«В лето 5 от Липецкого потопа — /мы, превосходительный Рейн и/ жалобный сверчок, на лужице города Кишинева, именуемой **Быком**, сидели и плакали, вспоминая **тебя, о Арзамас...**» (XIII, 20).

Вся фраза есть пародия на первый стих приведенного псалма (XVII, 112). Сатирическая подмена персонажей и обстоятельств здесь очевидна. Рейн и сверчок (т.е. по-арзамасски генерал М.Ф. Орлов и Пушкин) представлены в виде плачущих певцов-невольников, а роль «рек Вавилона» играет кишиневская речка Бык. Священное место, холм Сионский, с которым разлучены плачущие, конечно же, петербургское литературное общество «Арзамас».

Разумеется, эпистолярная пародия молодого Пушкина проще, яснее обсуждаемой онегинской строфы, написанной десятилетие спустя. Но общая ориентация обоих произведений на один и тот же источник выступает вполне отчетливо. Письмо к арзамасцам есть перефразировка первого стиха псалма, а онегинское двустипшие — переосмысление второго стиха того же псалма.

Простые смысловые соответствия между строками «Евгения Онегина» и стихами псалмопевца можно наметить лишь очень предположительно: будем помнить, что перед нами фрагмент черновика, явно не заверченный и не отделанный. В его вариантах два очень важных для нас разночтения:

Там на горе, на темну ель

и

И на горе, на темну ель. (VI, 506)

Гора, где повешена свирель, может тяготеть к образу золотой арфы. А может быть осознана и как священный холм Сиона, вспоминаемый в некоем пленении, сходном с вавилонским. Обстоятельства «северного уезда», в который ссыльный Пушкин приезжает в 1824 году, дают материал для осторожных параллелей. Не идет ли речь о холме Тригорского, который для Пушкина есть образ земли обетованной? Такое предположение находит некоторую опору в предшествующей строфе, построенной как воспоминание о дружеском круте Тригорского:

Нет нет! нигде не позабуду  
Их милых, ласковых речей —  
Вдали, один среди людей  
Воображать я вечно буду  
Вас, тени прибережных ив,  
Вас, мир и сон Тригорских нив. (VI, 505)

Но возможно и более широкое истолкование образа обетованной земли, где повешена арфа-свирель: не только тригорский холм, но и вся окрестность, включающая Михайловское, Петровское, Савкино. Смысловым центром этой округи будет Святогорский монастырь, откуда и вся местность носит название: Святые Горы. Само звучание топонима близко подводит к библейскому понятию священного холма, на который ориентированы горестные воспоминания псалмопевца.

К этому же толкованию близка и пророческая строка: «Где б ни ждала меня могила» (VI, 505) из предшествующей строфы.

Все это, однако, предположения. Вместе с тем не подлежит сомнению, что со строками о свирели, повешенной на ель, в онегинскую строфу входит тема плена, изгнанничества<sup>28</sup>.

Пушкин не по своей воле приехал «в далекий северный уезд» и также не по своей воле покинул его два года спустя. Свидетельств того, как тяготила поэта ссылка в Михайловское, более чем достаточно, и мы не станем их приводить<sup>29</sup>. Гораздо важнее для нас то, как изменилось его отношение к месту ссылки потом, в годы странствий, на которые приходится работа над завершением «Евгения Онегина». Уже в ноябре 1826 года Пушкин пишет из Михайловского П.А. Вяземскому: «Вот я в деревне/.../. Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму» (XIII, 304). Четыре года спустя тем же «поэтическим наслаждением» проникнуты и сами воспоминания о местах прежней неволи.

Строки о свирели, оставленной в Святых Горах, Пушкин пишет в новом заточении — болдинском. На этот раз его отделяют от мира холерные карантинные. Теперь, с дистанции в несколько лет, обетованной землей, увенчанной по библейской традиции священным холмом, кажется поэту прежняя «тюрьма»:

Что пройдет, то будет мило. (II, 270)

Но, думается, в двустихии о свирели, толкуемом как библейский мотив, есть и непреходящее значение. Чтобы его понять, необходимо отвлечься от конкретно-биографических реалий и осознать онегинскую строфу в широком контексте современной Пушкину русской жизни. Читателю, к которому прямо обращен пушкинский стихотворный роман, могут быть неизвестны и неважны подробности северной ссылки или холерного заточения поэта. Как только читатель осознает параллель свирели и ели с арфой и вербами 136 псалма, так для него мгновенно становится понятен образ поработанного народа, поэты которого в неволе.

Чтобы это показать, достаточно обратиться хотя бы к сочинению декабриста М.С. Лунина, старшего современника Пушкина. В своей работе «Общественное движение в России в нынешнее царствование. 1840» М.С. Лунин рисует картину крайнего социального неблагополучия в годы николаевского царствования. И прибегает к той же библейской параллели, что и у Пушкина:

«Рабство, утвержденное законами, является обильным источником безнравственности... За этот период не появилось ни одного сколько-нибудь значительного



литературного или научного произведения. Поэзия повесила свою лиру на вавилонские ивы»<sup>30</sup>.

Нам близок и понятен пафос автора-декабриста, чья любовь к отечеству проявляется прежде всего в ненависти к узаконенному рабству. Но образ, созданный Пушкиным, не есть простой сколок с воззрений М.С. Лунина и его друзей. Будучи в неволе — михайловской, болдинской, общерусской, — Пушкин все-таки находит в себе силу петь, «оставлять след» в народном сознании. В этом смысле очень важно его самосравнение с «вольным» Языковым: неравенство положений не препятствие к поэтическому равенству и согласию. И «вавилонское пленение» в конце концов не может поколебать любви поэта к священным холмам Родины, земли обетованной.

Самое явление «Евгения Онегина», как и последующее творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя, других гениев русской литературы, свидетельствовали и всегда будут свидетельствовать об этом.

### «О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ»

Седьмая строфа первой главы «Евгения Онегина» — одна из самых известных:

Бранил Гомера, Феокрита,  
За то читал Адама Смита  
И был глубокий эконо... (VI, 8)

Круг чтения героя и — шире — круг его знаний обсуждались много и подробно. Не станем повторяться. Речь далее пойдет не о Гомере, не об Адаме Смита и вообще не о существовании того, «что знал еще Евгений» (VI, 8). Мы попытаемся показать, как в подпочве этих строк романа проступают контуры государственно-правовой ситуации, хорошо знакомой Пушкину.

Через три года после того, как строки о Гомере и Феокрите впервые легли на бумагу, Пушкин пишет записку «О народном воспитании», подробный трактат, в котором обсуждает коренные вопросы просвещения молодого дворянства. Текст официальной записки, созданной по прямому приказу императора, весьма сложен. Не рассматривая его в целом, мы постараемся показать, что записка и сопутствующие ей источники служат важным комментирующим материалом к первой онегинской главе.

Пушкинские суждения о характере русского просвещения, о его выгодах и невыгодах — хорошо известны. Поэт не питает иллюзий: молодые дворяне, особенно воспитанные в домашних условиях, дурно образованы и плохо подготовлены к жизненному поприщу. На первый взгляд, это прекрасно согласуется с положением героя, представленным в завязке романа. По традиции, перешедшей даже в школьные программы, принято считать Онегина жертвой домашнего воспитания, безнравственного и недостаточного. Евгений (мы помним ироническую реплику автора) умеет «хранить молчанье в важном споре» (VI, 7), принимать личину знатока — это ли не свидетельство его незнания?

Но дело не так просто. Еще до всех нравственных переломов, связанных с дуэлью и несчастной любовью, Онегин обнаруживает достаточно глубокую образованность. Трудно иначе объяснить равноправие Евгения в беседах с Ленским, как никак питомцем Геттингенского университета. Вчера еще светский петиметр и салонный щеголь, Онегин вдруг нарушает свое молчанье в важном споре и оказывается осведомленным и в истории, и в философии — по меньшей мере, Онегину во второй главе романа знакомы сочинения Ж.-Ж. Руссо (VI, 38).

Тут одно из тех «противоречий», на которые указывает нам сам автор, не желающий их исправить (VI, 30).

Как всегда у Пушкина, противоречия нуждаются не в устранении, а в истолковании. Нам предстоит понять, почему в петербургских гостиных Онегин выступает как поверхностный полужнайка и почему в мирных сельских беседах становится настоящим философом.

Обратимся к тексту записки «О народном воспитании». Он, по нашему мнению, надежно свидетельствует о знакомстве Пушкина с двумя важными документами, появившимися на исторической сцене в переломе царствования Александра I. Это, во-первых, указ Сенату «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытании в науках, для производства в коллежские асессоры и статские советники» от 6 августа 1809 года<sup>31</sup>, написанный М.М. Сперанским. Это, во-вторых, записка Н.М. Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»<sup>32</sup>.

Сперанский и Карамзин — политические антагонисты, чье противоборство при дворе Александра I во многом определило условия и характер воспитания молодых дворян, ровесников Онегина.

Предлагая царю законодательный акт, называемый в просторечии указом об экзаменах, Сперанский преследовал две основные цели: повысить образовательный уровень чиновничества и вдохнуть жизнь в русские провинциальные университеты, незадолго перед тем открытые и влачившие жалкое существование. Отныне было установлено, что чиновник не может быть произведен в коллежские асессоры (VIII класс табели о рангах) без предъявления университетского диплома или без свидетельства об успешном прохождении экзаменов в одном из отечественных университетов.

Программа таких экзаменов публиковалась в составе самого указа. Круг требуемых знаний она подразделяла на четыре отрасли наук: словесные, правоведческие, исторические и физико-математические. Роман не дает нам материала для суждений о физике и математике в жизни главного героя. Но вряд ли можно сомневаться, что Онегин выдержал бы экзамен по всему циклу наук, которые мы сегодня назвали бы общественными, гуманитарными.

Например, по разделу «Науки словесные» требовалось кроме владения русским языком знать хотя бы один иностранный и «с удобностью предлагать с оного на Российский». Онегин, который в совершенстве изъяснялся и писал по-французски, легко удовлетворял условиям. Правоведение, включавшее в себя естественное пра-

во и государственную экономию, тоже вряд ли затруднило бы читателя Адама Смита и Руссо. «Основательное познание отечественной Истории», выдвинутое Сперанским в 1809 году, вообще не было серьезным требованием. Ведь до выхода первых томов основного исторического труда Карамзина оставалось без малого десятилетие. Даже самим профессорам-экзаменаторам почти нечем было руководствоваться. А позже подозревать Онегина в незнакомстве с «Историей государства Российского» тоже не приходится: труд историографа прочли, как известно, все люди онегинского круга, весь «свет».

Следовательно, герой романа по меркам Сперанского знает примерно столько, сколько и должен знать грамотный чиновник. Но Онегин-то как раз не служит — один из многих парадоксов русской жизни.

Вопрос о том, знаком ли Пушкин с указом об экзаменах к 1823 году, году написания первой главы, решается без труда. Как раз на время между 1812 и 1824 годами приходится борьба чиновничества против экзаменов. Создаются различные правительственные органы, подаются многочисленные проекты реформ гражданской службы, вокруг старого указа кипят новые страсти<sup>33</sup>. К концу царствования Александра I можно уже подводить некоторые итоги: указ формально не отменен, но фактически не выполняется. Пушкину, в 1817 году вступающему как раз в гражданскую службу, эта ситуация не может быть неизвестна.

Позднее Пушкин проявит даже понимание тонкостей обращения чиновников с положениями указа. Так, в «Путешествии в Арзрум» он заметит, что многие русские чиновники приехали в Грузию потому, что хотят получить чин асессора «только вождеденный» (VIII, 459). По пункту 10 указа 1809 года — в изъятие из общего положения — на Кавказе для производства в чин VIII класса экзамены не требовались<sup>34</sup>.

В полемике между Сперанским и Карамзиным Пушкин решительно берет сторону Карамзина. М.А. Цявловский давно установил, что, работая над трактатом «О народном воспитании», Пушкин пользовался экземпляром неопубликованной записки Карамзина «О древней и новой России», полученным у П.А. Вяземского, единокровного брата вдовы историографа<sup>35</sup>. Отсюда в пушкинском тексте прямые заимствования и даже скрытые цитаты из карамзинской записки.

Но прежде чем обсуждать сочинения историографа в контексте первой главы «Евгения Онегина», следует выяснить, знал ли Пушкин неопубликованное произведение Карамзина еще до южной ссылки. Степень вероятности знакомства очень велика. Между 1816 и 1820 годами молодой поэт бывает в доме Карамзина<sup>36</sup>, близко дружит с Вяземским, т. е. общается с людьми, которые могут располагать вполне исправным списком<sup>37</sup>.

Многое в «Записке» Карамзина, непонятное поэту во времена молодого «либерального бреда» (XIII, 79), наполняется впоследствии смыслом и значением. Конечно, Пушкин 1823 года далеко еще не Пушкин 1826 года, почти дословно пересказывающий царю соображения покойного историографа, Но сближение уже началось,



и по меньшей мере в одном пункте автор первой главы Онегина должен протянуть руку автору записки «О древней и новой России».

Речь идет о характере русского чиновничества, о месте служилого и неслужилого дворянства в исторических судьбах отечества.

Еще со времен Петра Великого продвижение по службе стало для благородного сословия основным и главным мерилом успеха, свидетельством личной значимости. Поместья, крепостные, деньги — все было функцией от ступеньки служебной лестницы, занимаемой человеком, от связей в чиновном кругу. Ю.М. Лотман совершенно прав, когда утверждает, что биография неслужащего, нечиновного Онегина «приобретала демонстративный оттенок», делала героя «белой вороной в кругу современников»<sup>38</sup>.

Низкий деловой и нравственный уровень служилого дворянства был ясен всем, даже правительству. Но выводы отсюда делались разные. Сравнительно скромный вопрос об экзаменах чиновникам выявил две противоположные позиции в среде русского дворянства александровской эпохи.

М.М. Сперанский видел выход в очищении и укреплении чиновного сословия. Ему казалось, что достаточно освободить гражданские места от невежд и взяточников, от лентяев и казнокрадов, как дело сразу пойдет на лад. Штаты только что созданных министерств он желал заполнить цветом нации, честными и образованными подвижниками, понимающими государственные предназначения. Экзамены и должны были тому способствовать.

В какой-то мере утопические иллюзии Сперанского потом разделяли многие декабристы. Оттого что рутинную чиновничью службу они хотели заменить романтическим служением отечеству, дело по существу мало менялось. Оставался централизованный и всеобъемлющий государственный аппарат, который, разумеется, существовал бы по своим законам, а не по романтическим импульсам<sup>39</sup>.

Н.М. Карамзин отстаивал совершенно иной путь. Он видел в чиновничестве необходимое зло и стремился свести его к минимуму. Занятия русской историей допетровских времен укрепляли его идеал — абсолютная монархия, патриархально опирающаяся на лучших, благородных граждан, некая нравственная среда, где государь не отделен от народа канцелярским сословием.

По Карамзину, чиновник — вообще существо второго сорта. Он исполнитель и — только. От чиновника требуются лишь самые необходимые знания в пределах его компетенции. Привилегия истинного просвещения, роскошь высших знаний должны обитать не в канцеляриях, а в среде свободных, преданных царю сынов отечества. Или — говоря более современным языком — учить надо не чиновников, а неслужилых помещиков.

Когда в записке «О древней и новой России» Карамзин приступает к обсуждению манифеста об экзаменах, его стиль становится прямо памфлетным. Он ядовито замечает, что Сперанский требует от чиновников изучения языка русского, а сам даже в тексте манифеста допускает грамматические ошибки<sup>40</sup>. Дворяне, подобно Онегину получившие достаточное домашнее воспитание, стоят в сознании Карамзи-

на куда выше, чем «крапивное семя», хотя бы и облагороженное университетским свидетельством.

Одно из самых сильных мест карамзинского памфлета есть перечисление тех лишних, бессмысленных знаний, кои Сперанский желает насадить среди чиновников. Историограф иронически перечисляет несообразности: теперь у нас сенатский секретарь должен будет знать свойства кислорода и других газов, вице-губернатор — Пифагорову фигуру, а надзиратель в доме умалишенных — римское право. В списке этих несообразностей есть и формула, прямо соотносимая с обсуждаемой онегинской строфой:

**«У нас же, — пишет Карамзин, — председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита»<sup>41</sup>.**

Тем самым, помяная Гомера и Феокрита, автор и Онегин обнаруживают осведомленность о полемике Карамзина против Сперанского. Позицию героя здесь можно толковать примерно таким образом: пусть мертвые языки и древних авторов изучают провинциальные карьеристы. Вышедшая из моды латынь, риторика и Феокрит нужны им для чина ассессорского. Онегин судит об этих предметах пренебрежительно; ему, подражателю английских денди, приличнее носить маску знатока Адама Смита и политической экономики.

Подобно автору, Онегин может сказать: «Не рвусь я грудью в капитаны/И не ползу в ассессора» (I, 259). Роман, в сущности, начинается с испытания героя на новом жизненном поприще: гуманный помещик, просвещенный глава крестьянской общины. Он продолжает жить не по Сперанскому. Сельский философ, мирный собеседник друга-стихотворца весьма соответствует руссоистским и — добавим — карамзинским представлениям о счастливой жизни. Теперь уже и речи нет о том, чтобы герой бранил идиллического Феокрита. Это как бы совершенно другой Онегин.

Но Евгений не выдерживает экзамена и на соответствие карамзинскому идеалу. Онегин совершает свой жизненный путь как бы вне двух лагерей, спорящих о пропорции, в которой надо разделить молодое русское просвещение между чиновником и помещиком. Почему?

Ответ на этот вопрос был бы, видимо, разгадкой характера героя. Разумеется, это нереально. Но можно предположить, что известную роль здесь играет то, как Пушкин постигает Карамзина и — говоря шире — историю и перспективу русского дворянства. Неприязнь Пушкина к чиновничеству существовала всегда и будет с годами укрепляться; идеал просвещенного помещика и деревни-кабинета будет Пушкину все ближе. Это найдет отражение и в последующих онегинских главах, и в «Барышне-крестьянке», и в отрывке «Не смотря на великие преимущества», и в «Романе в письмах».

Но Пушкин все-таки не Карамзин.

Историограф верит в патриархальную идиллию и даже предлагает ее как основу государственных преобразований. Пушкину утопия Карамзина весьма близка. Однако Пушкин не склонен путать собственные пристрастия с той реальностью,

которая ожидает Россию. Поэт понимает, что его идеал не только прекрасен, но и несбыточен<sup>42</sup>. Трагическое сознание нереальности идеала порождает пушкинскую иронию и самоиронию.

Оно же, это ироническое сознание, лежит в основе биографии героя — странного, противоречивого Евгения Онегина.

### «ОДНУ РОССИЮ В МИРЕ ВИДЯ»

11 августа 1832 года Александр Иванович Тургенев отправил из Мюнхена в Париж к брату своему Николаю письмо, в котором писал:

«Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает между прочим о тебе:

Одну Россию в мире видя,  
Преследуя свой идеал,  
Хромой Тургенев им внимал  
И плети рабства ненавидя,  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крестьян»<sup>43</sup>.

Об этом шестистишии, завершающем знаменитую онегинскую строфу о Лунине, самом Пушкине и Якушкине, написано немало<sup>44</sup>. Обычно обсуждение строк, приведенных в письме А.И. Тургенева, идет в двух основных руслах — отношения Пушкина с ранним декабризмом и разветвление гипотез вокруг так называемой десятой главы «Евгения Онегина». Мы начнем с того, что попытаемся выйти из этих обычных направлений и обратим внимание на одну маленькую особенность текста.

В Большом академическом собрании сочинений разбираемое шестистишие приведено в двух вариантах — по автографу Пушкина (VI, 524) и по письму А.И. Тургенева (VI, 526). Судя по этой публикации, в строке — «Одну Россию в мире видя» — разночтений нет. Между тем, разночтение есть и, кажется, очень важное. В этом случае плохую услугу оказывает нам переход от старой орфографии к новой.

В тексте письма А.И. Тургенева в слове «мире» стоит «и с точкой», так называемое «и десятеричное». Так принято было писать слово «мир» в значении «вселенная», «весь свет», «род человеческий»<sup>45</sup>. Если принять такое написание, то «хромой» Тургенев выступает как крайний патриот, который ничего на свете не видит, кроме своего отечества.

В пушкинском автографе<sup>46</sup> правильным чтением будет слово «мире» через букву «и», «иже», т.е. совпадающую по начертанию с современным «и». Ситуация в автографе несколько осложнена тем, что разбираемое слово вписано над строкой. Но «и десятеричное» в нем никак не читается. Так, первый публикатор строки П.О. Морозов, твердо выявив букву «иже», предложил даже такое неожиданное чтение: «Одну Россию в иже видя»<sup>47</sup>.

Патриотический порыв «хромого» Тургенева, как он представлен у Пушкина, должен был удивлять читателей потаенного «Онегина». И сразу после 1812 года, и позже они знали Николая Ивановича совсем другим. Его «идеалом» никак не может быть Россия. Вот — почти наугад — одно из многочисленных подтверждений. В конце февраля 1818 года в чужие края собирается общий приятель Пушкина и братьев Тургеневых — Н.И. Кривцов. По этому поводу Николай пишет брату Сергею: Кривцов «...говорит, что печально ему расставаться с Россиею. Я напротив нахожу, что, может быть, ни в какую другую эпоху разлука с Россией не была так willkommen<sup>48</sup>. Ни действительности, ни надежд!»<sup>49</sup>. Так не может судить человек, чей идеал — Россия. Николая Тургенева, одного из лидеров «Союза Благоденствия», 14 декабря застанет, как известно, за границей. Там он, лишенный возможности вернуться в отечество, еще не раз скажет о России горькие слова, полностью отрицающие смысл пушкинских строк о России-идеале. Достаточно будет напомнить, как Николай Иванович обиделся на Пушкина, прочитав шестистишие о себе в 1832 году. Мнение Пушкина он сравнивал с мнением варваров-судей, ведших процесс декабристов. Комментируя свой портрет, нарисованный поэтом, опальный эмигрант пишет: «Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения, и при всем том быть варваром. А Пушкин и все русские, конечно, варвары»<sup>50</sup>.

Верное прочтение автографа впервые ввел Б.В. Томашевский, опубликовавший в 1934 году свою работу о десятой главе в «Литературном наследстве». В пушкинском тексте, воспроизведенном по старой орфографии, он уверенно дает «в мире» через букву «иже»<sup>51</sup>. Исследователь не аргументирует своего решения, но оно напечатывается: слова «в мире» стоят над зачеркнутым «в щастье». А это синонимично как раз обороту «в мире» в значении: «покой», «тишина», «лад», «согласие» и т.д.<sup>52</sup>. Томашевский был подготовителем и комментатором онегинского текста в Большом академическом собрании, и остается только гадать, почему он, давая и тургеневский, и собственно пушкинский варианты, не обозначил известного ему различия.

Итак, Пушкин рекомендует нам «хромого» Тургенева как ревнителя России в покое, согласии и единодушии. От этого Николай Иванович, конечно, не перестает быть патриотом, но все-таки неясно: почему умеренный либерал и будущий западник видит счастье и покой для «одной России», а не для всей любезной ему семьи европейских народов?

Таким образом, перед нами две редакции одной строки. Казалось бы, первую редакцию, где Россия в мире-вселенной, можно отбросить как противоречащую автографу. Но с нее-то мы и начнем, так как именно версия письма А.И. Тургенева была в ходу у современников Пушкина, незнакомых с автографом; кроме того, она же объясняет происхождение всей строки «Одну Россию в мире видя».

Если «хромой» Тургенев так яростно ругает Россию и русских и в 1818, и в 1832 годах, то действительно можно подумать, что Пушкин зря приписывает ему русофильство. На самом же деле взгляды Н.И. Тургенева не развивались по прямой



линии, и автор «Онегина» имел все основания доверять тому, что сам видел и слышал в 1819–1820 годах.

Как раз в это время в сознании Николая Ивановича происходит резкий, хотя и недолгий, сдвиг. Подобно герою пушкинского романа, Тургенев однажды утром просыпается «патриотом». След этого перелома ясно виден в его дневнике, куда под 2 января 1819 года внесен отрывок из письма к Михаилу Орлову: «Я весь состою из одной идеи — **беспредельная любовь к отечеству!**» И далее: «Я ничего не вижу в жизни, кроме этого прелестного идеала, называемого отечеством»<sup>53</sup>. Здесь не место разбирать характер декабристского патриотизма — нам важно только подчеркнуть большую осведомленность Пушкина в идейных эволюциях Тургенева.

Комментатор переписки братьев Тургеневых, А.Н. Шебунин, давно высказал предположение, что есть прямая связь между строкой «Одну Россию в мире видя» и текстом, принадлежащим перу Николая Тургенева<sup>54</sup>. Речь идет о статье «От издателей», которую Николай Иванович предназначал для задуманного им журнала «Россиянин XIX века» (другое название — «Архив Политических наук и Российской Словесности»). В статье, в частности, содержится такой важный для нашей темы пассаж: «Добрый смысл Русского народа, так сказать, инстинкт величия, спасавший наше отечество в эпохи бедствий и разрушения, никогда не оставит Россию, будет ей сопутствовать и направлять ее на поприще гражданственности. Есть одна только Россия в мире; и она не должна иметь себе равной», — сказал Петр Первый»<sup>55</sup>.

Афоризм Петра I в пересказе Н.И. Тургенева Пушкин должен был знать — поэт не только был приглашен сотрудничать в журнале, но и участвовал в собрании его будущих авторов, где программная статья «От издателей» могла ходить по рукам и даже обсуждаться<sup>56</sup>. Разумеется, Петр здесь видит страну в мире через «и десятиричное» — весь контекст фразы говорит о России среди других держав, а не о России в покое и единодушии, чего нельзя было и ожидать от Петра-реформатора.

Установив вслед за А.Н. Шебуниным зависимость онегинской строки от указанного источника, можно было бы не продолжать комментарий. Но тогда остается необъясненным смысл автографа: слово «мире» все-таки писано в нем через букву «иже», и Н.И. Тургеневу предлагается совсем другой «идеал» — идеал России в покое и согласии. Что здесь — простая описка? Или Пушкин сознательно корректирует хорошо известные ему обстоятельства?

Думается, об описке или ошибке Пушкина не может быть и речи — скорее от нас до сих пор ускользал какой-то смысловой оттенок. Выявление этого оттенка, как мы постараемся показать, наполняет все выражение «Одну Россию в мире видя» иным, совершенно неожиданным содержанием. Чтобы это понять, попробуем объяснить начальную формулу строки: «Одна Россия». Ибо она вводит нас в круг традиционных понятий, ныне уже полузабытых, а то и вовсе утраченных.

Вот пример, который поможет выявить существо дела.

В 1802 году Н.М. Карамзин, только начинающий исторические разыскания, опубликовал в своем журнале «Вестник Европы» длинную статью под названием: «Исторические воспоминания и размышления на пути к Троице». Эта статья — важное промежуточное явление карамзинского творчества. С одной стороны, она отголосок «Писем русского путешественника» — все философские и нравственно-исторические замечания принадлежат здесь путнику, сделаны как бы под стук колес кареты. С другой стороны, это обширный эскиз к будущей «Истории Государства Российского» — путь пролегает от Москвы к Троице-Сергиеву монастырю, и путешественник беседует с читателем о прошлом России.

Вот как Карамзин передает одно из своих впечатлений:

«Верст за семь от Троицы открываются, среди зеленых лесов, золотые главы церквей ее, вокруг огромной колокольни, подобной величественному столбу. — Я взъехал на гору Волкушу... Русские Патриоты! Это место должно быть вам известно. Здесь Архимандрит монастыря Троицкого благословляя крестом и кропил святою водою достойных сынов России, которые с Вождем Пожарским и Гражданином Мининым шли освободить Москву от чужестранных тиранов!.. Я стал на вершине горы — и воображение представило глазам моим ряды многочисленного войска под сению распущенных знамен, украшенных именем городов, которых добрые жители шли под ними: Нижнего Новгорода, Дорогобужа, Вязьмы, Ярославля, Владимира и проч. Мне казалось, что я вижу сановитого Пожарского среди мужественных воевод его и слышу гром оружия, которому через несколько дней надлежало грянуть во имя отечества!.. *Русские были тогда сиротами: не имели Государя и сражались за одну Россию*»<sup>57</sup>.

Таким образом, «одна Россия» — это Россия без государя, без царя.

Карамзин здесь находится в русле очень древней отечественной традиции, когда монарх и подданная ему страна воспринимаются народным сознанием как супружеская чета. Священная пара «царь-батюшка и Россия-матушка» еще и сегодня — понятный всем архаизм. Та же традиция легко различима в пословицах, собранных Владимиром Далем в его словаре: «Без царя народ сирота»<sup>58</sup>, «Без царя земля вдова»<sup>59</sup>. Еще пример: на смерть Петра Великого была выбита медаль, на которой Россия изображалась в виде прекрасной женщины-вдовы, окруженной морскими просторами, кораблями, атрибутами наук, искусств, ремесел; с парящего облака Петр Великий обращался к России-вдове со словами: «Виждь, какову оставих тя»<sup>60</sup>.

Пушкинское «Одну Россию в мире видя» очень близко сходствует с изображением и надписью «виждь» на этой медали.

Нетрудно было бы доказать, что Пушкин хорошо знал все приведенные источники — и пословицы, и карамзинское эссе, и петровскую геральдику. Но в этом нет необходимости, потому что строка из «Онегина» — не результат знакомства автора с какими-то конкретными текстами, а дань самым общим, самым расхожим и массовым представлениям, бытовавшим в XVIII—XIX столетиях. Их отзвук хорошо слышен даже в знаменитом четверостишии «Медного всадника»:

И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова. (V, 136)

Сравнение Москвы со вдовою основано на том, что эта столица олицетворяет старую Россию<sup>61</sup>, которую покинул царь Петр. У Карамзина сиротство и вдовство отечества возникают как следствие бесцарствия в «смутное время», а в «Медном всаднике» старомосковская Русь вдовствует в эпоху империи. Для нас важно только понять, что исходная формула «Одна Россия» может традиционно заключать в себе понятие о державе без монарха.

Тогда общественная позиция, которую Пушкин отмечает у Николая Тургенева, обозначается так: Россия без царя, но «в мире», то есть в покое, в согласии. Осталось только понять, как это соотносится с реально выраженными взглядами декабриста.

Если подводить общий итог политической жизни Николая Ивановича, то придется признать, что «хромой» Тургенев не был в рядах крайних республиканцев. Он скорее либерал, умеренный сторонник конституционной монархии на английский манер. Как бы там ни было, но антимонархизм, стремление к «одной России», Россия без царя на престоле — вовсе не может считаться главным и отличительным признаком тургеневского государственного «идеала». Здесь, как и в случае с патриотизмом, необходимо отделять общие, суммарные представления от конкретной реальности 1819—1820 годов. Именно это время сопровождалось для тридцатилетнего Тургенева неожиданной вспышкой любви к отечеству и столь же неожиданным приступом республиканизма.

Ключевой эпизод, своеобразную вершину антимонархизма Николая Тургенева запечатлели для истории показания П.И. Пестеля в следственном комитете по делу декабристов. В них рассказан случай, происшедший на заседании Коренной думы Союза благоденствия в 1819 году. В докладной записке царю следователи так изложили результаты допроса:

«Полковник Пестель в показании своем между прочим объясняет, что в совещании коренных членов Союза благоденствия, собранных в 1819 году в Петербурге на квартире полковника Федора *Глинки*, присутствовали: граф Федор *Толстой* в качестве председателя, князь *Илья Долгорукий* в качестве блюстителя, Николай *Тургенев*, полковник Федор *Глинка*, полковник Иван *Шипов*, Сергей *Муравьев-Апостол*, Никита *Муравьев* и *Пестель*, что в сем совещании князь *Илья Долгорукий* именем всех присутствующих членов пригласил полковника *Пестеля* изложить все выгоды и невыгоды монархического и республиканского правлений с тем, чтобы потом каждый член касательно того, которое из сих двух образов правлений считает удобным ввести в России, объявил свои суждения и мнения»<sup>62</sup>.

Речь Пестеля, видимо, была сильна и увлекательна. Он с такой логикой и страстью защищал республиканский образ правления, что поколебал даже оппонентов, сторонников ограниченной монархии. Когда членам Коренной думы предложили выбрать между монархом и президентом, то все высказались единодушно.

«Каждый из присутствующих, — говорилось в докладной записке, — при сем объяснял причины своего выбора, а когда очередь дошло до Николая *Тургенева*, то он сказал по-французски: *Le president sans phrases*, т.е. президент без дальних толков»<sup>63</sup>.

Несколько позже и Матвей Муравьев-Апостол подтвердил, что «Николай *Тургенев* одобрял намерение ввести республиканское правление»<sup>64</sup>.

Республиканизм Тургенева на рубеже 1819 и 1820 годов, таким образом, не подлежит сомнению — в это время Николай Иванович, как видим, стоял за «одну Россию», Россию без государя. Вопрос только в том, мог ли об этом знать Пушкин. Конечно, члены тайного общества не знакомили его с ходом своих дебатов. Но, во-первых, близкое приятельство с «хромым» Тургеневым давало Пушкину возможность чувствовать перемены в его политических воззрениях. Во-вторых, все-таки не будем забывать, что посвященное Тургеневу шестистишие поэт написал десятилетие спустя, когда многие подробности истории декабристов перестали быть тайной<sup>65</sup>.

От Пушкина скрывали существование общества, но республиканские идеи, взгляды при нем, конечно, высказывали свободно. В письме Александру Тургеневу, написанном как раз в 1819 году, Пушкин называет его братьев — Николая и Сергея — «братьями Мирабо»<sup>66</sup>. Сравнение весьма обязывающее и в отношении Николая Тургенева удивительно точное. Мирабо, один из лучших ораторов Великой Французской революции, шел с республиканцами, но все-таки не порывал и с королевским двором; колебался между роялистами и революционным национальным собранием. Если отбросить личную нечистоплотность Мирабо, то на его политический портрет Николай Иванович мог бы смотреть как в зеркало — и именно в то время, которому посвящены декабристские строки «Онегина». Крайняя точка радикализма Тургенева, обозначенная идеалом «одной России», России без царя, не прошла для Пушкина незамеченной.

Напомним контекст, в котором обсуждаемая строка существует в строфе:

Меланхолический Якушкин  
 Казалось молча обнажал  
 Царубийственный кинжал  
 Одну Россию в мире видя,  
 Лаская в ней свой Идеал<sup>67</sup>,  
 Хромой Тургенев им внимал... (VI, 524)

Думается, смысловая последовательность «царубийственный кинжал» и «одна Россия» здесь не случайность, а прямое развитие темы. Ибо как раз применение царубийственного кинжала и приводит к ситуации без государя в стране — к «одной России». Не менее существенна строка «Хромой Тургенев им внимал...» В ней отражена известная Пушкину способность Николая Ивановича на мгновение увлечься чужим мнением, куда более радикальным, чем его собственное. Что и подтверждается рассказанным эпизодом после речи Пестеля.

Таким образом, реконструкция характера и взглядов Н.И. Тургенева, как они сложились к 1819–1820 годам, в онегинской строфе вполне достоверна; во всяком случае она согласуется с твердо установленными фактами...



В заключение попробуем ответить на старый вопрос, давно поставленный исследователями: почему Николай Тургенев обиделся на Пушкина, прочитав о себе потаенные онегинские строки? Например, Б.В. Томашевский полагал, что дело тут вовсе не в стихах — Тургенев «протестовал против самого факта, не допуская, чтобы Пушкин, о котором он составил свое мнение по другим данным, осмеливался произносить свое суждение по вопросам, в которых Тургенев считал его совершенно некомпетентным»<sup>68</sup>.

Возможно, какая-то часть истины в суждении Томашевского заключена. Но все-таки обида Николая Ивановича выражена так резко, что вряд ли тут достаточно простого мотива: Пушкин, мол, много на себя берет, это не его ума дело. Объяснение, нам кажется, лежит в иной плоскости.

Н.И. Тургенев отдает должное Пушкину, понимает, что он первый поэт своего времени. Отсюда и начало его инвективы — у Пушкина «талант для поэзии, много ума, воображения»<sup>69</sup>. Тургенев помнит, как потаенными стихами Пушкина были буквально наводнены салоны и усадьбы, дворцы и казармы. Поэтому ему совсем небезразлично, как он, Николай Иванович Тургенев, предстанет перед соотечественниками в его стихах. Да еще и брат, Александр Иванович, подливает масла в огонь, называя эти пушкинские строки «бессмертными». Но в каком же виде Пушкин обессмертил Николая Тургенева?

Конечно, респектабельный либерал и космополит, критик России с позиций европейской образованности просто взбесился, когда Пушкин напомнил ему то прошлое, которое он как раз хотел бы забыть, вычеркнуть из памяти. Тургенев издали поносит отечество, а Пушкин некстати свидетельствует: был патриотом. Тургенев почитает русских дворян дикарями, варварами, а Пушкин — свое: надеялся ведь, что дворяне сами мужиков освободят. Тургенев высоко ставит оригинальность своего ума и своих соображений, а поэт подчеркивает его давнюю умственную зависимость от крайних декабристов: «им внимал»<sup>70</sup>. Бессмертие в таком виде не вызывало у Н.И. Тургенева ничего, кроме гнева и отвращения. В системе своих понятий он прав; ничего нового тут нет — бесчисленное множество раз и до, и после Тургенева от исторических романов требовали свойств исторических монографий: исчерпывающей полноты и абсолютной объективности. И никогда не добивались.

Нам же остается только глубже проникать в мощные культурно-исторические пласты, которые выходят на поверхность всего только единственной онегинской строкой: «Одну Россию в мире видя...»

## ОТ ФАУСТА ДО ОНЕГИНА

Описание жизни героя в первых строфах второй главы — хрестоматийно известно. Среди них особым вниманием исследователей в недавние времена пользовалась строфа IV. Напомним несколько строк:

Один среди своих владений,  
Чтоб только время проводить,  
Сперва задумал мой Евгений  
Порядок новый учредить.  
В своей глуши мудрец пустынный,  
Ярем он барщины старинной  
Оброком легким заменил;  
И раб судьбу благословил... (VI, 32)

Общественная направленность этого пассажа никогда, кажется, не вызывала сомнений. К нему обращались каждый раз при необходимости доказать или напомнить близость Онегина к декабризму и другим либеральным и прогрессивным течениям эпохи. Для обзора многих подобных толкований здесь нет места. Но один показательный пример стоит все же привести. Ю.М. Лотман в своем комментарии к строфе соотносит действия Онегина с аналогичными человеколюбивыми поступками и мнениями декабристов – И.Д. Якушкина, Н.И. Тургенева, М.С. Лунина. Версия Ю.М. Лотмана вполне логично соотносит строку

В своей глуши мудрец пустынный

с зачином стихотворения 1823 года «Свободы сеятель пустынный...», и это еще раз ставит онегинскую строфу в контекст истории русского либерализма и освободительного движения<sup>71</sup>.

Такой подход совершенно очевиден и, думается, нет поводов его полемически пересматривать. Однако каждый, кто серьезно прикасается к Пушкину, знает, что стихи поэта редко укладываются в русло какой-нибудь одной историко-культурной традиции. Видимо, из этого общего правила не составляет исключения и IV строфа второй онегинской песни.

Два намека на возможность иного, недекабристского истолкования содержатся в ткани самой строфы.

Во-первых, раб благословляет вовсе не самого доброго барина, о человеколюбивых мотивах которого он, конечно, и не подозревает. Крепостной крестьянин благодарит некую весьма безликую «судьбу», избавляющую его от старинного ярма. Но и просвещенному читателю романа впору задуматься: а что, если тут действительно не столько исполнение либеральной программы, сколько «судьба», игра случая? Вспомним хотя бы письмо Пушкина к Вяземскому (май 1826 года) о судьбе-обезьяне, не посаженной на цепь. Над ней никто не властен (XIII, 278). Поэтому и в онегинской строфе можно предположить выход за пределы идейных поисков – в область случая, в сферу редчайших исключений.

Во-вторых, и сам Онегин не выглядит человеком идеи, носителем ясной и осознанной социальной программы. Он утверждает «порядок новый» не потому, что принимает на себя какие-то обязательства, налагаемые гуманизмом и просветительством декабристского толка. Его цель объяснена Пушкиным в довольно туманной формуле. «Порядок новый» учреждается «мудрецом пустынным» лишь для того,

Чтоб только время проводить. (VI, 32)

Тем самым замена барщины obroком становится в ряд с другими способами онегинского времяпрепровождения, известными нам по главе первой романа. Ничто не мешает нам видеть во введении «порядка нового» продолжение петербургских странностей все того же доброго приятеля, который по-прежнему «умен и очень мил». Онегин — все еще денди. Он привык эпатировать столичный свет выходками на грани дозволенного; то же самое продолжается и в деревне. Но условия деревенского быта не позволяют ему демонстративных успехов в «науке страсти нежной», шокирующего поведения в театре, ресторанных шалостей и т.д.

Взбесить соседей, не преступая общепринятых правил морали и поведения, — вот ближайшая и очевидная цель героя, его способ «время проводить». Об этом свидетельствует сам ряд, в который Пушкин ставит онегинский «порядок новый». Евгений отвергает традиционный быт дяди и принимает на себя образ опаснейшего чудака. Чертами этого образа едва ли не в равной степени служат перевод крестьян на оброк, бегство от соседей с заднего крыльца, отказ целовать ручки и не по чину твердые окончания в словечках «да» и «нет».

Тут скорее попытка самозащиты от хандры, дендистский вариант ухода от однообразия общего существования, чем программный альтруизм либерала. Легко представить себе, что игра в облегчение мужицкой участи скоро станет Онегину так же скучна, как балеты Дидло или разговоры о сенокосе и псарне (VI, 36).

Мотив другой, не либеральной, не декабристской традиции выявляется в той же строфе «Один среди своих владений...» при сопоставлении романа с его ближайшим стихотворным окружением. И ключевой здесь представляется все та же строка:

Чтоб только время проводить.

Напомним: среди разрозненных отрывков, объединенных в Большом академическом собрании сочинений под заголовком «/Наброски к замыслу о Фаусте/», помещен следующий известный пушкинский отрывок:

— Что козырь? — Черви. — Мне ходить.  
— Я бью. — Нельзя ли погодить?  
— Беру. — Кругом нас обыграла.  
— Ей, смерть! Ты право сплутовала.  
— Молчи! ты глуп и молоденек.  
Уж не тебе меня ловить.  
/Ведь/ мы играем не /из?/ денег,  
А только б вечность проводить! (II, 381—382)

Проводить время, проводить вечность — сходство просто бросается в глаза. Смысловая пуанта обеих строк почти одинакова. Онегин проводит свое земное, отпущенное ему судьбой время, в наведении «порядка нового». Смерть и черти в аду провозжают свою вечность за карточной игрой. Сходство земного и загробного существования укрепляется еще и тем, что и там и тут «игра» идет «на души». Только во

владении у Онегина души живые и крепостные, а у адских сил — души мертвые и грешные.

Строфа IV второй главы романа написана осенью 1823 года; набросок «Что козырь?» приблизительно датируется началом 1825 года. Между обоими стихотворениями промежуток около года — во всяком случае их не разделяет хронологическая пропасть. И сравнение онегинской строфы с наброском о Фаусте, кажется, не менее корректно, чем сопоставление ее же со строкой «Свободы сеятель пустынный». Смысловое и текстуальное сходство в нашем случае даже яснее, отчетливее.

Прежде чем делать отсюда какие-то выводы, необходимо напомнить мнение академика М.П. Алексева, который не склонен был видеть в стихах «Что козырь?» и других набросках ориентацию именно на гетевского «Фауста». Алексей не без оснований указывал, что многие фаустовские мотивы у Пушкина берут свое начало не у Гете, а в немецкой «Народной книге»<sup>72</sup>. Ее подзаголовок — «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». Книга эта была издана Иоганном Шписом в 1587 году во Франкфурте-на-Майне; Пушкин мог быть знаком с нею по французскому переводу, опубликованному в «Bibliothèque Universelle des Romans», выходившей в Париже в 70–80-е годы XVIII столетия. Экземпляр этого перевода в многотомнике внесен Б.Л. Модзалевским в каталог личной библиотеки поэта<sup>73</sup>.

Обращение к немецкой «Народной книге» о чародее и чернокнижнике Фаусте влечет за собой соблазн прямых сопоставлений между средневековой легендой и стихами Пушкина.

В самом деле — не любопытно ли? На страницах книги, изданной впервые почти 500 лет назад, в завязке истории у Фауста умирает благочестивый и богобоязненный дядя. Он оставляет племяннику наследство, и Фауст поселяется в дядином унаследованном доме<sup>74</sup>. Именно в этих стенах доктор и совершает все, что по легенде полагается вероотступнику: читает богопротивные книги, колдует, вызывает нечистую силу, продает сатане свою бессмертную душу. Соседи, понятно, этого странного наследника не одобряют. В «Народной книге» отмечено — «обратил доктор Фауст все помыслы свои на одно дело: чтобы любить то, что не пристало любить»<sup>75</sup>. Своеобразный дендизм XVI столетия?

В связи с Онегиным и отрывком «Что козырь?» существенны страницы, на которых герой сначала рассуждает об аде, а потом в сонном видении попадает в преисподнюю. Глава так и названа: «Как доктор Фауст совершил путешествие в ад». У Шписа место наказания грешников выглядит как эффектная театральная декорация или как скопище нечисти — когтистой, зубастой, крылатой. При желании можно было бы все это сравнить с балетной сценой из первой онегинской главы или со сном Татьяны. Есть даже напоминающая о письме к Вяземскому старая обезьяна, которая спасает доктора от гибели. Но мы воздержимся от многих сопоставлений, которые с очевидностью напрашиваются.

Для нас важно только одно соображение: в «Народной книге» Фауст попадает в преисподнюю живым и, подобно Орфею, возвращается оттуда на землю. Один из



главных итогов его путешествия состоит в том, что он понимает: между адом земным и адом подземным в сущности нет пропасти. Можно испытывать адские муки здесь; можно там, в аду, предаваться всем сладким земным порокам, если вы поставлены надсматривать за грешниками.

На этой параллельности миров и построено некоторое сходство двух пушкинских героев — Онегина и Фауста из отрывка «Что козырь?» Попав в пекло, доктор, разумеется, должен видеть полный набор ужасов, свойственных этому месту. Однако пушкинского Фауста в аду преследует знакомый земной образ: с к у к а. Черти играют в карты со Смертью, чтобы проводить беспдельную вечность. Кто-то сплутывал, кто-то проигрался, кто-то поссорился. Все это до боли известно Онегину, похоже на обыкновенную тоску столичных и провинциальных салонов, где любой парадный зал вызывает равную зевоту. «Бал у сатаны» подозрительно напоминает просто бал глазами Онегина. К тому же за карточными столами и тут, и там разыгрываются души — что уже и было замечено.

А.А. Ахматова уловила тот же мотив в пушкинско-титовском «Уединенном домике на Васильевском», где, по ее словам, «высший свет» оказывается филиалом ада<sup>76</sup>. Там гости графини И. тоже играют на души, а кроме того едва ли не прячут рога и хвосты под одеждой и прическами. Примерно по тем же основаниям Л.С. Осповат выявляет в заглавном герое пушкинского романа в стихах черты беса — «Влюбленного беса» европейской литературной традиции<sup>77</sup>.

Вот мы и вернулись к «доброму малому» — Евгению.

В седьмой главе Татьяна рассуждает о характере своего героя и как бы спрашивает себя: кто он? Ответ известен; он двойится:

Чудак печальный и опасный,  
Созданье ада иль небес  
Сей ангел, сей надменный бес. (VI, 149)

Это сознание настигает героиню тогда, когда позади гибель Ленского и многие другие события, определяющие смысл романа. Но оказывается такое двойничество Онегина (ангел-бес) было предьявлено давно, заранее — еще в первых главах. И совпадение формул «чтоб только время проводить» и «а только б вечность проводить» твердо обозначает как inferнальность онегинского характера, так и общее присутствие фаустовского мотива, понимаемого по-пушкински.

До сих пор мы избегали прямых и буквальных аналогий между романом и средневековой легендой. В заключение мы еще раз откажемся от такого соблазна и не станем всерьез обсуждать, чего больше в характере Онегина — ангельского? бесовского? фаустовского? Дело не в этом. Достаточно уже и того, что усложнилась, стала более объемной картина онегинского альтруизма. Она, по нашему мнению, не может быть написана исключительно одними социологическими красками.

Может быть, только здесь и уместно единственный раз напомнить гетевский мотив из «Фауста» — о той силе, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...

<sup>1</sup>Лотман Ю.Н. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителей. — Л., 1980. — С. 128.

<sup>2</sup>Это соображение, конечно, не распространяется на публицистику в области литературы и искусства; ее в романе, как известно, очень много.

<sup>3</sup>Тархов А.Е. Комментарий// Пушкин А.С. Евгений Онегин. Роман в стихах. — М., 1980. — С. 223—224.

<sup>4</sup>Там же. — С. 267—268.

<sup>5</sup>Дидро Д. Политическая власть// История в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. — Л., 1978. — С. 88—89.

<sup>6</sup>Там же. — С. 91, 93. В этом месте Дидро опирается на мемуары М. Скулли, государственного деятеля Франции XVI—XVII вв.

<sup>7</sup>Помня известную пародийность исторического повествования в «Онегине», можно даже в формуле «все дружбу прекратили с ним» (VI, 33) увидеть сходство с ситуацией «континентальной блокады».

<sup>8</sup>Трибюедов А.С. Горе от ума. Действие IV, явление 10.

<sup>9</sup>Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: В 2-х т. — Т. 1. — М., Л., 1959. — С. 211—212.

<sup>10</sup>Цигата из фонвизинского «Послания...» есть и в «Капитанской дочке»: Савельич, подобно Шумилову, «и денег, и белья, и дел моих рачитель» (VIII, 284).

<sup>11</sup>Подробнее об этом см. в предыдущем разделе этой главы.

<sup>12</sup>Лотман Ю.М. Указ. соч. — С. 292.

<sup>13</sup>Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Из пушкинских маргиналий// Прометей. — М., 1974. — Т. 10. — М. 114—131.

<sup>14</sup>Там же. — С. 129.

<sup>15</sup>Виноградов В.В. Историко-этимологические заметки// ТОДРЛ, XXIV. — Л., 1969. — С. 326.

<sup>16</sup>Лотман Ю.М. Указ. соч. — С. 349—350. Комментатор опирается и на мнение современного исследователя, который утверждает, что в этом историческом эпизоде «государственному абсолютизму, воплотившемуся в лице Петра, был противопоставлен принцип свободы личности» (Заозерский А.И. Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда Петровского времени// Россия в период реформ Петра I. — М., 1973. — С. 193).

<sup>17</sup>Там же. — С. 350.

<sup>18</sup>Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина. — М., 1979. — С. 86; Листов В.С., Тархова Н.А. Труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого/.../» в кругу источников трагедии «Борис Годунов»// Временник Пушкинской комиссии. 1980. — Л., 1983. — С. 114.

<sup>19</sup>Голиков И.И. Дополнения к «Деяниям...» — Т. 18. — М., 1796. Анекдот VII.

<sup>20</sup>В нашу задачу не входит соотнесение голиковского рассказа с исторически реальной судьбой адмирала А.В. Кикина. Заметим только, что в анекдот с осекшимся пистолетом Пушкин-историк, видимо, не поверил, а сведения о его воровстве и участии в деле царевича Алексея принял всерьез — и то, и другое внесено в пушкинский конспект основных томов «Деяний...» Голикова (X, 211, 239—241).

<sup>21</sup>Голиков И.И. Указ. соч.

<sup>22</sup>Русский архив, 1865, стб. 96.

<sup>23</sup>Ахмагова Анна. О Пушкине: Статьи и заметки. — Л., 1977. — С. 5.

<sup>24</sup>Тархов А.Е. Указ. соч. — С. 296—297.

<sup>25</sup>Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. — Л., 1984. — С. 308.

<sup>26</sup>Этот ключевой для нашей темы стих в известном Пушкину церковно-славянском тексте читался следующим образом: «На вербных посреде его обесихому Органы наша».

<sup>27</sup>Псалтирь, псалом 136.

<sup>28</sup>Не исключено, что к этой теме тяготеет и дата, выставленная Пушкиным в конце строфы: 18 сентября. Это дань памяти святого Евгения, епископа Гертинского, известного главным образом тем, что он жил и умер в изгнании.

<sup>29</sup>Конечно, Пушкин относился к Михайловскому, к Святым Горам не только как к тягостному месту ссылки. В последней главе этой книги читатель найдет и другой возможный контекст, в котором поэт воспринимает деревню.

<sup>30</sup>Лунин М.С. Общественное движение в России в нынешнее царствование. 1840// Мемуары декабристов. Северное общество. — М., 1981. — С. 305.

<sup>31</sup>Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. — Т. 1, XXX (1808—1809). — Спб., 1830. — С. 1054—1057.

<sup>32</sup>Русский архив, 1870. — Т. 12. — С. 2230—22350.

<sup>33</sup>Шепелев Л.Е. Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской империи. — Л., 1977. — С. 61—64.

<sup>34</sup>См.: Полное собрание законов... — Т. 1, XXX. — С. 1055.

<sup>35</sup>См.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах/Под ред. М.А. Цявловского. — Т. 5. — М.—Л., 1936. — С. 714.

<sup>36</sup>Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. — Л., 1975. — С. 173.

<sup>37</sup>Возможно, одним из аргументов в пользу знакомства Пушкина с запиской Карамзина еще до южной ссылки станет плохо читаемый автограф «Закон ограждается страхом» (см.: Рукою Пушкина. — М. — С. 155—156; между стр. 154 и 155 этого издания автограф воспроизведен факсимильно. Он датируется 1818—1819 годами. По мнению большинства исследователей, пушкинский текст является откликом на одно из рассуждений Карамзина в «Истории Государства Российского» (см.: Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. — Л., 1986. — С. 235—236). Вместе с тем, по нашему мнению, в отрывке «Закон ограждается страхом» Пушкин полемизирует не только с «Историей Государства Российского», но и с запиской «О древней и новой России», в которой есть длинное и подробное рассуждение о том, насколько закон основан на страхе (см.: Русский архив, 1870. — Т. 12. — С. — 2338—2341). Однако подробное сопоставление текстов далеко увело бы от нашей темы.

<sup>38</sup>Лотман Ю.М. Указ. соч. — С. 48—49.

<sup>39</sup>Когда Пушкин хвалил уход И.И. Пущина из военных на маленькую должность московского надворного судьи, то тут надо видеть со стороны Пушкина простое признание высоких нравственных качеств друга, а не одобрение шага, спасительного для отечества.

<sup>40</sup>Карамзин Н.М. Указ. соч. — С. 2297.

<sup>41</sup>Там же.

<sup>42</sup>Подробнее об этом см. в главе четвертой настоящей книги.

<sup>43</sup>Журнал Министерства Народного Просвещения. — Спб., 1913. — Часть XLIV, март. — С. 16—17 (вторая пагинация).

<sup>44</sup>К сожалению, здесь нет места не только для историографии, но и даже для библиографии. Назовем лишь имена основных исследователей: П.О. Морозов, В. Истрин, Б.В. Томашевский, А.Н. Шебунин, Н.Л. Бродский, Б.С. Мейлах, Ю.М. Лотман, А.Е. Тархов и др.

<sup>45</sup>См.: В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. — Т. 2. — М., 1979. — С. 330—331.

<sup>46</sup>Фотокопию см.: Литературное наследство. — 1934. — № 16—18. — С. 391.

<sup>47</sup>См.: Пушкин и современники. Вып. 13.

<sup>48</sup>Willkommen (нем.) — здесь в значении «вовремя», «в добрый час».

<sup>49</sup>Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. — М.—Л., 1936. — С. 250.

<sup>50</sup>Журнал Министерства Народного просвещения. — С. 17 (вторая пагинация).

<sup>51</sup>См.: Томашевский Б. Десятая глава «Евгения Онегина». История разгадки// Литературное наследство. — № 16—18. — С. 396.

<sup>52</sup>См.: В. Даль. Указ. соч. — Т. 2. — С. 328.

<sup>53</sup>Архив братьев Тургеневых. — Вып. 5. — Пг., 1921. — С. 183.

<sup>54</sup>См.: Шебуниин А. Братья Тургеневы и дворянское общество Александровской эпохи// Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. — С. 72.

<sup>55</sup>Архив братьев Тургеневых. — С. 379. На полях, видимо, рукой Н.И. Тургенева, сделана приписка: «Смотри речь Петра Великого после поражения шведского флота близ Аландского острова, в 1714 году» (подлинник приписки — по-англ.).

<sup>56</sup>Архив братьев Тургеневых. — С. 375; Пуштин И.И. Записки о Пушкине// А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 1. — М., 1974. — С. 99-100.

<sup>57</sup>[Н.М. Карамзин]. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице// Вестник Европы. — 1802. — N 15 (август). — С. 225—226 (курсив наш. — В.Л.).

<sup>58</sup>Владимир Даль. Указ. соч. — Т. 4. — С. 570.

<sup>59</sup>Там же. — Т. 1. — С. 173.

<sup>60</sup>Изображение этой медали см. в кн.: Фейнберг Илья. Читая тетради Пушкина. — М., 1985. — С. 213. Описание медали см.: Заворотная Л.А. Медали на события эпохи Петра I. Из коллекции А.А. Стаховича. Новые поступления в ГМИИ им. А.С. Пушкина: Каталог выставки. — М., 1988. — С. 70—71.

<sup>61</sup>См. в варианте: «И ты, Москва, страны родной/ Глава, сияющая златом». Попутно напомним: вдова — не только женщина, у которой умер муж. Например, в отрывке «Мы проводили вечер на даче» Вольская представлена как «вдова по разводу» (VIII, 421). Или — «соломенная вдова».

<sup>62</sup>Восстание декабристов. Документы. — Т. 16. — М., 1986. — С. 89—90.

<sup>63</sup>Там же. — С. 90.

<sup>64</sup>Там же. — С. 187.

<sup>65</sup>Из восьми перечисленных участников заседания «Коренной думы» Пушкин лично знал семерых. См.: Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е. — Л., 1988. — С. 102, 142, 272, 274, 327, 439, 449.

<sup>66</sup>Пушкин. Письма. /Под ред. Б.Л. Модзалевского. — Т. 1. — М.—Л., 1926. — С. 192.

<sup>67</sup>Слово «Идеал» с прописной буквы приводим по автографу, отступая от текста Большого академического собрания сочинений.

<sup>68</sup>Томашевский Б. Указ. соч. — С. 389.

<sup>69</sup>Журнал МНП. 1913. — С. 17.

<sup>70</sup>А.И. Тургенев заранее понимал, что на выражение «им внимал» брат может обидеться; поэтому и приписал здесь — «им», т.е. заговорщикам, сказал ему (Пушкину. — В.Л.), что ты и не внимал им и не знавал их». (Журнал МНП. — С. 17).

<sup>71</sup>Лотман Ю.М. Пушкин. — СПб, 1995. — С. 589—590.

<sup>72</sup>Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. — Л., 1987. — С. 446 (примеч.).



<sup>73</sup> Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина. (Библиографическое описание). Отдельный оттиск из издания: «Пушкин и его современники». Вып. IX–X. — СПб., 1910. — № 168–172; Алексеев М.П. Указ соч. — С. 488–501.

<sup>74</sup> Легенда о докторе Фаусте. Изд. 2-е. /Подготовл. В.М. Жирмунским. — М., 1978. — С. 36, 45.

<sup>75</sup> Там же. — С. 39.

<sup>76</sup> Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2-е. — Горький, 1984. — С. 224.

<sup>77</sup> Осповат Л.С. «Влюбленный бес». Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821–1831 гг. // Пушкин. Исследования и материалы. — Вып. 12. — Л., 1986. — С. 175–199.

**В** последний раз Пушкин побывал в Москве в мае 1836 года. Служебный повод поездки – работа в архивах для написания «Истории Петра». Но книга о первом императоре всероссийском шла трудно, и поэт с удовольствием отвлекался от своей тяжелой историографической должности – посещал московские салоны, участвовал в праздничных гуляниях, ходил в гости к друзьям.

Одним из самых интересных собеседников был в ту пору архивист, историк Алексей Федорович Малиновский. С ним Пушкин «забалтывался» на долгие часы. Нередко предметом вдохновенных обсуждений и споров было далекое и близкое прошлое старой столицы; оно равно занимало обоих. История родного города всегда воспламеняла воображение поэта. А Малиновский еще в начале 1820-х годов написал книгу «Обозрение Москвы» – наверно, лучший путеводитель по московской старине. Но так бывает – особенно в России: именно лучшие книги выходят слишком поздно, когда авторов давно уж нет в живых. В этом смысле «Обозрение Москвы» – уникал; оно отпечатано первым изданием совсем недавно, в 1992 году<sup>1</sup>.

У нас нет доказательств того, что Пушкин читал рукопись Малиновского. Это – вряд ли. Но можно быть уверенным: в беседах с поэтом историк широко пользовался сведениями, собранными в написанной, но неопубликованной книге. Да и вообще материал «Обозрения Москвы», рассчитанного на читателя-неспециалиста, соответствовал уровню знаний людей пушкинского круга. Говоря проще и пряме, – Пушкин знал о Москве почти то же и почти столько же, сколько и Малиновский.

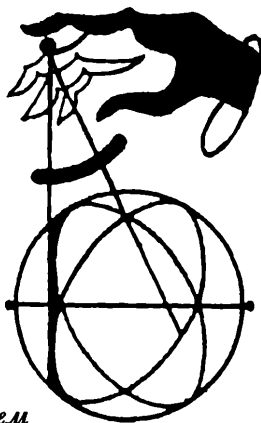
«Обозрение Москвы» есть трехчастная композиция, соответствующая структуре самого города. Первая часть – о Кремле; вторая – о Китай-городе; третья – о Белом городе.

Малиновский (а, значит, и Пушкин тоже) видит в Кремле первоядро столицы, главное ее сооружение, определяющее собою всю застройку. Это соответствовало общеевропейской традиции. Средневековый город, собственно, всегда был замком, вокруг которого «садились» купцы, ремесленники, обыватели; позже – и аристократические семейства. Кремлевский холм с его крепостью, видный издали, служил доминантой, вокруг которой «лепилось», столетиями наращивалось городское пространство. Кольца стен (Китай-город, Белый город) повторяли и поддерживали те архитектурные формы, которые задавал замок.

К концу XVII столетия средневековая Москва представляла собой апогей, высшую точку гармонического единства. Соборы и дворцы Кремля находили прямую и зримую поддержку в посадских храмах и усадьбах, а ожерелье подгородных монастырей (Новодевичий, Донской, Данилов, Ново-Спасский, Симонов и др.) своими стенами и башнями как бы опоясывало город, походило на систему планет вокруг Кремля-солнца.

Логика построения древней столицы в этом смысле была безупречна.

Пушкин в «Борисе Годунове» понимает эту логику. Трагедия начинается в Кремле и на Красной площади, продолжается под стенами Новодевичьего мо-



*настыря, а затем действие опять переносится в Кремль, в его палаты и монастыри. Другими словами: зритель сразу, с первых сцен ориентирован на Запад, на направление Воробьевых гор, откуда придет беда, составляющая смысл исторической драмы «Смутного времени».*

*Собственно, вся борьба между Борисом и Самозванцем идет за Кремль и его святыни.*

*Но истекает столетие, и с воцарением Петра Великого происходят в Москве важные перемены. От Лефортовского дворца на Кукуе берет свое начало новое направление московского зодчества. Европейский классицизм, барокко «прорастают» на московской почве, медленно, но неуклонно теснят средневековые терема да древние церкви. Фронтон, поддержанный колоннами, в начале XVIII века редкость и курьез, а в конце – уже обычная принадлежность московского пейзажа. Классицистические дворцы и особняки располагаются на землях ремесленных и торговых слобод, подступают к берегам Москвы-реки, к самому Кремлю.*

*Складывается хорошо знакомый Пушкину пласт нового московского зодчества.*

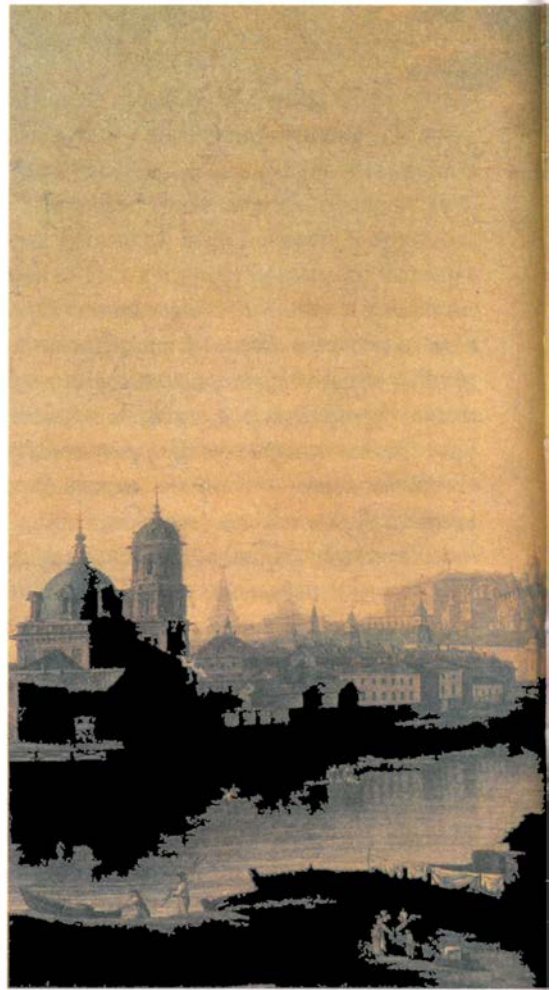
*С XVIII столетия, понятно, начинает нарушаться прежняя гармония Кремля и посада, центра города и его окраин. В то время, и даже еще в годы детства Пушкина, принято было водить дворянских недорослей в Кремль, с высоты колокольни Ивана Великого показывать Москву. Картина открывалась величественная, но далекая от того, что условно можно было бы назвать стилистическим единством. Например, прямо у Кремля, на холме у Боровицких ворот, располагался дом П.Е. Пашкова – во всем блеске баженовского классицизма. А во дворе здания по-прежнему стояла очаровательная церковка допетровской поры и напоминала об исчезающей староваганьковской слободе.*

*Такие сочетания удивляли, резали глаз – особенно людям старшего поколения.*

*Уже с середины XVIII века стало ясно, что Кремль в его древних формах не может считаться флагманом новейшей архитектуры. Московский классицизм как бы требовал своего завершения – какого-то здания или сооружения, которое выражало бы существо перемен, увенчивало, объединяло собою очаги пореформенного зодчества. Понимая эту необходимость, Екатерина Великая приняла решение: переделать Кремль, придать ему классические формы. Перестройство главного московского ансамбля императрица поручила Василию Баженову.*

Вид Московского Кремля со стороны Устьинского моста.  
Худ. М.Н. Воробьев. 1820-е годы

Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле



Ансамбль Соборной площади Московского Кремля. Акв.  
Д. Кваренги. Конец XVIII в.





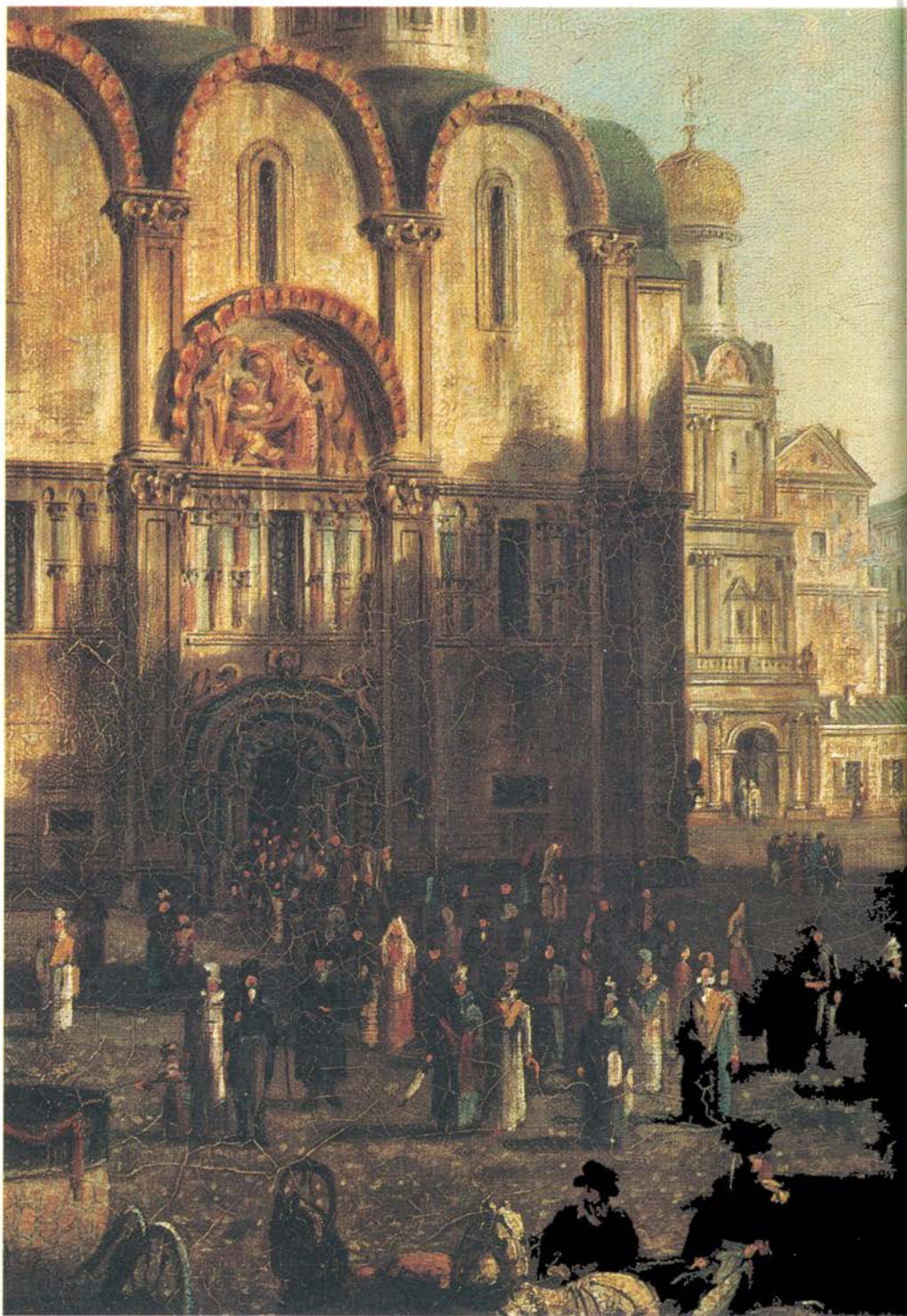


*О той попытке модернизации столичной крепости коренные московские патриоты вспоминать не любили. Но Пушкин о ней несомненно знал.*

*У того же Малиновского, например, находим упоминание о земельном участке на Моховой улице, который в 1770 году императрица повелела отвести Экспедиции кремлевских строений «для помещения тут материалов, которые тогда заготовлялись на созидание в Кремле огромнейшего дворца по проекту архитектора Баженова»<sup>2</sup>. Или еще. Рассказывая о кремлевском Архангельском соборе, Малиновский сообщает, что южная стена храма «при закладке в 1773 году огромнейшего дворца по плану архитектора Баженова подперта для предосторожности контрфорсами. Баженов /.../ приделал по стенам снаружи пилястры в два яруса с капителями, а под кровлей в полуциркульном возвышении вместили большие раковины»<sup>3</sup>.*

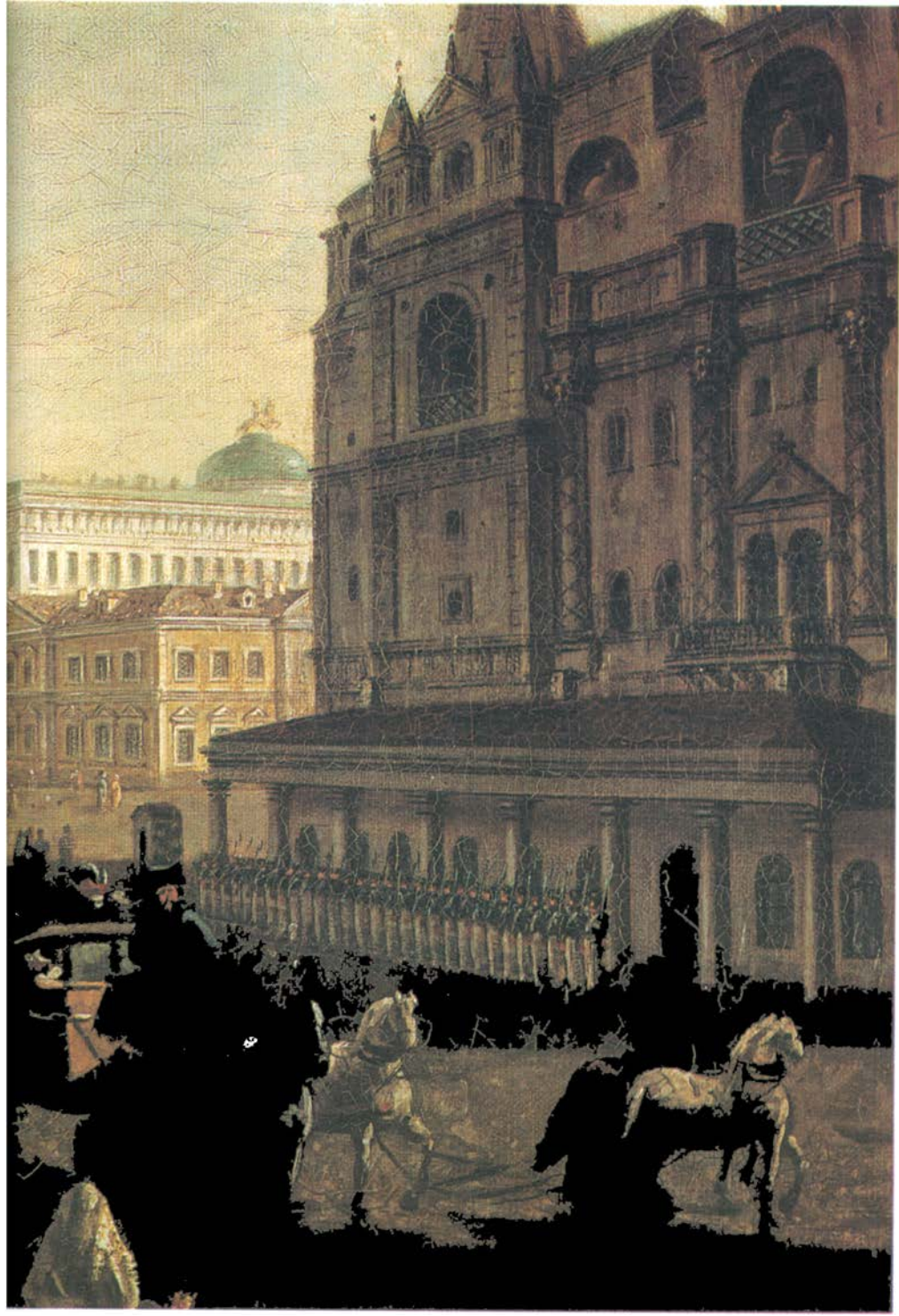
*Баженовский дворец, действительно, замышлялся как «огромнейший». Его корпуса должны были стать по периметру Кремля на месте сносимых стен и башен. А внутреннее пространство напоминало бы лучшие европейские ансам-*





Соборная площадь Московского Кремля. Фрагмент картины Ф. Алексеева. Нач. 1800-х годов





ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ 4





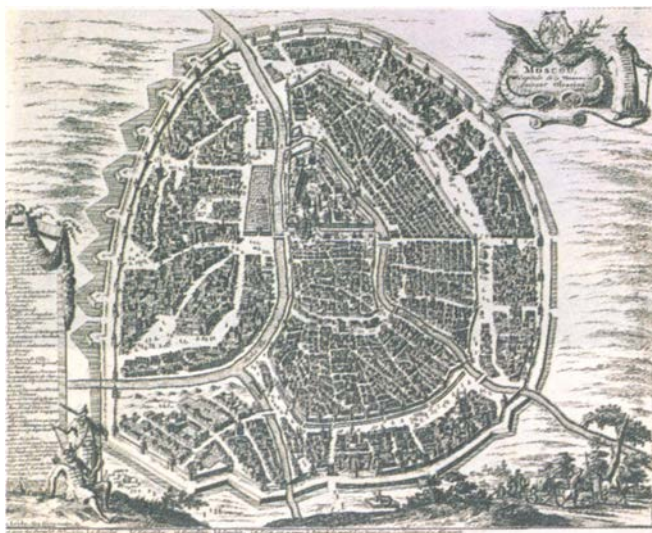
Медаль в честь закладки Большого Кремлевского дворца В.И. Баженова. Обратная сторона. 1775

План Москвы из книги А. Олери. 1630-е годы

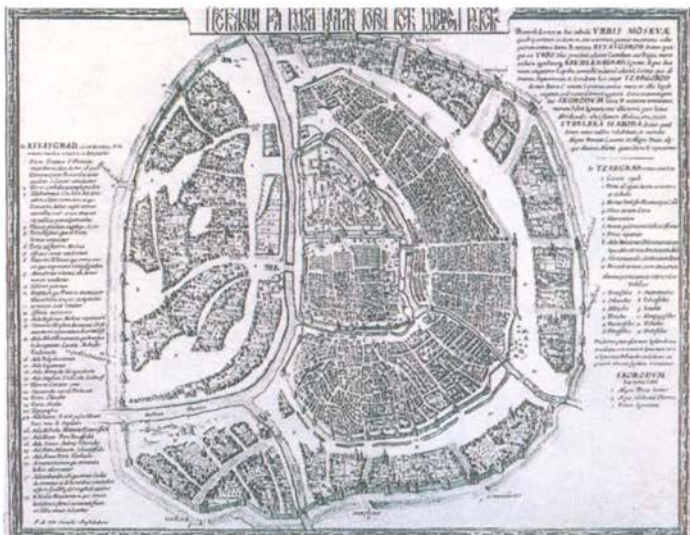
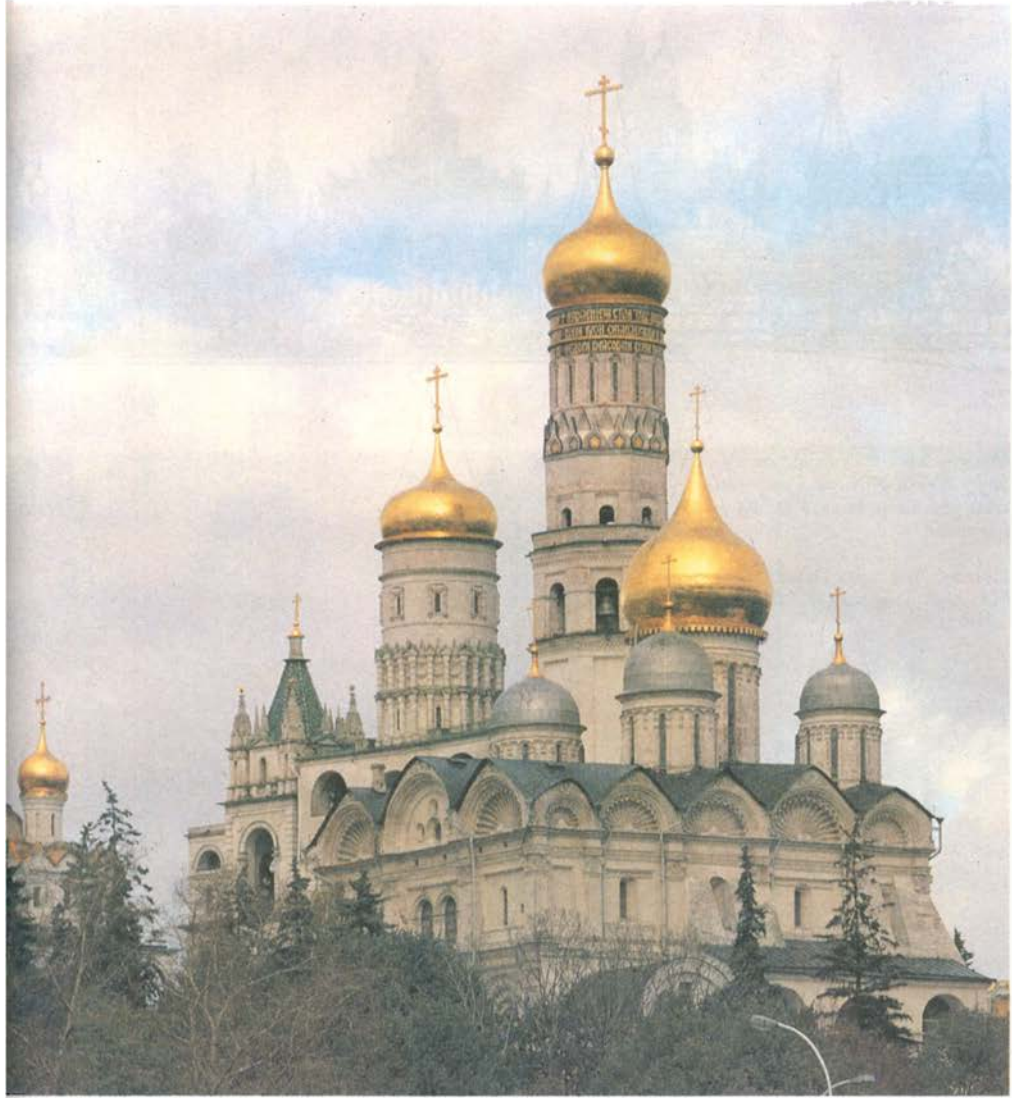
Московский Кремль. Вид на Иван Великий, Благовещенский и Архангельский соборы

«Сигизмундов» план Москвы. Гравюра Л. Килиана. 1610

«Петров чертеж». Аксонометрический план Москвы начала 1600-х годов. Впервые издан в 1613 г.

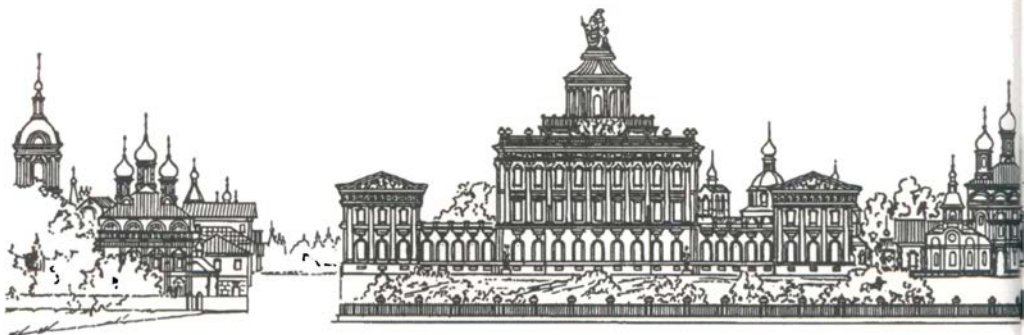






ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ 4





Москва. Моховая улица на рубеже XVIII–XIX вв. Графическая реконструкция Т.Н. Кудрявцевой

Москва. Вид дома Пашкова на Моховой. Гравюра Ж. Деларбта. 1799







ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ 4



Вид Большого Кремлевского дворца В.И. Баженова. Реконструкция К. Лопяло. Акв.

Вид Московского Кремля с монастырями. Гравюра перв. пол. XVIII в.



бли – прежде всего площадь перед собором Святого Петра в Риме, спроектированную архитектором Лоренцо Бернини. Отсюда, с кремлевского холма, начались бы по-петербургски прямые магистрали на Тверь и Ярославль, на Смоленск и Калугу, на Казань и Нижний Новгород. Реконструкция Кремля с неизбежностью влекла за собой регулярную перестройку средневекового города.

Москва еще с XVI века провозглашалась «Третьим Римом»; екатерининская перепланировка могла бы буквально внести в русскую столицу черты императорского Рима – гениальный проект Баженова намекал на такую возможность. Но снос стен и башен старого Кремля, но помещение древних соборов в иное, чуждое им архитектурное пространство; наконец, спрямление улиц – все это приходило в такое резкое противоречие с вековыми московскими традициями, что последствия даже трудно было предсказывать.

Баженов занимался кремлевским проектом восемь лет (1767–1775). По времени как раз на середину его усилий пришелся так называемый «чумной бунт» (1771), показавший среди прочего великую верность москвичей древним нравам и обычаям. Архиепископ Амвросий был, например, убит только за то, что в борьбе с чумной заразой препятствовал богомольцам собираться у чудотворной иконы на Варварке. Особенности русского бунта, бессмысленного и беспощадного, Пушкин потом исследует в «Истории Пугачева» – напомним:





ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ 4





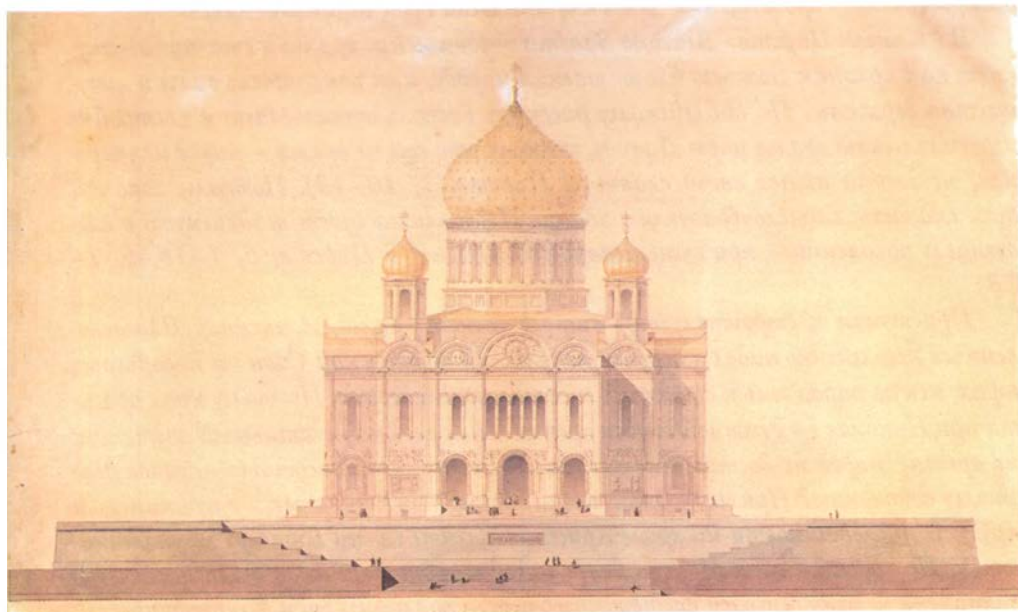
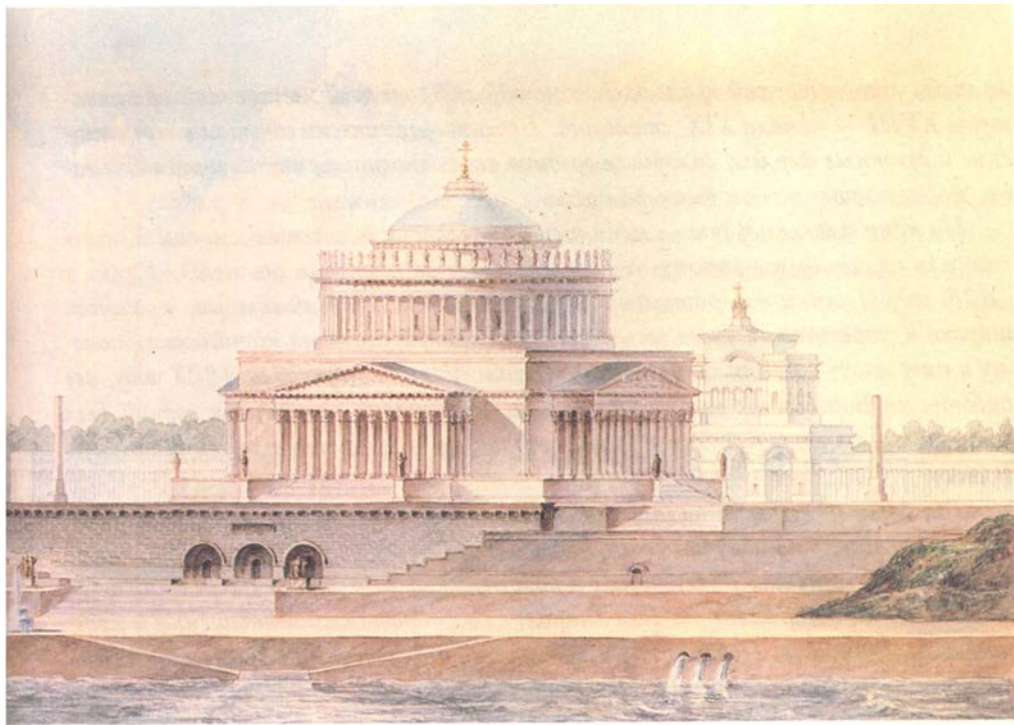
*крестьянская война ведь тоже пришлось на 1773–1775 гг. Резкая, катастрофическая «европеизация» старой столицы могла объединить против правительства, против Петербурга, москвичей всех сословий – от уличных нищих до родовитых князей и бояр. Видимо, императрица Екатерина II это поняла и под мелким надуманным предлогом отступила; проект Баженова не был осуществлен. А то, что успели в Кремле снести, впоследствии восстановили. Москва не желала становиться ни Римом, ни Петербургом.*

*Таким образом, пласт классического пореформенного зодчества остался в Москве без завершения, без главного здания. Древний Кремль по-прежнему господствовал над причудливой застройкой, в которой русская деревня соседствовала с Византией, а палладианство – с готикой Царицына и Петровского замка.*

*1812 год обострил проблему, как бы поставил ее заново. Но теперь уже никто не покушался на древние святыни. Кремль, разоренный французами, восстанавливался, в основном, в прежних, традиционных формах. С другой стороны, старая столица постепенно обретает еще один принесенный XIX столетием стиль – ампир, разновидность позднего классицизма. Он был связан с именами О.И. Бове, А.Г. Григорьева, А.А. Бетанжура, И.П. Мартоса и других зодчих и художников, хорошо известных в пушкинском кругу.*

*После Отечественной войны император Александр I задумал для Москвы монументальный храм-памятник победы – во имя Христа Спасителя. Его проект был поручен архитектору Александру Лаврентьевичу Витбергу; торжественная закладка собора состоялась в 1818 году на Воробьевых горах. Величественные очертания сооружения и его место на высотах над городом сде-*





Вид Красной площади с храмом  
Василия Блаженного

Общий вид храма Христа Спа-  
сителя на Воробьевых горах по  
проекту А.Л. Витберга. Неизв.  
художник. 1820-е годы

Проект храма Христа Спасителя.  
Архит. К. Тон. 1832

лами бы витберговский храм доминантой, лидером всей московской архитектуры XVIII – начала XIX столетий. Проект органически сочетал в себе светские и духовные формы, связывал воедино все разностилье столичного зодчества, нараставшее почти полтора века.

Но «дни александровы» сменились николаевским застоєм; новая власть сначала охладела к проекту, а потоми вовсе отказалась от него. Когда в 1826 году Пушкин возвратился в Москву из михайловской ссылки, в салонах широко и страстно обсуждалась неугодность Витберга и его «сочинения» новому императору и влиятельным вельможам. Уже в следующем, 1827 году, все работы на Воробьевых горах прекратились; несколько лет спустя зодчий был обвинен в злоупотреблениях и даже отправлен ссылкой в провинциальную Вятку.

Так Москва вновь осталась без своего главного ансамбля; классицистический город опять не получил своего завершения.

Пушкин, конечно, размышлял о баженовской перестройке Кремля, а уж тем более, как современник, был знаком с подробностями возвышения и падения А.А. Витберга. Поэт вряд ли мог обсуждать проекты с профессионально-архитектурной точки зрения. Но главное сооружение новой Москвы он должен был понимать и оценивать как явление духовной жизни, как значительный шаг российского просвещения. Высокие аналогии тут напрашивались.

В «Книгах Царств» Ветхого Завета воздвижение храма в столице выступает как признак Божьего благословения народу, как показатель силы и могущества державы. По библейскому рассказу Господь отказывает в постройке иерусалимского храма царю Давиду, потому что еще не время – народ не укоренен, не достиг апогея своей славы (2 Царств, 7, 10–13). Поэтому главное, так сказать, смыслообразующее здание Иерусалима будет воздвигнуто в следующем поколении – при сыне Давида Соломоне (3 Царств, 5, 1–18; 6, 1–38).

Приступая к строительству витберговского храма, Александр Благословенный несомненно видел в перспективе некий московский Сион на Воробьевых горах, некую параллель к страницам священной истории. Поэтому крах проекта при Николае I с духовной точки зрения имел весьма негативный подтекст: не время? народ не достиг апогея славы? Бог не судил свершить великое дело этому поколению? Примерно так могли обсуждать случившееся в пушкинском кругу. В наследии поэта ни храм Христа Спасителя, ни Витберг не упоминаются. Но просвещенная Москва двадцатых-тридцатых годов была настолько захвачена подробностями постройки храма – подлинными и фантастическими, – что миновать Пушкина они не могли.

В год гибели Пушкина архитектор К.А. Тон приступил к новому проекту храма Христа Спасителя. Но то уж был памятник совсем иного свойства. Задуманный в русско-византийском стиле, он по своим формам тяготел скорее к допетровской, чем к классицистической Москве. Так что главным сооружением столицы остался все-таки Кремль, а пласт архитектуры, современ-



*ной Ломоносову и Суворову, Грибоедову и Пушкину, так и остался без своего завершения.*

*Видно, такова уж московская традиция.*

*Сегодня, в год пушкинского 200-летия, это особенно хорошо заметно. Ведь вот и «социалистическая» Москва тоже осталась без главного сооружения – Дворца Советов, призванного увенчать собою реконструкцию столицы. Сейчас в «спор» с древним Кремлем вступает новый центр – на Краснопресненской набережной. Сбудется ли этот проект? Как знать...*

*Но Пушкин уже и современной нам Пресни не узнал бы...*

<sup>1</sup> Малиновский А.Ф. Обзорение Москвы /Сост. С.Р. Долгова. – М., 1992.

<sup>2</sup> Там же. – С. 157.

<sup>3</sup> Там же. – С. 37.



Propnauur Sifou adst'vahr adstahr  
 Ghouvar pagghahs — <sup>instaur</sup> ~~but our~~ ~~lyphahs~~  
 hiphahar — nauvarahpahr ~~conpachahs~~  
 pagpaldahs ~~bohohah~~ ~~pagpaldahs~~  
~~hahah~~ — ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~

~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~

~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~

~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~

~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
 V ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~

~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~  
~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~ ~~hahah~~

## Глава IV

---

A large, intricate decorative flourish in black ink, featuring a central oval shape with elaborate, swirling lines extending upwards and downwards. The text is centered within the oval part of the flourish.

Во дни  
болдинской осени

ВОКРУГ ОТРЫВКА  
«КОГДА ПОРОЙ ВОСПОМИНАНЬЕ...»

Отрывок написан Пушкиным в октябре 1830 года в Болдине. Напомним его текст:

Когда порой воспоминанье  
Грызет мне сердце в тишине  
И отдаленное страданье  
Как тень опять бежит ко мне,  
Когда людей вблизи /у/вида,  
Их слабый ум возненавидя, —  
В пустыне скрыться я хочу  
Тогда /забывшись/ я лечу  
Не в светлый край, где небо блещет  
Неизъяснимой синевой/  
Где /море теп(лою) волной/  
На мрамор ветхий тихо плещет,  
И лавр и тем/ный/ ки/парис/  
На воле пыш/шно/ разрослись,  
Где пел Т/орквато/ величавый,  
Где и теперь /во м/гле/ но/чной/  
Далече звонкою скалой  
/Повторены/ его октавы.  
Стрем/люсь/ привычною меч/тою/  
К студеным север/ным/ волн/ам/.  
Меж белоглавой их толпою  
Открытый /?/ остров вижу там.  
Печальный остров — берег дикой  
Усеян зимнею /?/ брусничкой,  
Увядшей тундрою покрыт  
И холодной пеною подмыт.  
Сюда порою /приплывает/  
/Отважный северный рыбак/,  
Здесь рыбарь /?/ невод расстилат  
/И свой/ разводит он очаг.  
Сюда погода волновая  
Заносит /утлый(?)/ мой/?/челнок. (III, 243–244)<sup>1</sup>.

Отрывок был впервые полностью опубликован в 1916 году П.О. Морозовым<sup>2</sup> и с тех пор много раз подвергался изучению. О нем писали Б.В. Томашевский, А.А. Ахматова, Г.В. Краснов, Н.И. Клейман, Э.Г. Гершгейн и другие исследователи<sup>3</sup>. Тем не менее смысл его до сих пор неясен и вызывает противоречивые суждения.



1.

Над наброском долго и по разным поводам размышляла А.А. Ахматова. Он был для нее одним из коренных примеров пушкинского иносказания, где под верхним слоем смысла таится нечто совершенно неожиданное, глубоко зашифрованное. В опубликованных посмертно заметках о «Евгении Онегине»<sup>4</sup> Анна Андреевна прямо писала:

«А тайнопись у Пушкина была. Не знаю, довольно ли сказано в науке о величайшем поэте XIX века (во всяком случае) про эту его особенность и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразеях о ясности, прозрачности и простоте Пушкина /.../. Беру для примера ту же тему дальше:

А что? Да так. Я усypяю  
Пустые, черные мечты...

(NB. Ср. отрывок 1830 — «И злое мрачное мечтанье»)<sup>5</sup>.

Тесную зависимость отрывка от «Евгения Онегина» — и смысловую, и строфическую — Ахматова установила правильно. «Пустые, черные мечты» из четвертой онегинской главы, как мы дальше попробуем показать, действительно тяготеют к пушкинским осенним размышлениям в Болдине 1830 года.

Но Ахматова ставит отрывок и в другой смысловой ряд, прямо не связанный с основными онегинскими главами. Этот ряд задан известными обстоятельствами. В апреле 1828 года Пушкин и П.А.Вяземский совершили прогулку к Петропавловской крепости, за Неву. Был день Преполовения, в который, по православной традиции, следует поминать и навещать преступников, сидящих в тюрьмах. От той прогулки Вяземский хранил в черном запечатанном ящичке пять щепочек — память о пяти казненных декабристах. Анна Андреевна знала статью Н.О. Лернера («Каторга и ссылка», 1931, N 6, с. 179—181), где все это обсуждалось<sup>6</sup>.

В статье «Пушкин и Невское взморье» (1963) Ахматова дает обширный обзор на тему о трепетном, святом отношении поэта к кладбищам, местам захоронений. И делает из этого обзора вывод: Пушкин искал могилы казненных декабристов. Именно к их могилам и была обращена его мысль в Болдине; это и есть то «воспоминанье», которое «грызло» его «сердце в тишине». А место, где похоронены пять мучеников, — как раз тот «печальный остров — берег дикой» из болдинского отрывка.

Значит, по разумению Ахматовой, в отрывке речь идет о северной оконечности Васильевского острова, т.е. об острове Голодай<sup>7</sup>. Вот общий итог ее рассуждений:

«Скорбный интерес, который проявляет к этому месту Пушкин, трижды описывая его («Домик», 1828, отрывок «Когда порой воспоминанье», 1830, и «Медный всадник»), позволяет нам предположить, что он искал безымянную могилу на Невском взморье»<sup>8</sup>.

Тем самым Ахматова выстраивает логическую триаду из пушкинских произведений:

Устная новелла «Уединенный домик на Васильевском».

Болдинский отрывок «Когда порой вспоминаешь...».

Финал «Медного всадника».

По мысли Ахматовой все три описания острова, морского побережья, относятся к северной оконечности петербургского Васильевского острова и занимают Пушкина как сокровенный некрополь, как место тайного поклонения памяти казненных. Однако ж, цепь, протянутая Ахматовой, оказывается слабой во всех трех звеньях. Можно доказать, что ни по смыслу стихов, ни по топографии и хронологии болдинский отрывок не связан с устной новеллой «Уединенный домик...» и финалом петербургской поэмы.

Начнем с верхнего слоя содержания болдинского отрывка.

В нем ясно соотнесены грезы поэта об Италии (вечное, несбывшееся стремление) с «привычною мечтою» о каком-то северном острове. Грезу и мечту в этом случае проще всего сопоставлять с грезой и мечтой же. Весь смысл стихотворения в том и состоит, что раньше поэт стремился к одной недостижимой цели, а теперь у него другая цель, столь же далекая и недостижимая. Если это окраина Петербурга, хотя бы сакрально связанная с могилой, то непонятно — в чем же ее недостижимость? Всего только несколько недель назад — в августе 1830 г. — Пушкин был в Петербурге<sup>9</sup> и мог беспрепятственно бродить по Невскому взморью. Возможно, даже и бродил, хотя об этом нет никаких свидетельств.

Гораздо логичнее другое предположение: на «печальном острове», о котором он грезит в Болдине, Пушкин никогда не был. Как не был он и в Италии. В этом «небытии», в этой недоступности для Пушкина — и есть, по нашему мнению, основное сходство Италии и северного «берега дикого», позволяющее поэту поставить их в один мечтательный ряд.

Неубедительны у Ахматовой и доказательства по признаку сходства пейзажей, местностей. У Пушкина в отрывке — и в основном варианте, и в черновике — «Открытый остров» (III, 243, 852), что трудно отнести и к Васильевскому острову, и к его северной оконечности. Голодай даже и в море не расположен; это просто северная оконечность Васильевского острова, отделенная от него всего лишь речкой Смоленкой. Весь Голодай как раз и расположен между двумя реками — Смоленкой и Малой Невой, а от морского залива еще отгорожен островом Вольным. Отсюда, от задворков Петербурга, «отважный северный рыбак» не может плавать дальше Маркизовой лужи; вся романтическая картина бледнеет и осыпается.

Столь же маловероятно утверждение Ахматовой, будто «печальный остров» отрывка есть то же самое место, где происходит действие «Уединенного домика на Васильевском» и финала «Медного всадника». Пейзажи не сходятся. Например, на Невском взморье, где гибнет герой петербургской повести Евгений, место обозначено так:

Пустынный остров. Не взросло  
Там ни былинки... (V, 149)

А в болдинском отрывке сказано совсем другое:

Печальный остров — берег дикой  
Усеян зимнею (?) брусникой,  
Увядшей тундрой покрыт... (III, 243)

В вариантах отрывка эта «увядшая тундра» даже обретает характерную подробность:

Кой-где растет кустарник тощий. (III, 243).

О месте, где предполагаются кусты и брусника, никак нельзя сказать, что там нет «ни былинки». Понятно: тут разные острова. И разное к ним отношение поэта. Продолжая это наблюдение, можно было бы «замечать разность» также между чиновником Евгением и декабристами, но это отдельная тема; она увела бы нас далеко от изучаемого болдинского отрывка.

Из декабристского контекста сакральных «могил» можно, кажется, совершенно исключить и «Уединенный домик на Васильевском». Выстраивая свою «триаду», Ахматова относит «Домик» к 1828 году, когда Пушкин рассказывал свою сказку в присутствии Анны Олениной<sup>10</sup>. Но ведь «Домик» — и Ахматова об этом знает — минимум тремя годами старше. Анна Петровна Керн слышала его еще летом 1825 года в Тригорском. Конечно, устная сказка не имела канонического текста. Но Керн запомнила как раз интересующую нас деталь; в Тригорском Пушкин рассказывал «сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров»<sup>11</sup>. Значит, и сама сказка, и место ее действия на Невском взморье существовали в сознании Пушкина уже не позднее лета 1825 г., т.е. ровно за год до казни декабристов. Какие там их могилы...

Васильевский остров в «Домике» возникает в совершенно ином контексте. Пушкин несомненно знал статью Н.М.Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях» (1802), в которой изложены обстоятельства создания знаменитой «Душеньки». Карамзин замечает: «Богданович с удовольствием говаривал после о времени ее сочинения. Он жил тогда на Васильевском острове, в тихом, уединенном домике»<sup>12</sup>. В 1828 году Пушкин очередной раз рассказывал свою сказку. Именно в салоне Карамзиных намеки на Богдановича и статью покойного хозяина дома были, надо полагать, особенно хорошо понят.

Отсюда следует, что «Уединенный домик» по признаку места действия никак не связан с драмой 14 декабря. И вся трехзвенная цепочка произведений Пушкина, предлагаемая Ахматовой, распадается.

Впрочем, можно было бы и не заниматься «мелочеведением» — как-то неудобно, неинтересно «ловить» поэта (в данном случае Ахматову) на фактических и логических неточностях. Достаточно и общего, интуитивного ощущения. Если Пушкин — уже автор «Пророка» — серьезно утверждает в болдинском отрывке —

В пустыне скрыться я хочу —

то под этой «пустыней» нельзя, невозможно разуместь столичный Петербург, Васильевский остров. Тут, конечно, что-то более возвышенное, едва ли не равное библейской пустыне.

Но версия Анны Андреевны не вовсе бессмысленна.

Просто ее надо понять в другом ряду — в русле ахматовской биографии, творчества. В статье «Пушкин и Невское взморье» есть удивительное место — ключ ко всему сюжету. В уже упомянутом обзоре, доказывая святое отношение Пушкина к местам последнего упокоения, Ахматова напоминает: вот Пушкин внимателен к могилам Наполеона, Кутузова, Кочубея; вот Дуня из «Станционного смотрителя» и Маша из «Капитанской дочки» приходят поклониться родительским могилам, вот онегинская Татьяна поминает могилу няни. И так далее. «Здесь, — отмечает Ахматова, — Пушкин щедро отдает свои сокровеннейшие чувства и мысли своим избранникам»<sup>13</sup>.

Примерно так же поступает и сама Ахматова.

Своему «избраннику» — Пушкину — она не менее щедро «отдает» свои мысли, чувства и переживания. В августе 1921 года чекисты расстреляли Гумилева и, продолжая дурную самодержавную традицию, закопали его тайно — где-то на Охте. Анна Андреевна искала его могилу. И, видимо, нашла. В 1946 году она потихоньку, из окна автомобиля, показывала это место Ирине Пуниной<sup>14</sup>. А потом свои поиски и свои «грызущие» воспоминания по этому поводу «подарила» Пушкину. Статья «Пушкин и Невское взморье» может быть понята как подцензурная параллель к совсем неподцензурным мыслям автора. В форме статьи о Пушкине Анна Андреевна рассказала и о собственной жизни, и о собственных переживаниях. И кто кинет в нее камень?

То же самое, только гораздо прямее и откровеннее, Ахматова совершила в статье «Слово о Пушкине» (1961). Там она говорит о современниках Пушкина, его не оценивших и растоптавших: «Они могли бы услышать от поэта:

За меня не будете в ответе,  
Можете пока спокойно спать.  
Сила — право. Только ваши дети  
За меня вас будут проклинять»<sup>15</sup>.

Здесь во-первых о себе; и только во-вторых о Пушкине.

«Могли бы услышать от поэта» — тут Анна Андреевна прямо, со страшной смелостью, приписывает Пушкину свои стихи. Дарит. «Щедро отдает». Это ее поэтическое право. Но для нас-то стихи не перестают быть ахматовскими, выросшими из биографии и обстоятельств, на столетие удаленных от Пушкина.

Так и со статьей о Невском взморье.

Она остается. Но не как научное эссе, а как поэтическая легенда, в которой двадцатый век смотрится в зеркало прошлого, но все равно видит себя...



2.

Для истолкования отрывка «Когда порой воспоминание...» следует вернуться к общеизвестным, установленным фактам: стихи рождаются во время болдинского заточения поэта, написаны онегинской строфой и предназначены для одной из последних глав романа. Н.И.Клейман, думается, верно указал место в черновиках «Путешествия Онегина», где по смыслу могли бы стоять строки отрывка. Это условное пространство между 32-й и 33-й строфами<sup>16</sup>.

Строфа 32-я так называемой «Сводной рукописи» завершается строками:

Уехал в тень лесов Т/ригорских/  
В далекий северный уезд  
И был печален мой приезд: (VI, 505)

Начало следующей, 33-й строфы, близко напоминает разбираемый отрывок:

О где б Судьба не назначала  
Мне безымянный уголок,  
Где б ни был я, куда б ни мчала  
Она смиренный мой челнок... (VI, 505)

Весь образ и даже рифмуемое слово суть ясные аналогии финала болдинского отрывка: «Загонит /утлый мой/ челнок». Развитие сюжета романа здесь, как и во многих иных случаях, сопрягается с движением биографии самого Пушкина. Собственно, речь идет о двух деревнях — Михайловском и Болдине, куда автор приезжает соответственно в 1824 и 1830 годах и где насильственно удержан. В первом случае это ссыльное невольничество, а во втором — условия холерного карантина. То, что сам Пушкин сознательно связывает оба заточения, показать нетрудно. Отчасти это сделала Ахматова. Мы уже приводили ее мнение: написанная в Михайловском XIX строфа четвертый онегинской главы близко сходствует с разбираемым отрывком.

Продолжим это наблюдение; напомним строфу из четвертой главы:

А что? Да так. Я усypялю  
Пустые, черные мечты  
Я только в с к о б к а х замечаю,  
Что нет презренной клеветы  
На чердаке вралем рожденной  
И светской чернью ободренной,  
И нет нелепицы такой,  
Ни эпиграммы площадной,  
Которой бы ваш друг с улыбкой  
В кругу порядочных людей,  
Без всякой злобы и затей,  
Не повторял сто крат ошибкой. (VI, 80—81)

«Пустые, черные мечты», по Ахматовой, и есть вариант «мрачного мечтанья» из болдинского отрывка. Добавим — если мысленно поставить отрывок между 32 и 33

строфами «Путешествия Онегина», т.е. между печальным приездом в далекий северный уезд и «смирненным челноком», гонимым судьбой, то окажется, что после завершения отрывка пойдут строки:

Где б ни ждала меня могила  
Везде, везде в душе моей  
Благословлю моих друзей.  
Нет нет! Нигде не позабуду  
Их милых, ласковых речей. (VI, 505).

В обоих случаях мотив страдания подхватывается суждением о речах друзей. Тем самым еще раз подтверждается догадка Клеймана о месте романа, в которое Пушкин полагал поместить отрывок. Для нашей темы неважно, кто ложные и кто истинные друзья и какими реальными житейскими обстоятельствами определены онегинские строфы. Существенно только одно: речи друзей в Михайловском и Болдине имеют отчетливо противоположную направленность. Или можно сказать по-другому: внешнее сходство двух деревенских заточений наполнено для Пушкина р а з н ы м смыслом, разным содержанием.

Сам разбираемый отрывок именно и выявляет одну из важнейших сторон этой разницы.

В 1824 году Пушкин приезжает в Михайловское из Одессы, где все для него дышало Средиземноморьем, где «язык Италии золотой» звучал в порту, на улицах, в театре. Эти впечатления долго живут в сознании поэта. Пушкин замышляет побег в Европу<sup>17</sup>, а пока приходится жить в деревне, он затевает славную «итальянскую» игру с барышнями-соседками. Нам еще предстоит подробно рассказать о том, как на тригорском холме общество учит итальянский язык, как звучат баркаролы и рассказываются устные новеллы в духе Бокаччо<sup>18</sup>. Нет сомнения в том, что такая направленность пушкинского сознания и отражена началом болдинского отрывка. Из заточения, из деревенского невольничества поэт рвется в «край, где небо блещет / Неизъяснимой синевой».

Устойчивость мотива доказывается и стихотворением 1828 года «Кто знает край, где небо блещет» (III, 96), откуда в болдинский отрывок с небольшими переделками перенесено описание Италии. Альтернативой русской деревне, безвестности и уездным дрязгам становится сказочно прекрасная Авзония.

Говоря формально, село Болдино 1830 года ничем не отличается от села Михайловского 1824 года. Что изменилось? С течением исторического и личного времени изменилось умонастроение Пушкина. Мы не возьмем за поиски того, чем в 1830-м наполнено «грызущее воспоминанье» и «отдаленное страданье» — не исключено, что здесь простая дань общей романтической риторике. Но теперь альтернатива страданию не Европа, не «край, где небо блещет», а некий несомненно русский остров, «берег дикой», куда стремится привычная мечта поэта.

Для читателя романа все кажется знакомым.

В том же «Путешествии Онегина» есть хрестоматийно известное расставание с прежним романтическим настроением: безымянные страданья, волн края жемчуж-

ны, гордой девы идеал и т.д., как известно, сменяются отечественным дождливым пейзажем, кабаком и скотным двором (VI, 502–503). Но видно и отличие — весьма существенное. Морской северный пейзаж, нарисованный в отрывке, очень далек от обыденной России, от Михайловского и Болдина. И по-своему тоже романтичен. Так что самой общей направленностью пушкинской «мечты» от европейского Запада к России — мало что конкретно проясняется.

Ключ к смыслу отрывка надо, по нашему мнению, искать в настроениях Пушкина осенью 1830 года, в болдинских стихах и прозе. Обстоятельства деревенского затворничества поэта хорошо известны: он рвется в Москву к невесте, а холерные карантинны его задерживают, не пускают. В письмах к Н.Н.Гончаровой Пушкин дважды — и с явной иронией — намечает фантастические пути, на которых он собирается в объезд карантинных встретиться с невестой. В письме от 11 октября: «Передо мною теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к Вам через Кяхту или Архангельск?» (XIV, 116). Далее, в письме около 29 октября: «Если Вы в Калуге, я приеду к Вам через Пензу; если Вы в Москве /.../, то приеду к Вам через Вятку, Архангельск и Петербург» (XIV, 119). Все это, конечно, не более чем словесная игра. Но в обоих письмах, написанных одновременно с отрывком, почему-то воображаемые пути ведут через Архангельск<sup>19</sup>.

На «географической карте» пушкинского сознания Архангельск, северное Поморье, именно в это время как-то особенно отмечены. Тому есть доказательства. И уже нешуточные. Речь пойдет прежде всего об антологическом стихотворении «Отрок».

Прежде чем к нему обратиться, напомним хронологический ряд важных для нас болдинских сочинений:

10 октября. Стихотворение «Отрок».

11 октября. Первое письмо к Н.Н.Гончаровой с упоминанием Архангельска.

19 октября (не позднее). Отрывок «Когда порой вспоминаешь...»<sup>20</sup>.

29 октября (около). Второе письмо к Н.Н.Гончаровой с упоминанием Архангельска.

Таким образом, четырежды на протяжении нескольких дней Пушкин обращается к рускому Северу, и это действительно становится как бы его привычною мечтою.

Напомним основной текст стихотворения «Отрок»:

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;  
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!  
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:  
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям. (III, 241)

Сходство образов и обстоятельств «Отрока» и отрывка «Когда порой вспоминаешь...» очевидно. «Студеным северным волнам» точно соответствует «студеное море», а расстилающий невод «отважный северный рыбак» в самом близком родстве с рыбаком, расстилающим сети. Не так бросается в глаза, но так же твердо и сходство основных мотивов двух стихотворений: перемена судьбы, перемена на-

правленности ума и духовной жизни. Лирический герой отрывка, как бы перерождаясь, не имеет более утешения в чужих краях, а воздвигает новый алтарь в собственном своем отечестве. Отрока антологического стихотворения мы застаем тоже в момент коренной ломки, в момент перехода к иному жизненному поприщу.

По стойкой литературоведческой традиции в отроке принято видеть либо М.В. Ломоносова<sup>21</sup>, либо намек на евангельского рыбака, призываемого к новозаветному апостольскому служению<sup>22</sup>; либо считать оба истолкования возможными. Соглашаясь с этими версиями, ничуть их не опровергая, мы все-таки постараемся показать, что смысловое наполнение стихов не совсем поглощается упомянутыми применениями. В этом как раз и убеждает соотнесение «Отрока» и наброска «Когда порой вспоминаешь...»

В финальной строке основного текста «Отрока» есть едва заметная странность:

Будешь ловитель умов, будешь помощник царям.

Каким царям? О каких монархах тут может идти речь?

Научная деятельность Ломоносова в России началась после возвращения из Германии в 1741 году и протекала при Елизавете Петровне и Екатерине Великой. Но, во-первых, они все-таки не «цари», а царицы; а, во-вторых, Ломоносов — при всех своих заслугах — не был, однако, в числе приближенных к императрицам. Их помощниками современники Пушкина считали людей совершенно другого полета — Разумовских, Орловых, Потемкина, Румянцева и им подобных.

Если же речь идет не о Ломоносове, а о призвании апостолов, то стихотворение в финале вовсе не объяснимо. Царь Небесный — один. Даже если принять римскую бессмыслицу о Христе как Царе Иудейском, то все равно нелепо было бы обобщенно называть «царями» две первые ипостаси Св. Троицы. Заодно уж заметим: призываемые апостолы не расстилают сети «по берегу студеного моря».

Пушкин все это понимает; поэтому смешение русских и новозаветных реалий для него действие чем-то обусловленное. Или, по меньшей мере, вполне сознательное. Здесь важную смысловую коррекцию вносит черновик стихотворения «Отрок». В нем есть такой вариант последней строки:

Будешь ловитель умов, будешь подвижник Петру.  
(II, 846)

О новозаветном смысле варианта — речь впереди.

Пока же отметим только, что слову «помощник» соответствует тут — «подвижник», а «царям» — «Петр».

3.

Вместе с вариантом «Отрока» в поле притяжения болдинского отрывка входит тема Петра Великого. Она не выступает наружу, остается в черновом подтексте. Но финал с Петром важен — например, он ослабляет присутствие Ломоносова, кото-



рому в год смерти Петра исполнялось всего 14 лет; ему не предстояло подвижничать при первом императоре.

Для Пушкина тема Петра I с середины 20-х годов становится не только остро актуальной, но и глубоко личной. После беседы с Николаем I в сентябре 1826 года поэт «со страхом и трепетом» осознает свое новое положение в государстве и обществе. Не ссыльный. Не опальный. Царь милостив. Но весь высший бюрократический круг все-таки не считает Пушкина «своим», относится к нему с понятным недоверием. Либералы тоже недовольны: им кажется, будто поэт недопустимо близок к правительству, слишком дорого платит за свою призрачную свободу. Что Пушкин может на это ответить? Во-первых, он напоминает о независимом величии своего призвания — «Ты царь; живи один» (III, 223). А во-вторых — слагает миф о Петре Великом и его прямом преемнике Николае I. Контуры мифа — в стихотворении «Стансы» (1826). Признав в императоре Николае реформатора, ревнителя блага отечества, Пушкин тем и объясняет свое место под державным солнцем.

Очень важным ответвлением этого мифа служит для Пушкина история предка, царского арапа Ибрагима. Предок служил Петру; потомок готов служить Николаю, который и есть современный Петр. Такая аналогия много раз возникает под пером Пушкина<sup>23</sup>, и нам еще предстоит об этом рассказать.

Тут любопытна переключка болдинского отрывка с «Арапом Петра Великого», начатым еще в 1827 году. Если мы верно уловили близкую родственность стихотворения «Отрок» и неоконченного болдинского отрывка по мотиву высокого жизненного призвания, то роман о царском арапе прямо относится к нашей теме. «Будешь подвижник Петру» — основной смысл написанной Пушкиным части прозаического произведения.

Но вспомним: в первой главе «Арапа Петра Великого» Ибрагим мучительно решает — Франция или Россия? Остаться ли в цивилизованной Европе или уехать в страну, которую герцог Орлеанский почти точно по будущему отрывку называет «полудикой» (VIII, 8)? На одной чаше весов Париж и любимая женщина<sup>24</sup>, а на другой долг перед Россией и Петром. В сущности привычная мечта лирического героя болдинского отрывка бьется в пределах похожего выбора: праздничная европейская идиллия или русский «остров дикий»? У Ибрагима долг перед Россией и Петром одерживает победу над прелестями Франции. То же самое в конечном счете происходит и с героем стихотворения «Когда порой вспоминаешь...». Он осознает некий долг перед отечеством, что и является ему в образе «увядшей тундры» на севере России.

Говоря обобщеннее, раньше Пушкин искал свое место в широкой, ничем не ограниченной области европейского просвещения; теперь его поиски не то чтобы сузились, но обретают более ясную направленность. Не вообще европейская цивилизация, но место России (и только через нее — Пушкина) в семье просвещенных народов, ее вклад в благое движение человечества. Назревает то новое свойство Пушкина, которое всего через год П.Я. Чаадаев определит со всей ясностью: «Вот вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призва-

ние»<sup>25</sup>. Философ, вряд ли знакомый с «Арапом Петра Великого», с «Отроком», и наверняка не читавший болдинского отрывка, — угадывает, каким путем шло самосознание поэта.

Но с точки зрения самого Пушкина тут еще не вся правда. Боль, которая чувствуется в отрывке, дает понять, что одно лишь титло великого «национального поэта» недостаточно для живого человека. Тот же Ибрагим, обласканный двумя монархами, все равно страдает от своей черноты, от угасшей женской любви — да мало ли от чего еще... Так и Пушкин.

Высокое призвание, понятно, не избавляет от обязанности уживаться с низменным миром. А мир таков, что требует уйти, скрыться, не видеть... Хорошо, когда Дельвиг, Плетнев, Жуковский, Чаадаев, еще несколько друзей понимают и принимают его аристократическую игру с тенью Петра. Другие-то ничего подобного не видят. Еще до отъезда в Болдино Пушкин приветствует реформы, начатые Николаем I, готов даже своим публицистическим пером помогать правительству<sup>26</sup>. Только правительство этого не замечает, не понимает. В 1826 году не принята, не одобрена царем «Записка о народном воспитании»; потом — мелочные преследования вокруг «Гавририады» и «Андрея Шенье»; далее — бессмысленные запреты поездок за границы и по России.

Задумаемся. Поэт видит себя носителем отечественного просвещения, готов честно подвижничать реформе Николая I — как предок способствовал преобразованием самого Петра Великого. А между тем он не только мелкий и отставной, но даже и опальный чиновник. Московская «тетка» Н.И.Гончарова еще колеблется — отдать ли за него свою дочку? Петербургский журналист мажет грязью «могилу праотца» Ганнибала, а заодно смеется над аристократизмом и сословной честью поэта.

Понятна мне времен превратность  
Не прекословлю, право, ей. (Ш, 261) —

напишет Пушкин сразу вслед отрывку. Это из «Моей родословной», где вполне естественно продолжается тема Петра и предка, призванного Петром. Даже и потом, казалось бы, в иных жизненных обстоятельствах, поэт будет видеть эту «времен превратность». Например, в 1831 году, в период хороших отношений с М.П.Погодиным, Пушкин скажет ему о Петре Великом: «В его время вы были бы одним из его помощников»<sup>27</sup>.

Мотивы «призвания» к «подвижничеству», таким образом, продолжают. И именно вокруг Петра Великого, который пока еще олицетворяет для Пушкина динамическую русскую державность. Плотный сгусток этих мотивов приходится на конец 1830 года и определяется отрывком «Когда порой воспоминанье...», стихотворениями «Отрок», «Моя родословная», отдельными намеками из завершающих глав «Евгения Онегина», из писем.

Становится очевидным, что и в отрывке, и в тяготеющих к нему болдинских произведениях очень сильна у Пушкина автобиографическая составляющая.

4.

Вернемся к тексту отрывка.

Как уже было сказано, один из ключевых его мотивов выражен строкой:

В пустыню скрыться я хочу...

Пустыня, куда хочет удалиться лирический герой в начале, и «печальный остров» из концовки отрывка — одно и то же место. Это понятно — понятно по всей логике стихотворения и окончательно проясняется в его варианте:

Пустынный остров вижу я. (III, 852)

Мы помним, что речь не идет здесь о пустыне буквально. Сама формула «пустынный остров» складывается как бы из двух основных мотивов, наполненных каким-то высоким, необыденным значением. Сравним ее хотя бы с началом послания Пушкина «Баратынскому. Из Бессарабии» (1822):

Сия пустынная страна  
Священна для души поэта. (II, 235)

Далее под пером Пушкина возникает тень Овидия, с которой автор бродит по священным берегам. Тем самым южная, бессарабская «пустыня» понимается здесь как место высокого, опоэтизированного изгнания. И тут не случайная «игра» смыслового оттенка, а устойчивый образ, прямо ведущий к изучаемому отрывку. В черновых рукописях «Путешествия Онегина» — как раз в том месте, где надлежало быть строфе «Когда порой воспоминанье...» — есть вариант строки: «Уехал/.../ В далекий северный уезд». Вот он:

В пустынный северный уезд. (VI, 492)

Мы снова встречаемся с образом поэта, изгоняемого в пустыню — на этот раз северную. Кажется, еще шаг, и речь пойдет о берегу, омываемом студеными северными волнами, т.е. о коренном смысле разбираемого болдинского отрывка. В самом определении «пустынный» слышатся отзвуки судьбы поэта, а может быть и пророка; что-то библейское, родственное зачину знаменитого стихотворения «Свободы сеятель пустынный».

Дальше мы еще вернемся и к тому наблюдению, что в отечественной традиции пустыней, пустыню, назывались уединенный монастырь или келья. «Теперь, — утверждает православный энциклопедический словарь, — так называются даже очень многолюдные монастыри, возникшие в безлюдных лесах или отдаленных местах»<sup>28</sup>.

К аналогичному ряду ассоциаций мы придем и через необыденное, негеографическое значение слова «остров» в пушкинском поэтическом пространстве, тяготеющем к болдинскому отрывку.

Осенью 1830 года, в дни холерного своего затворничества, Пушкин трижды называет Болдино о с т р о в о м. В том самом письме к Н.Н.Гончаровой от 11 октября, где он поминает путь через Архангельск, есть такое замечание: «Что до

нас, то мы оцеплены карантинами /.../. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами» (XIV, 115 — в оригинале по-французски). Ноябрьское письмо к Дельвигу продолжает ту же тему: «Я живу в деревне как в острове» (XIV, 121). Буквальное, обыденное истолкование этих утверждений кажется недостаточным. Скромное нижегородское село Болдино, конечно, не имеет вида острова, да еще и окруженного скалами. С каким именно островом оно здесь сравнивается, можно понять из другого ноябрьского письма Пушкина — историку и литератору М.П. Погодину.

Пушкин прилагает к письму, адресованному Погодину, стихотворение «Герой» и так объясняет свое действие: «Посылаю Вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь. Напечатайте, где хотите...» (XIV, 121).

Средиземноморский остров Патмос (Пафмос) есть место служения апостола Иоанна Богослова; именно там ему были явлены грозные, пророческие картины Апокалипсиса. Сравнение Болдина с «моим» Патмосом — пусть и в частном письме — смелость, редкая даже для Пушкина. Ведь за ним со всей очевидностью стоит самосравнение автора с одним из наиболее почитаемых христианских святых. Тот, кто находится на Патмосе и посылает оттуда «апокалиптическую песнь», традиционно есть пророк и тайновидец, провозвестник Страшного Суда.

Следование за Иоанном и его пророческим призванием проходит через все творчество Пушкина — от лицейского «Наполеона на Зльбе», через стихотворения «Свободы сеятель пустынный» и «Герой» — до итогового «Я памятник себе воздвиг...». В одной из последующих глав книги мы попытаемся это подробно обосновать<sup>29</sup>.

Попутно заметим, что если толковать стихотворение «Отрок» как картину призвания апостола, то имя этого апостола можно уверенно назвать. Рыбаками были, как традиционно известно, четверо — первозванные братья Симон (Петр) и Андрей, а затем сыновья Зеведея Иаков и Иоанн. Героем пушкинского стихотворения не может быть Петр. Ведь призываемому отроку предсказано — «будешь подвижник Петру», т.е. будущему верховному апостолу и первосвященнику Церкви Христовой. Это не может быть и Андрей, потому что в момент призвания рядом с ним не было отца его (Мф., 4, 18–20).

Значит, речь идет об Иакове или Иоанне; их отец Зеведей не только присутствует в рассказе о призвании сыновей, но даже и чинит «сети свои» (Мф., 4, 21–22). Выбрать между Иаковом и Иоанном нетрудно. Иаков ни разу не упоминается у Пушкина. А на Евангелии от Иоанна, на его Посланиях и Откровении основано так много в творческом сознании поэта, что решение напрашивается: в стихотворении «Отрок» (в его новозаветном истолковании) рассказано о призвании апостола Иоанна Богослова.

Все это через аналогию по признаку рыбацкого сюжета помогает истолковать и болдинский отрывок. В его подтексте — Иоанн и мир островных, патмосских видений.

Сказанное, видимо, дает представление о том, как Пушкин понимает выражение — «пустынный остров». Оно прямо связано с его «духовной жаждою», с его



исканиями в высокой религиозно-философской сфере. Поэт-пророк ищет, в частности, свое место в дольнем мире, в России. И здесь, как и во множестве других случаев, стихотворная ткань связана, сопряжена с биографией автора. И мы по необходимости вступаем в область традиционной евангельской трагедии пророка, не имеющего чести «в отечестве своем и в доме своем» (Мф., 13, 57).

Напомним: южная ссылка давала повод для возвышенных самосравнений — Овидий, Гораций или даже Державин, воспевший «сию пустынную страну». После этого — какое самоотжествление могло дать село Михайловское в губернии Псковской? Или Болдино? Тут у Пушкина были две основные возможности обозначить свое место в мире — либо скрыть, замаскировать тот факт, что пророк находится «в отечестве своем и в доме своем»; либо, наоборот, указать свое присутствие в отчем доме, но тогда сравнить этот дом с той самой «пустыней» или с «островом», где канонически и полагается быть пророку.

Первая возможность Пушкиным широко использована. Известны стихи, написанные в Михайловском, но вымышленно, фиктивно атрибутированные автором как произведения, относящиеся к местам и временам южной ссылки<sup>39</sup>.

Второй путь — путь возвышающих сравнений, примененных к отчому дому — начинается уже отмеченным вариантом онегинской строки — «В пустынный северный уезд». В Болдино он мощно продолжен. Деревня как остров, подобный самому Патмосу, становится местом апокалиптических видений поэта.

Но если вдуматься — оба пути не соответствуют или неполно соответствуют гармоничному пушкинскому миру. Пророк «нигде» или пророк, преобразующий в «пустыню» дом отца своего, — вряд ли такая роль подходила Пушкину. Тогда-то, видимо, в его сознании и возник далекий и не очень ясный образ «пустынного острова». В нем должны были сойтись, совместиться черты библейской пустыни и отечества.

Другими словами — образ русского Патмоса.

Это, по нашему мнению, и был тот самый «печальный остров — берег дикой» из болдинского отрывка 1830 года. В нем без труда прозревается Россия, но не обыденная, деревенская, а что-то из высоких отечественных святынь, отвечающих достоинству пророка и тайновидца. Если этот «берег дикой» не есть плод воображения поэта, то Пушкин говорит здесь о Соловках на Белом море, о Соловецком монастыре.

Предположение, что в отрывке речь идет о Соловках, принадлежит не нам. Оно высказано Б.В. Томашевским<sup>31</sup>.

Гипотезу Томашевского не приняла Ахматова, а еще более — Э.Г. Герштейн. В комментариях к статьям Ахматовой Герштейн указала на то, что образ Соловецкого монастыря не соответствует пейзажу, нарисованному в отрывке. В доказательство она приводит описания обители — из двух книг, прижизненных Пушкину. Одна из них вышла в 1836 г. и в контексте отрывка вообще обсуждаться не может. А другая — повесть А.А. Бестужева-Марлинского — «Мореход Никитин» (1814) — действительно рисует мощное крепостное сооружение<sup>32</sup>. Но аргументация недостаточ-

на. Во-первых, Пушкин мог и не читать повести Бестужева-Марлинского; во-вторых, спорный пейзаж архипелага далеко не исчерпывается Большим Соловецким островом с его кремлем, который представлен в повести; там еще великое множество пустынных островов, довольно точно соответствующих пушкинским стихам. На них расположены десятки уединенных монашеских скитов. Наконец, «привычная мечта» поэта свободно стремится от невиданной Италии к равно невиданным северным островам, а не к страницам посредственной повести.

Все это заставляет отнестись к гипотезе Томашевского гораздо внимательнее.

Соловецкие острова как раз удовлетворяют нескольким важным признакам, названным нами ранее.

Прежде всего Пушкин там никогда не был; поэтому его «привычная мечта» об Италии может быть совершенно симметрична «привычной мечте» о Соловках. В этом смысле оба святых места для него равны. Далее. Это то самое Беломорье (севернее Архангельска), которое занимает Пушкина в письмах к невесте в октябре 1830 года. Если стихотворение «Отрок» толковать как ломоносовское, то географическое совпадение будет очень близким, а аналогии между «Отроком» и отрывком по месту действия сомнений не вызывают. «Подвижник Петру» тоже мог бы найти свою нишу. К 1830 году Пушкин хорошо знаком с сочинением И.И.Голикова «История Петра Великого, мудрого преобразителя России...»<sup>33</sup>, где подробно описана поездка царя на Соловецкие острова в 1702 году. Позже Пушкин выпишет этот факт в свой конспект для будущей истории первого императора всероссийского (X, 63). Значит, образ Соловков долгие годы активен в сознании поэта.

Поиски животворящей пустыни, стремление на какой-то отечественный Патмос прослеживаются у Пушкина с начала 20-х годов. Во всяком случае уже в Михайловском он ощущает свой пророческий дар. С таким самосознанием, конечно, трудно существовать в родительском деревенском доме. Ссылка в сущности загоняет пророка в условия пошлого, обыденного существования.

Переписка Пушкина в ту пору полна горечи — от непонимания, от бесчестия в своем отечестве, в родительском доме. Ссоры с отцом, открытый полицейский и духовный надзор, цензура, невозможность уехать — все хорошо известно, и мы не станем на этом останавливаться.

Видимо, одна из самых болезненных точек трагедии — осень 1824 года, когда доведенный до отчаяния Пушкин пишет В.А.Жуковскому, жалуясь на своего отца: «Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем» (XIII, 116).

По-видимому, смысл этого обращения Пушкина в немалой степени ускользает от нашего современного читателя. Дело в том, что Пушкин в жестокой ссоре с отцом, Сергеем Львовичем. Одна только официальная жалоба родителя, и сын отправляется на север. По действующему указу Екатерины II буйных и непокорных

сыновей из дворянских семей надлежало помещать на заточение и покаяние именно в Соловецкий монастырь<sup>34</sup>. Зачем же Пушкин просится туда сам и заранее? Понять это можно. В письме к Жуковскому он устанавливает важнейшее различие между бесчестьем рудников сибирских и сохранением чести в монастырских стенах, если уход на покаяние или послушание в обитель совершился добровольно. А не по воле родителей и властей.

Конечно, письмо к Жуковскому продиктовано отчаянием, и не надо придавать ему всеобъемлющего смысла. Но все же оно свидетельствует, что в трудный миг жизни Пушкин мог предпочесть Соловки деревенскому прозябанию, недостойному пророка. Среди обстоятельств болдинского заточения 1830 года это тоже надо помнить и понимать.

Здесь же находится ответ на очевидный вопрос: если Пушкин так рвется «привычною мечтою» на Соловки, то что же мешает ему туда поехать? Мешают общеизвестные причины. В 1828–1829 годах он просил у правительства разрешения на поездку в чужие края и получил отказ. Просил позволения посетить Полтаву и Кавказ — вновь отказано. В последних случаях пресекалось общение Пушкина с опальными декабристами. О разрешении паломничества в Соловецкий монастырь нечего было и думать; ведь там Пушкин, по жандармскому разумению, входил бы в сношения с заключенными, «буйными и непокорными» молодыми людьми — вроде братьев Критских. Автора «Гавриилиады» и «Андрея Шенье» надлежало либо заточить в Соловки, либо уж держать от них подальше.

После всех отказов Пушкин на Соловки даже и не просился.

Вот так Италия и Соловки становились в один ряд. И «светлый край, где небо блещет», и «печальный остров — берег дикой» были для поэта одинаково недоступны... Это укрепляет соображения о смысловой симметрии отрывка «Когда порой воспоминанье...»

Здесь уместно, может быть, сравнение с обстоятельствами 1826 года — свободный, прощенный Пушкин приезжает из Москвы в Михайловское, о чем сообщает П.А.Вяземскому: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму» (XIII, 304). С Соловецким монастырем происходит у Пушкина то же самое — только не в реальности, а в области воображения, мечты. Мысленно он как ссыльный невольник побывал уже на Соловках. А теперь стремится туда же вольным сознанием, сознанием пророка. В том и находит «какое-то поэтическое наслаждение».

Вся болдинская осень стала для Пушкина великим праздником воображения, «привычной мечты», переносящей его из чумного Лондона в беспечный Мадрид, а из холерной Москвы в развратный Стамбул. Может быть, Соловки, одна из главных отечественных святынь, тоже сильно тревожили его душу.

Разумеется, присутствие соловецкого мотива в болдинском отрывке «Когда порой воспоминанье...» остается гипотезой. Но ее вероятность, кажется, достаточно высока. Во всяком случае сегодня ничего достовернее предложить не можем...

## О КНЯЗЬЯХ ЕЛЕЦКИХ

Прозаический «Отрывок» Пушкина, начинающийся словами «Не смотря на великие преимущества...», был впервые опубликован в 1837 году в четвертой, посмертной книжке пушкинского «Современника». С той поры он постоянно входит в основные собрания пушкинских сочинений.

Напомним: герой «Отрывка» является нам петербургским поэтом-дэнди, заботливо поддерживающим свою светскую репутацию. Круг общения и характер размышлений стихотворца напоминают о жизни самого Пушкина в столице где-то между 1827 и 1830 годами. В сжатом виде Пушкин использует мотивы «Отрывка» в начальных строках «Египетских ночей», где безымянный «приятель-стихотворец» обретает прозвание — Чарский (VIII, 263–264).

Автограф «Отрывка» — четыре листа с оборотами<sup>35</sup> — завершается датой, выставленной самим Пушкиным: «26 окт.». Литературоведческая традиция, складывание которой здесь не место проследивать, настаивает на том, что отрывок написан 26 октября 1830 года в Болдине и незакончен<sup>36</sup>. Для нашей темы важно будет только заметить небольшое противоречие между болдинской датой «Отрывка» и мнением о его незавершенности.

Дело в том, что основной текст обрывается без всякой даты в конце лицевой стороны четвертого листа. А на его обороте Пушкин ставит жирную продольную черту и пишет следующее послесловие:

«Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести не написанной или потерянной. — Мы не хотели его уничтожить...» (VIII, 411).

Вот под этим-то послесловием и стоит дата: «26 окт.» без указания года. Допустим, Пушкин, не закончив вещь, действительно отложил ее на какое-то время, вернулся к ней потом и написал послесловие. Тогда дата, им выставленная, не относится ко всему «Отрывку», а фиксирует только момент создания послесловия. В этом случае основной текст теряет прочную связь с первой болдинской осенью и по косвенному упоминанию нападок Булгарина в «Северной пчеле» (в связи с арзрумским путешествием) может быть смутно датирован: не ранее 1830 года.

Другое дело, если Пушкин сразу написал весь «Отрывок» вместе с послесловием. Тогда и дата может относиться к тексту в целом, и болдинское происхождение фрагмента становится более вероятным. Но в этом случае в «Отрывке» уже нельзя будет видеть незаконченное произведение, как это делает, например, И. Фейнберг<sup>37</sup>. Ведь коли вещь написана сразу, вдруг, то и название «Отрывок», и хронологический разрыв между основным текстом и послесловием, равно как и намек на некую задуманную или потерянную повесть, становятся чисто художественными атрибутами. Автобиографические мотивы отрывка этим, конечно, не отменяются, но их строгая буквальность становится, по-видимому, проблематичной.

В дальнейшем мы будем придерживаться второй версии, т.е. полагать «Отрывок» произведением, написанным сразу и не сводимым к буквальной автобиографической канве. А потому согласимся и с общепринятой атрибуцией: Болдино, 26 октября 1830 года.



Теперь мы надолго оставим суждения об «Отрывке» в целом и попробуем сосредоточить внимание на одном месте его текста, не слишком популярном у исследователей. Вот оно:

«Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил 3/мя/строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер 3/мя/звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти все наше старинное дворянство, он подымая нос уверял, что никогда не женится или возьмет за себя Княжну Рюриковой крови, именно одну из Княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно ныне пашут сами и, встречаясь друг со другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: «Бог помочь, Князь Антип /Кузьмич/, а сколько твое Княжое здоровье сегодня напало?» — Спасибо, Князь Ерема Авдеевич...» (VIII, 410)<sup>38</sup>.

Редкостно длинная для Пушкина, чуть ироническая фраза о каких-то князьях-пахарях с простонародными именами — одно из самых «темных» мест не только в болдинской, но и во всей пушкинской прозе.

Начнем с того, что род князей Елецких, рюриковой крови, существовал. Он восходит к черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу, не поклонившемуся монгольским святыням, за то убитому в Орде в 1246 году и канонизированному русской церковью. Основоположник рода Федор Иванович Елецкий участвовал в Куликовской битве, а в 1395 году был уведен в полон Тимуром, разорившим, как известно, только один русский город — Елец. И позже Елецкие хорошо видны на исторической сцене — они действуют «в битве и совете» на протяжении XV—XVIII столетий, особенно в «смутное время». К раннепетровской эпохе четверо Елецких владеют населенными вотчинами<sup>39</sup>.

О роде Елецких-Рюриковичей Пушкин несомненно знает. Знает хотя бы потому, что он внимательный читатель «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, а в этом 12-томном сочинении имя Елецких встречается не менее чем на 36 страницах<sup>40</sup>.

Древний род «присмирел», по-видимому, в XVIII столетии. Его мужская линия пресеклась в 1782 году смертью князя Михаила Федоровича Елецкого. Три его дочери мало подходили на роль невест для «приятеля-стихотворца» из пушкинского «Отрывка» — прежде всего по возрасту. Самая младшая из них, Елизавета, не могла родиться позже 1783 года: ей не меньше 46 лет, если она дожила до арзрумского похода. Кроме того, она была замужем за статским советником Я.Е. Арсеньевым. Средняя сестра, Анна, родилась в 1776 году и вышла за майора И.В. Головина. Только старшая Елецкая, Александра Михайловна (1774—1845), осталась девицей, т.е. княжной. Спустя десятилетие после ее смерти исследователь русской генеалогии писал: «Герб князей Елецких нам неизвестен, и мы даже не верно знаем, существует ли еще сей древний род?»<sup>41</sup>.

Значит, никаких «отцов и братии» княжен Елецких не было; в реальном мире их во всяком случае не знали<sup>42</sup>.

Другое дело в мире пушкинской прозы и — шире — в пушкинском творческом сознании.

Первый Елецкий встречается здесь на страницах «Арапа Петра Великого». Тетка Татьяна Афанасьевна называет Елецкого, пытаясь угадать выбранного государем жениха Наташи Ржевской (VIII, 25). Тут многое значительно. И то, что род Елецких в силе при Петре — иначе его представитель просто не обсуждался бы как жених, предложенный государем. И то, что имя Елецкого мелькнуло в близком кругу фамилий, реально родственных Пушкину — Ганнибалов и Ржевских.

Судьбу этого славного рода Пушкин развивает в «Пиковой даме»<sup>43</sup>.

В самом начале второй главы находим диалог старой графини с внуком ее, Павлом Томским, диалог, который, за вычетом соображений о смерти ровесницы старухи, записан так:

«— Был ты вчерась у xxx?»

— Как же! Очень было весело; танцовали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего?? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? /.../ Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свое анекдот» (VIII, 231–232).

Если графиня рассказывает анекдот «Богородицыны дочери» — о шести девицах, пожалованных фрейлинами при восшествии на престол Екатерины II (XII, 202), то выходит, что Елецкие не последние люди и в 60-е и 70-е годы XVIII века. Можно и не обращаться к этому анекдоту, записанному Пушкиным, — все равно представление фрейлин не выйдет раньше царствования Елизаветы и позже начала царствования Екатерины II. Дарья Петровна названа княгиней, значит, либо на ней, фрейлине, женится князь Елецкий, либо за князя Елецкого вышла ее дочь. Так или иначе, но при императрицах, по Пушкину, род еще благоденствует.

Но уже в «Пиковой даме», действие которой несомненно развивается в пушкинское время, есть намек на пошатнувшееся положение древнего рода: Томский, которому так нравится Елецкая, в конце концов женится не на ней, а на вздорной кокетке, княжне Полине (VIII, 243, 252), вероятно, богатой наследнице.

Тем самым проступают контуры семейной истории, так хорошо знакомой Пушкину и так много его занимавшей. Елецкие как бы становятся прозаической параллелью Пушкиным из «Моей родословной», Езерским из «Родословной моего героя» и неназванным предкам Евгения из «Медного всадника». Несоответствие рода и общественного положения отличает Лизу из «Романа в письмах» — «смирненную демократку» из рода, принадлежащего «к самому старинному русскому дворянству» (VIII, 49). В том же романе устами героя явно говорит сам автор: «Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по-миру. Древние фамилии приходят в ничтожество... Состояния сливаются» (VIII, 53).

Да и Гриневы из «Капитанской дочки» не совсем посторонние «слиянию состояний»: старик Андрей Гринев — самостоятельный помещик, а в эпилоге романа, т.е. через два-три поколения, «находится село, принадлежащее десятерым помещикам» (VIII, 374).

Владеть одной десятой частью села — тут уж воистину шаг до собственноручной пахоты.

Князьями-пахарями из «Отрывка» Пушкин прозревает будущее. Но волнуют его не только — да и не столько — экономические причины «слияния состояний», сколько нравственные последствия таких перемен.

Перед лицом новых времен, когда жизненное устройство страны все больше определялось чиновничеством и «бородатыми миллионщиками», старинный патриархальный уклад, несмотря на свою обреченность, получал в глазах Пушкина высокий этический смысл. Пушкин, конечно, не обольщался «выгодами» крепостничества — темные его стороны он знал прекрасно и одобрять не мог. Но его идеалу несомненно соответствовала крестьянская община старых, докрепостнических веков, община, естественным главой которой выступает добрый, неслуживый вотчинник, князь или боярин, в котором мужики видят прежде всего отца, покровителя, справедливого судью. Отношения в такой идеализированной среде мыслятся как чистые, основанные на уважении, едва ли не семейные.

Отсюда — понятие о крестьянине-пахаре как о личности почтенной и о его занятии как о деле во всех отношениях безупречном.

И тот же, любезный Пушкину, взгляд, тот же докрепостнический идеал был распространен в народной крестьянской среде. Например, еще с древности на Руси широко ходило апокрифическое сказание «Как Христос плугом орал». В нем повествовалось, как Сын Божий увидел по дороге в Вифлеем пахущего крестьянина и сменил его за плугом, проложив три борозды и засеяв их. Такая же легенда существовала и о пахарях-апостолах: в ней за плугом идут верховный апостол Петр и особо чтимый в России апостол Андрей<sup>44</sup>. Тем самым пахота, крестьянский труд возводились в ранг святого, богоугодного дела.

Все это было близко понятиям самого Пушкина. В дневнике князя П.И. Долгорукова, сослуживца поэта по Кишиневу, есть характерная запись, отражающая пушкинскую оценку сословий. За столом у наместника разговор зашел о политических вопросах и, обличая дворян, «Пушкин разгорался, бесился, выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный»<sup>45</sup>.

Разумеется, Долгорукий сохранил для нас только бледную тень пушкинских суждений. Но даже из его приблизительного пересказа ясно, что Пушкин нападает не «на все сословия», а только на дворян, занятых штатской и военной службой. Бюрократия и крестьянская община — вот полюсы, вот основная антитеза пушкинских воззрений. Засилье чиновников безнравственно. Но зато неслужащий вотчинник, чей смысл жизни состоит в благоденствии крестьян, естественно и по праву

примыкает к «почтенному классу земледельцев», почитается вместе и наряду с ним. Это прекрасно выражено на страницах пушкинского «Романа в письмах»: «Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением 3-х тысяч душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводов или переписывать дипломатические депеши» (VIII, 52-53).

Все это помогает понять возможный ход мысли князей Елецких из болдинского «Отрывка», стоящих, как мы помним, на грани между реальностью и вымыслом. Разорение толкает их на общий путь, путь службы бюрократическому государству и, следовательно, измены патриархальным идеалам. Так поступит Евгений «Медного всадника» — не за то ли достигнет его карающее провидение? Нет, рюриковичи-Елецкие служить не станут. Они предпочтут вовсе уйти с исторической сцены, раствориться в любезном им крестьянском мире. Они примкнут к «почтенному классу земледельцев», будут зваться мужицкими именами, но сохранят вечные духовные ценности.

Стихотворец, главный герой «Отрывка», все это прекрасно понимает. Для него рюриковна из пахарей — идеальная невеста, взятая в лучшей семье, не опороченной ни канцелярским переписыванием депеш, ни торговыми оборотами. Важно и то, что в намеке о благородных пахарях слышится ирония. И даже, пожалуй, самоирония. Пушкин знает, что идеал столь же прекрасен, сколь и несбыточен. И тем отчасти предвосхищает последующие неудачные попытки его воплощения, связанные с именами Баратынского, Фета, Л. Толстого.

Только учитывая все это сложное переплетение реального и идеального, можно, по нашему мнению, говорить об отношении «Отрывка» к биографии Пушкина.

Внимательное чтение строк о князьях Елецких помогает выявить в них след болдинских впечатлений автора. Показательно в этом смысле обращение князя Еремы Авдеевича к титулованному родственнику Антипу Кузьмичу: «а сколько твое Княжеское здоровье сегодня напало?» Вместо официального «ваше сиятельство» поставлено тут чуть ироническое, домашнее «твое здоровье». Такое обращение встречается, как известно, в болдинском письме Пушкина к реальному князю, именно князю П.А. Вяземскому, от 5 ноября 1830 года. т.е. написанному десять дней спустя после «Отрывка»: «Здесь (т.е. в Болдине — В.Л.), — пишет Пушкин, — крестьяне титулуют господ титлом Ваше здоровье; титло завидное, без коего все прочие ничего не значат» (XIV, 123).

Обращение к барину «ваше здоровье» есть, таким образом, особенность местная; она как бы прикрепляет воображаемый диалог князей к болдинским пашням. Здесь разыгрывается маленький спектакль: один князь, титулуя другого этим «здоровьем», будто бы притворяется болдинским мужиком. А этот другой восстанавливает равенство обращением «князь». Тем демонстрируются и слияние с крестьянским миром, и память о древнем достоинстве рюриковичей.

Но в анекдоте о князьях-пахарях находится, кажется, и более существенный болдинский мотив.



Покидая Москву для поездки в Болдино, Пушкин расстался с семьей невесты в отношениях почти враждебных. О ссоре с госпожой Гончаровой, о размолвках, колких обиняках и московских сплетнях по поводу своей свадьбы он прямо говорит в письмах на рубеже лета и осени 1830 года (XIV, 110–111). В конце концов в Болдино приходят даже письма отца поэта, Сергея Львовича, о том, что свадьба расстроилась (XIV, 120, 124; пер. с фр., 417, 419).

В двадцатых числах октября Пушкин в полном отчаянии: писем от Натальи Николаевны нет уже больше месяца, в Москве, где она осталась, свирепствует холера, выехать из Болдина он не может — карантин. Наконец, письмо от невесты приходит. Оно не сохранилось. Судить о его содержании можно только по ответу Пушкина, датированному по арзамасскому почтовому штампу — не позднее 29 октября<sup>46</sup>. Впечатления Пушкина от письма Натальи Николаевны прорываются уже в первой фразе ответа: «Милостивая государыня Наталья Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски» (XIV, 118). В нарушение этикета все письмо писано по-русски и полно упрёков. Перед нами, по видимому, предсвадебное охлаждение Пушкина, дошедшее до самого низкого градуса.

В особенности важна вторая фраза пушкинского ответа: «Письмо Ваше от 1-го окт/ября/ получил я 26-го» (XIV, 119)<sup>47</sup>. Значит, огорчившее его послание невесты Пушкин читает **26 октября**. А ведь это, как мы помним, именно и есть дата, стоящая под «Отрывком». Хронологическое совпадение полное. Оно-то и укрепляет нас в мнении, что между реальными осложнениями пушкинского жениховства и идеальной женитьбой стихотворца на рюриковне из семьи князей-пахарей есть связь, есть некая зависимость.

К тому же склоняет и основной сюжетный ход «Барышни-крестьянки», написанной в Болдине несколько ранее «Отрывка». Ведь Лиза Муромская своей мистификацией обретает черты, роднящие ее с княжной Елецкой, — она и дочь «настоящего русского барина», и ходит в лаптях да сарафане. В свою очередь Алексей Берестов поставлен перед хорошо нам знакомым выбором: вначале он не хочет идти в статскую службу, а в конце его посещает «романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами» (VIII, 123). Конфликт разрешается улыбкой, несерьезно. Но, во-первых, и князей-пахарей в «Отрывке» сопровождает несомненный иронический тон. А во-вторых, Алексей Берестов обретает счастье с рукою Лизы и званием неслужилого вотчинника, склонного скорее играть в горелки с крестьянскими девушками, чем убивать жизнь в канцелярии.

Пушкин верен себе. Его личность, его пристрастия явственно различимы в почти сказочном намеке о Елецких. Все это и позволяет судить о характере болдинского «Отрывка», — во всяком случае, о смысле мотива с князьями-пахарями. Он не более автобиографичен, чем «Барышня-крестьянка». Но и не менее. И стоит ли искать признаки настоящего жизнеописания там, где мы встречаемся с прекрасной мечтой, с «биографией души», а не с буквальная канвой биографического словаря?

## «СЛАВА В ПРИХОТЯХ ВОЛЬНА»

Стихотворение «Герой» — одно из самых известных и одновременно одно из самых малоизученных сочинений Пушкина. Сложность, неоднозначность этого стихотворного диалога очевидны. Он начинается застигнутым как бы на полуслове монологом Друга о Славе, продолжается рассуждением о характере славы Наполеона и завершается высоким философским откровением поэта о «возвышающем обмане», противостоящем «тьме низких истин».

Стихотворение написано в Болдине осенью 1830 года. В конце октября или в начале ноября оно отправлено в Москву при письме к Михайлу Петровичу Погодину. Поскольку это пушкинское письмо есть исходная точка всех наших суждений, приводим его целиком:

«Из Моск.(овских) Ведомостей, единственного журнала, доходящего до меня, вижу, любезный и почтенный Михайло Петрович, что вы не оставили Матушки нашей. Дважды порывался я к Вам, но карантинны опять отбрасывали меня /в/ на мой несносный островок, откуда простираю к Вам руки и вопию гласом велиим. Пошлите мне слово живое, ради Бога. Никто мне ничего не пишет. Думают, что я холерой схвачен или зачах в карантине. Не знаю, где и что моя невеста. Знаете ли Вы, можете ли узнать? ради Бога узнайте и отпишите мне: в Лукояновский уезд в село Абрамово, для пересылки в село Болдино. Если при том пришлете мне вечерую свою трагедию, то вы будите моим благодетелем, истинным благодетелем. Я бы на досуге вас раскритиковал — а то ничего не делаю; даже браниться не с кем. Дай Бог здоровья Полевому! его второй том со мною и составляет утешенье мое. Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную... А главного-то и не сказал: срок /день-(гам)/ моему долгу в следующем месяце, но я не смею надеяться заплатить Вам: я не лгу, и не мошна лжет — лжет холера и прильгают 5 карантиннов нас разделяющих. Прощайте, будьте живы.

Что брат?» (XIV, 121–122).

Письмо рисует подробную картину болдинского затворничества. Пушкин отрезан от мира холерными карантинами, тревожится о невесте, о брате Льве; тоскует без журналов; на этом безрыбьи и второй том «Истории русского народа» Полевого благо — есть с кем поспорить. Остро критическая рецензия на это сочинение появится потом в «Литературной газете». Естественно выглядит и просьба к Погодину прислать «вечерую трагедию», т.е. сочиненную Михаилом Петровичем трагедию «Марфа Посадница» — она тоже будет оценена в незаконченной рецензии, при жизни Пушкина ненапечатанной. Свое место в письме занимает и многозначительная строка о денежном долге, которому подходит срок.

Вот тот жизненный фон, на котором пишется стихотворение «Герой», названное в письме Апокалипсической песнью.

Но внимательное чтение письма рождает несколько вопросов, на которые, кажется, нет ответов ни в подробных комментариях Б.Л. Модзалевского<sup>48</sup>, ни в других работах, посвященных «Герою» и болдинским страницам жизни Пушкина.

Прежде всего неясно, почему вдруг Пушкин просит Погодина напечатать «Героя», где угодно — «хоть в Ведомостях». Речь, понятно, идет о «Московских ведомостях», второй после «Санкт-Петербургских ведомостей» — официальной газете. Основные жанры публикаций здесь — манифесты, рескрипты, указы, сенатские разъяснения, а в отделе неофициальном торговые объявления, хроника, муниципальные новости и т.д. Никакими стихами сей казенный орган, редактируемый князем Шаликовым, своих читателей, как правило, не балует. Пушкину ли об этом не знать! Здесь, в Болдине, он только что закончил «Барышню-крестьянку» и в варианте первых же строк повести отметил: коренной русский барин Иван Петрович Берестов, отец Алексея, «ничего не читал... кроме Моск./овских/ Ведомостей» (VIII, 662). Тем определяется его полная отрешенность от внеусадебного мирка, а значит и от российской словесности и изящных искусств.

Значит, соглашаясь печатать стихи «хоть в Ведомостях», Пушкин учитывает какие-то ускользающие от нас мотивы: либо в самом «Герое» автор видит нечто такое, что позволяет адресовать его более широкому и необычному кругу читателей; либо «Московские ведомости» холерной поры как-то отличаются от обыкновенных. Либо каким-то образом сосуществуют обе возможности.

Вторая странность письма состоит в удивляющем отношении автора к адресату. Сомнений нет — Пушкин и Погодин дружат. Как раз на 1829—1830 годы приходится высшая точка этой дружбы. Михаил Петрович переживает время очень понятной нам влюбленности в Пушкина — восхищается каждой его строчкой, хлопочет о его денежных делах и даже ругает себя в дневнике за то, что не удержал в памяти одного из разговоров с Александром Сергеевичем — «а надо бы помнить все пушкинское»<sup>49</sup>. Но Пушкин-то несомненно думает о Погодине хладнокровнее; письмо строго на «Вы», оно по тональности не выходит за рамки обычной светской приязни. И тогда становится непонятным то место письма, где Пушкин просит Погодина скрыть подлинное авторство «Героя» от самого Дельвига! Переслать Дельвигу вещь «без моего имени и не моей рукою переписанную» — значит одному из самых близких, самых душевных друзей нельзя доверять то, что спокойно открыто Погодину. Почему?

Видимо, вокруг «Героя» существует какой-то микроклимат Пушкина и Погодина, что-то сближает их не вообще, а именно по поводу стихов, посланных из Болдина в Москву.

Хорошо известная история участия Погодина в первых двух публикациях «Героя» не разъясняет дела, но важна как ступень приближения к какой-то удовлетворительной версии. Погодину, получившему стихотворение /при письме 8 ноября/<sup>50</sup>, не пришлось ни печатать «Героя» в «Московских ведомостях», ни пересылать его в Петербург Дельвигу. Стихи были отданы Надеждину и появились в январской (1831)

книжке его журнала «Телескоп». Имя автора, как Пушкин и просил, в журнале выставлено не было; быть может, и сам Надеждин не знал, чье произведение он печатает. Во всяком случае за движением рукописи несомненно присматривал Погдин. В его дневнике под 22 декабря 1830 года вслед за знаменитой записью о чтении Пушкиным главы «Онегина» идет торопливая заметка:

«На минуту к Аксаковым, раздосадованный на поправки Надеждина в «Герое»...»<sup>51</sup>.

О каких поправках Надеждина идет речь, понять невозможно: текст «Героя» по «Телескопу» в общем соответствует пушкинскому автографу; видимо, Погдину (или уже вернувшемуся из Болдино Пушкину, если он раскрыл свое имя перед издателем) удалось отстоять авторскую волю.

Шесть лет спустя, весной 1837 года, Погдин вновь опубликовал «Героя» — теперь уже с полным именем автора — в посмертном томе пушкинского «Современника». Письмо Погодина к одному из издателей «Современника», П.А. Вяземскому, от 11 марта 1837 года открывает многие важные смысловые пласты и в самом стихотворении, и в обстоятельствах его создания.

«Вот вам еще стихотворение, — пишет Погдин, — которое Пушкин прислал мне в 1830 году из Нижегородской деревни, во время холеры. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему... Очень кстати перепечатать его теперь в «Современнике»... В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший однако ж, продирается со лъстецами... Я напечатал стихи тогда в Телескопе (1831 N 1, без подписи) и свято хранил до сих пор тайну. Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением, после многозначительного **утешься!** 29 сентября 1830 — есть день прибытия Государя Императора в Москву во время холеры»<sup>52</sup>.

Не будем судить Погодина строго: конечно, он упрощает чувства, которые Пушкин питал к Николаю I. Конечно, весной 1837 года «тонкая и великая похвала нашему славному царю» от имени Пушкина не должна была восхитить Вяземского и некоторых других близких друзей покойного поэта. Тем не менее три свидетельства Погодина и существенны, и бесспорны. Верно, что Пушкин сопоставляет в «Герое» Наполеона и Николая I. Верно и то, что он стремится завуалировать свое сопоставление, — только условная дата, выставленная в конце стихотворения, напоминает о приезде Николая в старую столицу, охваченную холерой. Наконец, верно, что Пушкин не хочет «продирается со лъстецами».

Но дальше пушкинский текст и погодинский комментарий вступают в противоречие. Для Погодина финальное «Утешься» есть простой результат действия мудрого государя, который «руку жмет Чуме/И в погибающем уме/Рождает бодрость...» Для Пушкина дело не сводится к такой прямолинейной формуле. Недаром же в письме, при котором «Герой» отправлен из Болдина в Москву, Пушкин тревожится: что, «если московская цензура не пропустит». Да и Надеждин, не самый напуганный издатель, напечатавший впоследствии крамольное письмо Чаадаева, также чув-



ствуует необходимость поправок — не для цензуры ли? Даже четверть века спустя, в 1855 году, у Анненкова будут с публикацией «Героя» цензурные затруднения<sup>53</sup>.

Значит, в стихотворении несомненно были какие-то смысловые оттенки, существенно отличные от официальных воззрений.

Один из таких оттенков, кажется, нетрудно выявить. Это уже упомянутое сопоставление «корсиканского чудовища» с ныне царствующим православным императором. Легендарное посещение Наполеоном чумного госпиталя в Яффе Пушкин соотносит с приездом Николая I в Москву, пораженную холерой. Конечно, и тот, и другой совершают доброе дело. Но русский император как бы становится эпигоном Бонапарта, идет по его следам. Пушкин, разумеется, понимает, сколь в официальном легитимном сознании широка пропасть между французским узурпатором и русским царем из династии, третий век сидящей на престоле. Поэт вовсе не стремится возвеличить Наполеона или унижить Николая. В историко-философском контексте «Героя» это, может быть, и неважно. Но сама возможность такой примитивной трактовки могла усложнять цензурную судьбу «Героя».

Не менее сомнительным для державных воззрений того времени было и другое сопоставление, сделанное Пушкиным, — сопоставление различных деяний государя. Самоотверженность монарха перед лицом смертельной болезни, грозящей народу, поэт ставит выше военных побед и других царственных свершений. А кто дал право подданному, хотя бы и поэту, судить поступки своего государя, выстраивать их, как мы бы сказали сегодня, по шкале собственных ценностей? Разумеется, никто. Единый бог судья царской воле — это азбучная истина официально-монархических воззрений, от которой Пушкин здесь вольно или невольно отступает. Ему, повторяем, не это — или по крайней мере не только это — важно в «Герое». Но, толкуемое так, стихотворение обнаруживает некоторую идейную неясность, уклончивость.

Вот почему комментарий Погодина, высказанный в письме к Вяземскому, явно не отражает всех сложностей самого стихотворения и не проясняет вопросов, следующих из болдинского письма Пушкина. Остаются загадкой и «Московские ведомости» как возможное место для публикации «Героя», и доверенность Пушкина к Погодину, несомненно не соответствующая ни характеру их обычных отношений, ни последующему погодинскому пониманию стихов как простой хвалы царю...

Теперь мы надолго оставим обе эти проблемы, ибо они неразрешимы умозрительным путем, и перейдем к изучению источников. В кругу материалов, сопутствующих стихотворению «Герой», есть два источника, литературоведам известных, но, по-видимому, недостаточно внимательно прочитанных: даже их прямая взаимосвязь, кажется, не прослежена как следует. Речь идет о газете «Московские ведомости» и скромном бюллетене «Ведомость о состоянии г. Москвы».

Когда холера в столице обнаружилась во всей силе, — а произошло это в конце сентября 1830 года, — московское начальство решило учредить специальное периодическое издание: в помощь борьбе с эпидемией и для оповещения о ходе этой борьбы. Первый номер такой холерной газеты появился уже 23 сентября. Он открывался небольшой программной заметкой, занимавшей всего несколько строк:

«Для сообщения обывателям верных сведений о состоянии города, столь необходимых в настоящее время, и для пресечения ложных и неосновательных слухов, кои производят безвременный страх и уныние, Московский Военный Генерал-Губернатор князь Д.В. Голицын предписал издавать при временном Медицинском Совете особливую ведомость, ежедневно или через день, смотря по тому, как потребует нужда».

Нужда (точнее, масштабы эпидемии) потребовала издавать холерную ведомость ежедневно, и по январь 1831 года вышло более ста ее номеров. Комплект хранится ныне в отделе редкой книги Российской государственной библиотеки (бывш. Ленинской) в Москве.

На страницах этого листка — не только статистика смертей, не только медицинские советы, как уберечься от болезни и лечить ее. Круг московских знакомых Пушкина представлен здесь довольно подробно и в самых неожиданных проявлениях.

Начать с того, что каждый номер «Ведомости» подписан; подписан ни кем иным, как редактором — адъюнктом Погодиным. И вместе с ним подписывается секретарь временного медицинского совета доктор Маркус. Трудно представить себе, чтобы у малоформатного издания, напечатанного обычно только с одной стороны листка, были другие сотрудники, кроме этих двух. Тогда заметки специфически медицинского свойства — о хлорной воде, симптомах холеры, диете и т.д. — должны принадлежать врачу. А все информационные заметки и моральные сентенции, долженствующие успокоить обывателя, выходят, по-видимому, из-под пера Михаила Петровича Погодина.

Во всяком случае читающая публика пушкинского круга несомненно воспринимает «Ведомость...» как творчество самого Погодина.

Например, Хомяков, пересидевший холеру в деревне, в письме к Погодину пишет: «При отъезде из Москвы обещал я вам посильные вклады в «Вестник»<sup>54</sup>; теперь по ежедневным бюллетеням вижу я, что у вас новое, не совсем забавное занятие — объявлять России, сколько добрых людей в Москве на тот свет отправляется. И так литература на время в стороне, дело не до нее... Даже в 12-м году не с большим нетерпением ожидали газет, чем мы ваших бюллетеней. Нужно ли мне прибавить, с каким удовольствием я всегда взгляну на подпись, доказывающую мне неоспоримо, что по крайней мере один приятель в Москве жив и здоров»<sup>55</sup>.

Кроме суждения о «Ведомости...» как о сочинении самого Погодина, для которого теперь «литература на время в стороне», в письме Хомякова важен мотив, совпадающий с начальными строками приведенного пушкинского письма. Пушкин узнает о том, что Погодин жив и не покинул старой столицы из «Московских ведомостей»; Хомяков знает то же из холерного бюллетеня.

Сам Погодин понимает свое редакторское участие в «Ведомости о состоянии города Москвы» как работу авторскую, сочинительскую, о чем свидетельствует приводимое его биографом письмо к Шевыреву: «Я с 21 сентября по уши в ведомостях и рапортах. Наконец дожид я до такого сочинения, — рассмейся — которое раздается обывателям безденежно»<sup>56</sup>.

Тот же биограф Н.П. Барсуков свидетельствует, что погодинские холерные бюллетени сделались осенью 1830 года таким же предметом общего внимания, как афишки Ростопчина в 1812 году.

Знал ли Пушкин о погодинских бюллетенях? Читал ли их? Несомненно знал и читал. Свидетельством тому хотя бы его письмо Н.С. Алексееву из Москвы в Бухарест от 26 декабря 1830 года. К этому письму родственник Алексеева С.Д. Киселев делает такую приписку:

«Писать мне в одном письме с Пушкиным конечно есть преступление, но за то ты легко можешь разделить его на два листка — немало мне стоило труда заставить его писать, и то мне кажется он забыл, что пишет в Бухарест, а не в Кишинев!

Холера у нас продолжается, но уже гораздо слабее. К брату посылаю дневную ведомость, из коей можешь видеть общий итог: в числе умерших двое Афросимовых, а прочие ни для тебя, ни для меня не интересны» (XIV, 136).

Таким образом, погодинская ежедневная холерная ведомость приложена к совместному посланию Пушкина и Киселева; в Бухарест она путешествует в одном пакете с пушкинским письмом. У Киселева нет причин скрывать от Пушкина это вложение. Обобщенное соображение о знакомстве поэта с «Ведомостью...» обретает здесь вполне конкретные черты. Обращение же к тексту самого бюллетеня позволяет сделать несколько существенных уточнений к комментариям пушкинского текста.

Например, Б.Л. Модзалевский явно не имел в своем распоряжении погодинского издания<sup>57</sup>, когда в комментарии к приведенному месту приписки Киселева отметил: «С.Д. Киселев посылал брату, без сомнения, последнюю выходящую тогда (под редакцией М.П. Погодина) «Ведомость о состоянии города Москвы». Но Пушкин и Киселев отправляют свое письмо 26 декабря, а о печальной судьбе семьи Афросимовых «Ведомость...» сообщила единственный раз еще 13 ноября (N 52), т.е. на полтора месяца раньше. Значит, С.Д. Киселев вкладывает в пакет не последнюю «Ведомость...», как думал Модзалевский, а старый номер, в котором есть сведения о людях, близких Алексееву и Киселеву.

Текст заметки об Афросимовых заслуживает того, чтобы привести его полностью, — тем более, что он явно написан пером литератора (наверняка Погодин) и едва ли не читан Пушкиным:

«В ведомости описаны были многие подвиги соотечественников, достойные общего почтения, общей признательности. Вот еще один, который может украшать источник добродетели. В.П. Афросимов прошедшего 15-го октября занемог холерою; сестра его Елена Павловна не отходила ни на минуту от его постели во время сильнейших припадков; сама исполняла над ним все предписания врачебные, услаждая горькие минуты сердечным, деятельным участием. Но Богу не угодно было, чтобы помощь имела спасительное действие: больной скончался; те же нежные попечения она обратила на несчастную вдову его. Напрасно друзья, видя ее почти без сил, старались остановить ее рвение. Забыв себя, она думала только о своих близких: «Я видел ее после несчастья тотчас», пишет один из ее знакомых к другому

брату ее, умоляя ее именем твоим побережься; но ангел этот мне отвечал: «могу ли я беречь себя, когда в той комнате несчастная вдова, которую умирающий мне и Александру препоручил? Как я ее оставлю?» На другой день она сделалась жертвою своего усердия. Кто не почтет усопшей слезою горести? Но для такой души не лучшее ли место — небеса».

Этот короткий реквием трогает и сегодня, полтора века спустя.

Но у заметки есть и строго научный смысл. В 17-м (справочном) томе к академическому собранию сочинений Пушкина указатель имен дает глухое «двое Афросимовых» к странице с киселевской припиской к пушкинскому письму (XVII, 321). Теперь можно точно сказать, о ком идет речь: погибшие от холеры брат и сестра Владимир Павлович и Елена Павловна и оставшийся в живых Александр Павлович.

Афросимовы — старая московская дворянская фамилия, близкая пушкинскому кругу. Они приятельствуют не только с Алексеями и Киселевыми, но и с Вяземским, который посвятил этой семье несколько страниц своей «Старой записной книжки».

Вяземский сохранил много забавных анекдотов об Александре Павловиче, настоящем московском барине, весельчаке, остроумце, так и сыпавшем шутками, прибаутками, загадками. Например, о себе говорил он: «Я человек бесчашный, безвинный, но не бездушный». — «А почему так?» — Потому, что часов не ношу, вина не пью, но духи употребляю». Он же рассказывал Вяземскому о своей тяжбе за наследство с Ф.Ф. Кокошкиным — умирала их общая родственница, старая дева, и ее предсмертные хрипы Кокошкин расшифровывал присутствовавшему тут же Александру Павловичу как ответы на вопросы о наследстве, завещаемом якобы ему, Кокошкину.

Тот же Александр Павлович, оказывается, проявил себя ужасным ретроградом, когда в 1818—1819 годах стали входить в моду панталоны. Некто NN впервые пришел в панталонах на бал к Корсаковым и был Александром Павловичем осужден: «Ведь тебя пригласили на бал танцевать, а не на мачту лазить; а ты вздумал наряжаться матросом»<sup>58</sup>.

Братья и сестра Афросимовы были родными детьми знаменитой Настасьи Дмитриевны Афросимовой, послужившей близким прообразом Марьи Дмитриевны Ахросимовой из «Войны и мира». Л.Н. Толстой рекомендует ее как даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямою ума и откровенной простотой обращения<sup>59</sup>. Это она делает публичное внушение Пьеру за историю с квартальным и медведем и потом удивительно хорошо танцует со старым Ростовым в день рождения Наташи.

Тут в пору задуматься: а что, если вместе с Киселевыми, Алексеями и Погодиным, брата и сестру Афросимовых оплакивали в 1830 году постаревшие Натали и Пьер Безухов? Это было бы вполне возможно, когда б не ужасное смешение исторического и литературного рядов.



Но современный читатель «Ведомости...» все время находится на грани такого смещения: фамусовская и пушкинская Москва подстерегает его едва ли не в каждом номере.

Например, 24 октября Погодин оповещает своих читателей: «Генерал-майор Денис Васильевич Давыдов, столько прославившийся в войну 1812 года, принял на себя должность надзирателя над 20 (холерным) участком в Московском уезде, с 14-го октября». Подобная должность, как известно, предлагалась и Пушкину в Лукояновском уезде. Но поэт, стремившийся в Москву, должен был от нее с сожалением отказаться. «Не удалось мне за тобою...» — писал Пушкин Давыдову в позднейшем послании применительно к войне 1812 года; не удалось Пушкину подражать «отцу и командиру» и в войне с холерой.

1 декабря другой знакомец Пушкина — Александр Сергеевич Ширяев, книгопродавец и первой гильдии купец, публикует в погодинской «Ведомости...» письмо, в котором сообщает о своем пожертвовании — он безвозмездно передает в холерные лечебницы целую библиотеку. Среди книг — двенадцатитомная «История Государства Российского» Карамзина, басни Крылова и другие сочинения.

В мелком шрифте, коим оповещается о многочисленных жертвованиях, есть и такое сообщение: «В пользу временной Пречистенской больницы пожертвовано через Благодочинного Троицкого на Арбате священника Сергия от Г-жи Екатерины Николаевны **Хитрово** пятьдесят аршин ткацкого полотна...» Это публикуется в «Ведомости...» от 14 октября; жертвовательница и, надо думать, усердная прихожанка, еще не знает, что сочинитель Пушкин скоро наймет квартиру в ее арбатском доме<sup>60</sup> и проведет в ней медовый месяц с молодой женой.

В N 78 от 9 декабря погодинская «Ведомость...» публикует сообщение о пожертвовании, которое заставляет задуматься, — не факт ли тут из биографии самого Пушкина? Вот оно:

«Для Бутырской (холерной) гостиницы, из г. Лукоянова через почту, от неизвестного из Сергача 59 руб. асс.».

Пушкин приезжает в Москву четырьмя днями раньше — 5 декабря; обратный адрес пожертвования — Сергач и Лукоянов — точно совпадает с путем Пушкина. Анонимность пожертвования тоже в характере поэта; как известно, он просил брата Льва уделить из онегинских денег в пользу пострадавших от петербургского наводнения 1824 года, но с тем, чтобы имя его не упоминалось: «Ни чуть не забавно стоять в Инвалиде на ряду с идилическим коллежским ассессором Панаевым» (XIII, 127).

Что против предположения о пушкинском пожертвовании? Прежде всего нет никаких данных о пристрастиях поэта к Бутырской части столицы. Лефортово, Пресня, Пречистенка или, например, Тверская были бы ближе его московским склонностям. Затем сам размер даяния — 59 рублей ассигнациями: маловато для Пушкина, который, по свидетельству, даже нищим, случалось, подавал 100 рублей.

Во всяком случае весьма правдоподобно считать, что эта полусотня рублей проделала путь из Нижегородской губернии до Москвы в одной почтовой карете с

Пушкиным, — с декабря для этой кареты был приоткрыт карантин в Платаве Богородского уезда<sup>61</sup>.

Но, обращаясь к сообщениям «Ведомости о состоянии города Москвы», пора вновь поставить вопрос о том, читал ли их Пушкин. Понятно: если Пушкин их читал и знал, то цена этим сообщениям одна; если нет, то другая. Мы видели, как близко к Пушкину прошел номер холерной ведомости от 13 ноября, отправленный при его письме в Бухарест. Теперь пора сообщить главное: все до единой «Ведомости о состоянии города Москвы» были перепечатаны газетой «Московские ведомости».

Холерная ведомость № 1 от 23 сентября появилась в газете «Московские ведомости» четырьмя днями позднее — 27 сентября. С этого времени газета регулярно — без единого пропуска — публикует все погодинские бюллетени до самого конца, до январских дней 1831 года.

Мы помним, что бюллетени выходят ежедневно, а «Московские ведомости» — два раза в неделю. Поэтому в каждом номере большой газеты печатаются, как правило, три или четыре «Ведомости о состоянии города Москвы». При сверке текстов отдельных оттисков бюллетеня с текстами перепечаток в «Московских ведомостях» никаких существенных разночтений не оказалось; в газете помещены полные тексты — от заголовков с датами и номерами выпусков и до подписей Погодина и доктора Маркуса.

Это обстоятельство становится решающим в ходе наших наблюдений. Ведь первая же фраза из ключевого письма Пушкина к Погодину наполняется вполне ясным и новым смыслом: «Из Моск/овских/ Ведомостей, единственного журнала, доходящего до меня, вижу, любезный и почтенный Михайло Петрович, что вы не оставили Матушки нашей» (XIV, 121), т.е. Москвы.

Это написано не ранее конца октября. Но в «Московских ведомостях», тщательно просмотренных с конца сентября до начала ноября 1830 года, не оказалось ни одного упоминания о Погодине, за исключением регулярно повторяющейся его подписи под перепечатками бюллетеня. В каждом номере «Московских ведомостей» эта подпись фигурирует три-четыре раза.

Значит, фраза «Из Московских ведомостей... вижу» доказывает, что Пушкин может вынести суждения о Погодине, не покинувшем старую столицу, только на основании знакомства с бюллетенями, перепечатанными газетой, единственным, как мы помним, периодическим изданием («журналом»), который до него доходит.

Следовательно, в составе «Московских ведомостей» Пушкин в сентябре-октябре читает погодинскую «Ведомость о состоянии города Москвы». Оно и так понятно. Ведь в погодинских бюллетенях содержатся самые важные для Пушкина новости — об эпидемии в Москве, о карантинах, о действиях властей в борьбе с холерой и т.д. Нетрудно догадаться, с каким волнением пробегает Пушкин строки холерной ведомости. Скажем, сегодня Погодин печатает сообщение о смерти девицы Елены Афросимовой. А что, если завтра в этом же зловещем отделе появится имя другой

московской благородной девицы — Натальи Гончаровой? Теперь ясно, с каким чередованием ужаса и облегчения читает Пушкин погодинские листки.

Круг московских знакомцев Пушкина, конечно, куда шире, чем список известных нам лиц. Поэтому в погодинском бюллетене он вычитывает новости не только о Денисе Давыдове или книготорговце Ширяеве, но о десятках людей, чьи судьбы ему так или иначе небезразличны. Легко сообразить, что в холерном листке Пушкина волнуют прежде всего фамилии и имена москвичей.

Ведь каждое нейтральное упоминание человека, скажем, жертвователя или добровольца-санитара, уже есть знак: жив!

Не исключено, что эта внимательность к именам в холерной ведомости не прошла бесследно для пушкинского творчества.

Например, до сих пор не вызывало особых сомнений происхождение имени и фамилии главного героя «Капитанской дочки». В пушкинской «Истории Пугачева» фигурируют целых два вполне исторических персонажа: подполковник Петр Гринев, сподвижник Михельсона, один из героев штурма Бузулукской крепости в 1774 году (IX, 359); и отставной поручик Алексей Гринев, обвиненный в «сообщении» со злодеями, но оказавшийся невиновным и потому оправданный (IX, 191).

Но вот в погодинском бюллетене от 3 ноября 1830 года, перепечатанном в «Московских ведомостях», есть среди прочих и такое сообщение по Серпуховской части: коллежский ассессор Петр Гринев жертвует на холерных больных 27 рублей. Как знать: не в болдинском ли заточении Пушкин впервые узнал и запомнил такое сочетание имени и фамилии? При легендарной памяти поэта, отмеченной многими, например тем же Денисом Давыдовым, тут нет ничего невероятного.

Столь же возможно участие погодинской ведомости и в истории наименования другого, менее известного персонажа пушкинской прозы — Сорохтина из отрывка «Мы проводили вечер на даче...», — того самого Сорохтина, который весь вечер дремлет в гамбсовых креслах и только однажды откликается на спор о Наполеоне и мадам де Сталь важной репликой: «но вы не верите простодушию гениев» (VIII, 420). Некий Сорохтин, жених и несчастный влюбленный, дважды иронически упоминается Пушкиным в письмах к Наталии Николаевне (XV, 31, 137). Во всяком случае, это реальная московская фамилия: 30 октября 1830 года в погодинском листке приведено донесение по холерной части, подписанное капитан-исправником Сорохтиным.

Конечно, в том, как Пушкин именует своих героев, слышится дыхание самых разных ветров, но и шелест маленького погодинского листка тоже, кажется, можно почувствовать...

На этом мы завершаем то, что можно было бы назвать общим обзором пушкинской темы в «Ведомости...». Теперь наступает время вернуться к стихотворению «Герой» — тем более, что мы отвлеклись от основной темы сообщения недопустимо далеко и тем, очевидно, нарушили все общепринятые правила композиции.

Итак, что же нового дает «Ведомость о состоянии города Москвы» именно для понимания стихотворения «Герой»?

Мы помним, что в стихотворении есть намек на приезд Николая I в холерную Москву, намек, выраженный в условной дате и топониме, выставленных под стихами: «29 сентября 1830. Москва». В этой связи важно знать, как погодинский листок и в целом «Московские ведомости» отражают событие такой первостепенной для того времени важности. В «Московских ведомостях» (напомним, единственной газете, которую читает Пушкин) в номере от 1 октября есть только краткое, но помещенное на видном месте уведомление:

«Москва. Его Величество Государь Император изволят прибыть из С.-Петербурга в сию Столицу 29 сентября в 11 часу по полуночи».

Затем и погодинский листок, и «Московские ведомости» вслед за ним, подробно описывают столичную жизнь, «осчастливленную» высочайшим присутствием: сменяют друг друга августейшие молебствия, аудиенции, повеления и т.д. Из «Ведомости о состоянии города Москвы» № 9 от 1 октября Пушкин может узнать новость, определяющую весь его быт на два ближайших месяца. Вот что «Московские ведомости» перепечатывают 4 октября из погодинского листка:

«Государь Император в дополнение принятых уже доселе мер к скорейшему прекращению заразительной болезни холеры в Москве соизволил признать нужным, чтоб сия столица с 1-го Октября на некоторое время была оцеплена и никто из оной выпускаем, а равно и впускаем в оную не был, кроме следующих с жизненными и другими припасами».

Заметим попутно, что от этого сообщения берут начало все выраженные письменно тревоги Пушкина о Наталии Николаевне. Когда из письма отца, Сергея Львовича, он узнает, что семейство Гончаровых еще 9 октября было в Москве, то ему стало ясно: выезд из столицы закрыт с 1-го октября и таким образом Наталия Николаевна осталась в городе, охваченном эпидемией.

Царь пробыл в Москве больше недели и 7 октября уехал в Петербург. Отклик Погодина на это событие в «Ведомости...» от 9 октября и есть, по нашему мнению, ключ к решению вопросов, поставленных нами в начале. Вот он:

«И так неделя, которую уделил он (т.е. царь. — В.Л.) для Москвы от важных, многотрудных своих занятий, особенно по нынешнему политическому состоянию Европы, призывающему бесперывно все Его внимание, не пропадет для его истории. Москвитяне будут помнить ее долго, отцы с сердечною признательностью расскажут детям об этой чистой жертве, принесенной им на олтарь отечества, и она дойдет до потомства скорее многих побед, торжеств и завоеваний».

Нетрудно заметить: здесь прозаическая параллель одному из главных мотивов пушкинского «Героя». Ведь в погодинском листке подчеркнуто сравнивается приезд государя в холерный город с множеством «побед, торжеств и завоеваний»<sup>62</sup>. И это сравнение — в пользу «чистой жертвы», перевешивающей политические и военные достижения, т.е. именно то, чем Поэт отвечает на вопрос Друга.

Конечно, не надо понимать историю создания «Героя» упрощенно: Пушкин, мол, читает погодинскую апологию царю и перекладывает ее стихами. Дело обстоит слож-



нее хотя бы уже потому, что сравнение разных деяний монарха вовсе не единственный, а быть может и не главный смысл стихотворения. Но чтение похвального слова Погодина могло стать исходной точкой пушкинских размышлений, ведущих в конце концов к строкам «Героя».

В этом убеждают и простые хронологические выкладки. Погодин печатает свои суждения о «чистой жертве» 9 октября в листке. 11 октября они перепечатаны в «Московских ведомостях». Положим несколько дней — даже неделю — на преодоление почтой карантинных. Где-то 18–20 октября Пушкин уже может читать номер «Московских ведомостей» от 11 октября. Где-то в конце октября он посылает «Героя» в Москву Погодину. Погодин получает стихотворение 8 ноября при письме<sup>63</sup>. Тут простая и непротиворечивая последовательность событий. По связи с письмом Пушкина к Погодину написание «Героя» всегда датировалось временем не позднее конца октября. Теперь можно положить и другой хронологический предел: не ранее 11 октября, когда вышли «Московские ведомости» с погодинским текстом.

Становится понятным и исключительное доверие Пушкина Погодину, которому открывается в письме авторство «Героя»: то, что даже Дельвигу Пушкин открывать не хочет. У Погодина в этом случае преимущество свидетеля и участника трагических событий. Оставшись в холерной Москве, он тоже по-своему «руку жмет чуме / И в погибающем уме / Рождает бодрость». В понимании Пушкина усилия Погодина на холере должны были перевешивать все заслуги литератора на поприще изящной словесности. То же замечает в своем уже приведенном письме Хомяков: для Погодина «литература на время в стороне, дело не до нее...». Перед лицом национального бедствия явно отступают на второй план привычные мотивы поведения, устоявшиеся прежде отношения между людьми, литературные пристрастия. Отсюда и необычно близкая доверенность Пушкина к Погодину, который своим листком и письмами протягивает живую ниточку связи между поэтом и страдающей Москвой.

Прочитав рассуждение Погодина о государевом поступке, который выше «побед, торжеств и завоеваний», Пушкин услышал здесь мотив, оказавшийся ему, Пушкину, очень близким. Он пишет «Героя» и, конечно же, ясно понимает, что в реальных обстоятельствах народного бедствия это стихотворение не должно быть в обыкновенном ряду сочинений словесности — «литература на время в стороне». Стихотворение становится не только литературным фактом, но фактом жизни, свидетельствующим участие поэта в общем страдании. Напоминая власти о нравственных категориях, более высоких, чем обычные триумфальные регалии, Пушкин исполняет свой долг «среди граждан», вносит свой вклад в то, что Погодин называет «летописью добродетели».

Здесь же, как нам кажется, надо искать причины, почему Пушкин просит напечатать «Героя» где угодно, хотя бы и в «Московских ведомостях». В разгар трагических событий ему мало дела до литературных амбиций — важно только, чтобы стихи были опубликованы скорее. И лучше всего именно в Москве, пораженной болезнью. Но на худой конец, «если московская цензура не пропустит», можно отослать и в Петербург к Дельвигу.

При этом у Пушкина, по-видимому, есть ощущение, что именно в Москве цензура должна пропустить «Героя». Вот ведь мотив сравнения разных деяний царя прошел у Погодина дважды — один раз в холерном листке, а другой раз в тех же «Московских ведомостях». Понятно! Во дни настоящей беды цензура меньше озабочена отыскиванием мнимых опасностей. Если у Пушкина действительно был такой расчет, то он оказался правильным, — «Герой» увидел свет как раз в Москве, хотя и на исходе холерной эпопеи.

Осталось понять, почему Погодин не напечатал «Героя» сам, как просил его Пушкин. Объяснить это, кажется, нетрудно. Мы помним признание Михаила Петровича из его письма к Шевыреву — он занят только холерной ведомостью, до собственного издания, т.е. до «Московского вестника», руки не доходят. Неизвестно, пробовал ли Погодин опубликовать «Героя» в «Московских ведомостях». Если пробовал, то неудача удивлять не должна. В этом издании монополией на стихи обладает сам редактор, князь Петр Иванович Шаликов, и в холерное время, кажется, газета стихов не печатала вовсе. Кроме того, Погодин связан пушкинским запретом — он не может назвать автора «Героя». А Шаликов не такой уж тонкий ценитель, чтобы обращать внимание на анонимное стихотворение.

Возможен и совсем простой ход событий. Погодин получает «Героя» по почте 8 ноября и в следующем месяце просто не успевает этим стихотворением распорядиться. В начале декабря Пушкин возвращается в Москву, и Погодин может отдать «Героя» в «Телескоп» Надеждину уже с соизволения автора...

Между анонимной публикацией «Героя» и гибелью Пушкина проходит ровно шесть лет. За все это время Пушкин не сделает ни одной попытки вернуться к тексту стихотворения — во всяком случае свидетельств об этом нет. Погодин надежно хранит известный ему секрет авторства.

Только однажды Пушкин набрасывает несколько слов, близких по смыслу к погодинской аполгии царю из холерного листка. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург», написанной от имени независимого московского барина, есть такое место: «Ныне царствующий император чаще других государей удостаивает Москву своим посещением... Неожиданный его приезд в 1830 году, во время появления холеры, принадлежит истории» (XI, 239).

Но и эти строки Пушкин вымарает, перебеливая статью для печати. На дворе уже не 1830 год, надежды Пушкина на Николая I как «героя сердца» давно исчезли. Даже от имени симпатичного ему друга-повествователя Пушкин не станет теперь, в середине десятилетия, поминать лестный для царя исторический эпизод...

А со стихотворением «Герой» произошло то, что часто происходит с великими произведениями искусства. Написанное по конкретному, сегодняшнему поводу, оно высоко воспарило над повседневностью осени 1830 года. Холерная Москва и все, что с ней связано, давно ушли в мелкий шрифт примечаний и комментариев. А «Герой» остался. Остался высочайшим образцом русской и мировой философской лирики.

<sup>1</sup>Текст отрывка приведен с отступлением от Большого Академического собрания сочинений, так как Н.И. Клейман убедительно доказал, что 6 и 7 строки следует поменять местами. См.: Клейман Н.И. О тексте пушкинского наброска «Когда порой воспоминашь...» // Болдинские чтения. — Горький, 1977. — С. 63.

<sup>2</sup>См.: Морозов П.О. Загадочное стихотворение Пушкина // Столица и усадьба. — 1916. № 55. — С. 13.

<sup>3</sup>См.: Томашевский Б.В. Пушкин. 1925. — С. 45–47; Ахматова А.А. Пушкин и Невское взморье // Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2-е. — Горький, 1984. — С. 151–163. Краснов Г.В. Пушкин. Болдинские страницы. — Горький, 1984. — С. 105; Герштейн Э.Г. Ахматова — пушкинистка // Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. — М., 1989. — С. 316–317.

<sup>4</sup>Вопросы литературы. — 1970. — № 1. — С. 187–195.

<sup>5</sup>Ахматова Анна. О Пушкине (1989). — С. 214, 310. Строка «И злое мрачное мечтанье» взята Ахматовой из черного автографа.

<sup>6</sup>Там же. — С. 295–296.

<sup>7</sup>Других версий о месте захоронения декабристов Ахматова не знала; во всяком случае она их не обсуждает.

<sup>8</sup>Ахматова Анна. О Пушкине. (1989). — С. 161.

<sup>9</sup>Например, Пушкин был в Петербурге в августе 1830 г.; там состоялась его последняя встреча с А.А.Дельвигом.

<sup>10</sup>Ахматова Анна. О Пушкине (1984). — С. 161.

<sup>11</sup>Керн А.П. Воспоминания о Пушкине // А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т.1. — М., 1974. — С. 386. Это место из мемуаров Керн Ахматовой известно — она на него прямо ссылается в начале своей статьи «Пушкин в 1828 году».

<sup>12</sup>Карамзин Н.М. Соч.: В 2-х т. — Т.2. — Л., 1984. — С. 134.

<sup>13</sup>Ахматова Анна. О Пушкине (1984). — С. 159.

<sup>14</sup>Н.Гумилев и русский Парнас. — СПб., 1992.

<sup>15</sup>Ахматова Анна. О Пушкине (1984). — С. 8–9.

<sup>16</sup>См.: Клейман Н.И. Указ. соч. — С. 78–79.

<sup>17</sup>См.: Дружников Ю.И. Узник России. По следам неизвестного Пушкина. — М., 1993.

<sup>18</sup>См. главу пятую наст. издания.

<sup>19</sup>Указано Л.А.Перфильевой.

<sup>20</sup>См.: Клейман Н.И. Указ соч.. — С. 63.

<sup>21</sup>См., например, в комментариях Б.В.Томашевского // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 3. — Л., 1977. — С. 455.

<sup>22</sup>См., например: Юрьева И.Ю. Пушкин и Христианство. — М., 1998. — С. 13, 168, 262.

<sup>23</sup>Подробнее об этом см. главу девятую наст. издания.

<sup>24</sup>Тема любимой женщины — за пределами нашего исследования. Но все же напомним, что как раз октябрь 1830 года есть время мучительного «предсвадебного» охлаждения Пушкина, время, когда поэт готов к разрыву с невестой. Это, конечно, еще не причина для того, чтобы уйти в какой-то северный монастырь, но во всяком случае повод для размышлений об уходе от света, от мирских радостей.

<sup>25</sup>См.: Переписка А.С.Пушкина: В 2-х т. — Т.2. — М., 1982 — С. 285. (подлинник по-фр.).

<sup>26</sup>Там же. — Т. 1. — С. 281.

<sup>27</sup>Там же. — С. 387.

<sup>28</sup>Полный православный богословский энциклопедический словарь. — СПб., изд П.П.Сойкина, 6/г. — Т. 2. — С. 1938.

<sup>29</sup>См. главу восьмую наст. издания.

<sup>30</sup>Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 2. — Л., 1977. — С. 372—373.

<sup>31</sup>См.: Пушкин А.С. Стихотворения. — Т. 3. — М.—Л., 1955. — С. 853 (Библиока поэта. Большая серия).

<sup>32</sup>См.: Герштейн Э. Указ. соч. — С. 325—326.

<sup>33</sup>Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. — М., 1985. — С. 105—106.

<sup>34</sup>Колчин М. Ссылные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI—XIX вв. — М., 1908.

<sup>35</sup>Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, N 1001.

<sup>36</sup>См., например: Бонди С. Новые страницы Пушкина. — М., 1931. — С. 197—198; Фейнберг, И. Указ. соч. — С. 254—256; Петрунина Н.Н. «Египетские ночи» и русская повесть 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. — Вып. 8. — Л., 1978. — С. 35—37.

<sup>37</sup>См.: Фейнберг И. Указ. соч. — С. 254—256.

<sup>38</sup>В отступление от публикации мы сохранили в цитате прописные буквы в началах слов «Князь», «Княжная», «Княжое», «Рюриковой», ясно читаемые в автографе.

<sup>39</sup>См.: Российская родословная книга, издаваемая кн. Петром Долгоруким. — Ч. 1. — Спб., 1854. — С. 66, 68—69.

<sup>40</sup>См.: Строев П. Ключ к Истории государства Российского Н.М. Карамзина. — Ч. 1. — М., 1836. — С. 137. (Подсчет наш — В.Л.).

<sup>41</sup>См.: Российская родословная книга... — Ч. 1. — С. 69. Правда, в ч. 2 этой книги, вышедшей в 1856 году, род Елецких показан как существующий (с. 291). В 70-е годы князь В.М. Елецкий состоял при полтавском епископе (см.: А.Г. Достоевская. Воспоминания. — М., 1981. — С. 349). Сборник стихотворений князя Леонида Елецкого был издан в Варшаве в 1899 году. Но эти противоречия — предмет другого исследования.

<sup>42</sup>Вероятно, Е. Баратынский поэтому воспользовался фамилией Елецкий для героя своей поэмы «Наложница».

<sup>43</sup>Для нас несущественно, что «Отрывок» написан позже «Арапа», но предшествует «Пиковой даме», — тут важна не хронологическая, а логическая последовательность творчества Пушкина.

<sup>44</sup>См.: Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. — М., 1977. — С. 17—18.

<sup>45</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 1. — М., 1974. — С. 361.

<sup>46</sup>См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание/Сост. Л.Б. Модзалевский и Б.В. Томашевский. — М.—Л., 1937. — С. 204.

<sup>47</sup>Запись Пушкина о получении этого письма Н.Н. Гончаровой см.: Рукою Пушкина. — С. 330.

<sup>48</sup>См.: Пушкин. Письма /Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. — Т. 2. — М.—Л., 1928. — С. 11—12.

<sup>49</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — М., 1974. — С. 18.

<sup>50</sup>См.: Пушкин и его современники. — Вып. 13—14. — С. 109.

<sup>51</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — С. 23.

<sup>52</sup>Пушкин. Письма. — Т. 2. — С. 474—475.

<sup>53</sup>См.: Вестник Европы. — 1881, январь. — С. 36.

<sup>54</sup>Речь идет о «Московском вестнике», издававшемся М.П. Погодиным.

<sup>55</sup>Цит. по кн.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. — Кн. 1—22. — Спб., 1888—1910. — Кн. 3. — С. 207—208.

<sup>56</sup>Там же. — С. 203—204.



<sup>57</sup>Пушкин. Письма. — Т. 2. — С. 499. На ошибку Б.Л. Модзалевского в датировке другого номера «Ведомости...» уже указывалось в литературе. См.: Гукасова А.Г. Болдинский период в творчестве А.С. Пушкина. — М., 1978. — С. 60 (примечание).

<sup>58</sup>П. Вяземский. Старая записная книжка. — Л., 1929. — С. 151–153.

<sup>59</sup>См.: Толстой Л.Н. Война и мир. — Т. 1, гл. XV, XVII.

<sup>60</sup>См.: Романюк С. «Пиши мне на Арбат в дом Хитрово» //Наука и жизнь. — 1979. — № 6. — С. 111–113.

<sup>61</sup>«Ведомость о состоянии города Москвы» сообщила об уничтожении этого карантина в номере от 23 декабря.

<sup>62</sup>Тот же мотив Н.И. Михайлова выявила и в одной из речей митрополита Филарета. — См.: Болдинские чтения. — Вып. 12. — С. 12.

<sup>63</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — С. 21.

**И**з всех знаменитых архитектурных ансамблей под Петербургом Пушкин лучше всего знал Царское Село. Здесь прошла его лицейская юность; сюда в 1831 году привез он молодую жену; в царскосельских садах и парках находил поэт многие источники «спокойствия, трудов и вдохновения».

Дворцам, аллеям, городку, расположенному вокруг императорских резиденций, посвящены полностью или частично стихотворения Пушкина – «Воспоминания в Царском Селе», «Чедаеву», «Царское Село», «Мне жаль великия жены», «Царскосельская статуя» и др. В Царском Селе происходит и замечательный эпизод, по существу развязка романа «Капитанская дочка» – встреча императрицы Екатерины Великой с Машей, дочерью капитана Миронова. Здесь исполненное в прозе описание парка несомненно граничит с поэзией.

История Царского Села есть для Пушкина история Отечества. Она занимала его всегда, с самой ранней юношеской поры. В стихотворении «19 октября» (1825) поэт определяет высокий смысл этого места для братства лицейских выпускников:

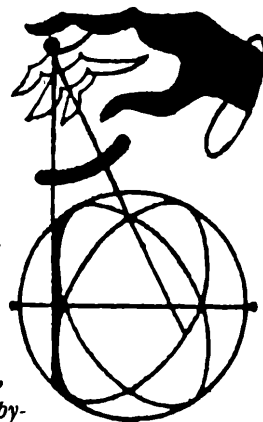
*Куда бы нас ни бросила судьбина,  
И счастье куда б ни повело,  
Все те же мы: нам целый мир чужбина;  
Отечество нам Царское Село». (II, 425)*

Работая в тридцатые годы над «Историей Петра», Пушкин среди прочих событий и происшествий начала XVIII столетия должен был с обостренным вниманием отнестись к основанию Царского Села в 1718 году. Сведения об этом он нашел в рассказе архитектора Ферстера, записанном известным собирателем анекдотов о Петре Великом, – Яковом Штелиным.

Вот версия начала строительства Царского Села, известная Пушкину, прочитанная им, возможно, не один раз:

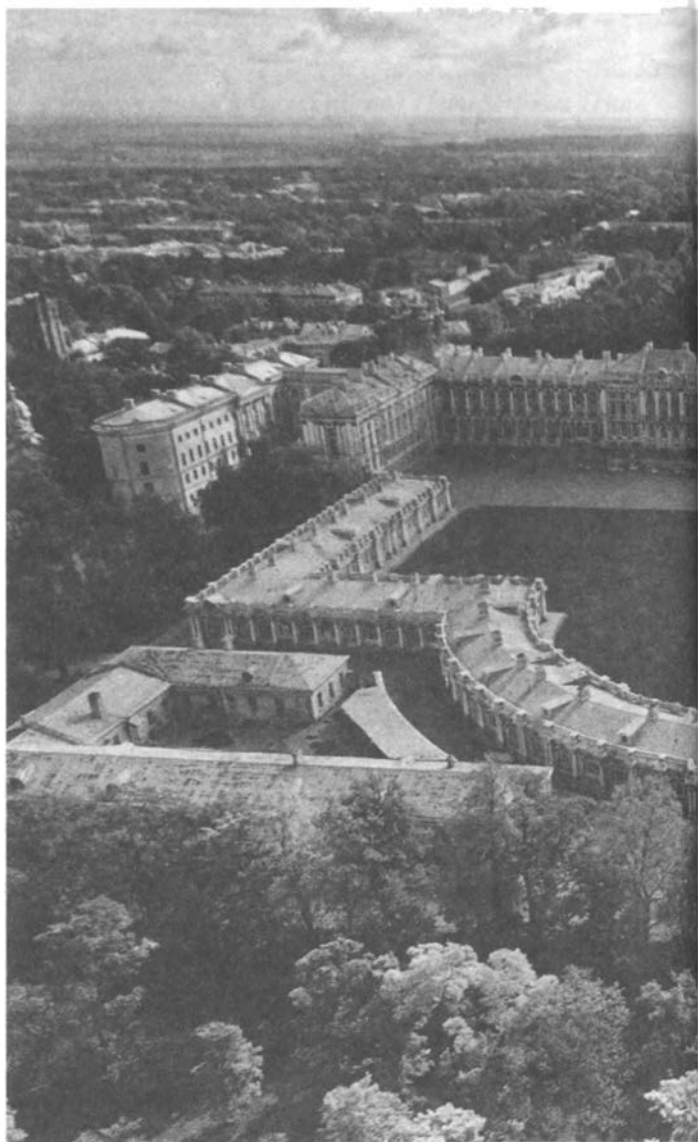
«ПЕТР Великий не только сам старался украсить любимый свой город Петербург лучшими по тогдашнему вкусу зданиями но и с отменным удовольствием смотрел на то, когда иностранцы и Русские строились в сем городе или около /.../.

Угождение, какое сделал Государь Императрице, построив для нее Катариненгоф, подало ей повод соответствовать ему взаимным угождением. Достойная и благодарная супруга сия хотела сделать ему неожиданное удовольствие и построить недалеко от Петербурга другой дворец. Она выбрала для сего высокое и весьма приятное место, в 25 верстах расстоянием от столицы к югу, откуда можно было видеть Петербург со всеми окрестностями оного. Прежде была там одна только небольшая деревенька, принадлежавшая Ингерманландской дворянке Саре, называвшаяся по ее имени Сариною мызою. Императрица приказала заложить там каменный увеселительный замок со всеми принадлежностями и садом. Сие строение производимо было столь тайно, что Государь совсем о нем не ведал. Во время двухлетнего его отсутствия работали над оным с такою прилежностью и поспешностью, что в третий год все было совершенно отделано. В том году летом приехал на несколько дней от армии из Польши в Петербург и, говоря с Императрицею, изъявил ей, сколь ему было то приятно, что во время его отсутствия строения в любимом его городе весьма



умножились и увеселительные его замки были отделаны. Тогда Императрица, улыбаясь, сказала ему, что она в отсутствие Его Величества нашла недалеко от Петербурга, хотя пустое, но весьма приятное место, на котором бы он верно заложил увеселительный дом и дворец, если бы его увидел. Государь, радуясь старанию своей супруги о застроении хороших мест около Петербурга, просил ее, чтоб она описала ему положение сего места, и наперед обещал построить там увеселительный замок, если найдет оное в самом деле столь приятным. Она уверяла, что сие место понравится Его Величеству, тем более, что оно весьма недалеко в сторону от Московской дороги, имеет прекраснейшие виды и только за отдаленностью по сие время оставалось пусто и никому неизвестно. Государь, нетерпеливо желая видеть сие место, подал руку Императрице и обещал на другой день ехать туда с нею. Меж тем она ночью приказала сделать там все нужные распоряжения ко принятию Государя. На другой день поутру Их Императорские Величества поехали туда в провождении некоторых морских и армейских Офицеров и других приближенных особ. Отъехавши 12 верст от Петербурга, надлежало поворотить в право; тут прорубленная через кустарник ровная дорога и прямой вид к Дудергофским горам обратили уже на себя внимание Государя. Он с удовольствием говорил своим спутникам: «Место, куда мы едем, в самом деле должно быть прекрасное, потому что и дорога к нему так хороша». У подошвы помянутых гор поворотили на лево и въехали по большей части подымаясь и спускаясь по небольшим холмам, так, что выхваляемого места не видно было, пока не поднялись на последнюю гору. Оттуда Государь вдруг увидел прекрасное новое здание о двух этажах, в такой стороне, в какой он еще никогда не бывал. В удивлении подъехал он к сему новому и неожиданному замку, где Императрица приняла его как хозяйка, и говорила: «Вот то место, о котором я Вашему Величеству сказывала, и вот дом, который я построила для моего Государя». Государь бросился целовать ее и целовал ей руки. «Никогда Катенька моя меня не обманывала, — сказал он. — Она правду сказала, что это место прекрасно, а ее старание сделать неожиданное удовольствие построивши дом в таком прекрасном месте, заслуживает мою благодарность. Я вижу, что она хотела дать мне знать, что есть и около Петербурга сухие прекрасные места, которые могут быть застроены». По том Императрица повела своего супруга по всем комнатам, убранным весьма прекрасно, показывала ему приятные виды из окошек, откуда Петербург весь был виден, и наконец привела его в залу, где приготовлен был стол. Они сели за оный обедать, и за обедом Государь пил за здоровье хозяйки и благоразумной строи-

Царское Село. Вид на дворец и парк



*тельницы. Императрица, соответствуя тому, пила за здоровье Его Величества. Но как Государь удивился, услышав при питии за его здоровье вдруг начавшуюся пальбу из 11 шестифунтовых пушек, которые поставлены были под флигелями замка! Вставши из-за стола, за которым просидели до вечера, Государь ходил еще по саду и по пристройкам, все осматривал и хвалил все, что видел. При отъезде оттуда сказал, что он не помнит, чтобы проводил когда нибудь день с таким удовольствием, как тогда».*

*Пушкин читал сборник анекдотов о Петре Великом – сочинение Я. Штелина в издании 1830 года поэт хранил в личной своей библиотеке<sup>1</sup>. Другую версию того же рассказа, довольно близкую к приведенной, он встретил у И.И. Голикова в его многотомной «Истории Петра Великого, мудрого преобразителя России». Закладку первого увеселительного дворца в Саринной мызе*





*Голиков отнес к 1715 году. Вслед за ним и Пушкин отметил в подготовительных материалах к своей книге о Петре:*

*«Облегчены средства к строению домов в П./етер/Б./урге/(...).*

*Екатерина приказывает в отсутствие Петра выстроить Царскосельский дворец.» (X, 216).*

*Трудно представить себе, как преобразилась бы ительинско-голиковская история под пером Пушкина, если бы ему удалось завершить книгу о Петре. Но можно рючатся – поэт не пропустил бы случая рассказать о начале Царского Села, о первых годах своего лицейского «отечества».*

*Пушкина связывали с Царским Селом не только личные воспоминания. Он внимательно изучал все, что относилось к русскому XVIII столетию, заду-*



Царское Село. Вид центра г. Софии. Рис. Д. Кваренги



*мывал написать его историю. А державный XVIII век накрепко связан как раз с императорскими резиденциями под Петербургом – с Царским Селом прежде всего. Тут сцены, на которой совершались основные события, – рождения и смерти государей, дворцовые перевороты, празднования военных побед, дипломатические переговоры, придворные интриги.*



Царское Село. Вид на дворец.  
Вт. пол. XVIII в. Гравюра по  
рис. М. Махаева



*Циркуль зодчего, палитра и резец за целое столетие превратили скромную  
мызу в блистательный ансамбль, в русский Версаль.*

*Так и понимал Пушкин смысл Царского Села...*

<sup>1</sup>Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиографическое описание).  
Отдельный оттиск из издания «Пушкин и его современники». Вып. IX–X. — Спб.,  
1910. — С. 117.

Top line of handwritten text, possibly a title or header.

Second line of handwritten text, heavily scribbled and partially obscured.



Third line of handwritten text, continuing the scribbled content.



Fourth line of handwritten text, with some legible words like 'Guten' and 'at'.

Text on the left side of the page, possibly a name or a specific note.

Text on the right side of the page, continuing the scribbled content.

Small text block on the left side, possibly a signature or a date.

Large block of handwritten text in the middle of the page, containing several lines of scribbled script.



Bottom line of handwritten text, including some legible words like 'Karte' and 'Natur'.



## Глава V

---

A decorative calligraphic frame consisting of a large, irregular oval shape with intricate, swirling lines extending from the top and bottom. The text is centered within the oval.

**«Нравственность  
в природе вещей»**

## САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРОЯ

Осенью 1822 года Пушкин послал из Кишинева в Петербург знаменитое французское письмо Льву Сергеевичу, в котором учил младшего брата правилам светского поведения. Нет нужды приводить или подробно цитировать это неожиданное послание — все знают, что оно — исповедь человека, разочарованного в свете, в людях и добродетелях. Пушкин рекомендует брату острое оружие, направленное против всех: цинизм. «Цинизм, — пишет он, — своей резкостью импонирует суетному мнению света» (XIII, 50).

Письмо это хронологически близко предшествовало пушкинскому роману в стихах и много раз верно служило для объяснения «Евгения Онегина» и всего русского байронизма. Действительно, та «неподражательная странность», которую Пушкин проповедует брату, станет потом определяющей чертой характера героя. Все это обычно обсуждается вокруг первой онегинской главы и биографии молодого поэта. Крах Евгения перед лицом Татьяны и торжество общепринятых норм нравственности, которая «в природе вещей», увенчивают всю эту линию.

Но школьная простота выводов — вероятно, в конечном счете правильных — тут недостаточна. Надо еще понять, чем и как наполнены послышки к этим выводам.

«Странность», пренебрежение общими правилами — суть черты характера едва ли не всех главных персонажей пушкинских произведений. Но есть ли в их безнравственности свой «нрав»? Свой закон беззакония? Своя логика в алогизме? Вот это и стоит проверить, ограничив поле нашего внимания только одним мотивом — мотивом саморазоблачения героя.

Несколько напоминаний.

Великое множество раз герои, рожденные воображением Пушкина, сообщают о себе невыгодные, порочащие сведения. Обычно это печальная привилегия мужчин в их диалогах с молодыми женщинами. Онегин четвертой главы говорит о себе Татьяне как «о недостойном муже», а в главе восьмой признается Татьяне-княгине в тайной, предосудительной страсти. Начинается длинная череда саморазоблачений. Самозванец в «Борисе Годунове» открывает Марине свое низкое происхождение и свой обман, повлекший возмущение двух царств. Мазепа в «Полтаве» рассказывает Марии, что он изменил Петру и России. Дон Гуан «Каменного гостя» разоблачает себя перед Доной Анной дважды — сперва как похититель духовного сана, а потом как убийца Дона Алвара. Дубровский срывает маску француза перед Машей Троекуровой и рекомендуется грабителем с большой дороги. Германн в «Пиковой даме» раскрывает причину смерти старухи-графини и разоблачает перед Лизаветой Ивановой свою единственную страсть — страсть к деньгам.

В «Египетских ночах» решительный шаг делает женщина, Клеопатра: «Свою любовь я продаю». В ненаписанной части повести в склонности к «торгу страстному» должна была, видимо, признаться современная светская дама.

Можно спорить, верен ли этот ряд, стоят ли в этом ряду Пугачев, признающий свое самозванство перед Гриневым, или, например, Алексей Бурмин с его расска-

зом о «преступной проказе» во время метели. Не в этом дело. Примеров и без того достаточно. Гораздо важнее понять, почему Пушкин с таким постоянством возвращается к схожим обстоятельствам, для чего все время переодевает в различные исторические костюмы героев одной, хорошо знакомой драмы?

Разгадка может лежать в самых различных областях — философских, исторических, литературоведческих. Нам кажется, что ближе всего подошла к ответу на поставленный вопрос А.А. Ахматова. В своем «Слове о Пушкине» (1962) она сильно и точно обрисовала ту пропасть, которая отделяла поэта от огромного большинства его светских современников. Сейчас, в пору безудержной идеализации Империи, мы уже стали как-то забывать контуры этого, по словам Ахматовой, «океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости»<sup>1</sup>.

Ахматова была права, утверждая, что Пушкину противостояли не злодеи, а посредственности. Движение, данное стране реформой Петра и екатерининскими преобразованиями, стало иссякать еще в конце XVIII столетия. На смену прежним гигантам пришли правители иного масштаба. В их окружении уже не было людей вроде «странного» Потемкина из рассказов Загряжской — зато постоянно встречались умеренные и аккуратные нессельроды. Век-торгаш не порождал ярких личностей; он не был подстать своему поэту.

Ключевым мотивом в этом смысле может служить уже цитированная ранее строфа из восьмой онегинской главы, рисующая отношение света к неординарному герою:

— Зачем же так неблагоприятно  
Вы отзываетесь о нем?  
За то ль, что мы неутомонно,  
Хлопочем, судим обо всем,  
Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит,  
Что ум, любя простор, теснит,  
Что слишком часто разговоры  
Принять мы рады за дела,  
Что глупость ветрена и зла,  
Что важным людям важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна? (VI, 169)

Эта строфа многое объясняет. Окончательно отделанная в Болдине, она представляет читателю нового Онегина, далеко ушедшего от «малого» из первой главы (VI, 7).

Но в пушкинском стихе, взятом в контексте всего романа, есть едва заметное противоречие. На протяжении первых семи песен читатель привыкает к Онегину умному, разочарованному, едва ли не циничному — как раз в духе советов Пушкина брату Льву. А здесь ему как бы ни с того, ни с сего приписана «пылких душ неосторожность». Общераспространенное объяснение — герой, мол, переродился новым

чувством к Татьяне — не годится. Ведь строфа не следует за сценой петербургского бала, где происходит встреча героя с княгиней, а **предшествует** ей. Значит, неосторожная пылкость души Онегина есть свойство то ли врожденное, но ранее подавляемое, то ли приобретенное опытом жизни, дуэльной историей, страстями и т.д. Во всяком случае не Татьяна тут причиной.

Или мы вовсе не понимаем, что значит у Пушкина эта **неосторожность**?

За год до первой болдинской осени поэт путешествовал по Кавказу. Приятель Пушкина, штаб-ротмистр Михаил Юзефович, вспоминал потом, как Пушкин читал свою трагедию группе офицеров. «При чтении «Бориса Годунова», — свидетельствует Юзефович, — случился забавный эпизод. Между присутствующими был генерал М.; известный прежде своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец, в увлечении, признается Марине, что он не настоящий Димитрий, М. не выдержал и остановил Пушкина: «Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст?» Пушкин с заметной досадой: «Подождите, увидите, что не выдаст»<sup>2</sup>.

Движение души самозванца определяет как «неосторожность» не Пушкин, а какой-то генерал М. — не то Н.Н. Муравьев-Карский, не то С.Д. Мерлини<sup>3</sup>. Но на Пушкина эта реплика производит до странности сильное впечатление. Он не только отказывается в дальнейшем читать при генерале М., но и возвращается к его оценке «сцены у фонтана» полтора года спустя, в письме к П.А. Плетневу от 7 января 1831 года. Получив известие из Петербурга, что у столичной публики «Борис Годунов» имеет успех, Пушкин пишет: «В Москве то ли дело? Здесь жалеют, что я совсем, совсем упал; ... что стихи без рифм не стихи; что Самозванец не должен был так неосторожно открыть тайну свою Марине, что это с его стороны очень ветрено и неблагоразумно — и тому подобные критические замечания» (XIV, 142).

Таким образом, непониманием пушкинских героев с их «неосторожностью» как бы объединены и вымышленные петербургские знакомцы Онегина, и невыдуманный кавказский генерал, и вполне реальные читатели-москвичи. Сам Пушкин хорошо понимал, с кем имеет дело; по его мнению, лучшим выражением этого типа людей был шекспировский Фальстаф, который для достижения своих целей «готов на все, только б не на явную опасность» (XII, 160).

В этом смысле все интересующие нас персонажи Пушкина — анти-Фальстафы. Каждый — в той или иной степени — подвергает себя явной опасности. Тем и возвышается над «самолюбивой ничтожностью». Онегину восьмой главы, еще до встречи с Татьяной-княгиней, Пушкин присваивает это достоинство «пылкой неосторожности» — вне логики повествования, как бы опережая события, как бы обмолвкой przygotowля читателя к тому, что последует. Тут одно из многих противоречий романа, который не укладывается в рамки реализма, хотя бы и критического.

Во всех помянутых случаях саморазоблачения герои преследуют разные цели. А иногда у них и вовсе никаких ясных целей нет. Тот же Самозванец проговаривается перед Мариной без всякого заранее задуманного плана. Недаром же монолог не мальчика, но мужа, завершается его репликой: «Прощай». Столь же импульси-



вен и другой самозванец — Пугачев. Из своей опасной откровенности с Гриневым он не извлекает никаких выгод. Может быть, и Дон Гуан импровизирует свою любовную песнь, еще не зная, что перейдет опасную черту.

Одним из главных мотивов саморазоблачения выступает усталость героя, его пресыщенность. Разочарованность Онегина — хрестоматийна. Дон Гуан сам называет свою совесть «усталой». Исчерпали все обыкновенные удовольствия и Клеопатра, и ее светская последовательница, не названная в «Египетских ночах».

Вторая редакция стихотворения о Клеопатре («Чертог сиял. Гремели хором...»), традиционно включаемая в «Египетские ночи», написана осенью 1828 года. Этим трагическим месяцам жизни Пушкина А.А. Ахматова посвятила отдельную работу, в которой тугим узлом связаны мотивы «Уединенного домика на Васильевском», «Полтавы», последних глав «Онегина», темы Клеопатры в стихах и прозе<sup>4</sup>. Именно осенью 1828 года, доказывает Ахматова, Пушкин переходит все мыслимые для него границы разгула, испытывает жесточайший моральный кризис и, наконец, страшную усталость.

Не станем пересказывать работу Ахматовой «Пушкин в 1828 году». Она известна. Ее смысл, нам кажется, имеет прямое отношение к теме саморазоблачения героев пушкинских произведений и к саморазоблачительным мотивам в жизни самого Пушкина. Тут — поверим все той же Ахматовой — грани между биографией и творчеством условны, размыты.

Может быть поэтому как раз к осени 1828 года относится одно из самых острых и страшных саморазоблачений поэта. Пресыщенность романом с дамой, к которой обращено французское письмо Пушкина, очевидна. Но видны и нити, связывающие текст письма с рискованными поступками пушкинских персонажей.

«Боже мой, сударыня, бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки. Но все вы таковы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее...

Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и склонности у меня вполне мещанские. Я по горло сыт интригами, чувствами, перепиской и т.д. и т.д...» (XIV, 32).

Письмо, как видим, не без цинизма. Мы обратились к нему не за тем, чтобы объяснять биографию поэта, а только для того, чтобы показать некий предел саморазоблачения, доступный Пушкину в жизни. Хотя и тут, кажется, немало литературной игры. Но игры опасной. Будь адресатом дама, любившая Пушкина меньше, чем Элиза Хитрово, к автору вполне могли бы пожаловать секунданты от ее родственников.

Саморазоблачение Онегина, Дон Гуана и Германна, конечно, «изящнее и благовоспитаннее», но несомненно находятся в родстве с теми настроениями, которые владели Пушкиным с такой силой осенью 1828 года. В здравнице гризеткам слышен мотив давнего разговора с Денисом Давыдовым, в котором поэт-партизан переска-

зал свою реплику светской даме: предпочитаю «камеристок, которые свежее» (XV, 123). Эта реплика много лет спустя станет эпитафией к одной из глав «Пиковой дамы» (VIII, 231).

Пушкин сам вряд ли объединял своих персонажей из разных произведений по признаку саморазоблачения, по мотиву игры опасными признаниями. Тем интереснее сходства их поступков и их судеб. Нетрудно заметить, что самосрывание добропорядочной маски на первом витке истории обычно приводит к успеху, к желанному результату.

Германн благополучно ускользает из дома старой графини и обретает тайну трех карт. Гуан срывает свой поцелуй у Доны Анны. Самозванец получает руку своенравной Марины. Мазепа возвращает себе ослабевшую, было, привязанность Марии. И даже бесхитростный Дубровский получает обещание Маши Троекуровой выйти за него замуж. И так далее.

Но потом — во всех названных случаях без исключений — следует неминуемый крах. Все, что было достигнуто саморазоблачением, сметается слепыми судьбами, от которых нет защиты. Гибель или несчастье героя как бы предопределены его опасной откровенностью.

Прямой и простой связи, может быть, тут и нет. Беда настигает грешников вовсе не только потому, что они доверили свои тайны женщинам. Но этот мотив становится в ряд с другими мотивами, смешение таких красок и дает картину, характер. Важным остается только то, что все названные лица переступают рамки дозволенного. И в конце концов не так уж существенно, в каком месте и как они это сделали. Саморазоблачение для них — вдохновенно и высоко. Оно становится своеобразным творческим актом. Или актом разрушительным — зависит только от точки отсчета.

Пушкин, как, впрочем, и каждый настоящий писатель, проживает собственную свою жизнь вместе со своими героями. Их чувства — это и его чувства; их опыт — его опыт. Следуя за откровениями Онегина и Отрепьева, Мазепы и Гуана, Пушкин все прочнее утверждает в печальном открытии: обычный жизненный успех достигается только обычным же, общепринятым поведением. Предчувствие этого вывода есть уже в примечании ко второй главе «Евгения Онегина», где Пушкин как бы впервые вслушивается в реплику Шатобриана: верить в счастье безрассудно; его заменяет привычка (VI, 45, 192).

Тут мы сталкиваемся с одним из основных противоречий пушкинского мира: если счастье есть свойство «самолюбивой ничтожности», то на что же могут рассчитывать неосторожные «пылкие души»? Разве только на счастливый случай, как это происходит в «Метели», где обоюдное саморазоблачение героя и героини скорее театрально, чем реально? Жизненная сложность уступает здесь математической простоте: две тайны, как две отрицательные величины, при умножении дают нечто положительное.

Давно и не нами замечено, что неординарные персонажи пушкинских произведений знают с музами. Сочиняет песни Дон Гуан. Самозванцу знаком «латинской

музы голос». Песни гетмана Мазепы «бренчит» слепой украинский певец (V, 64). И даже Онегин едва ли не постигает механизма стихосложения (VI, 184)... Понятно. Ведь лирическая поэзия по природе своей стоит рядом с откровением и откровенностью. Саморазоблачение, неосторожные порывы героев находятся в родстве с поэтическим творчеством.

Конечно, мы далеки от примитивного понимания лирической поэзии как простого авторского саморазоблачения. Но можно ли отвязаться от всем известного острого ощущения — понимаю Пушкина как человека через чтение его стихов? Как не видеть саморазоблачительных мотивов хотя бы в стихотворении «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день») (III, 102)? Пушкин в нашем сознании как бы становится в один ряд со своими персонажами, разделяет на деле ужас их вымышленного бытия.

Можно только удивляться, с какой точностью творческий путь Пушкина напоминает трагедии его героев-саморазоблачителей. Поэт начинает с лирических стихотворений и поэм — романтических проявлений «неосторожной души». Начальный успех у публики известен. Новизна имени, смелость выражений, граничащая с недозволенностью, привлекают и читателей, и критиков. Но расплата не за горами. С конца двадцатых годов поэт чувствует сначала охлаждение, а потом и неприязнь критики, читателей, света.

Переход на менее откровенные жанры в 30-е годы (прозаическая повесть, роман, журналистика, научная монография и т.д.), отказ от прежних «безумств» — не помогают. Кто хотя бы однажды возвысился до того, чтобы, по словам Гуана, раскрыть «ужасную, убийственную тайну» (VII, 166), тот уже не найдет счастья на обыкновенных путях жизни.

С такой, совершенно, конечно, ненаучной точки зрения расплатой за откровенность могут быть и падение с высокой башни, как у Самозванца, и провал в преисподнюю, как у Гуана, и вполне историческая пуля на Черной речке, как у Пушкина.

Может быть, дело не только в личности того, **кого** настигает жестокость судьбы. Важно еще видеть, **кому адресована** откровенность, **кто** проникает в тайну чужой судьбы. Самарянка у колодца Иакова призналась перед Неизвестным, что живет она во грехе, не с мужем. И Неизвестный одобрил ее саморазоблачение (Иоан., 4, 16–19). Женщина спаслась, потому что ее исповедь принял Сам Христос.

Откровенности Пушкинских грешников обращены не к Богу. Татьяна, Маша Троекурова — прекрасны. Но и только. Они стоят высоко, но не выше мира сего. А уж исповеди перед властолюбивой Мариной или «страх как любопытной» Доной Анной должны прямиком вести в ад, что и происходит с Самозванцем, Гуаном, другими персонажами.

Пушкин и сам не побывал у колодца Иакова, не удостоился как Самарянка, поведать тайны своей души Божественному Агнцу. Пушкинскую откровенность принимала все та же «хладная посредственность». Счастливая. Следующая обыкновенными жизненными путями...

БЛАГОДАТЬ И ЗАКОН.  
«МОЦАРТ И САЛЬЕРИ»

К столетию гибели Пушкина, в 1937 году, Вячеслав Иванов опубликовал статью «Два маяка»; в ней трагедия «Моцарт и Сальери» — в который уже раз в русской мысли — стала почвой, питающей религиозно-философское древо. Не касаясь всех его мощных разветвлений, заметим у Вяч. Иванова только одну идею; или — если продолжать сравнение с деревом — только один тонкий, но жизнеспособный побег. Речь идет о характеристике драмы, соотнесенной с одним из фундаментальных новозаветных понятий.

О Сальери:

«Таковы пламенная и подвижническая вера, духовная гордость, титанический мятёж этого работника упорного и плодovitого, этого художника, строгого и непогрешимого, но никогда не знавшего Благодати».

О Моцарте:

«Гений Моцарта — чудо сверхъестественное... Красота открывается через посредство гения, гений же есть дар Божественной Благодати».

О действии:

«Сальери-сатана пытается оправдать свой умысел при помощи рассуждений, направленных против вмешательства божественной благодати в дела человеческие»<sup>5</sup>.

В этом значении благодать понимается как неисповедимый и милостивый произвол Бога по отношению к человеку и людям. Она почти или даже совсем не зависит от усилий и поведения личности. Поэтому благодать нельзя заслужить. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя., — сказано у апостола, — Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости» (Тит., 3, 4—5). Уже здесь содержится объяснение смысла трагедии. По произволу небес божественный дар пожалован «безумцу», «гуляке праздному», и не дан тому, кто пытается получить его «по делам праведности», старанием и усердием. Сальери не понимает благодати; отсюда — его первая реплика о неправде, царящей в небесах, его обида на божественное провидение.

Все это известно, много раз обсуждалось.

Но напомним: новозаветное мирозерцание традиционно знает не просто благодать, а парную категорию, как бы две ступени на пути к истине — **закон и благодать**. Тут закон есть сравнительно простая система запретов и разрешений, входящая к Моисеевым скрижалям и данная «рабам Божиим». Христос приходит не для того, чтобы нарушить «ветхий» закон, а чтобы его укрепить (Матф., 5, 17). Но Он несет с Собой благодать, которая **выше** закона; одаренный благодатью перестает быть «рабом», обретает великую свободу — свободу духа.

Нетрудно понять, что в пушкинской трагедии Сальери должен олицетворять собой именно закон. Ведь Сальери не только «поверил алгеброй гармонию», но и соблюдает в творчестве своем систему запретов и разрешений, установленную не им и до него. Его понятия не идут дальше простой механики: чем дольше взбира-



ешься, тем выше взберешься; чем усерднее труд, тем выше награда. К Сальери можно отнести афоризм Пушкина: «Ученый без дарованья подобен бедному мулле, который изрезал и съел Коран, думая исполниться духа Магометова»(XI, 52). Напротив — артистизм Моцарта благодатен, следовательно, изначально высок и свободен.

Сальери — закон, Моцарт — благодать... Так ли? Не впадаем ли мы в грех простого олицетворения идеи? Не становятся ли герои трагедии пресловутыми «представителями» абстрактных понятий, почерпнутых за пределами словесности, как это не раз случалось? В другой системе координат Онегин уже бывал воплощением раннего декабризма, а Германин из «Пиковой дамы» — символом буржуазности. Но — нет. При обращении к евангельским понятиям такие линейные соответствия у Пушкина все-таки не проходят, отторгаются.

Достаточно указать хотя бы на одно коренное отличие священной истории от пушкинской трагедии. Все понятия христианства восходят к Единому Богу, им определяются и им заданы. А в «Моцарте и Сальери» оба действующих лица представлены как сыновья гармонии, как жрецы «Единого прекрасного». В роли жрецов, служителей муз, они должны восприниматься как язычники, или — по меньшей мере — как ренессансные люди, исповедующие слияние обоих культурных потоков. Поэтому прямое каноническое применение новозаветных понятий к «Моцарту и Сальери» вряд ли уместно — можно только пожалеть, что Вяч. Иванов не развил своей догадки о благодатном гении Моцарта.

Ренессансную, язычески-христианскую двойственность своего дара ощущает и сам Пушкин. В стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» он как бы находится в русле гораціанской античности, но ключевая строка финальной строфы обнаруживает совсем иное культурное начало:

Веленью Божию, о муза, будь послушна...

В слове «Божію» советские издания не сохранили прописную букву, ясно читаемую в автографе<sup>6</sup>. С прописной буквы это слово писалось только в том случае, когда речь шла о верховном существе Библии<sup>7</sup>. Значит, муза должна быть послушна Единому Богу. Но в библейском космосе нет муз, а музы античности Единого Бога не знают. Похожее смешение двух культурных начал, видимо, происходит и в «Моцарте и Сальери», где новозаветные понятия закона и благодати выявляются далеко не канонически.

Проверим себя еще раз.

В третьей песни «Полтавы», в хрестоматийном описании битвы, есть четверостишие, прямо отвечающее на наш вопрос об обращении Пушкина к новозаветным понятиям:

Тесним мы шведов рать за ратью,  
Темнеет слава их знамен,  
И бога браней благодатью  
Наш каждый шаг запечатлен. (V, 56)

Разумеется, «бог браней» есть бог языческий — Марс; потому со строчной буквы и пишется. Марсова благодать — явление канонически совершенно невозможное, но зато близкородственное музе, послушной Единому Богу. Ренессансное пренебрежение границами выступает совершенно отчетливо.

Этим многое объясняется и в маленьких трагедиях.

Сальери и Моцарт служат музам, пантеону, что подчеркнуто самохарактеристикой Моцарта. Между тем, несмотря на явную условность места и времени, вся трагедия построена на фундаменте христианских ценностей; это много раз отмечалось<sup>9</sup>. Поэтому мы не можем сомневаться ни в благодати, осеняющей Моцарта, ни в законнической, фарисейской «закваске» Сальери.

В болдинской трагедии происходит то же, что в «Памятнике» и «Полтаве» — действие античной драмы «послушно» библейской традиции с ее строгими понятиями греха и искупления, правды земной и истины небесной, закона и благодати. С этой точки зрения, например, кажется недооцененным тост Моцарта, следующий сразу за убийственным жестом Сальери, бросающим яд в стакан:

...За твое

Здоровье, друг, за искренний союз,  
Связующий Моцарта и Сальери,  
Двух сыновей гармонии. (VII, 132)

Два сына, из которых один достаивается благодати, а другой — нет, есть мотив в священной истории хорошо известный. Он начинается прямо с Каина и Авеля и продолжается историей детей праотца Авраама. Старший сын Измаил, рожденный рабыней, изгоняется; наследие, а вместе с ним и благодать, получает младший сын — Исаак (Быт., 21, 10—14). Та же драма разыгрывается потом между сыновьями самого Исаака — Исавом и Иаковом. Благословение вновь получает не старший, Исав, а младший, Иаков (Быт., 25, 31—34). Новозаветная традиция расширяет коллизию до судеб целых племен: старший народ, иудеи, остается носителем ветхого закона, а благодати достаиваются молодые народы, грешники, вчерашние язычники.

У Пушкина нигде прямо не сказано, что Сальери (1750—1825) старше Моцарта (1756—1791). Так было в действительности. Но и в условном пространстве трагедии это тоже подразумевается. Недаром же Сальери назван приятелем Бомарше, который восемнадцатью годами старше Моцарта. Да и сама реплика о друге, который «несколько занес нам песен райских», говорит о том, что Моцарт явился уже тогда, когда Сальери в искусстве «достигнул степени высокой» (VII, 124).

Почему-то «бог гармонии» распоряжается судьбами двух своих сыновей точно так, как того требует помянутая библейская традиция. Старший, Сальери, следует «велению Божию» усердно и далеко, но не дальше, чем того требуют его пророки — Глук, Пиччини. Является Моцарт — гармоническая благодать во плоти; он — бог. Он творит чудеса. Но старший сын с «алгеброй» своего закона не может перед этим смириться. Характерно, что Сальери свой счет Моцарту выставляет как раз в формах драмы авраамова потомства:

Наследника нам не оставит он.  
Что пользы в нем? (VII, 128)

Речь идет всего лишь о сообществе сочинителей музыки. Но в устах Сальери вопрос обретает даже не династический, а религиозно-династический характер. Если бы трагедия действительно укладывалась в рамки сомнительного происшествия в Вене в 1791 году, то Пушкин, думается, не дал бы Сальери реплики о наследнике. Ведь Сальери сам не может претендовать на «гармоническое первородство» — он только подражатель, идущий вослед пророкам. Но, как человек закона, он озабочен самой идеей правильного наследования — наследования по старшинству рода и возраста. Сальери не приемлет Моцарта так же, как малые ветхозаветные пророки отвергали бы царя не из рода Давида<sup>9</sup>. Они забывали, что закон не был соблюден с самого начала, от сыновей Адамовых — дар старшего, Каина, не был угоден Богу. Бог призрел на младшего, Авеля, но попустил убить его (Быт., 4, 1 — 8).

Черты мистерии, построенной на этом сюжете, нетрудно различить в «Моцарте и Сальери».

Серьезный, коренной мотив никогда у Пушкина не замыкается в рамках одного произведения. Франц, главный герой «Сцен из рыцарских времен», завидует рыцарям и страдает на манер Сальери. Попытка Франца стать благородным дворянином — натужна; она сродни съедению Корана у муллы или же воззрениям Сальери. Но ответ священной истории не менее чем дважды падает на драму молодого сукошника. Когда Франц жалуется монаху Бертольду на неравенство среди людей, тот отвечает формулой, в которую по существу укладывается «Моцарт и Сальери»: «Каин и Авель, — напоминает Бертольд, — тоже были братья, а Каин не мог дышать одним воздухом с Авелем — и они не были равны перед Богом. В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть» (VII, 220). О чем же в сущности повествует пушкинская маленькая трагедия? Да все о том же — о неравенстве и о зависти.

Второй раз мотив сложного соотношения закона и благодати выступает в песне Франца перед рыцарями, полный текст которой традиционно восходит к стихотворению 1829 года «Жил на свете рыцарь бедный...». Сумрачный герой песни нарушает религиозный закон. Он не молится Святой Троице, а выбирает предметом поклонения только одну Пречистую Деву. И потому бес совершенно прав, когда тащит душу рыцаря в ад: «Не путем-де волочился / Он за матушкой Христа». Спасение крестоносца происходит вопреки закону, по божественной благодати: только потому, что Пречистая «сердечно заступилась за него» (III, 162).

В начале и даже в середине «Сцен из рыцарских времен» певец Франц выступает едва ли не близнецом Сальери — он завидует благородным, и невозможность до них возвыситься влечет его к убийству рыцарей — пусть не ядом, так косою и дубиной. Но жизненные неудачи и несчастная любовь усложняют его характер, помогают преодолеть плоский эгалитаризм. Песенка о рыцаре бедном — особенно в варианте 1829 года, хронологически близком к «Моцарту и Сальери», — еще раз доказывает ущербность закона и величие благодати. Если спасен

суровый паладин, прямо отвергающий Христа, то в пушкинском мире тем более может рассчитывать на прощение и спасение «безумец», «гуляка праздный». Но Сальери этого не постигает.

И тут мы подходим к еще одной важной грани маленькой трагедии — к ее национальной особенности. Вопрос о прощении и спасении героев только поставлен; он решается как бы за пределами действия. «Царство вечно» — для Моцарта; но будет ли прощен Сальери? В принципе и это возможно, ибо понятие о безграничной благодати Божьей есть краеугольный камень именно русской религиозности. И, может быть, нигде это не проступает так ясно, как в диалоге «двух сыновей гармонии».

Философ Иван Ильин давно заметил, что «Моцарт и Сальери» — среди других произведений Пушкина — «есть **русское**, национальное, творческое видение, узренное в просторах общечеловеческой тематики... За иноземными именами, костюмами и всяческими «сходствами» парит, цветет, страдает и ликует **национальный дух народа**»<sup>10</sup>.

В русле избранного нами истолкования пушкинской трагедии нетрудно показать ее отечественные корни. Первым из известных нам религиозных сочинений древней Руси можно считать «Слово о Законе и Благодати», созданное в XI веке киевским митрополитом Иларионом<sup>11</sup>. В нем сильно, точно обрисованы и обе ступени божественного приобщения людей и племен, и соотношение между этими ступенями. Под пером древнерусского писателя отчетливо проступают контуры закона как способа рабского, мы бы сказали, механического следования по пути, указанному Богом; благодать же объясняется как дар, с которым человек перестает быть рабом догмы, обретает духовную свободу.

Пушкин вряд ли знал сочинение митрополита Илариона; оно было опубликовано в 1844 году, уже после гибели поэта. Но имя древнего подвижника и название его труда могли быть Пушкину известны — на них ссылались А.Н.Оленин в 1806 и Н.М.Карамзин в 1816 годах<sup>12</sup>. Независимо от степени реального проникновения в мир древнерусского памятника Пушкин в своих размышлениях о Ветхом и Новом Заветах находится в пределах иларионовой традиции, развитой в русской мысли на протяжении веков — с XI по XVIII столетие. Так, по весьма обоснованной гипотезе В.Я.Дерягина, автор «Слова о Законе и Благодати» принимал участие в составлении «Правды Ярослава», первого свода законов христианской Руси<sup>13</sup>. Отсюда можно заключить, что традиционные правовые воззрения в той или иной мере восходят к Илариону, к его понятиям об истине и справедливости. Они не могли полностью исчезнуть во времена петровских реформ.

Кажется, никто не обращал внимания на то, что для Сальери мотив обычной, если угодно, чисто юридической ответственности человека исчерпывается уже в первой реплике: «нет правды на земле». Разумеется. Ведь между людьми властвует всего только ущербный и несовершенный закон, которому почему-то надлежит рабски следовать. Особенность Сальери в том и состоит, что, будучи человеком закона, он законом же и тяготеет. В этом смысле все рассуждения Сальери и сводятся к тому, чтобы обосновать свое право на свободу от этого закона, на насильственный



переход его границ. Убийство друга становится для Сальери своеобразным «творческим» актом, возможностью «гениального» самоосвобождения. Он как бы ищет тут «черной благодати».

Аналогии с известными характерами отечественной истории и литературы — просто напрашиваются. По этой же логике действует Борис Годунов, герой одноименной пушкинской трагедии. «Рожденный подданным» (VII, 89), т.е. рабом, он по-сальериански завидует и по-сальериански же устраняет младшего из богоизбранной династии. Затем Самозванец в основных чертах повторяет путь Бориса — вплоть до убийства молодого Феодора. Вариациями той же темы — ближе или дальше — будут едва ли не все убийцы в пушкинских произведениях: Пугачев из «Капитанской дочки», Германн из «Пиковой дамы» и даже Онегин.

В последнем случае любопытно не только подсознательное чувство Евгения, завидующего счастливому певцу, который умеет идти обыкновенным жизненным путем, — это зависть к **младшему**; она еще мало выявлена и осмыслена. Любопытно то наказание, которому Онегин подвергается в атмосфере романа. Вопреки бытовой правде Онегин осужден за дуэль не по закону, а по более высокому, нравственному принципу, олицетворяемому Татьяной. Нам уже знакомо это ренессансное сочетание античной музыки и христианской благодати<sup>14</sup>.

Конечно, категориями «Слова о Законе и Благодати» герои пушкинской трагедии прямо и полно не объясняются — все-таки Пушкин не читал сочинения Илариона. Но древнерусская традиция может быть выявлена по косвенным признакам, по ориентации на общие библейские протографы, переосмысленные в отечественной культуре.

В начале своего сочинения, отмечая восхождение рода людского от низшей стадии божественного приобщения к высшей, Иларион утверждает:

Прежде Закон, ти по том Благодать.  
Прежде стень, ти по том Истина<sup>15</sup>.

Благодать в этих стихах соотнесена с Истиной. Это понятно. А Закону, т.е. ранней и примитивной стадии веры, соответствует у Илариона «стень». Возможные переводы слова «стень» суть: тень, прообраз, отражение<sup>16</sup>. Значит, полноте Истины предшествует некая ее тень, некий прообраз.

Возможен и другой перевод слова «стень» — **подобие**. Тогда формула Илариона будет звучать так:

Прежде подобие — потом Истина<sup>17</sup>.

Независимо от того, «тень» тут или «подобие», — все равно речь идет об ущербной истине, о некоем ненаполненном контуре благодати. Контур, внешний вид — присутствуют, но не следует обманываться: Истина здесь находится лишь формально, лишь зримо, а не по существу. Путь от «стени» к Истине и есть, по Илариону, духовная история народов — от Моисеевых скрижалей, через искупительную жертву Христову и далее — к крещению Руси при князе Владимире Святом. Иларионова

проповедь, однако, не ограничивает понимания «пути и истины» только лишь великими движениями пророков и племен. Она возвращает нас к истокам возникновения и становления отдельного человека.

В книге «Бытие» рождению ветхого Адама предшествует монолог Творца: «И рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт., 1, 26). В русле иларионовых прозрений можно понять, что уже в существе первочеловека были заложены идеи образа и подобия Божия, которые и суть начала закона и благодати. Ибо подобие Творца — только законно; а образ Его — благодатен.

Вероучение Илариона и его последователей всегда стояло на преувеличенном, резком отторжении законнической ограниченности и на столь же преувеличенном уповании на благодатное, хотя и ничем не заслуженное вмешательство Провидения в дела людские. Вот почему у Пушкина Сальери лишь подобие, лишь имитация творца; вот почему Моцарт есть гений не по праву и правилу, а изначально — как Бог, даже не знающий о своей божественности; вот почему прав старый философ, утверждавший, что в «Моцарте и Сальери» национальный дух народа «парит и цветет, страдает и ликует»...

### «СТАМБУЛ ГЯУРЫ НЫНЧЕ СЛАВЯТ...»

Среди произведений первой болдинской осени стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» занимает почетное место и не обойдено вниманием исследователей<sup>18</sup>. Обычно суждения о его содержании «растекаются» по двум основным руслам. Это, во-первых, не вызывающие сомнений связи стихотворения с арзрумским путешествием Пушкина, с Турцией и реалиями «восточного вопроса» в 20-е годы XIX в. Это, во-вторых, скрытые параллели с российской историей: поэт маскирует восточным колоритом кое-какие беды своего отечества, подобно тому, как за век до него Монтескье в «Персидских письмах» (1721) обращался к особенностям французских нравов. Оба подхода и правомерны, и убедительны.

Ориентализм стихотворения глубок, но виден уже на поверхности. Это и позволило Пушкину приписать стихи воображаемому турецкому поэту-янычару Амину-Оглу и «процитировать» пять строф в главе V «Путешествия в Арзрум» (VIII, 478—479). Фабульная связь полного текста опирается на реальные события истории Турции. В середине 20-х годов султан Махмуд II, ориентируясь на европейские образцы, приступил к модернизации своей державы. В 1826 году он подавил мятеж янычар и уничтожил янычарский корпус. А с непокорными религиозными сепаратистами, тяготевшими к старине, султан боролся все годы своего правления. Это и дает возможность воображаемому Амину-Оглу и реальному автору противопоставить растленный столичный Стамбул патриархально-нравственному провинциальному Арзруму.

Все это много раз обсуждалось. Д.Д. Благой уже более шести десятилетий тому назад высказал предположение, что не одна только турецкая история тревожила

воображение поэта. Русские параллели как бы сами напрашивались: «Для Пушкина янычары должны были составлять совершенную аналогию «древней русской аристократии», оппозиционной реформе Петра I, боровшейся, вплоть до восстания декабристов, с самодержавием за свои классовые права и преимущества»<sup>19</sup>. Еще дальше в этом направлении пошел Н.Я. Эйдельман. Он отметил хронологическое совпадение суда над декабристами с восстанием янычар в Турции (лето 1826 года) и в этой связи напомнил о встречах Пушкина с опальными офицерами на Кавказе в 1829 году<sup>20</sup>.

Разновидностью «русских параллелей» к стихотворению служит и та мысль, что соперничество Арзрума и Стамбула есть лишь ориентальное прикрытие традиционного отечественного противостояния старой Москвы и нового, прозападного Петербурга, а восстание янычар соответствует стрелецкому бунту<sup>21</sup>.

Как нам представляется, выйти за пределы обоих традиционных путей исследования помогает помета над первой строфой стихотворения, вписанная Пушкиным в белой автограф.

В комментарии к Полному Академическому собранию сочинений Т.Г. Зенгер-Цявловская прочла помету следующим образом:

17 окт. 1830

Предч. (?) разб. ст. (III, 857, 1219).

Смысл второй строки пометы неясен, и все истолкования в разной степени небедительны. Не предлагая своего чтения, покажем, что и первая строка пометы — 17 окт. 1830 — тоже не отличается простотой и буквальностью. Полное Академическое собрание сочинений Пушкина на основе этой пометы датирует все стихотворение 17 октября 1830 года лишь «предположительно» (III, 1219). Сомнения в том, что перед нами просто дата написания стихотворения, усиливаются и важным наблюдением Р.Е. Терebeneиной: вся помета вписана позже основного текста и над ним, а не в конце, как обычно у Пушкина. Отсюда и вывод: стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят...» не закончено; чтобы его продолжать, автор и вынес помету наверх, поместил перед первой строфой<sup>22</sup>.

Но для чего понадобилось бы Пушкину датировать незаконченное произведение? Мы будем исходить из того, что дата атрибутирует стихи не в простом хронологическом смысле, а скорее в каком-то ином, идейном контексте<sup>23</sup>.

*17 октября по церковному календарю отмечалась память библейского пророка Осии*<sup>24</sup>. Это обстоятельство, по нашему мнению, не только дает ключ к истолкованию первой строки пометы, но и выявляет в стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят...» признаки культурной традиции, возникшей задолго до реалий турецкой или даже русской истории.

Книга пророка Осии (или Госеи) есть боговдохновенный отклик на трагедию «избранного народа» после царя Соломона, когда единое царство было разделено на два — иудейское со столицей в Иерусалиме и израильское со столицей в Сама-

рии. В нашу задачу, конечно, не входит обзор современных достижений библеистики, изучающей, как события IX—VIII вв. до н.э. преломлялись в инвективах знаменитого пророка. Гораздо важнее выявить, как книгу Осии (Госеи) понимали в пушкинском, XIX столетии.

Известный исследователь библейских текстов Э. Ренан в своей «Истории Израильского народа» посвятил Осии-Госее небольшую главу, в которой попытался понять главный содержательный мотив книги пророка. Вот ключевой тезис Ренана: «Разделение царств представляется Госее высшим злом... Его влечет к Иуде нечто вроде симпатии к законной власти: он признает только царей из рода Давида; но он является израильским патриотом в самом широком смысле слова. По его мнению, анархия ведет северное царство (т.е. Израиль с Самарией. — В.Л.) к гибели... Самария пыгается вступить в союз с чужеземцами; она переходит от Ассирии к Египту, от Египта вновь к Ассирии, поочередно предлагая дары обоим. Этот прием кокетничанья то с тем, то с другим народом кончится плохо, как все любовные интриги и запретные связи»<sup>25</sup>.

Французский ученый в духе XIX в. совершенно точно передает основной смысл пророчества. Действительно, в библейской книге представлен когда-то единый народ, ныне трагически разделенный. Одна его часть (Израиль) лукаво отступила от Бога и погрязла в пороке; другая (Иудея) есть мир, который «держался еще Бога и верен был со святыми (Ос., 11, 12). Пророк, конечно, обличает израильскую столицу Самарию. Но Ренан справедливо подчеркивает, что патриотизм Осии широк. Проповедь его, направленная против «лукавых» жителей Самарии, звучит как горькое слово соплеменника; он чувствует свое родство с отступниками; он как бы постоянно напоминает о прежних, лучших временах ушедшей общности, о временах воинственного Давида и премудрого Соломона.

Страх за единое отечество, уже разрушаемое внутренними распрями и влиянием иноплеменников, роднит Осию с поэтом-янычаром Амином-Оглу, а может быть, и с самим Пушкиным. Библейскую книгу и стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят...» связывает далеко не только дата — 17 октября. Образный строй, лексика пушкинских строк нередко тяготеют к ветхозаветному источнику.

Там, где Амин-Оглу уличает Стамбул в отступлении от чистых основ веры, в пьянстве, блуде и позорной роскоши, можно еще счесть смысловые совпадения с библейским текстом обобщенной культурной нормой. Авраамитские основы мировых религий и должны были проявляться в таких совпадениях. Но абстрактным сходством культур все равно не удастся объяснить некоторые «переключки». Вот несколько примеров.

Напомним первую строфу стихотворения:

Стамбул гяуры нынче славят,  
А завтра кованой пятой  
Как змия спящего раздавят  
И прочь пойдут и так оставят.  
Стамбул заснул перед бедой. (III, 247)

«Глурам» Амина-Оглу, т.е. лукавому Западу, у Осии соответствуют Египет и Ассирия. Особенно сильно пророк нападает на израильское колено Ефремово: «Ефрем смешался с народами... Чужие пожирали силу его, — и он не замечал... И стал Ефрем как глупый голубь, без сердца: зовут Египтян, идут в Ассирию» (Ос., 7, 8–11). За склонность к чужим богам, за отступление от веры предков Единый Бог готов покарать отпавшие колена — прежде всего Ефрема. Оружием своей мести Израилю Господь выбирает тех же чужеземцев, веру и обычаи которых перенимают жители Самарии. По всему смыслу библейского рассказа ясно, что город лишь внешне, лишь по видимости будет раздавлен ассирийцами (4 Царств, 18, 10); в сущности же это не результат военного поражения, а следствие Божьего гнева. То, что должно свершиться, предсказано у Осии так: «Ибо я как лев для Ефрема... Я, Я растерзаю, и уйду; унесу, — и никто не спасет» (Ос., 5, 14).

Таким образом, совпадают не только общие предпосылки двух пророчеств, но даже их словесное выражение: «растерзаю и уйду» и «прочь пойдут и так оставят».

Не менее обязывающая переключка выявляется и на материале третьей строфы стихотворения, где янычар обличает нравы стамбульских женщин:

...Там жены по базару ходят,  
На перекрестки шлют старух,  
А те мужчин в харемы вводят,  
И спит подкупленный евнух.

В грешной Самарии несколькими тысячелетиями раньше происходит то же самое. Инициатива блудодействия принадлежит не только мужчинам, но и женщинам, что в глазах праведника роняет Израиль особенно низко. Вот как вещает Бог через своего пророка о жене, олицетворяющей Самарию:

«И детей ее не помилую, потому что они дети блуда.

Ибо блудодействовала мать их, и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки».

За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих.

И погонится за любовниками своими, но не догонит их» (Ос., 2, 4–7).

Именно у Осии с особенной ясностью выражен мотив аналогии между любовью человека к Богу и любовью в брачном союзе. Поэтому пренебрежение узами брака есть, по утверждению пророка, как бы форма разрыва с Богом; в этой измене — существо трагедии Израиля<sup>26</sup>. Кара свыше не заставит себя ждать. Божье наказание, предсказанное у Амина-Оглу, как беда спящего, раздавленного змея, находит опору в библейском тексте.

Разделению сердец израильтян между традиционной праведностью и чужеземной греховностью соответствует уже отмеченное разделение народа на отступнический Север (Израиль) и Юг (Иудея), который «еще держится». Гнев Божий постигнет прежде всего северные колена: «Опустошена будет Самария, потому что восста-



ла против Бога» (Ос., 14, 1). Но не только она. В дальней перспективе пророк видит» и с Иудею у Господа суд» (Ос., 12, 2).

Страх суда над народом разделенным, выраженный в стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят...», тревожит Пушкина прежде всего, конечно, в размышлениях о России. Сколько бы поэт ни обращался к стамбульско-арзрумским или самарийско-иерусалимским параллелям, все равно его преследует мысль о судьбах разделенного отечества. С этой точки зрения еще не оценена по достоинству давно выявленная смысловая связь между стихотворением «Стамбул гяуры нынче славят...» и незавершенным стихотворным отрывком «Какая ночь! Мороз трескучий...» Этот отрывок как бы переносит читателя в русское средневековье, в Москву времен Ивана Грозного. Сюжет стихотворения едва намечен: удалой опричник («крошечник») спешит на любовное свидание. В описании Москвы, по которой скачет опричник, есть строки:

Торчат железные зубцы,  
С костями груди пепла тлеют,  
На кольях, скорчась, мертвецы  
Оцепенелые чернеют. (III, 60)

Т.Г. Цявловская-Зенгер в примечаниях к разночтениям Большого академического собрания. (III, 855) указала на сходство этих строк с четверостишием стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят...»:

Окровавленные зубцы  
Везде торчали: угли тлели;  
На кольях скорчась мертвецы  
Оцепенелые чернели. (III, 248)

Очевидное тождество этих строк можно, разумеется, объяснить особенностями того, что Ходасевич назвал «поэтическим хозяйством Пушкина». Стихи из одного неоконченного отрывка перенесены в другой неоконченный отрывок — примеров тому много. Но все же необходимо понять, почему в художественном и историческом сознании Пушкина одни и те же образы с такой легкостью перелетают из морозной Москвы в жаркий Арзрум, а из XVI столетия — в современность<sup>27</sup>.

Думается, в основе такой возможности лежит все тот же горестный мотив из пророка Осии: разделенная страна, прогневившая Бога. Пушкин внимательно и, видимо, много раз читал том IX «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. Поэт представлял себе круг основных событий 1565–1572 годов, вошедших в историю как опричнина. Карамзин склонен был объяснять опричнину как результат личных страхов царя Ивана IV. Но историограф описал не только террор и репрессии монарха; он подробно разобрал государственную реформу, проведенную Иваном IV. Царь *разделил* свою державу на *две* неравнозначные территории — земщину и опричнину. Оставляя в стороне экономические и политические последствия этого решения, отметим известную Карамзину и Пушкину разницу нравственных порядков, царивших в традиционной земщине и вновь образованной опричнине.

Столица земщины Москва и столица опричнины Александра Слобода не так точно противопоставлены, как Арзрум и Стамбул, хотя при опричном дворе монарх, несомненно, был «духом гнева обуян», а служили там такие известные «гяуры», как Генрих Штаден. Важен сам принцип трагического разобщения народа, что в пушкинском мире находит похожие образные соответствия. И тут, и там жертвы казней «корчатся на кольях». А между тем соотечественники разъединены, не понимают происходящего. Сравним:

Стамбул уснул перед бедой...

и

И вся Москва покойно спит,  
Забыв волнения боязни...

Москва здесь олицетворяет Россию, т.е., говоря языком Осии, столица есть символ единения отечественных Самарии и Иерусалима. Ее сон «перед бедой» не просто бездумное оцепенение до следующих, утренних казней. Смысл пророчества и глубже, и шире. Когда Амин-Оглу предсказывает, что «змий спящий» будет раздавлен, то речь идет о национальной катастрофе, куда более страшной, чем монарший гнев, обращенный на подданных. То же самое происходит и в России. Как ни ужасны были репрессии Ивана Грозного, все же они явились только историческим предвестием «смутного времени», т.е. полного падения державы, ослабленной и захваченной «лукавым Западом», польско-шведскими интервентами. С этой точки зрения «Борис-Годунов» и есть «Комедия о *настоящей* (курсив наш. — В.Л.) беде Московскому государству...» (VII, 290), а кроме того, параллель к истории сбывшихся библейских пророчеств<sup>28</sup>.

На протяжении всех лет жизни, отпущенных ему после первой болдинской осени, Пушкин будет постоянно и напряженно размышлять над священными текстами, над грозной судьбой народа, переживающего нравственное и духовное разобщение. Примеров тому много. Достаточно вспомнить пушкинские суждения о Петре и его реформе или «Историю Пугачева», чтобы понять тревогу поэта о будущем отечества...<sup>29</sup>.

И последнее. Мы не брали на себя обязательств непременно дать свою версию расшифровки второй строки пометы над стихотворением «Стамбул гяуры нынче славят...»: «Предч. разб. ст.». Но если нам удалось доказать, что не только дата 17 октября напоминает в стихотворении о библейской книге Осии, то рискнем предположить: истолкование второй строки пометы может опираться на ветхозаветный текст. Коль скоро первое слово, несомненно, есть «предчувствие», «предчувствовать» или какое-то другое того же корня, то можно поставить вопрос: что же предчувствует пророк? Он слышит голос Бога о злодействе жителей Самарии: «...ибо они поступают лживо; и входит вор, и разбойник грабит по улицам» (Ос., 7, 1)<sup>30</sup>.

И потому не есть ли смысл пометы в этом *предчувствии разбойника в столице?* Или даже прямо в Самарии?

## ПУШКИН И ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830—1831 годов

Предлагаемая тема — не новость; она много раз обсуждалась литературоведами, историками, философами. Обычно отношение первого поэта России к одному из самых трагических событий XIX столетия рассматривается в традиционных руслах — идейная направленность стихотворений «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Ты просвещением свой разум осветил», полемика с Мицкевичем и Вяземским, подробности биографии Пушкина в начале 30-х годов. При этом все исследователи отмечают явный негативизм Пушкина к восставшим, что по обыкновению радуется русских реакционеров и шовинистов, но приводит в смущение демократов и либералов.

Наша задача будет состоять в том, чтобы выйти за пределы обычных осуждений и столь же обычных оправданий. Мы попытаемся — хотя и по необходимости кратко — понять некоторые воззрения Пушкина на польскую трагедию, обратившись к историческим фактам, не слишком популярным у литературоведов.

К осени 1830 года Пушкин располагал четырехлетним опытом общения с императором Николаем I. Еще в сентябре 1826 года монарх принял опального поэта в Московском Кремле и — после продолжительной беседы — отпустил его окрыленным прекрасными надеждами. Кремлевская аудиенция густо «обросла» научной литературой, для обзора которой здесь нет места. Отметим только мнение А.А.Ахматовой, разделяемое большинством исследователей: царь обещал Пушкину что-то очень серьезное, по-видимому, некие либеральные реформы, призванные осчастливить страну<sup>31</sup>.

Поэт верит императору и в последующие годы ждет крупных перемен к лучшему, преобразований «сверху», если не отменяющих, то по меньшей мере смягчающих крепостное право и произвол чиновничества. В промежутке между аудиенцией 1826 года и польским восстанием Пушкин отзывался об императоре с неизменным уважением и обращает к нему апологетические стихи, с разочарованием встречаемые либералами.

Между тем Николай I, видимо, всерьез становится на путь реформ. Уже 6 декабря 1826 года — от беседы с Пушкиным прошли всего три месяца — император специальным рескриптом, адресованным графу В.П.Кочубею, учреждает секретный комитет, перед которым ставит задачу: реорганизовать весь громоздкий бюрократический аппарат государства российского<sup>32</sup>. Летом 1829 года функция «Комитета 6 декабря» значительно расширяется; теперь этому учреждению надлежит разработать так называемый «закон о состояниях», т.е. по-новому определить права и обязанности основных сословий — дворянства, крестьянства, чиновничества, духовенства<sup>33</sup>. В состав Комитета царь назначает кроме председателя Виктора Кочубея нескольких лиц, хорошо известных русскому обществу, — крупного реформатора прежнего царствования М.М.Сперанского, графа Д.Н.Блудова, будущего подавителя польского восстания фельдмаршала И.И.Дибича, графа П.А.Толстого, бывшего

министра просвещения А.Н.Голицина, князя И.В.Васильчикова. Секретарские обязанности нередко выполнял помощник Сперанского Модест Корф<sup>34</sup>.

Само существование «Комитета 6 декабря» было глубокой государственной тайной; его участники собирались в петербургском Зимнем дворце без мундиров, в цивильном платье. Когда на заседания приглашались посторонние лица, эксперты, то делался вид, будто происходит просто частная встреча нескольких вельмож, заинтересованных тем или иным вопросом<sup>35</sup>. Но были ли работы Комитета такой уж страшной тайной для столичного светского общества, для Пушкина? Вряд ли.

В 1830 году Пушкин был лично знаком со всеми названными членами Комитета. А секретарь Корф — просто его лицейский товарищ<sup>36</sup>. В дальнейшем мы увидим, что как раз к началу польского восстания поэт и его близкое окружение посвящены в суть проектов, выработанных по поручению царя.

Подробный обзор занятий «Комитета 6 декабря» в нашу задачу, конечно, не входит. Отметим только: преобразования начинались широко и смело. С разрешения императора члены Комитета рассматривали не только неосуществленные либеральные проекты времен Екатерины II и Александра I, но и реформаторские идеи, извлеченные из следственных показаний декабристов Г.С.Батенкова, А.А.Бестужева, П.Г.Каховского, Г.А.Перетца, В.И.Штенгеля<sup>37</sup>. Заметим попутно: если бы царю понравилась записка самого Пушкина «О народном воспитании», то и она была бы, вероятно, приобщена к делам Комитета, имеющим отношение к реформе министерства просвещения.

В заседаниях и документах Комитета слово «Польша» звучало очень часто; это нетрудно понять. Ведь Польша не только географически, но и социально находится между Россией и Западной Европой. Конечно, на польском троне сидит русский царь; но ведь и сейм при нем существует. Конечно, у польского крестьянина масса проблем, но ведь уже два десятилетия он не крепостной, лично свободный. Польша по сути дела является развитой колонией слабо развитой страны, поэтому в какой-то мере указывает путь ее реформам.

К весне 1830 года секретный «Комитет 6 декабря» в главных направлениях завершил свои работы. Более трех лет усиленных занятий дали результаты. Комитетские проекты отличались неслыханной для России смелостью. Например, в обновляемом Государственном Совете угадывалась возможная верхняя палата будущего российского парламента. Были идеи децентрализации власти, отмены многих чиновничьих привилегий; так, сильно сокращались возможности получения дворянства через выслугу лет в казенном учреждении. Заведенная еще Петром Великим «Табель о рангах» постепенно уходила в прошлое; не чин, а реально исполняемая должность определяла бы место служащего в государственной системе.

Столь же ошеломляющими выглядели и социальные новации. В проекте закона «О состояниях» был специальный раздел «О непродаже личной крепостных людей» — запрещалось торговать крестьянами без земли; расплачиваться «живыми душами» при сделках; разлучать близких родственников. Помещики не могли бы

более дробить свои имения на мелкие части при продажах и вступлениях в наследство<sup>38</sup>.

Эти и другие подготовленные преобразования прекрасно доказывали, что император действительно был заинтересован в реформах, и его кремлевские обещания поэту исполнялись. Пушкину в особенности близки были меры ограничения чиновничества; аристократическая неприязнь поэта к бюрократии хорошо известна. Тут он следовал за олигархическими идеями М.М.Щербатова и Н.М.Карамзина. Благодарными казались Пушкину и акты, направленные против дробления имений, за создание майоратов. Это потом найдет отклик в «Романе в письмах», в «Езерском», в «Истории Петра» и «Капитанской дочке».

Ключевым для нашей темы служит московское письмо Пушкина к П.А.Вяземскому от 16 марта 1830 года. Оно, во-первых, доказывает, что Пушкин хорошо знал о движении дел в секретном «Комитете 6 декабря». А во-вторых, в нем содержится оценка подготовленных реформ.

«Государь, — пишет Пушкин, — уезжая оставил в Москве проект новой организации, контр-революции Революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле Европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу...»<sup>39</sup>

В немногих строках тут высказано очень многое.

За несколько месяцев до Июльской революции во Франции и восстания в Польше Пушкин полон надежд; его эйфория простирается так далеко, что обсуждаемые государственные и сословные преобразования он называет «великими предметами» и даже готов открыто поддерживать правительство пером публициста.

В июне 1830 года Пушкин все еще в Москве; он ловит слухи из Петербурга, где Государственный Совет четыре раза собирается на чрезвычайные заседания — обсуждать реформы<sup>40</sup>. В сентябре, следуя из Москвы в Болдино, Пушкин еще не знает окончательных результатов прохождения проектов. Но общее направление дел, общий курс «державного корабля» кажутся ему несомненно правильными.

В дни болдинской осени 1830 года Пушкин не подозревает, что судьба реформ решается не в Петербурге, а в Варшаве. Причем — дважды в Варшаве.

Еще до обсуждения проектов в Государственном Совете император послал их тексты в Варшаву — своему брату, великому князю Константину Павловичу. Для Николая I это обычный ход: старший брат, имевший больше прав на русский престол, служит наместником в Польше. И постоянно участвует в решении коренных, принципиально важных вопросов. Ответная записка Константина от 15(27) июня 1830 года — просто погребальный звон по реформам. Августейший брат не особенно утруждает себя аргументами; он просто напоминает, что сила державных установлений состоит прежде всего в древности оных. А потому ничего и не следует поспешно менять ни в фасаде, ни тем более в фундаменте государственного здания. Он, Константин, против. Против всех «великих предметов», так вдохновивших Пуш-



кина. Пусть все останется в прежнем виде — бесправие мужиков и всевластие чиновников, неповоротливость присутственных мест и угасание родовой аристократии<sup>41</sup>.

Военно-бюрократической прозорливости великого князя надо отдать должное. Еще не построены баррикады в Париже, еще не восстали патриоты в Варшаве, еще холерная эпидемия не захватила Москву и Петербург, а наместник уже чувствует опасность: сейчас не время для реформ; оставим все как есть; не будем искушать судьбу... И Николай I, неуверенный реформатор, уже готов поддаться советам старшего брата.

О мнении, поданом Константином Павловичем, Пушкин, видимо, так никогда и не узнал. С опозданием доходят до него и вести о польском восстании — в ноябре 1830 года поэт в Болдине и отделен от всего мира холерными карантинами; идет знаменитая болдинская осень. Потом он узнает подробности штурма Бельведера, отступления войск, верных императору, за Вислу и Буг — словом, все известные акты трагедии.

Первую реакцию Пушкина на сообщения из Польши понять, кажется, нетрудно: а как же реформы? Ведь всего несколько недель тому назад он, Пушкин, уезжал из Москвы в спокойной уверенности: все хорошо, государь вот-вот подпишет или даже уже подписал «проект новой организации»; Россия — на верном пути к отмене крепостничества, к торжеству законов... И вот — Польша. Варшавские офицеры и студенты грозят в одно мгновение обрушить «великие предметы»; страна вновь — едва ли теперь не навсегда — погрузится в рабство, в канцелярское прозябание.

И Пушкиным овладевает мощная, безумная идея: надо как можно скорее подавить поляков, привести их к повиновению короне. Только тогда, ему кажется, еще можно будет спасти реформы. И тем облагодетельствовать миллионы людей «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Вернувшись из Болдина в Москву, Пушкин с ужасом следит за развитием польской драмы, едва не сходит с ума от лавины противоречивых, непредсказуемых событий.

9 декабря во французском письме Элизе Хитрово поэт пробует объяснить свое самочувствие: «Что за год, что за события! Известие о Польском восстании меня совершенно перевернуло... Начинаящая война будет войной до истребления — или по крайней мере должна быть такою... Все это меня очень печалит. Россия нуждается в покое...»<sup>42</sup>.

Письмо к Хитрово приводилось множество раз. Но никто, кажется, не отметил, что его «польский сюжет» кончается этим признанием: *Р о с с и я н у ж д а е т с я в п о к о е*. Только мир, только ровное течение жизни могут дать начало реформам, освободительному направлению исторического пути. Прав Пушкин или нет, но в этом — основа его отношения к польским патриотам 1830 года.

«Что за год, что за события!» Священное безумие, допустим, привилегия поэта. Но вот великий князь Константин — совсем не поэт; он жесткий администратор, много лет просидевший русским наместником в Варшаве. Противник реформ, ре-

акционер, полный антипод Пушкина; известно много презрительных высказываний князя о поэте. Как же ведет себя Константин? Не менее странно, чем Пушкин.

Изгнанный из Варшавы, Константин следит за военными действиями на русско-польском фронте. И симпатизирует своим вчерашним подданным — полякам! Он кричит «браво!», когда польские уланы побеждают русскую кавалерию. Под окнами усмирителя восставших фельдмаршала Дибича Константин напевает «Еще Польска не сгинела». Фельдмаршала это раздражает, и он просит царя отозвать Константина в Петербург. Почему так? Вероятно, потому, что князь любит свою жену-польку и считает поляков как бы своими детьми. Но вот по дороге в Петербург Константин в Витебске умирает от холеры<sup>43</sup>. Перед смертью он может быть совершенно спокоен: теперь, после восстания поляков, брат Николай никогда больше не согласится на эти реформы, не подпишет манифест «О правах сословий».

Вот так польское восстание «перевернуло» русских.

Дальнейшее — известно. Варшавские патриоты героически сражались, но потерпели поражение. Вместе с ними, но отчасти и благодаря им, потерпел поражение и русский либерализм. События 1830 года на тридцать лет задержали российскую эволюцию к реформам, к свободе. Пушкин четверть века не дождался до падения крепостного права.

Николай I после польских дел совершенно потерял вкус к преобразованиям, и «Комитет 6 декабря» тихо угас в 1832 году, не оставив следов на исторической поверхности<sup>44</sup>. Сегодня материалы Комитета хранятся в архивной пыли и никого, кроме узких специалистов-государствоведов, не волнуют. Между тем без этих материалов трудно понять и «антипольскую» позицию Пушкина, и вообще смысл рубежного, по-шекспировски трагического 1830 года.

Мы уже упоминали о полемике Пушкина и Вяземского вокруг Польши. Сама по себе эта полемика исключительно показательна. К сожалению, ее упрощают и в России, и в Польше: говорят, что Пушкин был за русских против поляков, а Вяземский за поляков против русских. На самом деле вопрос стоит не так, не в этой плоскости.

Еще полтора столетия назад в полемике Вяземского и Пушкина была названа и сформулирована проблема, не решенная и в нашем веке, — проблема народа, угнетаемого империей. Должен ли народ постепенно и бескровно двигаться к свободе через мирную имперскую реформу? Или он должен с оружием в руках выходить на кровавый бой с империей, даже готовый поступиться частью своего владычества, готовый к реформам?

Спор об этом как бы пронзает толщу двух веков русской истории. В другое время, в других исторических костюмах ту же полемику вели, например, Ленин и Плеханов. Шел 1914 год, и Ленин, подобно Вяземскому, желал поражения «своей» российской империи, своего правительства. В речах Плеханова слышались отголоски другой, пушкинской традиции: если моя страна войну проиграет, то она будет отброшена далеко назад — назад от свободы, прогресса, счастья. Так ведь и вышло.

Огонь этого спора все не угасает.

## ПУШКИН И Г.А.ПАКАТСКИЙ

В конце февраля 1825 года ссыльный Пушкин из Михайловского обращается с очередным письмом к брату Льву. Оно находится в ряду других таких посланий и содержит обычный набор тем: денежные счета, распоряжения о печатании стихов, приветы друзьям. Но заключение письма состоит всего из одной фразы, не связанной по смыслу с остальным текстом. Вот она:

«P.S. Слепой поп перевел С и р а х а (смотри. «Инвалид» N такой-то), издает по подписке — подпишись на несколько экз.»<sup>45</sup>.

Комментатор пушкинских писем Б.Л.Модзалевский не обошел вниманием этот пассаж и сообщил в своем примечании некоторые сведения о «слепом попе». Его имя — Гавриил Абрамович Пакатский; служил в Петербурге священником церкви Константина и Елены Градских богаделен под Смольным монастырем. Ослеп не позднее 1818 года. Переводил с древних и новых языков; издал несколько книг. За стихотворный перевод Псалтыря получил в 1818 году премию от Российской Академии Наук. В 1830 году умер<sup>46</sup>. Несколько иные сведения о годах его жизни дает энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона: родился в 1756-м, а умер в 1840 году<sup>47</sup>.

Однако простыми биографическими сведениями о Пакатском комментарий к приведенному месту из письма Пушкина далеко не исчерпывается. Б.Л. Модзалевский и — насколько нам известно — все последующие комментаторы не отвечают на очевидные вопросы, вытекающие из пушкинского *post scriptum*. Что знал Пушкин о слепце-переводчике? На какую публикацию «Русского Инвалида» поэт ссылается? Наконец, для чего Пушкину переведенная Пакатским библейская «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова» в нескольких экземплярах?

Заметим сразу: в пушкинской приписке есть одно весьма важное умолчание — поэт не называет «слепого попа» по имени и фамилии. Обращаясь к брату с просьбой, Пушкин, конечно, не может рассчитывать, что Лев Сергеевич достанет комплект «Русского Инвалида», найдет нечто об авторе перевода библейской книги, а уж потом подпишет на несколько экземпляров. Это противоречит и известному образу жизни Левушки, и нормальной бытовой логике. Гораздо вернее простой вывод: оба брата прекрасно знают, кто такой «слепой поп». Имя Гавриила Пакатского им хорошо знакомо; он и его слепота уже обсуждались и братьями, и вообще в пушкинском кругу. Это единственно возможная причина, по которой Пушкин не счел нужным упомянуть имя священника.

Заметка, привлечшая внимание Пушкина, напечатана в февральском (1825) «Русском Инвалиде» и начинается библейским изречением: «Приклони ухо твое к нищему, и отвещай ему мирная в кротости» (Сирах, 4, 8). Вот ее основной текст:

«Лишенный зрения Богаделенный Священник Гавриил ПАКАТСКИЙ, незадолго перед наводнением, приготовил к напечатанию рукопись: ПРЕЛОЖЕННАЯ СТИХАМИ КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА СЫНА СИРАХОВА, с примечаниями.

7 Ноября вода в покоях им занимаемых доходила до 1 3/4 аршина и повредила многие его книги; но сия рукопись, крепко связанная в толстой обертке, уцелела.

Злополучный слепец обращается к сострадательным согражданам и просит оказать ему вспоможение для издания в свет душеспасительной книги его.

Священник ПАКАТСКИЙ имеет жительство в С.Петербургских Богадельнях, куда покорнейше просит желающих помочь ему, присылать на его имя по 5-ти рублей за экземпляр. А он с своей стороны употребит все старания к скорейшему отпечатанию и удовлетворению своих подписчиков.

Не менее окажут ему пособия и те, которые пожелают от него получить и прежние его книги...»<sup>48</sup>.

Далее перечислены с указанием цен четыре ранее вышедшие книги в переводах Пакатского.

Заметка «Русского Инвалида» сразу отвечает на вопрос — зачем Пушкину «Книга Сирахова» в нескольких экземплярах? Его, конечно, привлекают не сами тома, а только возможность помочь несчастному соотечественнику. Поэтому, думается, в письме нет просьбы прислать «Книгу Сираха» в Михайловское. Это не первый подобный мотив в переписке братьев. Комментаторы «Медного всадника» неукоснительно приводят строки, посвященные петербургскому наводнению, из декабрьского (1824) письма Пушкина к Льву Сергеевичу: «Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегенских денег. Но прошу без всякого шума, ни словесного, ни письменного»<sup>49</sup>. Обращение с просьбой помочь Пакатскому доказывает, что и через пять месяцев после бедствия «петербургский потоп» у Пушкина все еще «нейдет с ума».

Заметка в «Русском Инвалиде» потрясает нас и сегодня; и даже независимо от Пушкина и его поэмы. Представим себе слепого старика, который последние силы вкладывает в свой труд. Ему читают Сирахову книгу. Он со слуха переводит русскими стихами библейские поучения; кто-то записывает его вирши. Потом невские волны врываются в жилище. Вода доходит до двух без четверти аршин — это по современному счету примерно 1 метр 20 сантиметров. По пояс... Несчастный старик ощупью находит драгоценную рукопись со словом Божиим и спасает ее от потопления.

Не знаем, соответствует ли реальности нарисованная картина. Но что-то в этом роде должно было возникнуть в сознании Пушкина. Трудно решить, какие культурные мотивы могли посетить поэта в связи с историей Пакатского — праотец Ной? слепец Гомер? слепые музыканты из грядущих «Полтавы» и «Моцарта и Сальери»? Все это область бесплодных догадок. Нет прямых возможностей соотносить «слепого попа» и с петербургским чиновником Евгением из «Медного всадника» — хотя в известном варианте поэмы герой назван «сочинителем» и мечтает «как поэт».

Единственную возможность продолжить наши наблюдения дает возможное знакомство Пушкина с творчеством Пакатского. Такое допущение на основе всего сказанного не кажется особенно дерзким.

«Книга Сираха» в стихотворном пересказе Пакатского получила цензурное разрешение 10 сентября 1824 года, а вышла в следующем, 1825 году. Из публикации

«Русского Инвалида» ясно, что к середине февраля она еще напечатана не была. Книга вышла позже, но в том же 1825 году. На ее титуле стоят: «Санкт-Петербург, при Императорской Академии Наук» и посвящение вдовствующей императрице Марии Федоровне<sup>50</sup>. Понятно — ведь «слепой поп» живет при богадельнях, как раз и относящихся к ведению этой венценосной покровительницы.

В предисловии Пакатский благодарит императрицу за покровительство его детям — сыну Ювеналию, гувернеру при Воспитательном доме, и дочери Любви, «воспитанной при Обществе благородных девиц на мещанской половине»<sup>51</sup>.

Сама «Книга Иисуса сына Сирахова» входила в число библейских текстов Ветхого Завета и помещалась сразу за книгами Соломоновыми. Она представляет собой сборник бытовых, житейских поучений: как вести дом, как распоряжаться деньгами, как поддерживать семейный мир, воспитывать детей и т.д. До сложения русского свода правил поведения «Домострой» (XVI в.) «Книга Сираха» была, возможно, основным бытовым руководством, особенно популярным в нашем отечестве в XI—XIII вв.<sup>52</sup> Сама идея переложить Сираха стихами выглядела в XIX веке довольно наивно. К тому ж поэтические возможности Пакатского были весьма скромными; его муза тяготела к архаическим образцам прошлого, XVIII столетия.

Ни здесь, ни далее мы не станем настаивать на том, что Пушкин в своих произведениях прямо использовал вирши «слепого попа» или как-то на них ориентировался. Очень уж очевидна пропасть, разделяющая двух авторов. Тем не менее «бедное рифмичество» Пакатского в отдельных местах представляет собой любопытную параллель к пушкинским стихам. Или уж во всяком случае здесь есть возможность напомнить, сколь важным был для творчества Пушкина век восемнадцатый, в котором воспитывался безвестный священник.

Вот — в переложении Пакатского — несколько стихов из главы XIV «Книги Сираха»:

3. Богатство столько же прилично есть скупому,  
Как прелести цветов и зеркало слепому;  
Какая надобность в имении тому,  
Кто оного ссужать не хочет никому;

4. Кто тратить оное и для себя жалеет,  
Хоть пищи и одежд приличных не имеет,  
Кто копит оное в наследие других,  
Что будут ликовать на щет его благих.

5. Кто сам себе злодей, кому есть благодетель?  
Кто сам имуществва есть раб, а не владетель /.../

10. Он в сытость своего вкусить жалеет хлеба,  
Чтоб деньгам лишнего не причинить ущерба,  
От скудного стола голодным восстает  
И выговор жене за роскоши дает<sup>53</sup>.

Строки Пакатского немедленно приводят на память монологи Альбера и Филиппа из пушкинского «Скупого рыцаря». В виршах священника мы узнаем многие



черты Филиппа, который служит своему богатству «как алжирский раб», а сам «пьет воду, ест сухие корки».

Разумеется, Пушкин был знаком с библейским текстом независимо от Пакатского. Соотнесение «Книги Сираха» с пушкинским творчеством было бы само по себе плодотворно, но сейчас в нашу задачу не входит. Заметим только, что в случае со «Скупым рыцарем» перевод (точнее — пересказ) священника неточен, весьма удален от оригинала. У Сираха нет, конечно, сравнения скупого со слепым, которому не нужны цветы и зеркала. Но гораздо важнее отступления от библейского текста там, где Пушкин и Пакатский используют одни и те же образы.

Например, у Сираха в стихе 5 нет ничего похожего на строчку: «Кто сам имущества есть раб, а не владетель». Там сказано другое: «Иже себе зол, кому добр будет: и не возвеселится в имении своем» (Сирах, XIV, 5). Точно так же в стихе 10 нет аналогии стиху Пакатского: «Чтоб деньгам лишнего не причинить ущерба». Древний автор вообще не упоминает здесь денег: «Око лукаво завидливо и о хлебе, и на трапезе своей скудно» (Сирах, XIV, 10).

Тут нет места для множества аналогичных примеров. Поэтому скажем обобщенно: «Скупой рыцарь» и по образной ткани, и по мысли гораздо ближе к переводу (пересказу) Пакатского, чем к церковно-славянскому оригиналу.

Такое же соотношение — библейского оригинала, пересказа «слепого попа» и пушкинского текста — мы найдем, если обратимся к другим изданным книгам Пакатского, быть может, не ускользнувшим от внимания поэта. Это, надеемся, будет видно из самого материала сопоставлений.

В 1814 году Пакатский издал стихотворное переложение библейской книги «Плач Иеремии» (цензурное разрешение от 1 июня 1813 года). Время написания — не случайность. Перевод посвящен графу Ф.В. Ростопчину, главнокомандующему Москвы. И — судя по предисловию — ветхозаветные сетования пророка есть для переводчика только повод, только прикрытие его скорби о разорении старой столицы французами<sup>54</sup>. Иеремия плачет о Иерусалиме; Пакатский — о Москве. В русле одной и той же культурной традиции оба понимают гибель столицы не как результат военного поражения, а как наказание согрешившим народу и городу.

Одна из «иеремиад», возглашаемых пророком, напоминает о наказании Божьем через потоп:

«Возлияся вода выше главы моея; рек: отриновен есмь» (Плач Иерем., 3, 54).

Как и в случае с «Книгой Сираха», Г.А. Пакатский далеко отступает от оригинала. Один ветхозаветный стих он разворачивает в картину, над которой, на наш взгляд, мог бы задуматься исследователь «Медного всадника»:

Как море во своей окружности пространно,  
И бурею ветров из ложницы изгнанно,  
Исходит из берегов на окрестный предел  
И наводняет в нем громады разных тел:  
Так ярости Твоей, о! Господи! стремленье  
Наводит на меня ужасно потопленье<sup>55</sup>.

Иерусалим и Москва — города не приморские. Пакатский — житель Петербурга, постоянно посещаемого наводнениями. Возможно, поэтому под пером иерея скромный мотив библейского пророка многократно усиливается; потоп видится ему образом Божественной ярости, становится в ряд с военным нашествием, мором, голодом и поруганием святых. Потом тем же путем пойдет и Пушкин. Разрушение Москвы и затопление Петербурга ведут его к библейским аналогиям, о чем много написано — не стоит повторять. Напомним только одно знаменитое двустишие «Медного всадника».

...Народ  
Зрит Божий гнев и казни ждет (V, 141).

За этой строкой в поэме следует эпизод с Александром I, вышедшим на балкон. Царь тоже «зрит Божий гнев и казни ждет», но кроме того еще понимает свое бессилие против Божьей стихии, с которой «царям не совладеть» (V, 141). В этом русле «Медный всадник» может быть понят как применение Священных страниц к истории отечества, что в каком-то смысле аналогично попытке Пакатского (пусть и наивной) через пересказ библейского пророка оплакать разрушение Москвы французами.

Здесь мало места для полного сопоставления переводов Пакатского с творчеством Пушкина; поэтому мы ограничимся только еще одним примером — параллелью со стихотворением «Я памятник себе воздвиг...».

В том же «Плаче Иеремии» Пакатский дополняет древнего автора мотивом, которого в библейском тексте совсем нет. Вся «Песнь первая» переосмыслена; «слепой поп» сделал ее как бы стихотворным предисловием к своей книге. Поэтому о Иеремии он говорит не от первого лица, как в Библии, а в третьем лице. Кроме того, библейские пророки (за исключением, может быть, царя Давида) не называют себя поэтами, певцами. Пакатский же без колебаний обращается к Иеремии как к поэту.

Важный для нас мотив содержится в стихах 5 и 6 «Песни первой» перевода, где речь идет об отношении поэта и читателя:

Какое бранных уст потребно одобренье  
Иеремиино читающим творенье?  
Чем мог почтить того витийственный язык,  
Кто был по имени пред Господем велик?<sup>56</sup>

Сама мысль о том, что пророк, ведомый Богом, не нуждается в одобрениях и почитаниях, была бы простым общим местом. Но у Пакатского она выражена и еще в двух строках, по-видимому, никогда не обсуждавшихся в пушкиноведении:

И кто б не ублажил толикого певца?  
Но наших он похвал не требует венца<sup>57</sup>.

Конечно, смысловая, просодическая и рифмическая похожесть двустишия на хрестоматийно известную последнюю строфу пушкинского «Я памятник себе воз-

движ» и удивляет, и завораживает. Но сходство, думается, не должно повлечь за собой каких-то коренных, обязывающих выводов. Пакатский — младший современник и подражатель Державина. А пушкинский «Памятник» как раз и написан в формах XVIII века, в державинской традиции. В этом русле «переключка» Пушкина и Пакатского легко понятна и объяснима.

Контуры проблемы можно искать в иных сферах. Например, исследователи давно выстраивают ряд пророческих стихотворений Пушкина, ориентированных на библейские источники. Общеизвестна связь между «Пророком» и «Книгой Исайи», стихотворением «Герой» и «Евангелием от Иоанна». Нам еще придется говорить о существовании в «Памятнике» целого пласта смыслов, тяготеющего к «Апокалипсису»<sup>58</sup>. В этом ряду наивные стихи Пакатского ничего по существу не меняют. Но они добавляют в картину еще одну краску, точнее, еще один оттенок.

Работая над «Памятником», Пушкин вряд ли прямо ориентировался на конкретного ветхозаветного пророка — в том числе и на Иеремию. Но среди других примеров несомненно вели его и обобщенные библейские образцы. Может быть, этим и объясняется сходство его стихов с русским переложением пророка у Пакатского. Это сходство скорее всего случайно как единичный факт, но отдает закономерностью в более широком художественном поле, в русле ломоносовско-державинской традиции обращения к священным текстам.

Последнее наблюдение над сочинениями «слепого попа», которое мы здесь можем себе позволить, относится к его книге, упомянутой в исходной для нас публикации «Русского Инвалида». В списке предлагаемых к продаже «прежних книг» Пакатского Пушкин прочел и такое название: «Свет зримый, в стихах, 5 рублей»<sup>59</sup>.

Полное название этой книги заслуживает того, чтобы выписать его целиком: «Пакатский Г. Зримый свет в стихах или возникающая Аврора. В пользу обучающихся юношей и всех вообще любителей стихотворения. СПб., 1805». В предисловии Пакатский сообщает: «Важность и достоинство книги сея уже давно почтенной публике известны; она в разные времена, в разных нациях, многократно выходила и всегда от любителей словесности со удовлетворением была приемлема, да и в нашем отечестве вторым тиснением была по желанию публики в 1789 году напечатана». Переводчиком «книги сея» с немецкого языка полтора десятилетия назад Пакатский называет профессора Российской Академии Наук Ивана Парфеновича Хмельницкого<sup>60</sup>.

Ни Пакатский, переложивший книгу стихами, ни Хмельницкий<sup>61</sup> не называют автора книги, предлагаемой русскому читателю — таковы традиции XVIII столетия. Но на вопрос об авторе ответить нетрудно. Речь идет о великом чешском просветителе и педагоге Яне Амосе Коменском (1592–1670). В 1658 году он написал книгу для юношества «Видимый мир в картинках» (в латинском оригинале — «Orbis pictus»), действительно переведенную на основные европейские языки<sup>62</sup>. Это иллюстрированный прекрасными гравюрами том, больше всего напоминающий энциклопедию для юношества. В книге даны описания основных предметов видимого мира. Например, «Вода», «Огонь», «Облака», «Горы», «Пустыня», «Лебедь». Но есть и менее «видимые» предметы — «Путь», «Смертоносная зараза», «Болящий», «Бога-

тый». Материальные объекты, таким образом, соседствуют с понятиями. Все это дано образно, с литературными параллелями.

При многочисленных переводах и переизданиях тексты Коменского искажались и дополнялись. Например, в русских переложениях поминается землетрясение в Лиссабоне в 1755 году, до которого Коменский не дожил 85 лет.

Для нас важно только одно: Хмельницкий перевел книгу с немецкого языка, а Пакатский в 1805-м переложил его труд русскими стихами. Читая в «Русском Инвалиде» о старой книге Пакатского, Пушкин скорее всего знал, о каком издании идет речь — слишком мала вероятность того, что Пушкину не знакома одна из самых распространенных в Европе книг, да еще и рекомендованных в России как пособие для стихотворцев.

К сожалению, здесь нет места для сколь-нибудь обширного сопоставления трудов Коменского и переводов Хмельницкого и Пакатского с творчеством Пушкина. Наше внимание ограничится только одной короткой статьей — «Лебедь».

В переводе Хмельницкого это 77-я по счету описательная статья. «Сия птица, — сказано в ней, — посвященная Апполону, называется купно Венериною, или по причине белизны перьев своих, либо по тому, что древние почитали ея похотливою». Далее среди прочих материй обсуждается «лебединая песнь», т.е. легендарное поэтическое прощание лебедя перед смертью. «Стихотворцы, — читаем в переводе Хмельницкого, — не взирая на противоречия испытателей естества, по неоспоримому своему праву всегда заставляют лебедя петь и приняли его своим знаменованием. Гораций до тех пор называться будет Венузинским лебедем, доколе не престанут его читать, то есть до скончания мира»<sup>63</sup>.

Это место и послужило Г.А. Пакатскому для стихотворного пересказа, в котором близкий Пушкину мотив звучит гораздо отчетливее и сильнее. Вот возражения стихотворцев естествоиспытателям, считающим, что лебеди не поют:

Стихов творцы их отрывают,  
Неверя спорным тем словам  
Петь лебедю повелевают  
По неоспоримым правам.

И взяв его знаменваньем  
Стихотворения певцов  
Почтили сим именованьем  
Гремевших славою отцов.

Гораций, лебедь Венузинский,  
Титулом будет сим греметь,  
Покуду стих его Латинский  
В почтенье станут все иметь.

Но то едва ль когда случится,  
Чтоб перестали почитать:  
Так видно имя сохранится  
Доколе будет мир стоять<sup>64</sup>.

Так складывается довольно необычная пушкиноведческая ситуация. С одной стороны, понятно, что вирши Пакатского опять надо как-то осмысливать в связи со стихотворением «Я памятник себе воздвиг...» С другой стороны, формально-историческая удаленность стихов Пакатского от горацианского первоисточника едва ли не бесконечна, превышает все мыслимые возможности.

Напомним. Горация по-латыни читал Коменский. Потом труд Коменского «Orbis pictus» был переведен на немецкий язык. С немецкого на русский книгу перелагал И.П. Хмельницкий. И только его переложение Пакатский взял подстрочником для своих виршей. Ничего от «стиха Латинского» в сочинении петербургского священника остаться не могло, не должно было.

Как и во всех предыдущих случаях речь не идет о влияниях и заимствованиях. Для того, чтобы написать свой «Памятник», Пушкин не имел надобности обращаться к слабой тени, к далекому отблеску европейских литератур. Вопрос стоит иначе. Академик М.П. Алексеев в своей монографии о стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» выявил множество обращений к Горацию в русской литературе XVIII — начале XIX столетий. Он предпринимал такие поиски вовсе не для того, чтобы приписать произведениям Пушкина какие-то прямые протографы. На массе примеров он доказывал, что пушкинский «Памятник» буквально созрел в русской словесности, в среде, где знание многих античных образцов перестало быть редкостью.

В известных нам трудах М.П. Алексева «слепой поп» не упоминается. Но в их русле имя Г.А. Пакатского можно было бы осторожно поместить в ряд с именами писателей XVIII—XIX вв., равнодушных к античному наследию; они-то и пролагали дорогу ко многим вершинам литературы пушкинской поры, да и к творчеству самого Пушкина.

\* \* \*

Изучение виршей Г.А. Пакатского нашей работой далеко не исчерпано — даже в пушкиноведческом направлении. Думается, его переводы и переложения с любопытством прочтут исследователи, занятые «Евгением Онегиным», «Полтавой», «Мощарт и Сальери», лирикой и даже прозой. В нашу же задачу входило только напомнить забытое имя старшего пушкинского современника и привести несколько показательных примеров из его сочинений.

### ОБРАЗ ФАУСТА В ПУШКИНСКОМ ПЛАНЕ «СЦЕН ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН»

В середине 30-х годов Пушкин пишет «Сцены из рыцарских времен». Ему не удалось завершить это драматическое произведение, действие которого, как и действия трех «Маленьких трагедий», погружено в обстановку условного европейского средневековья. О развитии фабулы, оборванной на сцене «Замок Ротенфельда (рыцари уживают)», мы можем судить лишь по плану, набросанному Пушкиным по-французски.



Напомним этот план. Вот его русский перевод.

«Богатый торговец сукном. Сын его (поэт) влюблен в знатную девицу. Он бежит и становится оруженосцем в замке отца (девицы) старого рыцаря. Молодая девушка им пренебрегает. Является брат с претендентом на ее руку. Унижение молодого человека. Брат прогоняет его по просьбе девушки.

Он приходит к суконщику. Гнев и увещания старого буржуа. Приходит брат Бертольд. Суконщик журит и его. Брата Бертольда хватают и сажают в тюрьму.

Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. — Бунт крестьян, возбужденный молодым поэтом. — Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)» (VII, 348).

Видимо, явление Фауста на хвосте дьявола должно было стать развязкой драмы. Примерная аналогия — тяжелый шаг Командора в «Каменном госте». Только там гибель наступала грешных любовников, а здесь приходил конец рыцарским временам, целой эпохе европейского средневековья. «Век-торгаш» вытеснял рыцарей, взрывал феодальные замки — эта мысль как-то могла присутствовать в обозначенном Пушкиным «размышлении» перед финалом.

Изобретения пороха и книгопечатания в творческом сознании Пушкина несомненно связывались с началом Нового времени — об этом много сказано и написано. Однако, собственно, образ Фауста как действующего лица «Сцен из рыцарских времен», видимо, не привлекал внимания исследователей; план и дошедший до нас корпус основного текста не дают материала для достоверной реконструкции характера этого персонажа. В восприятии читателей Фауст здесь скорее некая литературная эмблема, чем участник предлагаемых драматических происшествий. Наблюдения литературоведов вокруг славного доктора, оседлавшего черта, любопытны, но редки и разрозненны.

Академик М.П. Алексеев в подстрочном примечании к своей работе «Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина» определил важную особенность Фауста «Сцен»: «из контекста явствует, что этот Фауст не имел никакого отношения к творчеству Гете, как, естественно, и этот Бес — к Мефистофелю»<sup>65</sup>. М.П. Алексеев совершенно прав. Контекст определяется тем, что у Пушкина Фауст изобретает книгопечатание, а дьявол изображен с хвостом. И то, и другое вряд ли возможно в мире «Фауста» Гете. Наблюдение вполне соответствует общему ходу рассуждений М.П. Алексеева, который на многих страницах ищет фольклорные источники стихотворных отрывков из задуманной Пушкиным «адской поэмы», где среди персонажей названы некто с хвостом и доктор Ф. (II, 380–382).

Пушкинский Фауст «Сцен» — на хвосте у дьявола — также тяготеет к фольклору, в частности, к немецкой «Народной книге», составленной Х. Шписом в конце XVI века во Франкфурте-на-Майне. С этой книгой, как мы помним, Пушкин был знаком по адаптированному французскому изданию, сохранившемуся с закладками в его библиотеке<sup>66</sup>.

Вариант старинной немецкой легенды, в которой доктору Фаусту приписано изобретение печатного станка, Пушкин несомненно знал. С.М. Бонди в своих комментариях к «Сценам из рыцарских времен» дает сводку доступных Пушкину иностранных источников, где Фауст знаменит адской выдумкой — тиснением литер. Это роман Ф. Клингера «Жизнь, деяния и путешествия в ад Фауста» (1791), драма Ю. Фосса «Фауст» (1824) и книга госпожи Ж. де Сталь «О Германии»<sup>67</sup>.

Но для того, чтобы объединить легендарного Фауста и начало книгопечатания, Пушкину даже не требовались иностранные книги. В неоднократно читанных поэтом «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина этот мотив также присутствует<sup>68</sup>, о чем еще речь впереди. Среди людей пушкинского круга знание догетевского Фауста, причастного к печатанию книг, не было редкостью. Например, этот сюжет мог возникнуть в беседах Пушкина с Алексеем Федоровичем Малиновским, которого поэт называл среди «истинных знатоков» (XII, 147; 388). Известный исследователь русских древностей в своем труде «Обозрение Москвы», поместил несколько важных для нас строк, посвященных общей истории книгопечатания:

«Первый художник, — писал А.Ф. Малиновский, — которого имя сохранила история, занимавшийся вырезыванием изображений на дереве, был Иоанн Гутенберг, майнцкий уроженец, одаренный умом изобретательным и постоянный в упражнениях. Он в 1439 году снарядил в Страсбурге печатный стан со всем прибором, но первые усилия его не имели желанных успехов, что понудило его переселиться в Майнц и 1450 года вступить там в товарищество с Иоганном Фаустом. Латинская псалтирь была первая книга, напечатанная 1457 года в сей типографии Фаустом...»<sup>69</sup>.

Пушкин вряд ли читал «Обозрение Москвы» Малиновского. Тут, разумеется, не прямой источник к плану «Сцен из рыцарских времен», а скорее свидетельство того, как знания, использованные Пушкиным, обращались среди образованных людей. Имена Гутенберга и его последователей были на слуху, составляли обычную часть представлений просвещенных россиян.

Попутно заметим, что в «Обозрении Москвы» есть и более обобщенное замечание, прямо соотносимое со «Сценами из рыцарских времен». Их главный герой, Франц, происходит из купеческого сословия, но пренебрегает своим низким родом, стыдится его. Цель жизни Франца — стать рыцарем, дворянином. То же самое Пушкин и Малиновский наблюдали в современной им русской жизни, недалеко ушедшей от средневекового уклада. Обращаясь к истории московского купечества, Малиновский описывает ситуацию, почти буквально совпадающую с драмой пушкинского Франца. «Многие из купцов наших, — наследовав дома и лавки, предаются беспечной жизни, либо, стыдясь быть значительными купцами, делаются малозначащими дворянами»<sup>70</sup>.

Так что Пушкин как бы погружает в условно-рыцарскую эпоху современную и хорошо ему знакомую ситуацию.

В сущности, то же самое должно было происходить и в финале «Сцен». Из всех фаустовских легенд поэт ориентируется на те, в которых доктор является стремительно несомый дьяволом. Аллегория совершенно прозрачна. В немецкой народ-

ной драме и кукольных комедиях бесчисленное множество раз варьировался сюжет о Фаусте, которому предстоит выбрать себе слугу-черта из трех кандидатов. Первый (Ауэрхан) быстр как ветер; второй (Крумшнабель) летит как пуля. Но Фауст выбирает третьего, Мефистофеля, которому доступна скорость человеческой мысли<sup>71</sup>. Книгопечатание и есть новая скорость распространения мысли.

Однако все сказанное помогает соотнести фаустовский финал из плана с текстом «Сцен из рыцарских времен» лишь идейно. Драматургический контекст не проясняется.

Сам по себе финал, обозначенный одной фразой, воспринимается как странность. Во всех известных нам «Сценах», записанных Пушкиным, нет, кажется, и намек на фантастику, на участие потусторонних сил. Все действующие лица подчинены обычной житейской логике и ведут себя соответственно. И вдруг под занавес в «реалистическое» течение драмы буквально врываются хвостатый дьявол и его вечный легендарный спутник. Их приход никак не подготовлен фабульными связями «Сцен» и наброска плана.

Тут как бы нарушаются общие каноны драматургии и уж тем более законы построения пушкинских произведений.

Проверим себя.

В финалах «Маленьких трагедий» нет ни одного нового лица, чье появление для зрителя (читателя) — полная неожиданность. Под занавес «Скупого рыцаря» на сцену выходит Герцог, но это подготовлено репликой Альбера из первой сцены: «Нет, решено — пойду искать управы / У Герцога...» (VII, 109). Поступь Командора в «Каменном госте» — не первое движение статуи; все помнят ее учтивый поклон на кладбище (VII, 161–162).

Столь же очевидна подготовленность появления действующих лиц в финалах пушкинских прозаических произведений. В «Выстреле» жена графа Б. вступает в действие не прежде, чем Сильвио в предыдущей главе объявляет рассказчику о женитьбе своего противника (VIII, 70). В развязке «Капитанской дочки» Маша Миронова беседует с Екатериной Великой; но внимательный читатель помнит, что Петр Гринев задолго до этого советовал самозванцу «прибегнуть к милосердию Государыни» (VI, 353). Даже в незаконченной повести о царском арапе Пушкин тщательно готовит финал — рождение внебрачного ребенка Наташи. Этой подготовке служит реплика Корсакова о том, что Ибрагиму, может быть, придется «чужих детей качать» (VIII, 30).

Симметричность построений у Пушкина хорошо известна, и потому нет надобности умножать подобные примеры.

Но тогда и в «Сценах из рыцарских времен» надо искать какие-то фабульные связи или хотя бы реплики, предваряющие появление дьявола и Фауста. Такой поиск не сулит больших открытий. Во-первых, о Фаусте и дьяволе мы знаем только из плана, а написанные сцены не всегда плану соответствуют. Так, в тексте «Сцен» есть диалог Франца с подмастерьем Карлом, а в плане — нет. Точно так же в оконченной драме могло и не быть Фауста на хвосте черта. Во-вторых, корпус известного

нам текста все-таки недостаточен; можно предполагать, что фаустовская линия осталась только в замысле и не легла на бумагу.

В черновой рукописи, по которой печатаются «Сцены из рыцарских времен», есть несколько пробелов — даже длиною в пять-шесть листов, — куда Пушкин, видимо, намеревался вставить пока еще не написанные сцены или части сцен<sup>72</sup>. Значит, то, чем мы располагаем, не есть сплошной текст от начала, а только прерывистая цепь фрагментов. И какое-то введение в тему Фауста могло быть не только в совсем ненаписанном продолжении «Сцен», но даже и в «пробелах» известного нам действия.

Но и основной текст тоже, как нам кажется, заслуживает пристального внимания. Прежде всего речь идет об уже упомянутом диалоге Франца с подмастерьем Карлом. Напомним обстоятельства картины. Франц, выпгнанный за дерзкое поведение из замка, возвращается в дом своего отца, торговца сукном. От Карла он узнает сразу две нерадостные новости: отец умер и по его завещанию имение перешло к подмастерью Карлу. Теперь Карл женат и не собирается делиться наследством.

Ключевым для нашей темы служит следующий фрагмент диалога:

**Франц.**

Владей себе моим наследством, Карл, я его у тебя не требую. На ком ты женат?

**Карл.**

На Юлии Фурст, мой добрый Франц, на дочери Иоганна Фурста, нашего соседа... (VII, 230).

Имя этого соседа возникает под пером Пушкина еще раз. В основном тексте сцены Карл рассказывает, что отец Франца умер, «осердясь на приказчика и выпив стгоряча три бутылки пива» (VII, 230). Но в варианте этого рассказа есть и другая версия смерти отца: «Он умер — видишь ли — отобедав (на имение) у Иоганна Фурста» (VII, 358).

К имени и положению этого только упоминаемого персонажа необходимо приглядеться. У нас, разумеется, нет оснований прямо ставить знак равенства между доктором Иоганном Фаустом и неким Иоганном Фурстом. Но тесть подмастерья Карла до сих пор, насколько нам известно, не привлекая внимания исследователей. А кое-какие подробности из истории германского XV столетия будут здесь любопытны.

Прежде всего: имеет ли немецкая народная легенда о Фаусте-первопечатнике какое-то фактическое основание? Оказывается, имеет.

Реальный изобретатель печатного станка Иоганн Гутенберг нуждался в деньгах. Начав свои опыты в Страсбурге, он переезжает затем в Майнц, где тоже — за отсутствием средств — не может наладить типографию. Около 1450 года Гутенберг находит себе в Майнце богатого займодавца, бюргера по имени Иоганн Фуст. Типография создана; но несколько лет спустя этот Фуст за долги по суду отбирает у Гутенберга типографию, а позже и приоритет изобретателя<sup>73</sup>. Именно он, Фуст, в 1457 году печатает ту «латинскую псалтирь», которую упоминал в своей книге знакомец Пушкина А.Ф. Малиновский.

Созвучие прозваний «Фуст» и «Фауст» в народном сознании придало легендарному доктору, и без того знаменитому, еще и титул изобретателя печатного станка. Таким образом, слава, похищения у Гутенберга, переходит от Фуста к Фаусту<sup>74</sup>.

Прежде чем продолжить наше исследование, необходимо еще раз напомнить: с самого начала и до самого конца речь идет не о герое Гете, которого культурное сознание неизбежно связывает с вершинами мировой философии. Персонаж, упомянутый Пушкиным, только лицо из народных сказок и ярмарочных кукольных комедий. За столетие до Пушкина, в 1728 году, немецкий просветитель И.Х. Готтшед прямо писал: «Только простонародье носится еще с «Доктором Фаустом» и прочими подобными книгами, от чтения которых их со временем тоже отучат»<sup>75</sup>.

Имя Иоганна Гутенберга Пушкин знает по долгу всякого просвещенного человека. Тем не менее изобретателем «типографского снаряда» у него назван Фауст. Если предположить, что Пушкину известно и промежуточное звено между Гутенбергом и Фаустом, то скромный сосед Мартына и Франца получает некоторые шансы занять место на хвосте дьявола.

Социальное положение Иоганна Фурста понятно. Он, как и Фуст, бюргер. Поэтому и отдает свою дочь Юлию за соседа, торговца сукном. Мы не решаемся утверждать, что Мартын и Фурст живут в Майнце, хотя некоторые основания для этого существуют. На этот рейнский город есть намек в близком к «Сценам из рыцарских времен» пушкинском замысле «Папесса Иоанна». План «сцен» и план о папессе набросаны на двух сторонах одного тетрадного листа<sup>76</sup>. Девушка, которой предстоит возглавить католическую церковь, по-видимому, происходит из Майнца и берет себе мужское имя: Жан Майнцкий (VII, 256). Еще П.В. Анненков догадывался, что ребенок, рожденный папессой, и будет Фауст, «и при том не в качестве доктора философии и теологии, а в качестве предполагаемого изобретателя печатного станка»<sup>77</sup>.

Таким образом, ничто в положении Иоганна Фурста не противоречит возможности держать типографию. Более того. Если его прототип действительно реальный майнцкий бюргер Фуст, то становится очевидной простая параллель. Бертольд запрашивает деньги у Мартына, а другой изобретатель (Гутенберг?) — у Фурста. Пушкинский Мартын хочет обогатиться за счет открытия Бертольда, а реальный Фуст действительно обогащается, присвоив станок должника-изобретателя.

Требует некоторых комментариев и очевидное созвучие имен: Иоганн Фуст — Иоганн Фурст. Происхождение фамилии «Фуст» давно раскрыто. Оно, так же, как и «Фауст», восходит к древнегерманскому слову «Fust» и означает «кулак»<sup>78</sup>. Но Пушкин, конечно, не был обязан грамматически точно воспроизводить немецкое имя. У него даже для отечественных прозваний бывало собственное написание, отвечавшее, видимо, его внутреннему звукообразу. Например, во всех автографах «Бориса Годунова» написание фамилии «Гудунов» встречается чаще, чем правильное<sup>79</sup>.

Вообще об именах в средневековых трагедиях Пушкина можно было бы написать отдельное исследование. Уже в «Скупом рыцаре» молодой дворянин носит французское имя Альбер, а его слуга простонародное русское — Иван. В «Сценах из рыцарских времен» у благородных господ имена по большей части французские, а



у простого народа — немецко-русские. Думается, тут не только ясное противостояние мещан рыцарям, но и почти бессознательный след самочувствия Пушкина, отразившего раздвоение отечественной культуры на «благородно»-французскую и «простонародно»-русскую.

Как мы помним, вся рукопись «Сцен из рыцарских времен» носит черновой характер. Поэтому мы не знаем, какой вариант кончины Мартына выбрал бы Пушкин: умер бы герой от выпитых сгоряча бутылок пива или отобедав на именинах у Иоганна Фурста? Если наше предположение верно и именинник действительно знается с нечистой силой, то смерть доброго суконщика, может быть, и не так проста. Вспомним ранние пушкинские «Наброски к замыслу о Фаусте»:

Сегодня бал у Сатаны —  
На имянины мы званы. (II, 381)

Вспомним и один из центральных эпизодов повести «Гробовщик»: праздничный обед у немца-ремесленника, где пьют «здоровье целой дюжины немецких городков» (VIII, 91), а потом гостя-соседа посещают ужасные видения — как раз в духе фаустовской некромантии.

Все это параллели, на которых невозможно основывать какие-то конкретные выводы. Но в известных нам сценах ситуация вокруг Иоанна Фурста и смерти Мартына несомненно ближе всего к той гипотетической фабульной линии, которая могли бы привести к дьявольской концовке с участием Фауста-книгопечатника...

До сих пор мы исходили из предположения о том, что Пушкин хотя бы отчасти знаком был с историей книгопечатания и потому играл именами: Фуст — Фурст — Фауст. Теперь нам предстоит показать и другую возможность, которая прямо вела автора «Сцен» к фаустовскому мотиву. Речь идет о «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина.

В письме седьмом — «Корчма, в миле за Тильзитом» — Карамзин объясняет, кто такой доктор Фауст. Письмо датировано 1789 годом; до выхода «Фауста» Гете еще почти двадцать лет, и само по себе имя героя немецких сказок вряд ли знакомо большинству русских читателей. Поэтому Карамзин дает важное разъяснение:

«Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть великий колдун, и по сие время бывает обыкновенно героем глупых пиэс, играемых в деревнях или в городах на площадных Театрах **странствующими** Актерами. В самом же деле Иоанн Фауст жил как честный гражданин во Франкфурте-на-Майне, около середины пятого-надесяты века; и когда Гуттенберг, Майнцкий уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения... И как простолюдины того века приписывали действию сверх-естественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках»<sup>80</sup>.

С.М. Бонди в своем комментарии к «Сценам из рыцарских времен» привел этот действительно важный фрагмент из Карамзина<sup>81</sup>. Однако исследователь, к сожалению, упустил из виду тот контекст, в котором Карамзин дает свое разъяснение о Фаусте.

Действие происходит в корчме около прусского городка Тильзит. Группа путешественников, в которую входит и сам рассказчик, сидит за общим столом и следит за диалогом двух местных жителей — отставного поручика и хозяйки корчмы Лизы. Вот этот диалог, хорошо известный Пушкину:

«ЛИЗА: ...А, Господин Поручик! Добро пожаловать! Откуда? Откуда?»

ПОРУЧИК: Из города, Лиза. Барон фон М<sup>н</sup> писал ко мне, что у них Комедианты. «Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!» Черт меня возьми! Есть ли бы я знал, что за твари эти Комедианты, ни за что бы не поехал.

ЛИЗА: И, ваше благородие! Разве вы не жалуете Комедии?»

ПОРУЧИК: О! Я люблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за доктора Фауста с Ганс Вурстом.

ЛИЗА: Ганс Вурст очень смешен, сказывают»<sup>82</sup>.

К этому эпизоду Карамзин и дает цитированное примечание о Фаусте — колдуне, книгопечатнике и герое суеверных преданий. Под пером русского путешественника получает объяснение и вторая забавная фигура народного балагана — Ганс Вурст. После справки о Фаусте Карамзин замечает: «А Ганс Вурст значит на площадных Немецких Театрах то же, что у Италианцев Арлекин»<sup>83</sup>.

Комментарий Карамзина здесь вряд ли совершенно точен. Ганс Вурст действительно комический персонаж, но означает он не совсем то же, что Арлекин в итальянской комедии дель арте. Господин Поручик недаром говорит о талерах, отданных «за Доктора Фауста с Ганс Вурстом». Это неразлучная пара персонажей, кочующая из одной балаганной постановки в другую. Обычно Ганс Вурст<sup>84</sup> выступает как слуга доктора. Он веселый пройдоха, простоватый балагур. Его встречи с нечистой силой не трагичны, а смешны. Ганс Вурст из тех, кто самого черта обманет.

В площадной комедии Ганс Вурст следует за Фаустом и все время пародирует, комически снижает фаустовскую магию. В волшебном круге, начертанном доктором, у слуги начинают сами собой плясать сапоги. Убитый Гансом Вурстом злой дух восстает из гроба и оборачивается возлюбленной своего мнимого убийцы. Тот же Ганс Вурст играет роли обманутого воздухоплователя, неопытного колдуна, фокусника, трусливого ночного сторожа и т.д.<sup>85</sup>.

Ганс — имя уменьшительное. Полное прозвание этого персонажа — Иоганн Вурст.

Пушкину это имя известно — из Карамзина наверняка, а может быть и из других источников. А теперь спросим себя: если Пушкин знает пару «Иоганн Фауст — Иоганн Вурст», то может ли быть случайностью пара «Иоганн Фауст — Иоганн Фурст» в ткани «Сцен из рыцарских времен»? Вряд ли.

К сожалению, эту явную неслучайность трудно истолковать. Если пушкинский Иоганн Фурст есть производное от Ганса Вурста, то он, безусловно, не Фауст. И поэтому не может появиться в финале драмы. Но сосед Мартына вряд ли способен играть и традиционную роль пройдохи, простоватого хитреца около Фауста. Ганс Вурст люмпен, бродяга. А персонаж Пушкина владеет домом, угощает соседа обедом, а потом прилично выдает дочь замуж. Все это плохо вяжется с исходными условиями немецкого фольклора.

Пушкин, конечно, не был обязан следовать традициям германских народных легенд. Скорее всего Фауст и Фурст «Сцен из рыцарских времен» возникли в творческом воображении Пушкина под влиянием многих источников — литературных, театральных. А то и просто в результате бесед с такими знатоками предмета, как А.Ф. Малиновский или Н.М. Карамзин. Фаустовскую мифологию Пушкин, видимо, воспринял суммарно, не вдаваясь в подробности отдельных преданий. Поэтому в неоконченном фрагментарном тексте «Сцен» почти невозможно определить, на какую именно легенду ориентирована та или иная деталь драмы.

Но фаустовские мотивы явно «сгущаются» вокруг бюргера Иоганна Фурста. Это убеждает нас в небеспочвенности нашей гипотезы: финал «Сцен», если бы они были завершены, готовился автором заранее. Что это было бы — фабульная линия? персонаж? обстоятельства, выясняемые диалогом?

Не знаем. На эти вопросы ответа пока нет...

#### «НАПРАСНО Я БЕГУ К СИОНСКИМ ВЫСОТАМ...»

Стихотворение написано летом 1836 года и состоит из единственного четверостишия:

Напрасно я бегу к Сионским высотам  
Грех алчный гонится за мною по пятам...  
Так (?) ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,  
Голодный лев следит оленя бег пахучий. (III, 419)

Собственно, это скорее черновой набросок, но набросок, не обойденный вниманием исследователей. К сожалению, тут нет места для историографии и текстологии, для сводки мнений о принадлежности стихотворения к гипотетическому «каменноостровскому» циклу Пушкина. Для нашей темы важно будет только напомнить о связи четверостишия со стихотворением «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права») — оба стихотворения написаны на одном черновом листе и в автографе не отделены друг от друга<sup>86</sup>.

Кроме того: стихотворная реплика о «Сионских высотах» впервые была напечатана П.В. Анненковым в 1857 году, т.е. при сравнительно либеральном начале царствования императора Александра II. В николаевские времена, полагаем, четверостишие не могло бы пройти цензуру.

В этом убеждает содержание первой же строки: «Напрасно я бегу к Сионским высотам...». Традиционный образ Сиона, Сионских высот, обозначал средоточие веры в Единого Бога, одну из основных христианских святынь. Поэтому путь к Сионским высотам понимался как путь к обретению истинной веры, к спасению души. Из контекста стихотворения видно, что Пушкин именно так и понимал смысл «побега». Поэтому на первый, поверхностный взгляд можно решить, будто поэт здесь полагает для себя бессмысленной самую веру, не видит пути к спасению. Кажется,

формула «Напрасно я бегу к Сионским высотам...» равна утверждению — «Напрасно я верую в Единого Бога».

В самом деле: если Пушкин действительно считает, что путь спасения закрыт, то он зачисляет себя (или лирического героя?) уж в такие грешники, каких просто свет не видывал. Иуда Искариот — главный новозаветный преступник — и тот по христианским воззрениям мог быть прощен. Ибо благодать Божия ничем не ограничена, а пути ее неисповедимы. Не считает ли себя поэт грешником хуже Иуды? Вряд ли.

Пафос тут, думается, совсем иной.

Видимо, мы что-то упускаем, чего-то не понимаем в образном и смысловом наполнении стихов. Три строки, следующие за первой, помогают — хотя бы отчасти — истолковать странность воззрений автора (или лирического героя?) на возможность спасения души через веру, через приобщение святых.

В Библии, в сочинениях отцов церкви, в житийной литературе образы оленя и льва, близко соответствующие пушкинским, встречаются довольно часто. Существуют они и в русской традиции. Например, в Киево-Печерском патерике, хорошо известном Пушкину, в житии преподобных Феодора и Василия прощение согрешившего брата обозначено так: «Господь избавил его от уст льва, ищущаго поглотити»<sup>87</sup>. Лев, понятно, служит олицетворением греха, а человек выступает его жертвой. Ничего необычного здесь нет.

Необычность, странность пушкинского стихотворения определяются только тем, к т о герой, к т о совершает напрасный бег к средоточию веры. Или — поставим этот же вопрос несколько иначе: к о м у отдана роль жертвы, роль преследуемого? Понятно: речь идет о лирическом «я» стихотворения; проще говоря — о самом авторе. Однако нетрудно догадаться, что образное пространство стихотворения — Сионский холм, песок библейской пустыни, алчный хищник — должно повлечь за собой соответствующую трансформацию образа лирического героя. К священной горе Писания, конечно, не может в этих условиях стремиться реальный камер-юнкер А.С.Пушкин, снимающий дачу на Каменном острове летом 1836 года. Сами декорации драмы требуют для беглеца иного имени, иного костюма.

Возникает хорошо известная в пушкинском творчестве необходимость отождествить лирическое «я» с каким-то возвышенным образом. Примеров много. Приведем только два. Ровно за десятилетие до «Сионских высот» Пушкин пишет стихотворение «Пророк», в котором лирический герой предстает в библейском облике — пророка Исаяи (Ис., 6, 2—11). В стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830) ориентальными мотивами чуть-чуть прикрыты размышления о судьбах отечества, а поэт принимает на себя образ другого библейского пророка — Осии<sup>88</sup>. Нечто подобное, думается, происходит и в разбираемом четверостишии.

Как уже было сказано, символика стихотворения несомненно восходит к библейским страницам, на которых даны реалии, предъявляемые Пушкиным. Но ближе и прямее всего совпадение смысловой и образной ткани видны между «Сионскими высотами» и ветхозаветной «Второй Книгой Царств». Именно в ней, по

нашему мнению, и содержится мотив, помогающий истолковать пушкинское четверостишие.

Речь идет о «Песни Давида, воспетой Господу», составляющей главу 22 «Второй Книги Царств». Эта же песнь составляет 34-й псалом Псалтири. Давид хвалит Единого Бога в день, когда Господь избавил его от рук врагов его. Вот библейские стихи, на которые, по нашему мнению, ориентированы пушкинские строки:

«Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь;  
Делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня /.../.

Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои» (2 Царств, 22, 33–34, 37).

Образы пути, оленя и высот отчетливо здесь выражены. Ветхозаветный певец сравнивает себя с оленем, которого Бог приводит на высоты и поставляет там. Несомненно, имеются в виду именно Сионские высоты. Ведь Давид отвоевал священный холм у иевусеев и основал Иерусалим, называемый традиционно «град Давидов». Позже понятие «Сион» получило в христианском сознании широкое обобщенное значение — царство Божие во всей его полноте<sup>89</sup>.

Самосравнение с Давидом было для Пушкина естественным и очевидным. Псалмопевец как бы олицетворял всю начальную поэзию священной истории. В русской традиции даже могильные камни поэтов и музыкантов украшали шестиугольной «звездой Давида» — в память об основоположнике сословия тех, кто пел, играл и плясал перед Господом (2 Царств, 6, 21).

Пушкин сравнивал себя с Давидом не только на пути к «Сионским высотам» — царь ведь был и певцом, и воином. Известная эпитаграмма Пушкина, направленная, видимо, против Ф.И.Толстого («Американца»)<sup>90</sup>, как раз и подчеркивает эту двусоставность образа библейского царя:

Певец Давид был ростом мал,  
Но повалил же Голиафа...

«Ростом мал» — еще одна деталь, сближавшая Пушкина с псалмопевцем.

Для нас существенно только одно: в разбираемом стихотворении лирический герой, поэт, подобно Давиду, сравнивает себя с оленем и подобно Давиду же хочет утвердиться на Сионских высотах, т.е. обрести царство Божие.

На том, видимо, сходство псалмопевца и героя стихотворения — исчерпывается.

Царь-певец утверждается на высотах, а его отдаленный потомок в России — нет. Почему? Теперь — по близкой библейской аналогии — можно предложить примерный ответ на этот вопрос.

Дело, кажется, не в греховности поэтов. Царь Давид, как известно, не всегда следовал путем Господним. Он убил невинного Урию Хеттеянина, чтобы овладеть его женою Вирсавией (2 Царств, 11, 1–27); он устроил перепись соплеменников, за что народ поражен был моровой язвой, унесшей семьдесят тысяч жизней (2 Царств, 24, 1–15). Но никогда псалмопевец не говорил, да и не мог бы сказать, что его путь



к Сионским высотам — напрасен. Лев преследовал оленя, иногда близко достигал его, но бегущий не предавался отчаянию. Потому и был спасен.

Более того. В одной из молитв Великого поста поется: «Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго; но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости»<sup>91</sup>. Тем самым псалмопевец служит как бы примером прощенного грешника, верно надеявшегося на милость Господню.

По-видимому, напрасное стремление к Сионским высотам определяется не характером человека, не тяжестью его грехов, а чем-то внешним — состоянием самих высот. Такое предположение находит опору в Библии.

Уже преемник Давида строитель храма царь Соломон, развращенный своими женами-иноплеменницами, стал ставить жертвенники чужим богам вблизи Сиона (3 Царств, 11, 1–9). Его потомки пошли еще дальше; они осквернили Сионские высоты окончательно. Например, царь Манассия для иных богов «соорудил жертвенники... на обоих дворах дома Господня... И поставил истукан Астарты... в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «в доме сем, в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое навек» (4 Царств, 21, 7). «Последние Иудейские цари, — отмечал Эрнест Ренан, — имели обычай посвящать коней солнцу, причем они настолько были чужды истинному культу Ягве, что помещали этих коней в храме Ягве, к глубокому возмущению чистых ягвистов»<sup>92</sup>.

Поиск пути к спасению на этих оскверненных высотах, может быть, действительно напрасен.

Ситуацию в храме при «последних иудейских царях», конечно, нельзя механически сравнивать с положением церкви в николаевской России, хотя до краха империи остается всего 80 лет — мгновение по библейским масштабам. Здесь гораздо существеннее понимание хода времени, соотнесение двух эпох — эпохи праведности и эпохи богоотступничества.

Историю древнего царства можно представить себе как движение от чистой веры лет Давида к времени растленного Манассии и далее — к полному падению государства. Понятно: если бы певец Давид воскрес и увидел идолопоклонничество избранного народа, он, по-видимому, испытал бы то же самое чувство, какое мы застаем у Пушкина, — все напрасно.

Путь российского общества в этой системе координат — аналогичен: от патриархального благочестия до катастрофического падения нравов в эпоху империи. Пушкин размышлял об этом постоянно — в особенности об эволюции русской православной церкви от патриаршества к синодальному управлению. В поле внимания поэта началом новых времен выступало широкое пограничье между XVII и XVIII столетиями; между церковной реформой Никона и падением патриаршества при Петре Великом. Именно к этому периоду Пушкин мог относить начало осквернения «Сионских высот».

Разумеется, в России не ставили идолов в храмах и не устраивали в церквях конюшен. Православие страдало прежде всего от неканонических, нарушающих христианские нормы отношений между «Божьим» и «кесаревым». Сначала Никон попытался подчинить государство церкви; потом Петр совершил обратный переворот — полностью подчинил церковь короне. И та, и другая реформы в конечном счете вели к одному и тому же результату — к слиянию державных и духовных установлений, к огосударствлению религиозной жизни народа. Если до Петра человек видел в церкви утешение, убежище от несправедливостей и крайностей деспотизма, то в XVIII—XIX веках церковь стала государственным учреждением; по существу посредничество между Богом и верующими было возложено на бюрократическую структуру.

Главой русской православной церкви сделался император. «Божье» и «кесарево» стали неразделимы.

Еще за три года до «Сионских высот» Пушкин написал петербургскую поэму «Медный всадник», в которой назвал статую монарха «кумиром» и «истуканом», что, разумеется, не могло понравиться венценосному цензору — Николаю I. Он справедливо увидел здесь намек на языческий характер своего предка. «Кумир», «истукан» — не они ли оскверняли «Сионские высоты» при Соломоне и позже, при Манассии? Не этого ли коня, посвященного солнцу, видели в иерусалимском храме при последних царях иудейских? Все это тревожило государя — бессознательно; а может быть и осознанно. «Медный всадник» был запрещен, а Пушкин, как известно, с 1834 года вновь перешел в оппозицию<sup>93</sup>.

История «Медного всадника», по нашему мнению, проясняет важные подтексты в стихотворении о «Сионских высотах». Пытаясь обойти цензурные препоны, Пушкин ищет замену слишком откровенному слову «истукан» в знаменитых строчках:

Вскипела кровь. Он мрачен стал  
Пред горделивым истуканом.

В новой, якобы подцензурной редакции эти строки, переделанные Пушкиным, должны были звучать так:

И дрогнул он — и мрачен стал  
Перед недвижным Великаном<sup>94</sup>.

Казалось бы, все подозрения отведены — Петр назван Великаном, что согласуется с государственным культом первого императора всероссийского. Но — не тут то было. Замена «истукана» на «Великана» в контексте противостояния Петра и Евгения наполнила бы стихи новым, столь же неблагополучным смыслом. Великаном был библейский Голиаф, язычник, рассчитывающий на грубую силу. В спор с ним вступал певец Давид, который «был ростом мал». Если мы вспомним, что в варианте «Медного всадника» чиновник был назван «сочинителем» и мечтает «как поэт», то будет нетрудно увидеть в поэме традиционно известные фигуры: певец Евгений — Давид и великий Петр — Голиаф.

Только исход спора теперь другой.

Библейский Давид через победу над Голиафом прямо и буквально идет к Сионским высотам, к основанию города на священном холме. Бог помогает ему. В петербургской поэме роли трагически меняются. Грубый Голиаф основывает город, а «певец Давид» — бессилен. Он бежит от лица Истукана-Великана, и Бог отворачивается от беглеца. Евгений умирает без покаяния, и тем еще раз подчеркнуто разобщение человека и церкви в царстве истуканов и идолов.

Новый Голиаф побеждает нового Давида...

Мы далеки от мысли, будто можно отождествлять Пушкина с героем «Медного всадника», хотя и такие соображения в пушкиноведении высказывались<sup>95</sup>. Поэт, конечно, не Евгений, а может быть, и не полностью равен герою стихотворения о «Сионских высотах». Но все-таки: трудно не заметить глубокую, коренную связь двух побегов, двух преследований. В петербургской поэме «безумец бедный» бросает вызов жестокому человекободу и гибнет, становится одной из его жертв. В стихотворении дело обстоит еще хуже, еще страшнее. Герой скорее всего не безумец; нет никаких следов его противостояния державе; он — грешник. Но кто же не грешник? Трагедия в том и состоит, что царство истуканов и идолов, осквернив высоты, прогневало Бога и закрыло для многих своих подданных путь к христианскому спасению: «напрасно я бегу к Сионским высотам...»

Где же выход?

Пушкин, полагаем, не видит реального выхода. Поэтому его последним откликом на трагедию служит явная утопия. Напомним то, о чем говорилось в начале: «Сионские высоты» написаны на одном листе со стихотворением «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права...»). Они, как уже говорилось, в автографе не отделены друг от друга и написаны одним размером. Не станем утверждать, что «Сионские высоты» и «Из Пиндемонти» — одно стихотворение. Хотя и такое истолкование возможно. Важнее понять, что в строках «Из Пиндемонте» как раз и содержится утопия возможности разрыва с государством и обществом. Лирический герой отвергает все формы общения с людьми, желает

По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам.

В этой фантастической картине уже нет места вопросу — напрасно или нет стремление героя к «Сионским высотам»? Нет и самих «высот». Выход за пределы общества — единственное, что остается герою.

Пушкин, однако, видит не только красоту, но и несбыточность такого идеала. Идет 1836 год, последний год жизни Пушкина. И размышления, которые растворены в образах стихотворения «Напрасно я бегу к Сионским высотам», органически входят в русло философских исканий поэта, мощно выраженных в том, что гипотетически называется «каменноостровским циклом», в «Капитанской дочке», в октябрьском письме к П.И. Чаадаеву и в других произведениях.

Торжествующий новый Голиаф будет победоносно преследовать певца Давида до последнего дня его...

## НЕМЕЦКИЕ СКАЗКИ МУЗЕУСА

Имя немецкого сказочника Иоганна Карла Августа Музеуса (1735—1787), насколько нам известно, не привлекало пристального внимания отечественных пушкинистов. Германский XVIII век в контексте изучения Пушкина обычно представлен другими, более известными в России авторами, — Гете, Шиллером, Лессингом, Гердером, Виландом, Клопштоком. В отличие от названных писателей Музеус у Пушкина ни разу не упомянут.

Но кое-что о сказочнике Пушкин, несомненно, знал. Ему хорошо были знакомы «Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина. Старший современник Пушкина посетил Веймар в 1789 году и среди других памятных мест города подробно описал могилу профессора Музеуса, сочинителя немецких народных сказок, умершего двумя годами раньше. Карамзин привел даже надгробную надпись, сделанную Анной-Амалией, герцогиней Саксен-Веймарской<sup>96</sup>. При дворе этой высокородной дамы, а потом в местной гимназии, Музеус служил учителем немецкого языка, латыни и элоквенции<sup>97</sup>.

Можно только пожалеть, что его сказки, полные юмора, пародирующие литературно-романтическое средневековье, почти не знакомы современному русскому читателю. Все же некоторой известностью пользуются — или, точнее, пользовались — «Легенды о Рюбецале». Это сочинение Музеуса входило в круг домашнего чтения культурных семей Петербурга и Москвы, служило детям для изучения немецкого языка. Относительная популярность «Легенд о Рюбецале» в России, возможно, объяснялась и славянскими мотивами, восходящими к чешскому фольклору.

Разбор «Рюбецала» — не наша тема. Но уже «Легенда первая»<sup>98</sup> не может оставить равнодушными нас, «друзей Людмилы и Руслана». Вот — в кратком изложении — фабула легенды. Молодой князь Ратибор и силезская принцесса Эмма любят друг друга. Они помолвлены. Но незадолго до свадьбы невеста исчезает. Ее похитил некий Дух, гном, обитающий в недрах Исполиновых гор. Несколько страниц легенды посвящено описанию жизни красавицы в подземном замке гнома. Разумеется, безутешный Ратибор скитается по лесам и скалам в поисках Эммы. Счастливая развязка истории достигается умом и хитростью принцессы. Она заставляет гнома считать клубни репы, а сама в это время бежит из горных недр на поверхность, в объятия Ратибора.

Именно этот эпизод и дал имя главному герою всего цикла легенд: «рюбецаль», «рюбецеллер» — в переводе с немецкого означает «счетчик репы».

Само по себе близкое совпадение смысла двух историй — «Легенды о Рюбецале» и «Руслана и Людмилы» — не дает поводов для каких-то конкретных, обязывающих выводов. Конечно, ни здесь, ни далее речь не идет о прямых заимствованиях Пушкина у Музеуса. Важно уже и то, что оба автора, разделенные временем, языками и государственными границами, черпают из единого резервуара общей для них европейской культуры. Особенно ясно это при обращении к другой легенде Музеуса, безусловно, близкородственной южным поэмам Пушкина. Звеньями традиций,

связывающих немецкого сказочника и русского поэта, служат здесь произведения нескольких именитых европейских писателей. Просветительская роль Н.М.Карамзина и в этом случае совершенно очевидна.

В тех же «Письмах русского путешественника» Пушкин читал подробное описание поездки будущего историографа в тюрингенский город Эрфурт. Контекст рассказа не оставляет сомнений: Карамзин посетил эрфуртский монастырь бенедиктинцев для того, чтобы отыскать могилу воина, чье имя было ему известно заранее — граф Эрнст фон Глейхен. История этого доблестного крестоносца обретает под пером Карамзина черты готического романа. Крестовый поход графа, озаглавленный многими подвигами, завершился печально — пленом и невольничеством у знатного сарацина, который сделал рыцаря своим садовником.

«Граф, несчастный Граф, — повествует Карамзин, — поливал цветы и стенал в тяжком рабстве. Но тщетны были бы его стенания и все обеты, естли бы прекрасная Сарацынка, милая дочь господина его, не обратила взоров нежной любви на злощастного Героя <...>. Робкая стыдливость долгое время не допускала ее изъясниться и сказать ему, что она берет участие в его печали. Наконец искра воспыала — стыдливость исчезла — любовь не могла уже таиться в сердце, и огненной рекою излилась из уст ея в душу изумленного Графа. Ангельская невинность ея, цветущая красота и способ разорвать цепь неволи не дали ему вспомнить, что у него была супруга. Он клялся Сарацынке вечно любить ее, естли она согласится оставить своего отца, отечество, и бежать с ним в страны Христианские. Но она уже не помнила ни отца, ни отечества — Граф был для нее все. Прекрасная летит, приносит ключь, отпирает дверь в поле — летит со своим возлюбленным, и тихая ночь, одев их мрачным своим покровом, благоприятствует их побегу. Щастливо достигают они отечества Графского ... . При входе во дворец Графиня бросается в его объятия. «Ты опять меня видишь любезная супруга! говорит Граф: благодари ее (*указывает на свою избавительницу*) — она все для меня оставила. Ах! я клялся любить ее!» — Граф хочет рукою закрыть текущие слезы свои. Сарацынка открывает свое лице, бросается на колени перед Графинею, и рыдая говорит: *я теперь раба твоа!* — Ты сестра моя, отвечает Графиня, подымая и целуя Сарацынку: супруг мой будет твоим супругом; разделим сердце его». Граф удивляется великодушию супруги — прижимает ее к сердцу — все обнимаются и клянутся любить друг друга до гроба. Небеса благословили, сей тройственный союз, и сам Папа утвердил его»<sup>99</sup>.

Рассказ Карамзина, приведенный нами с незначительными сокращениями, был, несомненно, прочитан автором «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Не станем утверждать, что ключевые образы пленника-христианина и любовницы-мусульманки, устроительницы побега, просто перекочевали из карамзинских писем в поэму Пушкина; столь же неочевидна связь между «тройственным союзом» Глейхенов и тремя главными действующими лицами «Бахчисарайского фонтана». Нам еще предстоит показать, что глейхенскую одиссею Пушкин знал не только по «Письмам русского путешественника».



Сейчас важно установить лишь одно обстоятельство: Карамзин знаком с сочинением Музеуса, и весь эрфуртский эпизод есть повторение легенды Музеуса «Мелексала»<sup>100</sup>. По сравнению с немецким оригиналом карамзинская версия сильно упрощена; видимо, русский путешественник записывал ее по памяти.

Глейхен и не названная по имени Сарацинка в аннотации Карамзина предстают героями то ли сумрачного рыцарского романа, то ли персонажами сентиментальной повести со счастливой развязкой. Интонация Музеуса совсем иная: его граф и мусульманка Мелексала (именем которой и озаглавлено произведение) участвуют в пародийном, остроумном рассказе, полном шуток, посторонних сюжету анекдотов, иногда даже рискованных. Например, счастливая семья втроем сначала дает Римскому Папе Григорию IX крупную взятку, а потом, сочетавшись столь странным в христианском мире браком, заказывает себе трехспальную кровать.

Тем не менее, южные поэмы Пушкина нередко ближе к Музеусу, чем к «Письмам русского путешественника». Например, у Карамзина между графом и Сарацинкой вспыхивает взаимная страсть; у Музеуса, как и у Пушкина, все не так просто. Конечно, Глейхен немецкой легенды в своем XIII веке не страдает байроническим разочарованием. Но все-таки Мелексалу он не любит. Начало их связи вообще основано на недоразумении. Граф-садовник не знает принятого на Востоке языка цветов и однажды преподносит девице цветок мушируми, что равно объяснению в любви. И дальше — на протяжении многих страниц — Глейхен, собственно, только притворяется любящим, а на самом деле, подобно Германну из «Пиковой дамы», использует чувство девы в своих целях, в данном случае в целях побега.

У Карамзина нет и важнейшей детали, сближающей «Мелексалу» с «Бахчисарайским фонтаном». Оказывается, у мусульманки, героини Музеуса, в раннем детстве была христианка-кормилица, похищенная пиратом в Италии. Христианские мотивы полузабытого детства в Грузии, невольного морского путешествия, звучат в монологе Заремы, обращенном к Марии. У Музеуса кормилица-итальянка как бы предопределяет для Мелексалы сначала интерес к Западу, а потом и сильное чувство к германскому крестоносцу.

Отсюда опять-таки не следует, что Пушкин заимствовал мотив у немецкого сказочника. Но, во всяком случае, ясно, что если вообще речь идет о заимствованиях, то искать надо не только в «Письмах русского путешественника».

По-видимому, первым, кто в доступной Пушкину литературе записал историю двух жен графа Глейхена, был французский мыслитель Пьер Бейль. Пушкин, как и его герой, Евгений Онегин, читал «скептического Бейля» (VI, 183). Знаменитый «Исторический и критический словарь» Пьера Бейля включал — среди других сюжетов — и эрфуртскую легенду о двоеверной любви крестоносца. Нелишне будет заметить, что бейлев «Словарь» в парижском издании 1820–1824 гг. был в личной библиотеке Пушкина<sup>101</sup>.

Запись Бейля, вероятно, вдохновила самого Гете<sup>102</sup>. В его ранней драме «Стелла» (в двух редакциях — 1775 и 1805 гг.), в основе которой лежит традиционный любовный треугольник, история графа Глейхена рассказана в длинном монологе одной из

героинь — Цецилии. Контуры повествования, в общем, те же, что у Музеуса и Карамзина. И финал монолога благостен: «единое жилище, единое ложе, единая могила блаженно объемяют» графа, его жену и спасительницу-мусульманку<sup>103</sup>. В первой редакции «Стеллы» Гете придает этому монологу решающее значение. Герои его «треугольника» — Фернандо, Стелла и Цецилия — примиряются прямо в духе средневековой легенды.

Вторая редакция — трагична. Свой монолог о графе-крестоносце героиня произносит и здесь. Но это ничему не помогает: Фернандо совершает самоубийство, а Стелла умирает. У нас нет доказательств того, что Пушкин был знаком с драмой Гете. Но в южных поэмах Пушкина героини погибают, и это ближе ко второй редакции «Стеллы», чем к идиллическим развязкам у Бейля, Музеуса и Карамзина.

Общая культурная традиция связывает Пушкина с Музеусом и на важнейшем фабульном движении «Каменного гостя». Здесь среди предшественников русского поэта обычно называют Мольера, Тирсо де Молина, итальянского оперного либреттиста Лоренцо да Понтье и некоторых других авторов. Несложный сюжет легенды Музеуса «Верная любовь», скорее всего, ускользнул от внимания исследователей. Для подробного анализа этого произведения здесь нет места; поэтому ограничимся лишь кратчайшим комментарием.

Герои «Верной любви» — рыцарь Генрих фон Халерманд и его жена Ютта, урожденная графиня Ольденбург. Сильно преувеличивая свои возможности, супруги клянутся друг другу в вечной любви не только здесь, на этом свете, но и там, за гробом. Рыцарь убит, и неутешная вдова воздвигает ему памятник в парке своего замка. Но проходит время, и Ютта забывает свое обещание покойному. Она любит другого, прекрасного пажу Ирвина. Накануне свадьбы жених и невеста прогуливаются по парку, и Ютта в ужасе отшатывается от памятника: мраморный Генрих кивает ей головой и угрожающе поднимает руку. На следующий день, в разгар свадьбы, при вспышке ослепительного света, дух Генриха является среди гостей и убивает неверную Ютту. Для нас здесь важно не только еще одно наполнение бродячего сюжета, любопытное и само по себе. Дело в том, что Пушкин в «Каменном госте» отступил от общеевропейской традиции как минимум в одной детали: у всех предшествующих авторов оживающая статуя была конная. Следуя такому всеобщему пониманию легенды, художник К.П.Брюлов, иллюстрируя «Каменного гостя», посадил статую Командора на коня<sup>104</sup>. Только у Музеуса и Пушкина скульптура не конная — в полный рост...

Здесь мы прервем цепь наших наблюдений. Давно пора поставить коренной вопрос: читал ли Пушкин сочинения Музеуса? Если читал, то цена нашим соотнесениям одна, а если не читал, — совсем другая. Обсуждая этот вопрос, мы избежим мотивов старого спора о том, знал ли немецкий язык ученик лицейского преподавателя Богдана Ивановича Вильма<sup>105</sup>.

Для знакомства со сказками Музеуса немецкий язык не был Пушкину необходим. Еще в 1811 году произведения веймарского сказочника были изданы в Москве, в двух томах — в русском переводе Василия Полякова. Второе издание — уже шес-

титомное — вышло в Орле в 1822 году. «Легенды о Рюбецале», «Мелексала» и «Верная любовь» вошли в оба издания.

Имя Музеуса, как мы помним, было известно Пушкину по Карамзину в контексте, самом благоприятном для немецкого сочинителя. Кроме того, на обложке московского двухтомника стояло имя Х.Виланда, немецкого издателя сказок, что должно было вызвать дополнительный интерес Пушкина. Так что в знакомстве Пушкина с легендами Музеуса ничего удивительного не было бы. И 1811 год — год первого русского издания сказок — предшествует не только «Руслану и Людмиле», но и всему основному творчеству поэта.

Мотивы немецкого фольклора есть и в других, не названных здесь сочинениях Пушкина. Но это другая тема, куда более обширная...

### ГРИБОЕДОВСКИЙ ЭПИЗОД

Свое сочинение «Путешествие в Арзрум» Пушкин рекомендовал как «путевые записки... о походе 1829 года» (VIII, 444). В этих записках эпизод о Грибоедове стоит несколько особняком. Только его начало — дорожная встреча с грузинами, везшими тело убитого поэта, — тяготеет к жанру путевого дневника. Основная же ткань эпизода как бы совершенно не связана с впечатлениями Пушкина-путешественника и представляет собой сложное переплетение философских, политических и мемуарных мотивов.

Нам предстоит соотнести отдельные детали пушкинского текста с некоторыми источниками и на их основе попытаться обосновать гипотезу о происхождении и жанровом своеобразии «грибоедовского» эпизода.

Начнем с маленькой, едва заметной исторической неточности. Обращаясь к обстоятельствам гибели Грибоедова, Пушкин пишет: «Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею» (VIII, 461). Но три дня надругательства над телом посланника — вещь вряд ли возможная. Хорошо известно, что шахское правительство, напуганное перспективой разрыва Туркманчайского договора и войны с Россией, постаралось немедленно прекратить беспорядки. На этом сходятся и русские дипломаты К.К. Боде, И.О. Симонич, И.С. Мальцов, и анонимный персиянин, автор известной «реляции» о трагических событиях в Тегеране<sup>106</sup>.

Нам уже приходилось говорить, что само по себе выявление таких неточностей у Пушкина не плодотворно. Оно имеет смысл только тогда, когда удастся как-то объяснить происхождение «ошибки», поставить ее в реальную связь с фактами биографии и творчества поэта.

Как же истолковать «три дня игралища тегеранской черни»?

В поисках ответа на этот вопрос нам придется последовать за Пушкиным в один из литературных салонов, где поэт встречался с Жуковским, Вяземским и Мицкевичем. В известной статье «Мицкевич о Пушкине» П.А. Вяземский рассказывает о вечере, на котором присутствовали четыре поэта. Вот его впечатления.

«Мицкевич был не только великий поэт, но и великий импровизатор... Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозой, на заданную тему. Помню одну. Из свернутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему в то время и поэтическую, и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела константинопольского православного патриарха, убитого турецкой чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом озаренным, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза, более отрезвляющая, нежели упоющая мысль и воображение, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее еще памятно; но, за неимением положительных следов, впечатления не передаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге»<sup>107</sup>.

Эти воспоминания Вяземского приводились и комментировались много раз. Обычно они служат основой для предположения, что прототипом импровизатора в «Египетских ночах» был для Пушкина именно Мицкевич. Действительно, обстоятельства импровизации и впечатления от нее в описании Вяземского близко напоминают эпизод из третьей главы «Египетских ночей», где для итальянца наугад вынимают из урны свернутую бумажку с названием темы.

Но обратимся теперь к теме «поэтической и современной», с которой Мицкевич выступает в присутствии Пушкина. Напомним, как называет ее Вяземский: **«приплытие Черным морем к одесскому берегу тела константинопольского православного патриарха, убитого турецкой чернью»**.

Тема импровизации, заданная Мицкевичу, несомненно была основана на реальных исторических фактах. В 1821 году началось восстание греков против турецкого ига, и правительство султана Махмуда Второго учинило в Стамбуле несколько кровавых расправ над греками. Один из погромов пришелся на воскресенье, 10 апреля, когда православные греки праздновали пасху. По замыслу властей избиение должно было начаться в церквях, куда прихожане соберутся на праздничную молитву. Но, предвидя это, православный константинопольский патриарх Григорий V отсоветовал своей пастве в пасхальный вечер собираться во множестве.

Тогда представители властей жестоко пытали Григория V и, наконец, в полном праздничном облачении повесили его на воротах патриаршего дома. Тело несчастного священнослужителя провисело три дня, подвергаясь надругательствам турецкой толпы. Затем оно было тайком доставлено на корабль, стоявший на стамбульском рейде под русским флагом. 5 мая судно вошло в одесский порт. Торжественные похороны патриарха состоялись в Одессе 19 июня 1821 года<sup>108</sup>.

Если бы желание Вяземского исполнилось и стенограф записал бы памятную импровизацию Мицкевича, то в наших руках оказалось бы слышанное Пушкиным поэтическое переложение только что рассказанной истории. Прямые сюжетные и

даже детальные аналогии между устным творением польского поэта и грибоедовским эпизодом из «Путешествия в Арзрум» — напрашиваются. Но прежде чем их обсуждать, мы должны обратиться к фактам, предшествующим второй поездке Пушкина на Кавказ.

Мы не знаем, когда Мицкевич импровизировал в присутствии Пушкина. Но ясно, что это произошло до арзрумского путешествия, так как возможности личного общения русского и польского поэтов заключены в хронологические рамки между осенью 1826 и весной 1829 года<sup>109</sup>. Эти рамки для импровизации, кажется, можно и сузить. Вяземский называет тему гибели Григория V не только поэтической, но и «современной». Вряд ли русское общество долгие годы переживало историю похорон патриарха. «Современной» или, говоря нынешним языком, актуальной ее сделала очередная русско-турецкая война, начатая весной 1828 года. Одной из причин войны русское правительство выставляло преследование православных христиан турками, и полузабытый эпизод семилетней давности вновь обрел державное значение, удостоился внимания в обществе. Если это соображение верно, то импровизацию Мицкевича следует отнести ко времени между весной 1828 и весной 1829 годов, когда поэты встречались в Петербурге.

Но с самой трагедией Григория V и историей его похорон Пушкин и Мицкевич познакомились раньше и независимо друг от друга.

Весной и летом 1821 года ссыльный Пушкин жил в Кишиневе и, как известно, остро переживал все события греческого восстания против турок. Пасхальный погром в Стамбуле не мог пройти мимо его внимания. В мае сообщения о нем появились в русских столичных газетах<sup>110</sup>. В Кишиневе же, близком к турецкой границе, новость должна была распространиться гораздо раньше. Столь же несомненна осведомленность Пушкина о «приплытии тела патриарха» в Одессу. Вот сообщение, помещенное 3 июня 1821 года в «Русском инвалиде»:

«Казнь греческого патриарха воспоследовала в Константинополе на третий день святой недели в присутствии бесчисленного множества народа. Турки изъявляли одобрение свое неистовым криком и с ужаснейшими поруганиями владели труп несчастного архипастыря по всему городу. К счастью, некоторые греки успели сторовать его тело за 100 000 пиастров прежде, нежели бесчеловечная чернь разорвала его на части. При наступлении ночи было оно брошено в море, поднято находившимися уже в готовности корабельщиками и отправлено в Одессу, куда оно уже и привезено».

О событиях в Одессе Пушкин мог знать не только по газетам. Его кишиневский знакомый князь Никола Суццо не просто знал Григория V, но и принимал участие в опознании его тела в Одессе<sup>111</sup>. Кроме того, по воле Александра I погребение патриарха в Одессе совершал епископ Кишиневский Дмитрий Сулима<sup>112</sup>, только что сменивший на кишиневской кафедре митрополита Гавриила Банулеско, чьи похороны Пушкин описал в своем дневнике (XII, 303). Возвращение архиерея со свитой из Одессы и подробности совершения обряда наверняка обсуждались в кишиневском кругу Пушкина.



В 1823–1824 годах Пушкин живет в Одессе. В этом молодом городе еще нет исторических достопримечательностей, и могила христианского мученика в греческой церкви — едва ли не единственное памятное место. Мог ли Пушкин миновать это место и, следовательно, не вспомнить о Григории V? Скорее всего, не мог. И сама могила, и круг людей, принимавших участие в церемонии погребения, должны были постоянно напоминать поэту о событиях двух-трехлетней давности. Например, среди одесских знакомцев Пушкина был отставной, смененный М.С. Воронцовым, новороссийский генерал-губернатор граф А.Ф. Ланжерон. По свидетельству П.И. Бартенева, граф не только мучил Пушкина чтением своих стихов и трагедий, но и давал читать ему свою переписку с Александром I<sup>13</sup>. Если среди посланий, читанных Пушкиным, были письма от весны и лета 1821 года, то поэт мог познакомиться с историей Григория V по официальным документам: царь детально распорядился процедурой похорон<sup>14</sup>.

За одесской ссылкой Пушкина последовала одесская же ссылка Мицкевича. Польский поэт приехал сюда в феврале 1825 года, когда Пушкин был уже в Михайловском. Мицкевич прожил в Одессе около девяти месяцев. Круг общения у него был почти тот же, что у Пушкина. Поэтому знакомство Мицкевича с подробностями «привезения тела патриарха» столь же вероятно.

Общие воспоминания об Одессе с неизбежностью должны были звучать в беседах поэтов в 1826–1829 годах. Мы не знаем, кто именно из присутствовавших при импровизации задал Мицкевичу одесскую тему. Но Пушкин как автор этой темы весьма вероятен. Ведь он как никто другой понимал затруднения Микцевича, которому предстояло импровизировать на неродном языке. Поэтому именно Пушкин мог предложить сюжет, заведомо Мицкевичу известный, обсуждавшийся, как-то обдуманый им заранее<sup>15</sup>.

Импровизация Мицкевича не была первой попыткой поэтического осмысления темы. Над гробом патриарха в 1821 году с обширной проповедью выступил греческий эмигрант пресвитер Константин Икономос (Экономид). Два года спустя повелением Александра I эта проповедь была напечатана по-гречески и в русском переводе. А весной 1829 года — явно в связи с русско-турецкой войной — состоялось новое издание, на этот раз только по-русски<sup>16</sup>. Таким образом, к моменту импровизации Мицкевича известна минимум одна публикация, а к кавказскому путешествию Пушкина «Слово...» Икономоса — среди книжных новинок.

В произведении пресвитера Константина много канонических, «житийных» мотивов. В параллель с историей гибели Грибоедова в нем можно поставить три основных момента: герой, отдающий жизнь за угнетаемых мусульманами единоверцев-христиан, посмертное надругательство над телом героя и, наконец, перевезение праха в Россию для похорон.

Конечно, повода к прямым стилистическим сопоставлениям с произведениями Мицкевича и Пушкина сочинение проповедника не дает. Но в легенде, творимой Константином, некоторые детали любопытны. Например, утверждение — вслед за газетами — о том, как «в продолжение трех дней пасхи святейший патриарх висел

на древе купно с тремя первенствующими членами синода его... Тела их преданы были поруганию»<sup>117</sup>.

Не будем настаивать на том, что это трехдневное поругание просто перекочевало из «Слова...» Константина в путевые записки Пушкина. Но легенда о константинопольском патриархе, включающая деталь о трех днях, была достаточно широко распространена в обществе и, вероятно, хорошо знакома поэтам. Она прямо питает импровизацию Мицкевича и косвенно — по отмеченному сходству ситуаций — может отразиться в «Путешествии в Арзрум».

Общность источников или, по меньшей мере, общность впечатлений трех поэтов просматривается и при сопоставлении текста Пушкина с названием приводимой Вяземским темы импровизации Мицкевича. У Пушкина: «труп, бывший три дня игральным тегеранской черни». У Вяземского: «патриарх, убитый турецкой чернью». Интересно отметить не только сходство основных враждебных сил (и тут, и там действует воинствующая «чернь»), но еще и общность отвлечения от реальных фактов. В первом случае надругательства не продолжались три дня; во втором — Григорий V вовсе не был «убит чернью», как пишет Вяземский, но казнен официально, по решению турецкого правительства.

Вероятно, и Мицкевич, и Пушкин были мало озабочены простым следованием за фактами. В гипотетической «стенограмме» Мицкевича, как и в приведенном месте «Путешествия в Арзрум», надо искать не столько реалии «восточного вопроса», сколько следы размышлений на темы: «пророк и чернь», «поэт и чернь». Судьбы поэтов-мучеников занимали Пушкина всегда. На смену романтизированному образу Андрея Шенье приходят с середины двадцатых годов имена близкие, дружеские: Рылеев, Кюхельбекер. Отныне в этот скорбный ряд становится и Грибоедов.

Принимаясь за грибоедовский эпизод, Пушкин, разумеется, видит не только простое фактическое сходство трагедии патриарха, воспетой Мицкевичем, с трагедией поэта, о которой предстоит рассказать. Пушкин понимает, что берется за сюжет, которому тоже вполне подходит определение Вяземского — «поэтический и современный». Актуальность очевидна: автор, встречающий тело Грибоедова, едет на войну против турок, на войну, в которой подлежит отмщению кровь патриарха, кровь греков. Поэтичность сюжета столь же несомненна: смерть поэта. Есть ли тема традиционно более возвышенная?

Все это не могло не сказаться на композиционных и жанровых особенностях эпизода.

В реквиеме Грибоедову слышится нам какая-то моцартовская свобода, какая-то поэтическая небрежность владения темой. Здесь нет и следа того, что сам Пушкин презрительно называл «чистотой мелочной отделки» (XI, 274). В самом деле: историю своего знакомства с Грибоедовым Пушкин вдруг начинает в середине отрывка и так же вдруг бросает. Описание обстоятельств убийства оставлено во втором абзаце и неожиданно продолжено в конце эпизода. Саркастический выпад против людишек, которым не дано оценить Грибоедова по достоинству, разрушает намеченный был портрет поэта. А попытка последовательной биографии начата в предпоследнем абзаце и смята, скомкана в нескольких словах.

Здесь мы подходим к рубежу, за которым возможны только предположения — более или менее обоснованные. Как импровизировал Мицкевич? «Разумеется, прозою», — отвечает на этот вопрос Вяземский. И тот же Вяземский называет «прозу» Мицкевича «огнедышащим извержением поэзии». Что-то подобное происходит, по нашему мнению, и с грибоедовским эпизодом. Пушкин не только тематически, но и жанрово следует за импровизацией Мицкевича.

Конечно, различия бросаются в глаза. Повествование Мицкевича о патриархе — устное; пушкинский эпизод — на письме. Польский поэт выступает с отдельным, законченным произведением; Пушкин будто бы проговаривается неожиданно, среди дорожных впечатлений. Но различия на поверхности, а сходства оказываются глубже. Мы уже видели, что тема импровизации Мицкевича не была случайной; его вдохновение проросло на хорошо возделанной почве. По-видимому, и пушкинское обращение к теме гибели Грибоедова тоже не случайность; оно, думается, мало зависело (или даже не зависело вовсе) от встречи путешественника с волами, влекущими тело убитого поэта.

У Пушкина был, оказывается, способ сочинения прозаических отрывков, близкий по условиям творчества к импровизациям. Вот свидетельство Гоголя, взятое из его письма к С.Т. Аксакову от 21 декабря 1844 года:

«Пушкин, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо ему хотелось припомнить. На одном писал «Русская изба», на другом: «Державин», на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета и т.д. Все эти ярлыки накладывал он кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые печатались потом в посмертном издании и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы»<sup>118</sup>.

То, о чем свидетельствует Гоголь, поразительно напоминает и рассказ Вяземского о Мицкевиче, и «Египетские ночи». Жребий, билет, вынутый из вазы, становится поводом, внешним толчком для блестящей импровизации. Но Пушкин выступает здесь и в роли поэта, и в роли публики, ибо сам задает себе тему. А элемент неожиданности, необходимый для импровизации, создается тем, что между заданием и исполнением проходит время, стирающее исходную «мелочную отделку» замысла. Тема начинает развиваться заново, как бы от первого, сиюминутного импульса<sup>119</sup>.

Особенно важно замечание Гоголя об этих набросках Пушкина, в которых «всякая мысль его... оставалась живьем, как вышла из головы». Импровизационный характер записанного по вынутым наудачу билетам выступает здесь, по нашему мнению, довольно отчетливо.

Трудно сказать, верно ли Гоголь запомнил темы пушкинских импровизаций. Тексты под названием «Русская изба» и «Державин» были опубликованы в собрании сочинений Пушкина 1841 года, на которое Гоголь прямо и ссылается. Но пи-

шет Гоголь в 1844 году, вскоре после гибели Пушкина. И оба упоминаемых им отрывка приходится как раз на годы личного общения писателей (1831—1836).

Для нас особенно существенно указание Гоголя на импровизационное происхождение текста «Русская изба», т.е. главки пятой из статьи Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835). С впечатлениями близкого Пушкину автора-путешественника, едущего по следам Радищева, «Русская изба» связана больше идейно, чем тематически. Эта самостоятельность как раз и дает возможность составителям собрания сочинений в 1841 году опубликовать главку отдельно, вне контекста неподцензурной статьи о Радищеве.

Значит, если верить Гоголю, текст «Русской избы» родился как импровизация на заданную тему, а потом нашел свое место в «Путешествии из Москвы в Петербург»<sup>120</sup>.

История грибоедовского эпизода из другого путешествия, «Путешествия в Арзрум», может быть сходной. Тогда придется предположить, что импровизация на тему тегеранской трагедии была создана Пушкиным после 1829 года и к 1835 году, когда автор приступил к окончательной обработке своих «путевых записок», ждала своего часа. Если мы правы, то вступительные строки эпизода — о встрече тела поэта — можно рассматривать как «мостик», как связку между двумя разнородными текстами.

В русле нашей гипотезы о грибоедовском эпизоде как импровизационной вставке находятся еще два небольших наблюдения. Во-первых, в оглавлении к главе второй «Путешествия в Арзрум» эпизод характерно назван: «Грибоедов» (VIII, 456). Такое название естественно примыкает к ряду «замечательных предметов», упоминаемых Гоголем: «Русская изба», «Державин», а далее может быть и «Грибоедов». Во-вторых, закончив грибоедовский эпизод знаменитым «мы ленивы и нелюбопытны», Пушкин отделяет его от следующего абзаца не только многоточием, но и пробелом в несколько строк. Тут как бы еще один намек на самостоятельность, особенность темы поэта-мученика.

Если вслед за Гоголем представить себе билет в вазе, на котором написано одно слово: «Грибоедов», то в дальнейшей истории текста ничего удивительного не будет. В сложном и разветвленном литературном хозяйстве Пушкина все должно было найти свое место, в том числе и такой сгусток поэтизированной прозы, каким является грибоедовский эпизод. В этом смысле генетическая и тематическая связь отрывка с импровизациями Мицкевича приобретает и некоторое композиционное значение. Ибо можно осторожно предположить родство между тектоникой «Путешествия в Арзрум» и сложением «Египетских ночей».

Обе импровизации итальянца, как известно, исходно суверенны по отношению к корпусу основного, прозаического текста. Первая, трактирная импровизация на тему: «поэт сам избирает предметы для своих песен...» либо восходит к поэме «Езерский», либо, может быть, имеет с нею общий, более ранний протограф. Вторая, салонная, — «Клеопатра и ее любовники» — должна была стать переработкой стихотворения о Клеопатре, написанного еще в 1828 году. Похожий способ сложения видится нам и в «Путешествии в Арзрум».

Конечно, особенности одного эпизода — хотя бы и столь важного, как грибоедовский, — нельзя механически переносить на всю вещь. Но в литературе уже высказывались мнения о том, что ход мысли в «Путешествии в Арзрум», вся логика повествования — самостоятельны, не полностью заданы реальным движением героя-путешественника<sup>121</sup>. С этой точки зрения записка Пушкина скорее в родстве не с путевыми дневниками (вроде «Фрегата «Паллада» Гончарова), а с чисто художественной прозой, например, Стерна и Карамзина, где движение автора лишь есть один из внешних приемов повествования.

И наша попытка воссоздать историю грибоедовского эпизода — еще одно из возможных тому подтверждений.

### АВТОГРАФ С ДЕСЯТЬЮ ТЕМАМИ

В 1855 году П.В. Анненков опубликовал автограф Пушкина, с тех пор часто привлекавший внимание исследователей. Речь идет о карандашном наброске следующего списка:

«Скупой  
Ромул и Рем  
Моцарт и Сальери  
Д. Жуан  
Иисус  
Беральд Савойский  
Павел I  
Влюбленный бес  
Дмитрий и Марина  
Курбский»<sup>122</sup>.

Комментируя этот список, составленный Пушкиным, П.В. Анненков заметил: «...мы нашли перечень всех драм, написанных им, из которых только половина нам известна; другая или была истреблена автором, или изложена вчерне и затеряна потом. Пушкин никогда не делал перечета произведениям, еще не существующим»<sup>123</sup>. Впоследствии пушкинисты продолжали вслед за Анненковым утверждать, что у нас в руках список драматических произведений, быть может, даже полное перечисление маленьких трагедий. Такая версия возможна. Однако Анненков неточен, когда пишет, что половина драм, перечисленных в списке, нам известна. Твердо известно только одно драматическое произведение Пушкина, озаглавленное так же, как в списке: «Моцарт и Сальери». Даже если принять, что «Скупой» станет «Скупым рыцарем», а «Д. Жуан» — «Каменным гостем», то и тогда автограф объясняется как «перечет драм» не на половину, а менее чем на треть (3 из 10).

Тем самым соображения Анненкова есть лишь гипотеза, оставляющая место и для иных предположений.



Истолкование списка вообще затруднено пестротой самих сюжетов; они совершенно не поддаются классификации. Русские темы следуют здесь за европейскими. Исторические сюжеты перемежаются вымышленными. А подцензурные соседствуют с совершенно запретными, вроде «Иисуса» и «Павла I».

Датировка автографа также неясна. Поскольку у нас нет возможности здесь подробно обосновать дату, постольку мы просто согласимся с М.А. Цявловским, который относит его ко времени не ранее лета 1826 года<sup>124</sup>, и с Ю.М. Лотманом, который при некоторых оговорках считает датой автографа лето 1826 года<sup>125</sup>.

Скажем сразу: нам не удастся дать строгое истолкование наброска. Цель наша скромнее: предложить гипотезу, которая удовлетворяла бы потребностям связать автограф с пушкинской биографией и ответить на вопрос о жанре упоминаемых произведений.

По нашему мнению, важнейшими аргументами будут тут пушкинские записи, сделанные на том же листе. Как известно, интересующий нас автограф находится на обороте листа. А на лицевой его стороне — известное стихотворение «Под небом голубым страны своей родной», над которым Пушкин выставил дату: «29 июля 1826». Под стихами — запись, которую принято истолковывать как памятные заметки о смерти Амалии Ризнич, последовавшей в Италии, и казни пяти декабристов. Традиционное объяснение записи состоит в том, что Пушкин узнает об этих печальных событиях соответственно 25 и 24 июля 1826 года<sup>126</sup>.

Итак, листок с автографом приводит нас к итальянским мотивам творчества Пушкина и к кругу последекабрьских размышлений поэта. Не будем упускать из виду, что идет лето 1826 года: Пушкин уже много месяцев живет в Михайловском. Быт его, поднадзорного ссыльного, вполне устоялся, сложились привычки, навыки поведения. Утренние и дневные часы посвящены работе; свои вечера поэт проводит в соседнем имении Тригорском, где его с нетерпением ждет дамское общество Осиповых-Вульфов.

Приехав в «далекий северный уезд» из Одессы, где «Язык Италии златой / Звучит по улице веселой» (VI, 201), Пушкин, по-видимому, привез с собой в Тригорское некую итальянскую игру, быстро захватившую барышень. Они изучают итальянский, садятся к фортепиано с нотами Россини, которые для них выписал Пушкин (XIII, 114, 532); сам поэт пишет в письме о романсе «Венецианская ночь» в «небесном» исполнении Анны Керн на мотив баркаролы (XIII, 189). Ежедневные приезды Пушкина в Тригорское как бы сопровождаются плеском адриатических волн, пенем канцон, романсов, оперных арий. «Язык Петрарки и любви» громко звучит на тригорском холме.

Тот же язык прослеживается и в рукописях. Летом 1826 года Пушкин переводит отрывок из Ариостова «Orlando furioso». Да и в изучаемый автограф итальянская тема проникает строкою: «Ромул и Рем». Добавим еще, что в списке помянуто название «Беральд Савойский»; обширную выписку из этого рыцарского романа Пушкин сделал теми же бледными деревенскими чернилами, которыми написаны

и стихотворение «Под небом голубым страны своей родной» и строфы «Orlando furioso»<sup>127</sup>.

Таким образом, вокруг листка с десятью темами спущаются итальянские мотивы.

Другой важный для нас признак деревенского быта Пушкина есть ссыльное невольничество, тревожное состояние души после декабрьского восстания. Не будучи прямо замешан в заговоре, поэт довольно спокоен и живет надеждой на лучшее до весны 1826 года. Но в середине апреля он получает письмо от Жуковского, из которого узнает о своих стихах, постоянно находимых следствием в бумагах декабристов. «Это должно заставить тебя трепетать» (XIII, 271), — пишет Жуковский. Именно летом 1826 года, по весьма правдоподобной догадке Я.Л. Левкович, Пушкин должен был уничтожить свои автобиографические записки, ведомые с 1821 года. Указывая крайнюю дату сожжения записок — середина августа — исследовательница как бы «поглощает» июльские числа, выставленные Пушкиным на лицевой стороне листка с десятью темами. Одно из этих чисел, как мы помним, связано с казнью декабристов, два других — со смертью Ризнич<sup>128</sup>.

Теперь пора раскрыть смысл нашего предположения. набросок с десятью темами питается, по нашему мнению, из двух источников: трагические мысли Пушкина о следствии, суде и казни декабристов и та итальянская игра, которую поэт ведет с обитательницами Тригорского.

Если наша гипотеза верна, то изучаемый **набросок с десятью темами тяготеет к «Декамерону»**.

Нетрудно представить себе долгие вечера в Тригорском, когда тесный кружок друзей — женщин и мужчин — развлекается, выслушивая рассказы то одного, то другого собрата. У Бокаччо, как известно, десять затворников, укрывшихся от чумы, свирепствовавшей во Флоренции, посвящают рассказам десять вечеров. Так что на каждого из повествователей всего приходится десять новелл. Если такая же игра возникла в Тригорском, то десять тем, записанных Пушкиным, вполне могут быть его памяткой: о чем рассказывал или о чем собирается рассказать.

Конечно, святогорские окрестности — не окрестности Флоренции, а тревоги Пушкина навеваны не буквальной чумой. Но в сознании поэта болезнь вовсе не всегда по смыслу буквальна. Например, в письме, написанном из Кишинева пятью годами раньше, Пушкин сообщает о своем положении Сергею Тургеневу: «... я сам в карантине, и смотритель Инзов не выпускает меня, как зараженного какою-то либеральной чумой» (XIII, 31). Легкая неволя на юге становится как бы прообразом тяжелой и длительной ссылки в северный уезд, а «либеральная чума» и есть как раз та «скверна», в которой правительство может подозревать опального поэта. То же инсказание несомненно распространяется и на гибнущих друзей-декабристов.

Заметим далее, что одно из главных условий, которое ставят себе персонажи «Декамерона», состоит в том, чтобы «каждый воздержался от каких-либо известий извне», т.е. не говорить о чуме. На этом настаивает первая королева собрания Пампиния<sup>129</sup>. Среди названий, записанных Пушкиным, нет ни одного, которое намекало бы на актуальный сюжет, как-то связаны с текущими событиями, а уж тем более

напоминало бы о расправе над декабристами. Эта подробность тоже укрепляет связь десятистрочной записи с «Декамероном»<sup>130</sup>.

Ситуация «Декамерона» как бы растворена в воздухе Михайловского и Григорского. С этой точки зрения весьма показательна, например, история создания «Графа Нулина», произведения, которое сам Пушкин дважды прямо соотносит с «шутливыми сказками» и «вольными повестями» Бокаччо (XI, 98, 156). Сам характер истории о пощечине, полученной легкомысленным петиметром, заставляет согласиться с историком итальянской литературы, когда он утверждает: «Вдохновенно, свободно и весело создавая «Графа Нулина», Пушкин вспоминал не только о «Лукреции» Шекспира, но также и о «Декамероне» Джованни Бокаччо»<sup>131</sup>. Для нас, однако, важно не простое сходство сюжетов и положений, но отношение автора к своему творению. Когда поэт обнаруживает, что завершил шутливую поэму 14 декабря 1825 года, то, записывая знаменитую реплику «бывают странные сближения», он несомненно находится в русле основной странности Бокаччо: шутка, веселый анекдот в разгар национального бедствия. «Либеральная чума» подразумевается, но находится за пределами фривольного повествования.

Люди пушкинского круга прекрасно понимали условия такого рода игры<sup>132</sup>. Говоря в своих записных книжках о «Декамероне», П.А. Вяземский не забывает отметить «противоположность бедственной эпохи, в которую Бокаччо переносит свой рассказ, с игривым вымыслом самих сказок. «Граф Нулин» — сказка Бокаччо XIX века»<sup>133</sup>.

Тот же декамероновский пласт пушкинского сознания находим и в записях на обороте автографа с десятью темами. Дело не только в том, что Амалия Ризнич умирает во Флоренции, т.е. именно там, где происходит действие великой книги. Гораздо важнее самый смысл стихотворения «Под небом голубым страны своей родной». Поэт узнает о смерти некогда любимой женщины, но «не находит слез» для ее бедной тени:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть  
И равнодушно ей внимал я. (III, 20)

Разумеется. Судя по записи под стихотворением, эта весть приходит на следующий день после сообщения о казни декабристов. И национальная трагедия должна перевесить тяжесть единичной смерти, хотя бы и смерти близкого человека. Но ведь это — один из главных мотивов введения к первому дню «Декамерона». В зачумленной Флоренции покойникам «не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными»<sup>134</sup>.

Бокаччианский отголосок ясно чувствуется и в стихотворном послании Пушкина к Алексею Вульффу, направленном из Михайловского в Дерпт. Поэт рисует в нем

некий идеал затворнического существования трех молодых мужчин — Вульфа, Языкова и самого Пушкина — среди прекрасных дам, в которых они «мертвецки влюблены». Но ведь и все трое мужчин «Декамерона» — Памфило, Филострато и Дионео — отличаются тем же. Как говорит, краснея, Неифила, «хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас»<sup>135</sup>. Однако, как мы помним, в окружении чумы это препятствие для совместной жизни легко преодолевается. В том же послании к Вульфу есть и еще одна черта, навеянная великим флорентийцем. Каждый новый день «Декамерона» общество проводит в новом замке, в новом имении. В стихотворении Пушкина этому условию соответствует третья строфа:

Запируем уж, молчи!  
Чудо — жизнь анахорета!  
В Троегорском до ночи,  
А в Михайловском до света. (XIII, 109)

Конечно, по этому признаку, признаку очаговой замкнутости, вся русская усадебная культура XVIII—XIX веков родственна «Декамерону». Но для Пушкина в Михайловском и Болдине особенно важны бокаччианские мотивы быггия, сопровождающие его «в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров» (XIV, 114, пер. с фр. 416).

В Одессе начата и в Михайловском завершена третья песнь «Онегина». В ней тоже слышны декамероновские отголоски. Мы лишены возможности подробно соотнести стихи этой главы с творением великого гуманиста. Тем не менее одним наблюдением мы все же рискнем поделиться.

В заключительный, десятый день «Декамерона» седьмую новеллу рассказывает рассудительная Пампиния. Вот, в немногих словах, фабула ее повествования.

В Палермо живет безвестная девица по имени Лиза. Однажды из окна своего дома она видит короля и страстно в него влюбляется. Она чахнет от любви, а семья полагает, что она нездорова. В конце концов девица решает открыться королю, поведать ему о своем чувстве. Поэт от ее имени сочиняет канцону-признание, а певец исполняет эту канцону перед королем. Король тронут признанием девицы; он навещает ее в доме родителей и хвалит высокое достоинство Лизы. Однако ж он понимает, что им не суждено соединиться. Поэтому король выдает Лизу за одного знатного рыцаря, но к Лизе сохраняет любовь и уважение<sup>136</sup>.

Сопоставление канцонь-признания, которую Бокаччо вводит в текст новеллы, с письмом Татьяны к Онегину могло бы стать предметом отдельного исследования. Мы ограничимся только одним замечанием. Канцона не принадлежит Лизе, она от ее имени сочинена поэтом; точно так же и русские стихи письма Татьяны не принадлежат ей — ведь Пушкин как бы перелагает стихами французский прозаический подлинник. Совершенно в духе ренессансной поэзии и новеллистики.

Пушкин усваивает, конечно, не только литературные формы, но и формы ренессансного поведения, общения. И это прослеживается в его переписке. Когда в 1831 году поэт узнает, что его друг Элиза Хитрово попадает в холерный карантин, он откликается письмом, где замечает: «Хотя я не докучал вам своими письмами в

эти бедственные дни, я все же не упускал случая получить о вас известия, я знал, что вы здоровы и развлекаетесь, это, конечно, вполне достойно «Декамерона». Вы читали во время чумы вместо того, чтобы слушать рассказы, это тоже очень философично» (XIV, 225). Пушкин играет здесь не только на сходстве флорентийской чумы с отечественной холерой, но и на сходстве имен: Элиза Хитрово и Елиза — одна из семи слушательниц-рассказчиц «Декамерона»...

Но вернемся к автографу с десятью темами. Если верна догадка о том, что в наших руках письменный след некоего михайловско-тригорского «Декамерона», то должны быть факты, свидетельствующие об устных рассказах Пушкина на темы, обозначенные в списке.

Такие факты есть.

Анна Петровна Керн, побывавшая в Тригорском летом 1825 года, вспоминала о Пушкине, развлекавшем тригорское общество:

«Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, острою и чувствительностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в «Подснежнике». Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему утощать и занимать общество»<sup>137</sup>.

Связь пушкинского сюжета «Влюбленный бес» с устной новеллой, получившей в обработке В.П. Титова название «Уединенный домик на Васильевском», была установлена много лет назад Ю.Г. Оксманом<sup>138</sup> и с тех пор неоднократно подчеркивалась. Для нас здесь важно только то, что сюжет «Влюбленного беса», вошедший в список с десятью темами, Пушкин рассказывал дважды — сначала в Тригорском, а потом в Петербурге в салоне Карамзиных (не позднее 1829 года). В мемуарах Керн, воссоздающих эпизод в Тригорском, интересно и замечание о том, как Пушкин «задавал себе тему». Значит, его устные новеллы не были простой случайностью, импровизацией, пришедшейся к слову. То были, следовательно, обдуманно заранее сюжеты, и автограф плана «Влюбленного беса», относимый примерно к началу двадцатых годов (VIII, 429, 1062), надежно это подтверждает.

Существовала и устная новелла Пушкина о Павле I. Она известна в записи В.А. Соллогуба, недавно найденной В.Э. Вацуро. Вот как Соллогуб передает услышанное от поэта:

«Пушкин рассказывал, что, когда служил он в Министерстве иностранных дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал следующее.

Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголов-



ка: «Указ е.и.в.» — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказа и боялся начать с середины, сидел ни жив мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.

— Что же государь? — спросил Пушкин.

— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.

— А что же диктовал вам государь? — спросил снова Пушкин.

— Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу»<sup>139</sup>.

Эту забавную историю Соллогуб слышал в 30-е годы. Но Пушкин знал ее раньше; ведь его беседа с чиновником состоялась до мая 1820 года, т.е. до отъезда из Петербурга в южную ссылку. Значит, ничто не мешало Пушкину рассказать этот эпизод в Тригорском. А уж потом забавлять им петербургские салоны. Вот ведь «Влюбленный бес», достоверно известно, именно такой путь и прошел — от тригорского кружка до карамзинской гостиной.

Судя по намекам в дневнике М.П. Погодина, осенью 1826 года по приезде в старую столицу из Михайловского Пушкин рассказывал в кругу московских любителей нечто на евангельские сюжеты и о Димитрии Самозванце<sup>140</sup>. И о Ромуле и Реме тогда же Пушкин рассказывал Шевыреву<sup>141</sup>...

Попробуем подвести итоги.

Нам представляется, что список из десяти названий приоткрывает малоизвестную, почти полностью утраченную область творческого наследия Пушкина — область устной новеллы. Истокование автографа как перечисления сюжетов, рассказанных в гостиной, и связь их с «Декамероном», устраняют многие противоречия в подборе и характере тем автографа. Ибо вслед Бокаччо Пушкин волен здесь чередовать исторические персонажи с вымышленными, отечественные с зарубежными, подцензурные с неподцензурными. Именно в таких рассказах для дружеского круга Пушкин должен был наслаждаться истинной и полной свободой творчества и поведения. Так примерно, как пользуется этой свободой близкий автору персонаж Алексей Иванович, рассказчик о Клеопатре в отрывке «Мы проводили вечер на даче...»

И, наконец, мнение А.С. Пушкина об этой стороне творчества брата. Александр Сергеевич «становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-то близком его душе. Тогда-то он являлся поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях»<sup>142</sup>.

<sup>1</sup> Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2-е. — Горький, 1984. — С. 7.

<sup>2</sup> А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 2. — М., 1974. — С. 108.

<sup>3</sup> См.: Там же. — С. 407; Разговоры Пушкина /Собр. С. Гессен и Б. Модзалевский. — М., 1929. — С. 132.

<sup>4</sup>Анна Ахматова. Пушкин в 1828 году //Вопросы литературы. — 1970. — № 1. — С. 195—206.

<sup>5</sup>Иванов Вячеслав. Лик и личины России: эстетика и литературная теория. — М., 1995. — С. 230, 231.

<sup>6</sup>Фотокопию автографа см.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Т.3. — Л., 1977. — С. 339.

<sup>7</sup>Например, в строке «Я не рошшу о том, что отказали боги...» (III, 420) слово «боги» начинается со строчной буквы, так как это персонажи пантеона.

<sup>8</sup>См. например: Булгаков Сергей. Моцарт и Сальери //Пушкин в русской философской критике. — М., 1990. — С. 294—301; Новикова Марина. Пушкинский космос //Пушкин в XX веке. — Вып.1. — М., 1995. — С. 186—229; Белый А.А. «Я понять тебя хочу...» — М., 1995. — С. 97—120.

<sup>9</sup>Ренан Э. История Израильского народа. В 2-х т. — Т.1. — СПб., 1912. — С. 398—399.

<sup>10</sup>Ильин Иван. Пророческое призвание Пушкина //Пушкин в русской философской критике. — С. 334.

<sup>11</sup>Иларион. Слово о Законе и Благодати/ Сост., вступительная статья, пер. В.Я.Дерягина. Реконструкция древнерус. текста Л.П.Жуковской. Комментар. В.Я.Дерягина, А.К.Светозарского. — М., 1994.

<sup>12</sup>Дерягин В.Я. Иларион. Жизнь и «Слово» //Иларион. Указ. соч.

<sup>13</sup>Там же. — С. 7.

<sup>14</sup>Сложную коллизию закона и благодати, несомненно родственную маленькой трагедии, Пушкин в том же 1830 году затрагивает в главе восьмой «Онегина», когда вспоминает свою молодость: он жил, «в закон себе вменяя/ Страстей единый произвол» (У1, 166). Оксюморон «закон — произвол» подчеркивает здесь опасную удаленность от благодатных основ.

<sup>15</sup>Иларион. Указ. соч. — С. 32.

<sup>16</sup>Там же. — С. 33, 119.

<sup>17</sup>Перевод Т.А. Сумниковой //Федорова М.Е., Сумникова Т.А. Хрестоматия по древнерусской литературе. — М., 1994 — С. 27.

<sup>18</sup>Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. — М., 1931; Эйдельман Н.Я. Быть может, за хребтом Кавказа. — М., 1990; Викери У. Загадочная помета Пушкина //Временник Пушкинской комиссии. 1977. — Л., 1980; Терехина Р.Е. Пометы Пушкина на рукописях //Временник Пушкинской комиссии. 1977. — Л., 1980; Белкин Д.И. О комментариях к стихам «Стамбул гяуры нынче славят...» //Болдинские чтения. — Горький, 1983; Черняев Н.И. Критические статьи и заметки о Пушкине. — Харьков, 1990; Григорьева А.Д., Иванова Н.Н. Язык лирики XIX века. Пушкин и Некрасов. — М., 1981; Новикова М. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиция в творчестве Пушкина //Пушкин в XX веке. — Вып. 1. — М., 1995; Фомичев С.А. К истолкованию пометы при стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят...» //Вторая междунар. конф. к 175-летию приезда Пушкина в Кишинев. — Кишинев, 1995.

<sup>19</sup>Благой Д. Указ. соч. — С. 195.

<sup>20</sup>Эйдельман Н.Я. Указ. соч. — С. 199—202.

<sup>21</sup>Викери У. Указ. соч. — С. 94.

<sup>22</sup>Терехина Р.Е. Указ. соч. — С. 96—97.

<sup>23</sup>Тут напрашивается аналогия: той же болдинской осенью 1830 г. Пушкин выставляет дату (29 сентября) к стихотворению «Герой», что вовсе не день его создания, а памятное число — день приезда Николая I в охваченную холерой Москву (III, 1221, примеч.). Тем

самым дата становится элементом содержания вещи, т.к. связывает «чумной» эпизод Наполеона с «холерной» страницей биографии Николая I.

<sup>24</sup>Сокращенный молитвослов. — Киев, 1869. — С. 306.

<sup>25</sup>Ренан Э. Указ. соч. — С. 398—399.

<sup>26</sup>Там же. — С. 101—102.

<sup>27</sup>См. Новикова М. Указ. соч. — С. 87—95. Здесь указанное сходство разбирается в ином, хотя и близком к нашему контексте.

<sup>28</sup>Современный исследователь замечает: «У смертного одра северного царства Израиля стоял великий пророк Осия». — См.: Мень А. История религии. В поисках пути, истины и жизни. — М., 1994. — С. 110.

<sup>29</sup>Разобшение Петербурга и коренной России видно даже в сравнительно скромной реплике старого Гринева из «Капитанской дочки»: «Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служба в Петербурге? мотать да повесничать?» (VIII, 282).

<sup>30</sup>Церковно-славянский текст, известный Пушкину: «...яко соделаша лжу: и тать к нему внидет, совлачаяй разбойник на пути его».

<sup>31</sup>Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. — М., 1989. — С. 28—29.

<sup>32</sup>Сборник Русского Исторического общества (далее — сб. РИО). — Т. 74. — Спб., 1800. — С. XV.

<sup>33</sup>Архипова Т.Г. Секретный комитет 6 декабря 1826 г. //Груды Московского государственного историко-архивного института. — Т. 20. — М., 1965. — С. 216.

<sup>34</sup>Там же. — С. 214—215.

<sup>35</sup>Там же. — С. 216—217.

<sup>36</sup>Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. — Л., 1975. — С. 199 (Кочубей), с. 395 (Сперанский), с. 38 (Блудов), с. 131 (Дибич), с. 414 (Толстой), с. 100 (Голицын), с. 58 (Васильчиков), с. 197 (Корф).

<sup>37</sup>Архипова Т.Г. Указ. соч. — С. 212.

<sup>38</sup>Там же. — С. 231—234.

<sup>39</sup>Пушкин. Письма/Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. — Т. 2. — М., 1928. — С. 77.

<sup>40</sup>Архипов Т.Г. Указ. соч. — С. 236.

<sup>41</sup>РИО. — Т. 90. — С. 467—479.

<sup>42</sup>Пушкин. Переписка. — Т. 2. — С. 121—122 (подлинник по-французски).

<sup>43</sup>Рамбо. Королевство Польское. Восстание //История XX века /Под ред. Лависса и Рамбо. Пер. фр. — Т. 3. — М., 1938. — С. 300.

<sup>44</sup>Архипова Т.Г. Указ. соч. — С. 213.

<sup>45</sup>Переписка А.С. Пушкина: В 2-х т. — Т. 2. — М., 1982. — С. 50.

<sup>46</sup>См.: Пушкин. Письма /Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. — Т. 1. — М.—Л., 1926. — С. 408.

<sup>47</sup>Энциклопедический словарь. — Т. 44 (XXII А), (Оуэн-Патент). Изд. Брокгауз-Ефрон. — Спб., 1897. — С. 597.

<sup>48</sup>Русский Инвалид или военные ведомости. — 1825. — № 34. — 10 февраля. — С. 137 (пагинация всех №№ сквозная)

<sup>49</sup>Переписка А.С. Пушкина. — Т. 2. — С. 42.

<sup>50</sup>/Пакацкий Г.А./ Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, заключающая в себе наилучшие нравоучения, преложенная в стихи Церкви Св. равноапостольских Царей Констан-

тина и Елены, что при Санкт-Петербургских Градских богадельнях лишенным зрения Священником Гавриилом Пакатским. — СПб., 1825.

<sup>51</sup>Там же. Предисловие (без пагинации).

<sup>52</sup>Рижский М.И. История переводов Библии в России. — Новосибирск, 1978. — С. 28.

<sup>53</sup>Книга Премудрости... — С. 84—85.

<sup>54</sup>Поэма Плач Иеремии, преложенный стихами церкви Санктпетербургских Богаделен Священником Гавриилом Пакатским. — СПб., Типография Военного Министерства, 1814. — С. 1.

<sup>55</sup>Там же. — С. 36.

<sup>56</sup>Там же. — С. 2.

<sup>57</sup>Там же. — С. 1.

<sup>58</sup>Листов В.С. Миф об «островном пророчестве» в творчестве Пушкина // Легенды и мифы о Пушкине. — СПб., 1995. — С. 192—215.

<sup>59</sup>Русский инвалид... — С. 137.

<sup>60</sup>Пакатский Г. Зримый свет в стихах или возникающая Аврора. — СПб., 1805. — С. 1 (без пагинации).

<sup>61</sup>Свет зримый в лицах; ... в пользу всякого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам. Перевел с Немецкого языка на Российский Иван Хмельницкий. Изд. 2. — СПб., 1789.

<sup>62</sup>См.: Смирнов В.З. Коменский // Большая Советская Энциклопедия. — Т. 22. — М., 1953/ — С. 132; Кожик Франтишек. Ян Амос Коменский. — Прага, 1980. — С. 57. У Коменского в латинском оригинале книга называлась «Orbis pictus» («Мир в картинках»).

<sup>63</sup>Свет зримый... — С. 307—308.

<sup>64</sup>Пакатский Г. Зримый свет... — С. 263.

<sup>65</sup>Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. — Л., 1987. — С. 446 (примеч.).

<sup>66</sup>Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина. (Библиографическое описание). Отдельный оттиск из издания «Пушкин и его современники». Вып. IX—X. — СПб., 1910. — № 166—172; Алексеев М.П. Указ. соч. — С. 488—501.

<sup>67</sup>Пушкин. Полное собрание сочинений. — Т. 7. Драматические произведения. — 1935. — С. 651.

<sup>68</sup>Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. — Л., 1984. — С. 17 (примеч.).

<sup>69</sup>Малиновский А.Ф. Обзорение Москвы / Состав. С.Р. Долговой. — М., 1992. — С. 102.

<sup>70</sup>Малиновский А.Ф. Указ. соч. — С. 116. Именно эту эволюцию от «значительных» купцов к «малозначащим» дворянам пережил род Гончаровых, предков Н.Н. Пушкиной.

<sup>71</sup>См.: Легенда о докторе Фаусте. — М., 1978. — С. 171; Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. — С. 336.

<sup>72</sup>Бонди С.М. «Сцены из рыцарских времен» // Пушкин. — Т. 7. Драматические произведения. — С. 640.

<sup>73</sup>См.: Булгаков Ф. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства. — Т. 1. — СПб., 1889; Кестнер И. Иоганн Гутенберг. Пер. с нем. — Львов, 1987. — С. 37—59.

<sup>74</sup>Жирмунский В.М. Указ. соч. — С. 274.

<sup>75</sup>Легенда о докторе Фаусте. — С. 124.

<sup>76</sup>Бонди С.М. Указ. соч. — С. 647.

<sup>77</sup>Анненков П.В. Литературные проекты Пушкина // Вестник Европы. — 1881. — Кн. 7. — С. 53.

<sup>78</sup>Жирмунский В.М. Указ. соч. — С. 234.

<sup>79</sup>Винокур Г.О. Борис Годунов //Пушкин. — Т. 7. Драматические произведения. — С. 405.

<sup>80</sup>Карамзин Н.М. Указ. соч. — С. 17.

<sup>81</sup>Бонди С.М. Указ. соч. — С. 651.

<sup>82</sup>Карамзин Н.М. Указ. соч. — С. 17.

<sup>83</sup>Там же. — С. 17.

<sup>84</sup>Иногда имя и прозвище пишутся в одно слово: «Гансвурст». По-русски это прозвище можно перевести как «Ванька-Колбаса».

<sup>85</sup>Легенда о докторе Фаусте. — С. 1126, 130, 131 и др.

<sup>86</sup>См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание /Сост. Л.Б.Модзалевский и Б.В.Томашевский. — М.—Л., 1937. — С. 92.

<sup>87</sup>Киево-Печерский патерик, или Сказания о жизни и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской лавры. — Киев, 1991. — С. 133.

<sup>88</sup>Подробнее об этом см. главу пятую наст. издания.

<sup>89</sup>См.: Полный православный энциклопедический словарь: В 2-х т. — Т.2. — СПб., б.г. — С. 2069—2070.

<sup>90</sup>См.: Фомиачев С. Новые тексты стихотворений А.С.Пушкина. — СПб., 1996. — С. 38—41.

<sup>91</sup>См., например: Сокращенный молитвослов. — Киев. В типографии Киево-Печерской лавры, 1869. — С. 87.

<sup>92</sup>Ренан Э. Указ. соч. — Т.2. — СПб, 1912. — С. 93.

<sup>93</sup>Вульф А.Н. О Пушкине //А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 2.

<sup>94</sup>Пушкин А.С. Медный всадник. — Л., 1978. — С. 78.

<sup>95</sup>Там же. — С.37.

<sup>96</sup>Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. — Л., 1984. — С. 73.

<sup>97</sup>Каган Ю. Музеус и его сказки // Музеус. Сказки и легенды / Перевод с немецкого Е.Путачевой. — М., 1993. — С. 3.

<sup>98</sup>Musaues, Johann Karl August. Volksmarchen der Deutschen. Frankfurt am Main. Insel Verlag, 1988, S. 21—43.

<sup>99</sup>Карамзин Н.М. Указ. соч. — С. 80—81. Могила графа Глейхена существует в Эрфурте и сейчас. На камне изображены рыцарь и две женщины. По-видимому, легенда, рассказанная Карамзиным, имеет некоторые реальные основания.

<sup>100</sup>Musaues. Ibid. S. 245—328.

<sup>101</sup>Модзалевский Б.Л. Указ. соч. — СПб., 1910. — С. 154.

<sup>102</sup>Goethes Werke. In 13 Banden. Jubiläumsausgabe. Herausgegeben von L.V.Kamenew, A.W.Lunatscharsky, M.N.Rosanow, B. 13. Dramen in Prosa, 1933. S.618

<sup>103</sup>Ibid. S. 254—255.

<sup>104</sup>Томашевский Б.В. «Каменный гость» (Комментарий) // Пушкин. — Т. 7. Драматические произведения. — С. 569 (примечание).

<sup>105</sup>См.: Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. — Л., 1975. — С. 68. «Народные сказки Музеуса, изданные Виландом /Перевод с немецкого Вас. Полякова. — М., 1811. — Т. 1—2.

<sup>106</sup>См.: А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М., 1929. — С. 204, 213, 218; А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. — М., 1980. — С. 292—302, 328. По-видимому, единственный источник, как-то подкрепляющий слова Пушкина о трех днях надругательства над телом Грибоедова, — «Смерть Вазир-Мухтара. Рассказ Амбарцума (Ибрагим-



бега)». Но и этот автор сообщает только о «двух днях» бесчинства, а не о трех. И он не уверен, подверглось ли осквернению именно тело Грибоедова. Кроме того, рассказ Амбарцума был опубликован только в 1901 году. См.: Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников. — Л., 1929. — С. 201.

<sup>107</sup>Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. — М., 1984. — С. 293—294.

<sup>108</sup>См.: Жмакин В. Погребение константинопольского патриарха Григория V в Одессе //Русская старина. — 1894. — Т. 82. — С. 198—213.

<sup>109</sup>Черейский Л.А. Указ. соч. — С. 251—252.

<sup>110</sup>См., например, Русский инвалид, 1821, № 118, 21 мая, с. 476.

<sup>111</sup>Жмакин В. Указ. соч. — С. 202.

<sup>112</sup>Там же. — С. 206.

<sup>112</sup>См.: Русский архив. — 1894. — № 10. — С. 148; 1912, № 7. — С. 407.

<sup>112</sup>См.: Жмакин В. Указ. соч. — С. 205—211.

<sup>115</sup>Еще одно косвенное соображение: в «Египетских ночах» импровизатор выступает дважды и оба раза на темы, предложенные Чарским, т.е. поэтом, которому Пушкин придал много своих собственных черт. Разумеется, у «одесской темы» мог быть и другой автор, например В.Ф. Вяземская, с июня 1824 года жившая с детьми в Одессе. Но ее присутствие при импровизации Мицкевича, по-видимому, в источниках не отражено.

<sup>116</sup>Константин Экономид (Икономас). Слова, говоренные в Одессе на греческом языке в 1821 и 1822 годах при погребении Константинопольского патриарха... — Спб., 1829. Цензурное разрешение от 1 марта 1829 года. О К. Экономиде (1780—1857) см.: Дестунис Г. О жизни и трудах Константина Экономоса. — Спб., 1860.

<sup>117</sup>Там же. — С. 18.

<sup>118</sup>Письма Н.В. Гоголя /Ред. и предисл. В.И. Шенрока: В 4-х т. — Т. 2. — Спб., (1901). — С. 562.

<sup>119</sup>Тут возможно сравнение и с выпадением карты при игре в фараон, на чем построен сюжет «Пиковой дамы». Но это другая тема.

<sup>120</sup>Конечно, судя по черновикам, не вся глава «Русская изба» могла быть результатом импровизации, но разбор ее структуры далеко увел бы нас от основной темы.

<sup>121</sup>Сошлемся, например, на статью: Слина Э.В. Лирический цикл А.С. Пушкина «Стихи, сочиненные во время путешествия» (1829) //Пушкинский сборник. — Л., 1977 (Ленинградский пед. ин-т им. А.И. Герцена, Псковский гос. пед. ин-т им. С.М. Кирова). — С. 3—15.

<sup>122</sup>Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. — М.—Л., 1935. — С. 276. В первой публикации строки «Иисус» и «Павел I» отсутствовали по цензурным соображениям.

<sup>123</sup>Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии... Изд. П.В. Анненкова: В 7-ми т. — Т. 1. — Спб., 1855. — С. 284.

<sup>124</sup>См.: Рукою Пушкина. — С. 276.

<sup>125</sup>Лотман Ю.М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе //Временник Пушкинской комиссии. 1979. — Л., 1982. — С. 15.

<sup>126</sup>См.: Рукою Пушкина. — С. 307. Комментарий М.А. Цявловского.

<sup>127</sup>См.: Рукою Пушкина. — С. 500. Комментарий Т.Г. Зингер.

<sup>128</sup>См.: Левкович Я.Л. Когда Пушкин уничтожил свои записки? //Временник Пушкинской комиссии. 1979. — С. 102—106. Попутно заметим, что если «Иисус» и «Павел I» действительно драмы, то Пушкин, выходя, одновременно уничтожает одни неподцензурные произведения и замышляет — или даже пипшет — другие. Маловероятно...

<sup>129</sup>Бокаччо Джованни. Декамерон /Перевод с итальянского А.Н. Веселовского. — М., 1955. — С. 44.

<sup>130</sup>В изучаемом автографе есть сюжеты-провозвестники трех «маленьких трагедий», но нет четвертой — «Пира во время чумы». Однако этот аргумент вряд ли приемлем: Пушкин в 1826 году еще не знаком с трагедией Вильсона «Чумной город».

<sup>131</sup>Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. — М., 1982. — С. 345.

<sup>132</sup>Напомним хотя бы о В.К. Кюхельбекере с его «Русским Декамероном 1831 года», в издании которого в 1836 году Пушкин, возможно, принимал участие (см.: Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. — М., 1962. — С. 427—429).

<sup>133</sup>Вяземский П.А. Записные книжки (1813—1848). — М., 1963. — С. 72. Указано Н.И. Михайловой.

<sup>134</sup>Бокаччо Джованни. Указ. соч. — С. 37.

<sup>135</sup>Там же. — С. 42.

<sup>136</sup>Там же. — С. 589—594.

<sup>137</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 1. — М., 1974. — С. 386.

<sup>138</sup>Оксман Ю. Может ли быть раскрыт пушкинский план «Влюбленного беса»? //Атеней. Историко-литературный временник. — Кн. 1—2. — 1924. — С. 166—168.

<sup>139</sup>Цит. по статье: Вацуро В.Э. Из разысканий о Пушкине //Временник Пушкинской комиссии. 1972. — Л., 1974. — С. 100. Быть может, приведенный анекдот и не составлял целого рассказа — для нас важен только устный характер этого произведения.

<sup>140</sup>Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — С. 18, 21.

<sup>141</sup>См.: Рукою Пушкина. — С. 278. Справедливости ради отметим, однако, что Шевырев запомнил рассказ Пушкина как «проект драмы».

<sup>142</sup>А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 1. — С. 63.

**У** Пушкина в первой тетради материалов к «Истории Петра» есть обширная выписка сведений о первом стрельцком бунте 1682 года. По смерти царя Феодора Алексеевича на престол сперва был возведен малолетний Петр Алексеевич; но, по замечанию Пушкина, «через две недели все рушилось» (X, 11). Стрельцы, сторонники старшей сестры Софьи, подняли в Москве мятеж.

«Мая 15 стрельцы, отпев в Знаменском монастыре молебен с водосвятием, берут чашу Святой воды и образ Божьей Матери, предшествуемые полами, при колокольном звоне и барабанном бое вторгаются в Кремль» (X, 11). В союзерстве Петру и под регентством Софьи стрельцы сажают на престол слабоумного старшего единокровного брата Петра – Иоанна. Пушкин приводит длинный список москвичей, пострадавших от бесчинств во время стрельцкого восстания. В списке этом среди убитых значится и думный дьяк Аверкий Кириллов.

С именем Аверкия Кириллова Пушкин, хорошо знавший древнюю Москву, должен был связывать один из самых романтических уголков Замоскворечья – Берсеневку.

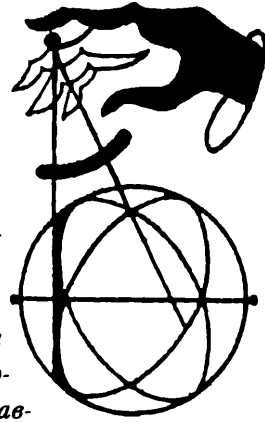
Когда в XVI – начале XVII столетия пожары уничтожили московские государевы сады (от них осталась только название – Старосадский переулок, что между Маросейкой и Ивановской горкой), царское садовое хозяйство перенесено было в Замоскворечье. На правом берегу Москвы-реки укоренились и разрослись две садовые слободы – Верхняя и Нижняя. И до сих пор еще Садовническая набережная напоминает о слободе Нижней. А Верхняя располагалась как раз на Берсеневке, на низком берегу, чуть на юго-запад от Кремля.

Тут-то, при государе Алексее Михайловиче, и обрела семья Кирилловых свой райский уголок. «В новых садах, что на Берсеневке» в середине 50-х годов воздвигнуты были каменные палаты со службами и Никольская церковь. Между жилым домом и храмом выстроили теплый переход. Все это по весне утопало в цветущих садах; золото крестов, венчающих церковь, отражалось в медленных водах Москвы-реки.

Хозяин, Аверкий Кириллов, был думный дьяк – министр, говоря по-современному. Он ведал не только слободскими садами, но и кремлевскими. И даже зимними – в царских дворцах и теремах. Хорошо унавоженную землю для комнатных растений собирали как раз на Всехсвятском (на месте Большого Каменного) мосту, соединившем Кремль с Берсеневкой, с кирилловскими палатами. Но, видно, думный дьяк не был в стороне от дворцовых интриг – почему и погиб в разгар стрельцкого бунта.

Палаты на Берсеневке, отошедшие в казну, ожили после основания Петербурга. Их приспособили для отдыха правительственных курьеров, курсировавших между обеими столицами. Курьер вручал свой пакет в Кремле и ехал отсыпаться на Берсеневку. Потом с Берсеневки – через Кремль – опять в Петербург с пакетом.

В XIX веке в палатах Аверкия Кириллова поместили юстиц-архив. Место было крайне неудачное; паводок на низком берегу реки постоянно затоплял



подвалы, гибли ценные исторические документы. Хранители архива «прославились» в Москве хитростью и изворотливостью. Ссылаясь на наводнения, они так запутали порядок хранимых дел, что никто не смог бы в них разобраться. Кроме них самих, конечно. После этого архивариусов нельзя было уволить – ведь без них никакой справки не наведешь! А старые чиновники поменьше обучали своих мальчишек, знакомили их с порядком, в котором перепутаны дела. Должность, таким образом, становилась наследственной; детям обеспечивался надежный кусок хлеба.

О проделках на Берсеневке Пушкин мог и не знать; но, прослужив после лица несколько лет в коллегии иностранных дел, поэт был хорошо знаком с чиновничьими ухищрениями. О канцеляристах он отзывался презрительно, не уважал «крапивное семя», как называли приказных в народе...

Изучая бунт 1682 года, Пушкин назвал и одно сооружение, едва ли не совсем забытое ныне искусствоведами, историками архитектуры. В их работах нередко можно встретить утверждение, будто московское гражданское зодчество в допетербургский период не знало городской скульптуры, памятника на площади. Вряд ли так. Под пером Пушкина, описывающего события конца XVII века, возникает конспективная запись о привилегиях, пожалованных победившим стрельцам после бунта:

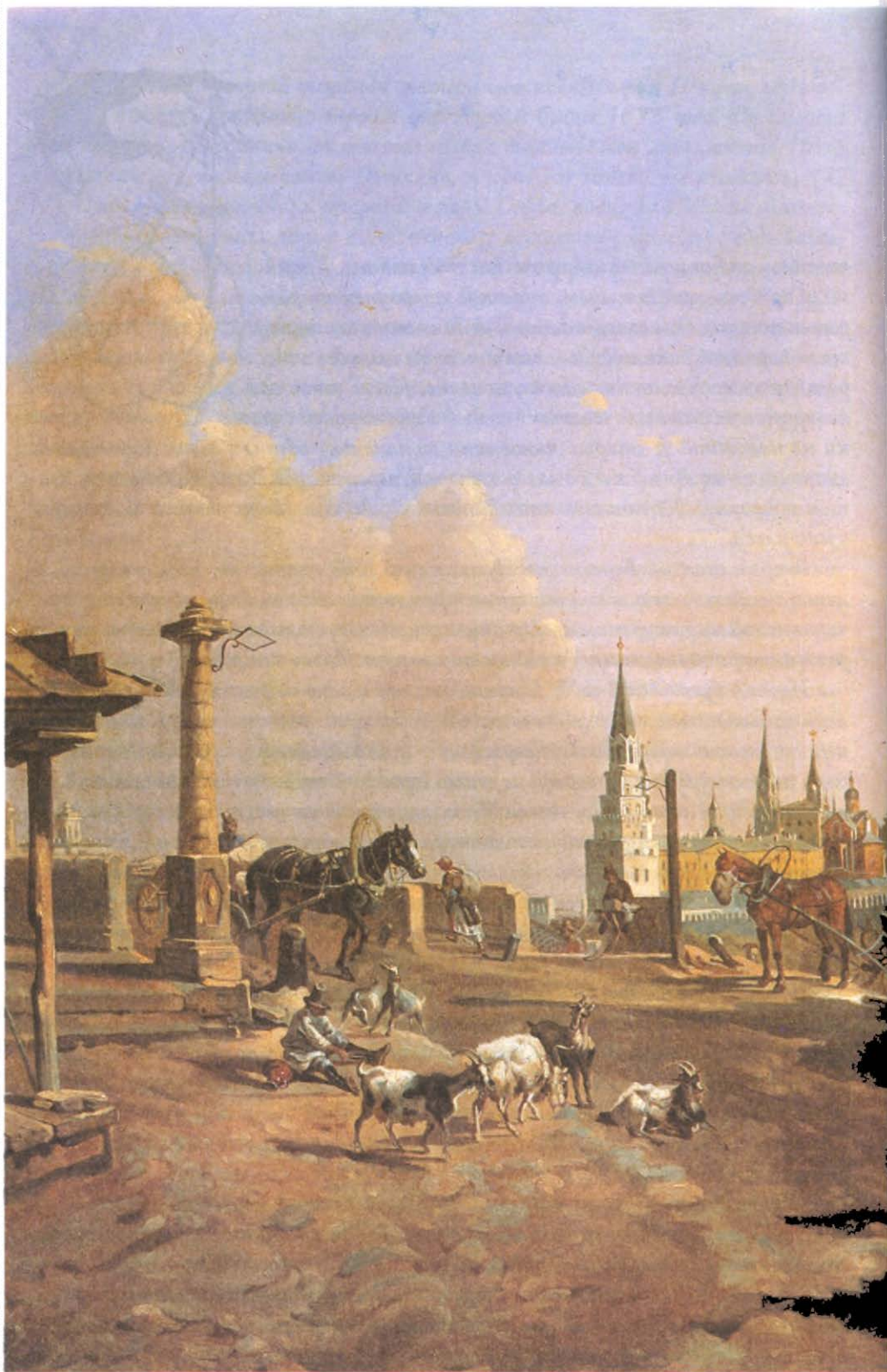
«Стрельцы получили денежные награждения, право иметь выборных, имеющих свободный въезд к великим государям, позволение воздвигнуть памятник на Красной площади...» (X, 12).

Обелиск этот («столб») был действительно воздвигнут недалеко от кремлевской стены; надписи на нем удостоверяли права стрельцов сильно и бесконтрольно влиять на жизнь царства и политику московского правительства. Но простоял «столб» недолго – только до следующего серьезного столкновения правительства со стрельцами.

Приятель Пушкина А.Ф. Малиновский так рассказывал о борьбе вокруг обелиска:

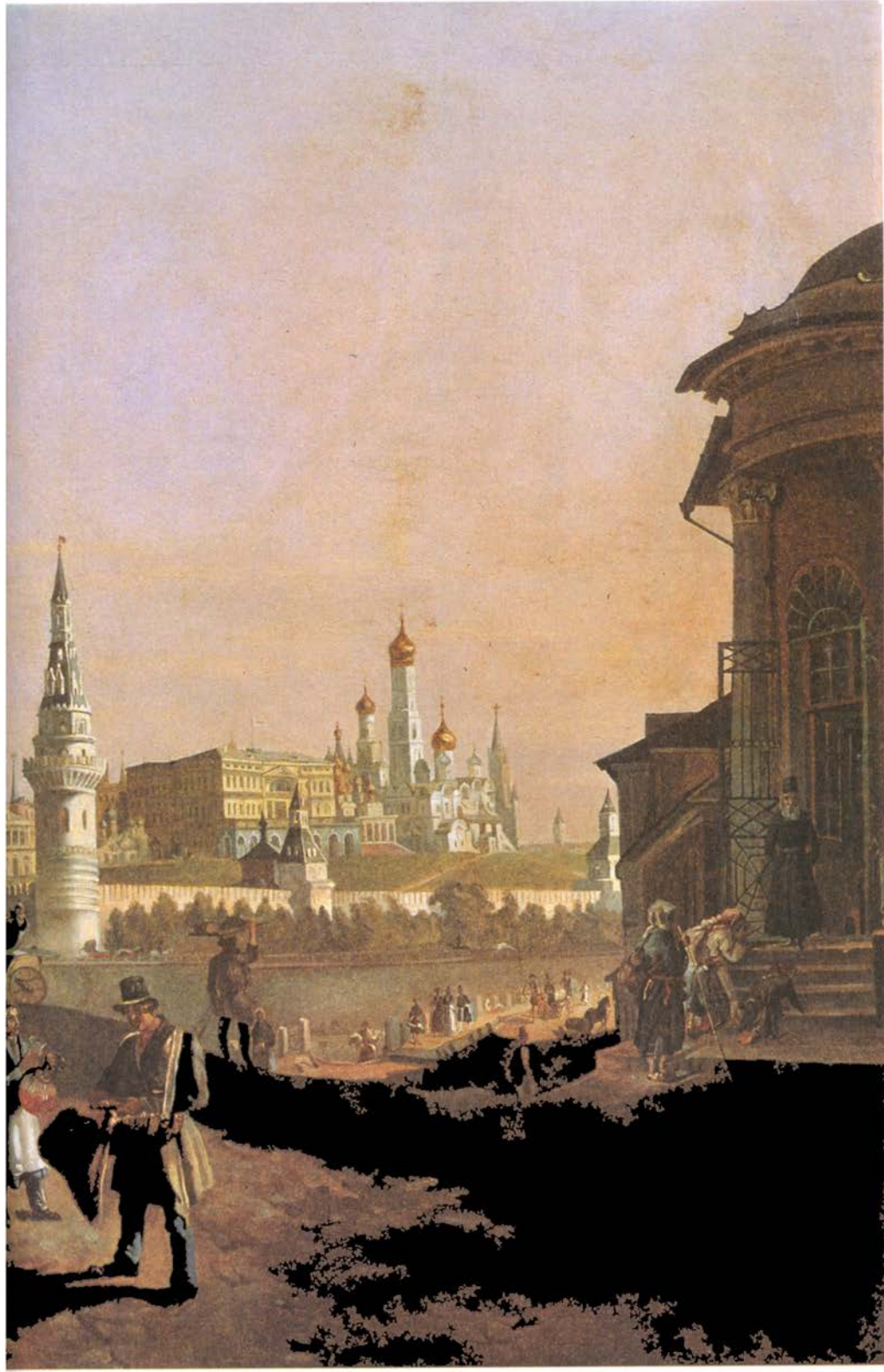
«Потворством царевны Софии буйные стрельцы соорудили на /Красной площади/ высокий каменный столб с четырьмя по сторонам надписаниями, не только оправдывавшими произведенный ими бунт и убийство в 1682 году, но и выхваляющими усердие их. Строителем такой жгивой вывески был подполковник Циклер, которому с другими главными заговорщиками, на жизнь государя Петра I покушавшимися, близ сего ж столба отрублена голова, и на





Вид Московского Кремля от Каменного моста. Худ. Н. Раух. 1830





ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ





Усадьба Аверкия Кириллова.  
XV — нач. XVIII вв. Общий  
вид. Фото кон. XIX в.

Вид на Московский Кремль со  
стороны Большого Каменного  
моста. Акв. Д. Кваренги. 1780-е  
годы

Церковь св. Николы Чудотворца  
на Берсеневке с палатами Авер-  
кия Кириллова

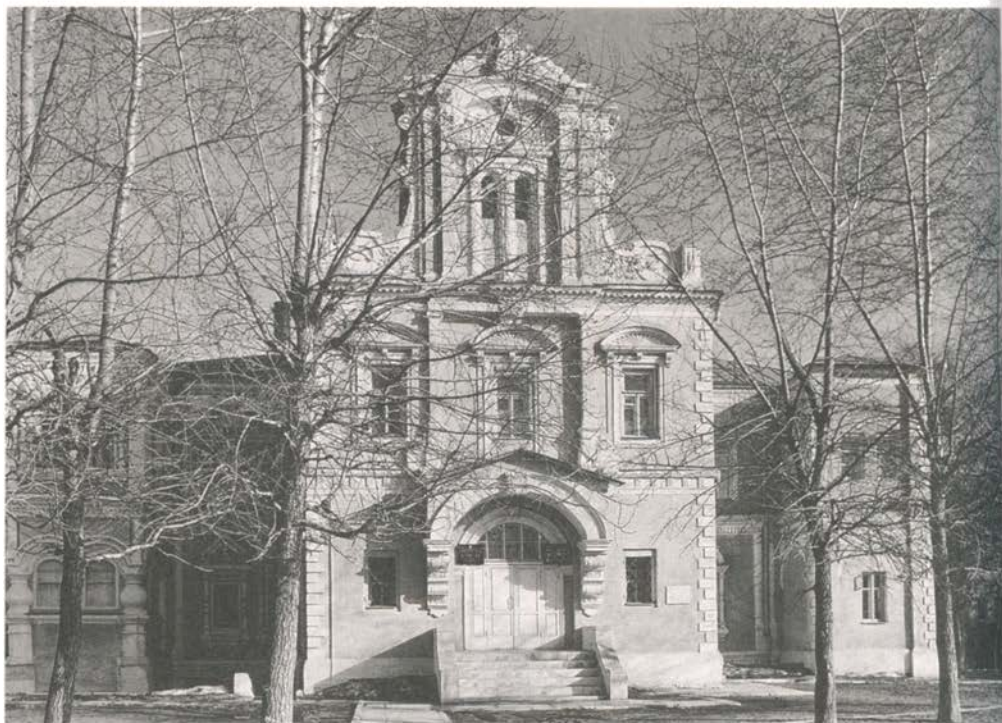






ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ





Усадьба Аверкия Кириллова.  
Выступ с мезонином в центре  
северного парадного фасада

Усадьба Аверкия Кириллова.  
Палаты со стороны набережной.  
Фрагмент



*место прежних надписей выставлены были царские указы, обнаруживавшие все злодеяния и умыслы стрельцов, после чего сей мятежный обелиск был разрушен до основания».*

*Сам Пушкин только вскользь упоминает «мятежный обелиск», говоря о последствиях заговора Циклера и «Хованщины». Потерпев поражение, стрельцы сдались и послали к государям Петру и Ивану выборных:*

*«Выборные просили позволения столб сломать и жалованные грамоты возвратить» (X, 17).*

*Так и погиб первый в России светский городской памятник...*





## Глава VI

---



**Библейские мотивы  
«Путешествия  
в Арзрум»**



«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», напечатанное в первом номере пушкинского «Современника», сравнительно хорошо изучено<sup>1</sup>. Исследованию подвергались история создания этого произведения, текстологическая ситуация, жанровые и стилистические особенности; не были оставлены без внимания место записок в кругу других сочинений Пушкина, биографическая подоснова фабулы, отклики современников поэта и т.д.

Однако возможности осмысления «Путешествия в Арзрум» еще далеко не исчерпаны.

В предлагаемой главе сделана попытка объяснить некоторые особенности пушкинских записок ориентацией автора на первоосновы мировой и европейской культуры, главным образом, на страницы Книг Библии.

## I

Причины, по которым Пушкин посетил Кавказ в 1829 году, столь многочисленны и разнообразны, что вряд ли поддаются простому и непротиворечивому описанию. Сам поэт объяснял цели своего путешествия по-разному, в зависимости от того, кому и в каких обстоятельствах были адресованы его соображения. Но так или иначе на первый план выступали мотивы личные.

Одна из версий — романтическая: любовь к будущей невесте и жене. «Я полюбил ее, — писал потом Пушкин к ее матери, Н.И. Гончаровой, — голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня — зачем? — клянусь вам, не знаю, но какая-то произвольная тоска гнала меня из Москвы» (XIV, 75; перевод с французского — 404). Конечно, в действительности отъезд не объяснялся так просто. «Произвольная тоска», гнавшая Пушкина на юг, не могла быть результатом одного только гончаровского полуотказа<sup>2</sup>.

Объясняя свою самовольную отлучку на Кавказ жандармскому генералу А.Х. Бенкендорфу, Пушкин, разумеется, выдвинет совершенно другое обоснование, но тоже личное, семейное: «я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служил в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет» (XIV, 51; перевод с французского — 397).

В вариантах предисловия к «Путешествию в Арзрум» возникает и третья версия: «В 1829-м году отправился я на Кавказ лечиться на водах» (VIII, 1021). Здесь же, явно лукавя, поэт сообщает, будто лечившись водами, он понял, что находится поблизости от Тифлиса — и как бы не выдержал, неожиданно для себя самого поехал на свидание «с братом и некоторыми из моих приятелей» (VIII, 1024). Но армия уже ушла; вот и пришлось догонять ее по пути из Тифлиса в Арзрум. И, следовательно, участвовать в боевых действиях русско-турецкой войны летом 1829 года.

Каждое из приведенных объяснений по-своему неудовлетворительно. Сам образ Пушкина как-то необычно двоится и троится. Несчастный влюбленный, потерявший голову? Вряд ли это о зрелом, тридцатилетнем Пушкине. Нежный родственник, ску-

чающий в разлуке с братом? Конечно, нет. Больной на водах, подобный тульскому заседателю из «Путешествия Онегина», — даже обсуждению не подлежит.

Роль стихотворца, следующего за войском, чтобы воспеть подвиги, Пушкин отводит от себя сам — твердо и решительно. Его выпады против «Вестника Европы», «Северной пчелы» и других изданий, ждущих одических откликов на военные победы, хорошо известны и много раз комментировались<sup>3</sup>. Вместе с тем в уже упомянутой редакции предисловия к «Путешествию в Арзрум» есть мотив, если не объясняющий цель поездки, то хотя бы направляющий мысль по определенному руслу. Отвечая на домыслы В. Фонтанье, французского автора книги «Путешествие на Восток...», близкие двусмысленные намекам русских журналистов, Пушкин замечает: **«Искать вдохновений** всегда казалось смешной и нелепой причудой. Вдохновения не сыщешь, оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем именем, чтобы воспеть будущие подвиги, было бы и слишком самолюбиво для стихотворца и довольно неприлично для русского дворянина» (VIII, 1026).

В этом замечании, при жизни Пушкина не опубликованном, можно различить след его самосознания или, точнее, самоощущения. На войну, таким образом, ехал прежде всего русский дворянин, а уж потом более или менее самолюбивый писатель. В болдинском «Отрывке» («Не смотря на великие преимущества...») и в «Египетских ночах» ясно прочитывается тот же мотив: герой старается держаться в обществе не как стихотворец, а как дворянин и светский человек (VIII, 263–264; 409–410). Звание писателя в обыкновенном светском обиходе невысоко поставлено. Мундир и имяне уважаются здесь больше, чем заслуги в областях словесности, изящных искусств и наук<sup>4</sup>. Например, П.А. Вяземский принят в обществе прежде как князь и камергер, а уж потом как человек с причудой, сочинитель.

В упомянутом уже письме в Бенкендорфу от 10 ноября 1829 года Пушкин обращается — в свое оправдание перед властями — к общепонятным мотивам дворянской чести. Вот его замечание о прибытии в военный лагерь: «Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу, и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию, в качестве не то солдата, не то путешественника» (XIV, 50, перевод с французского — 397).

Не то солдат, не то путешественник. Запомним эту пушкинскую формулу. Она кое-что объяснит нам в дальнейшем.

Говоря прямее и проще — поездка в действующую армию нужна была Пушкину не для того, чтобы «воспеть подвиги», а для того, чтобы их совершать. Дух риска, испытания своей храбрости имели для Пушкина смысл самостоятельный, необязательно связанный с поэтическим даром. Может быть, в классической формуле певца Вальсингама из «Пира во время Чумы» —

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю. (VII, 180)

— слышны и арзрумские отголоски. Именно война, «бой» и опасности горных дорог («мрачные бездны») все время преследуют путешественника<sup>5</sup>.

Приблизительно так можно было бы очертить круг житейских обстоятельств, влекущих Пушкина на войну. Но путь на Кавказ, по нашему мнению, пролегал для него далеко не только в быговой, обыденной сфере. В пушкинском мире едва ли не каждый серьезный жизненный шаг, поступок, вызывал высокие параллели, сравнивался с общеизвестными примерами из мировой истории и культуры, из древности или современности. Аналогии между «горними» устремлениями и повседневным бытом присутствовали в сознании Пушкина постоянно; они, органично сосуществуя, дополняют и объясняют друг друга.

Поездка на Кавказ не составляет в этом смысле исключения.

Мы уже видели это в связи с грибоедовским эпизодом из «Путешествия в Арзрум». Именно там смерть Грибоедова под пером Пушкина обретает некоторые черты, удаленные от исторических фактов, но зато близкие к житийной литературе. Точно так же путешествие самого Пушкина не сводилось к простой житейской очевидности.

Свой «побег» на Кавказ поэт несомненно рассматривал как паломничество, как аналогию самым высоким историческим примерам. Подтверждений тому много. Вот косвенное свидетельство, хорошо известное, но, кажется, не оцененное по достоинству. Еще за год до путешествия в Арзрум, весной 1828 года, с Пушкиным беседовал литератор и жандармский офицер А.А. Ивановский. Обсуждались возможности поездки поэта на театр только что открывшихся военных действий — в европейскую Турцию или на кавказский фронт.

«Но знаете ли, что я сделал бы на вашем месте? — спрашивал Ивановский. — Я предпочел бы поездку в армию графа Эриванского — в колыбель человеческого рода, в землю Св. Ноя, в отчизну Зороастров, Киров и Дариев, где еще звучит эхо библейских, мифологических и древне-исторических преданий... Один переезд через кавказские поднебесные выси — эти живые развалины природы, сколько раскрыл бы пред вами радужных красок, неуловимых теней и высоких идей!.. Ведь и брат ваш там? /.../

«Превосходная мысль! об этом надо подумать», — воскликнул Пушкин...»<sup>6</sup>

Недостоверность и тенденциозность воспоминаний Ивановского не подлежат сомнению<sup>7</sup>. Монолог, обращенный к Пушкину, записан 18 лет спустя, в 1846 году. И этим обстоятельством объясняется многое. Для нас гораздо весомее тот факт, что рассуждение о библейских и мифологических преданиях на Кавказе принадлежит Ивановскому, уже знакомому с «Путешествием в Арзрум», опубликованным в 1836 году. После смерти Пушкина мемуарист пользуется здесь сомнительной возможностью преувеличить свою роль — он как бы заранее предлагает автору содержание будущей книги. А потом под пером Пушкина все как бы сбывается по слову Ивановского. Если наше предположение верно, то — при всей незтичности воспоминаний Ивановского — его свидетельство для нас важно. Так или иначе, но образованный современник Пушкина **услышал в «Путешествии в Арзрум» прежде всего «эхо библейских, мифологических и древне-исторических преданий».**



Кавказ в сознании Пушкина не был понятием только географическим.

Глубокая традиция европейской культуры отводила Кавказу роль райского сада и вместе с тем колыбели народов, средоточия важнейших мотивов священной и гражданской истории. Мысль Пушкина должна была здесь свободно парить от древнегреческого мифа об аргонавтах до Ноева ковчега, от великого переселения народов до персидского похода Петра Великого. Поэтому путешествие в Арзрум становилось для поэта приобщением к высотам духа, к культурному наследию веков и тысячелетий.

Напомним первую географическую подробность Библии: «насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке... Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» (Быт. 2, 8–10). В ветхозаветном рассказе эти реки названы — Фисон, Гихон, Хиддекель и Евфрат (Быт. 2, 11–14). Не задаваясь вопросом о современных названиях первых трех рек, отметим, что один из двух истоков Евфрата (Карасу) находится близ горы Арарат, севернее турецкого города Эрзурума<sup>8</sup>, т.е. Арзрума.

Прекрасно зная первые стихи Книги «Бытие», Пушкин несомненно понимал, что крайняя точка его путешествия — Арзрум — есть место, по библейской традиции наиболее приближенное к Эдему.

Для нашей темы важно будет знакомство Пушкина и с немецкой средневековой легендой о Кавказе как о рае или преддверии рая — во всяком случае, как о месте, откуда рай можно увидеть. Легенда восходит к «Хронике» немецкого гуманиста Гартмана Шеделя, изданной в Нюрнберге в 1493 году по-латыни и в немецком переводе. По мнению хрониста Кавказ есть одновременно и остров, и гора, откуда берут начало основные реки Востока. Соответствующий раздел «Хроники» так и назван — «О рае и четырех реках его»<sup>9</sup>.

Знакомство Пушкина с шеделевой «Хроникой» возможно, но ничем не подтверждено. Однако Пушкин мог знать легенду в позднейшем переложении по источнику, не менее знаменитому — «Народной книге» о Фаусте, составленной Х. Шписом в конце XVI века во Франкфурте-на-Майне. Экземпляр этой книги, как уже было сказано, в сокращенном переводе на французский сохранился в библиотеке Пушкина. Книга прочитана, о чем свидетельствуют закладки, сделанные поэтом<sup>10</sup>.

«Народная книга» в общих чертах повторяет шеделево сказание о Кавказе-рае и четырех реках, но представляет его как эпизод странствия Фауста и Мефостофиля. В главе «Третье путешествие доктора Фауста в некоторые государства и княжества, а также в знаменитые города и земли» доктор и злой дух посещают легендарный Кавказ, одновременно и гору, и остров. Вот как говорится об этом у Х. Шписа:

«Кавказ, что между Индией и Скифией, — это самый высокий остров, с его горами и вершинами. Оттуда доктор Фауст обозревал многие земли и дали морские /.../.

И чтобы мне прийти к цели рассказа, сообщу, что причиной, почему доктор Фауст взбирался на такие вершины, была не только возможность обозреть оттуда

часть моря и прилежащие земли, и государства, и т.п., но он был убежден, что некоторые высокие острова с их вершинами настолько высоки, что оттуда сумеет, наконец, увидеть рай, ибо об этом он не спрашивал своего духа и не должен был спрашивать. Особенно же на острове Кавказе, который превосходит своими вершинами и высотой все прочие острова, надеялся он непременно увидеть рай. Находясь на той вершине острова Кавказа, увидел он землю Индию и Скифию, а с восточной стороны до полуночи издали в вышине дальний свет, словно от ярко светящегося солнца, огненный поток, поднимающийся подобно пламени от земли до неба, опоясывая пространство величиною с маленький остров. И еще увидел он, что из той долины бегут по земле четыре больших реки, одна в Индию, другая в Египет, третья в Армению и четвертая туда же. И захотелось ему тогда узнать причину того, что он увидел, и потому решился он, хотя и со страхом сердечным, спросить своего духа, что это такое.

Дух же дал ему добрый ответ и сказал: «Это рай, расположенный на восходе солнца, сад, который взрастил и украсил господь всяческим веселием, а те огненные потоки — стены, которые воздвиг господь, чтобы сохранить и оградить сад. Там же (сказал он далее) ты видишь ослепительный свет: то огненный меч, которым ангел охраняет сад, и этот меч так велик, что достанет тебя, где бы ты ни был /.../. Та вода, что разделяется на четыре части, течет из райского источника, и образует она реки, которые зовутся Ганг или Физон, Гигон или Нил, Тигр и Евфрат. Теперь ты видишь, что лежит она под созвездиями Весов и Овна, доходит до самого неба, а у этих огненных стен стоит херувим с огненным мечом, приставленный все это охранять. Но ни ты, ни я, ни один из людей не может туда проникнуть»<sup>11</sup>.

Мы не станем настаивать на том, что Пушкин, будто бы, ищет на Кавказе райские врата. Все-таки русского поэта XIX столетия нельзя прямо и просто отождествлять с героем немецкой средневековой легенды. Но фаустовский мотив, кажется, кое-что здесь объясняет.

Год 1828-й, предшествующий поездке на Кавказ, Пушкин проживает весьма бурно и, скажем так, нецеломудренно. Это крайняя точка его разгула, пьяных оргий и увлечений женщинами самого разного достоинства. А.А. Ахматова в заметке «Пушкин в 1828 году» несомненно права, когда напоминает, что поэт «как никогда расширил свой донжуанский список», трагически колебался между «ангельскими» и «дьявольскими» женскими образами, терялся в «мгновенных страстях» и стоял на грани безумия и самоубийства<sup>12</sup>. Видения рая и ада, сменяя друг друга, преследовали его постоянно. Конкретные примеры общеизвестны; они есть у Ахматовой; приводить их излишне. Вот только одна, зато очень показательная реплика более раннего письма к даме: «Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая» (XIII, 208; перевод с французского — 544). Сквозь иронию тут пробивается и серьезный смысл.

Фауст «Народной книги» подвержен тем же страстям. Ему мало земных наслаждений. Пресытившись ими, он ищет впечатлений за пределами здешнего мира. Еще до путешествия на Кавказ с его райскими вратами доктор Фауст посещает ад,

где с помощью злых духов знакомится со всеми ужасами преисподней<sup>13</sup>. Герой немецкой народной легенды на протяжении всей книги мучительно размышляет над вопросом: не просчитался ли он, отдав предпочтение плотским радостям и грядущему аду перед блаженством Божьего рая?

Век просвещения, весь опыт новой и новейшей европейской культуры, конечно, не позволяют Пушкину ставить этот вопрос так буквально и прямолинейно. И все-таки некоторые аналогии напрашиваются. Вслед за поэтом от земных утех устает и его герой — Онегин. Он тоже далеко не тождествен Фаусту; однако же в центральном эпизоде романа, во сне Татьяны, Евгений помещен в ситуацию, где совершенно по-фаустовски распоряжается нечистыми силами. В этом контексте путешествие Онегина на Кавказ после дуэли может быть понято как альтернатива адским видениям, как фаустовский поиск рая.

Двойственная природа героя определяется в том же 1828 году в строках седьмой главы «Онегина»:

Чудак печальный и опасный,  
Созданье ада иль небес... (VI, 149)

Фауст немецких средневековых легенд, кажется, в данном случае понятнее и проще. Он посещает загробный мир заранее, чтобы со всею протестантской рациональностью оценить свою сделку. Если преисподняя не так страшна, а рай не так уж прекрасен, то, значит, все в порядке. Онегин — грешник несколько иной религиозной традиции, традиции православного христианства. Здесь сильно акцентировано равенство праведника и грешника перед Богом; обретение благодати возможно для всякого, даже для того, кто не соблюдал закон, «убив на поединке друга». Онегин не заключает законных сделок ни с небесами, ни с адом. Он не создан для блаженства, как и для адских мук. Поэтому его занимают не столько свойства потустороннего мира, сколько поиски смысла земной жизни. В этих-то поисках, свободных от расчета, важно понять соотношение здешнего и нездешнего миров — т.е. тайны гроба роковые.

Тоска.. Он едет на Кавказ... (VI, 481).

Что-то похожее происходит и с самим Пушкиным. Его метания между дьявольским и ангельским наполнением жизни достигают апогея в 1828 году, но начинаются, понятно, гораздо раньше. Недаром же этой двойственностью авторского сознания современные исследователи пытаются даже объяснить происхождение романа «Евгений Онегин»<sup>14</sup>. А.Е. Тархов и В. Джунь, комментируя известную фразу Пушкина о Крыме — «Там колыбель моего Онегина» (XVI, 395), — убедительно реконструируют острое противоречие крымских воспоминаний Пушкина. С одной стороны — «прекрасны вы, брега Тавриды», «золотой предел», «счастливый край», с другой — преддверие преисподней.

Исследователи обращают внимание на рисунок Пушкина около строф первой онегинской главы: «Гора со сквозным ходом»<sup>15</sup>. Это Золотые ворота Карадага. Но местная татарская легенда, известная русским поэтам от Пушкина до М. Волошина, называет это место Шайтан Капу, Чертовы ворота, или «вход в Аид». Тем самым

Крым как бы обретает оба полюса потустороннего существования — райский (сравнение полуострова с раем, потом будет затаскано до пошлости) и адский, обозначенный «Чертовыми воротами» как входом в преисподнюю. Именно в Крыму, в соседстве с inferнальным Шайтан Капу, автор и расстается со своим Онегиным<sup>16</sup>.

Кавказские впечатления Пушкина столь же двойственны. Он не наивен, поэтому не ищет на Кавказе одних лишь садов Эдема. Это тем более немислимо, что русские переживают здесь войну с турками, схватки с незамирными горцами, чумную эпидемию. Но все же сквозь текущие житейские обстоятельства Пушкин постоянно различает на Кавказе ощутимую близость какого-то потустороннего блаженства: то от красот Дарьяла, то от звуков грузинской песни «Душа, недавно рожденная в раю!» (VIII, 458)<sup>17</sup>, то от недоступных восточных «гурий» в банях или гареме (VIII, 456, 480—481).

Сказочный образ кавказского райского сада, взращенного Богом и охраняемого огненным мечом херувима, созданный Мефостофилем для Фауста, конечно, не находит прямых аналогий в творчестве Пушкина. Однако понимание рая как острова, стоящего на четырех реках, Пушкину близко. Уже в «Гавриилиаде» упомянуты «берега... светлых рек» Эдема (IV, 128). В стихотворении «Дон», написанном прямо по мотивам арзрумского путешествия, образ четырех кавказских рек выражен с совершенной ясностью:

Как прославленного брата,  
Реки знают тихий Дон;  
От Аракса и Евфрата  
Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,  
Чуя родину свою,  
Пьют уже донские кони  
Арпачайскую струю. (III, 176)

Четыре реки — Дон, Арпачай, Аракс и Евфрат — как бы утверждают кавказские края в их эдемском достоинстве. Особенно существенно упоминание Евфрата, т.е. Большого Евфрата, до которого Пушкин в действительности не доехал. Поклон «от Евфрата» имеет здесь чисто символический смысл и отчасти связывает реальность путешествия с кавказской мифологией. Точно так же и немецкая народная легенда о Фаусте не следует фактам географии: Инд, а особенно Нил далеки от Кавказа.

Библейский миф о реках Эдема рождался в жарких, засушливых землях Ближнего Востока, где вода спасала и продлевала жизнь, была, в сущности, первой и главной принадлежностью рая. В поучениях сирийского христианского проповедника Ефрема Сирина, основанных на упоминании четырех райских рек, говорится о водах рая, которые таинственно подмешиваются к остальным водам земли и услаждают их<sup>18</sup>. Пушкин, хорошо знавший религиозную поэзию Ефрема Сирина<sup>19</sup>, так и понимал высокий, обыговый смысл течения рек, упоминаемых в «Путешествии в Арзрум», в стихотворении «Дон» и других произведениях.

3.

Кавказские пейзажи в пушкинских стихах и прозе более чем знамениты.

Хрестомайтинные картины снежных вершин, горных рек, цветущих пастбищ и аулов, рассыпанных по склонам, тревожили и будут тревожить воображение многих поколений читателей. Необходимо только помнить, что у Пушкина почти не бывает пейзажей «вообще», пейзажей как таковых, не ориентированных на культурную, мифологическую традицию. Академик Д.С. Лихачев в своей монографии ясно показал, какой мощный пласт духовной жизни лежит под бесхитростными, казалось бы, описаниями садов, парков и роц<sup>20</sup>.

Напомним еще раз смысл нашего собственного исследования. Когда в черновых рукописях «Путешествия Онегина» в строфе «И берег Сороти отлогий» (VI, 506) возникает великолепный сельский пейзаж Псковщины, завершаемый строчками «Там ветру в дар на темну ель / Повесил звонкую свирель», то, мы уже видели, что здесь далеко не только описание природы. Картина, нарисованная Пушкиным, ориентирована на библейский текст, на 136 псалом («При реках Вавилонских...»). Там поэты-невольники, прозябающие в вавилонском пленении, вешают арфы свои на вербы. Значит, весь пейзаж Михайловского и Тригорского, несмотря на его очарование, Пушкин видит как место неволи, ссылки — что и соответствовало реальной биографии поэта<sup>21</sup>.

Нечто подобное происходит, по нашему мнению, и при внимательном рассмотрении кавказских пейзажей. Картины дикой природы оказываются откликом Пушкина на традиционные мотивы, восходящие к первоосновам европейской культуры.

Речь идет о символике облака, опустившегося на землю.

Приведем два примера, не связанные, кажется, с «Путешествием в Арзрум», равноудаленные от второй кавказской поездки Пушкина, как бы обрамляющие ее во времени: «Кавказский пленник» напечатан за семь лет, а «Капитанская дочка» спустя семь лет после арзрумского побега поэта.

В первой части «Кавказского пленника» герой видит место своего заточения:

Великолепные картины!  
Престолы вечные снегов  
Очам казались их вершины  
Недвижной цепью облаков. (...)  
Когда с глухим сливаясь гулом,  
Предтеча бури, гром гремел,  
Как часто пленник над аулом  
Недвижим на горе сидел!  
У ног его дымились тучи... (IV, 98)

Не задумываясь пока над тем, в русле какой традиции написаны эти строки, отметим важный для нас острый контраст между высокой красотой картины и ужасом ее смысла для героя: так выглядит, по сути дела, тюрьма, место пленения. Существенной подробностью будет и то обстоятельство, что никаких облаков Плен-



ник на самом деле не видит — вершины гор неподвижны и только **кажутся** ему облачной цепью. Настоящие тучи дымятся у ног героя только тогда, когда надвигается буря. Тонкая игра мнимых, неподвижных облаков и подлинных подвижных туч перед грозой как бы предшествует драме, как бы предваряет дальнейшее развитие сюжета.

Сходный образный мотив и в «Капитанской дочке», в главе «Вожатый». Напомним хрестоматийный диалог героя, Петра Гринева, с ямщиком: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

«Время ненадежно: ветер слегка поднимается; — вишь, как он сметает порошу».

— Что ж за беда?

«А видишь, там что?» (Ямщик указал кнутом на восток).

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

«А вон — вон: это облачко».

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран (VIII, 287).

Пленнику горы кажутся облаками, Гриневу, наоборот, облачко кажется холмиком. Но в обоих случаях мнимость становится реальностью и предопределяет грозную судьбу героев. Облачко-холмик разрастается в буран, который круто поворачивает ход событий; Провидение здесь выступает как стихия. В ее натиске человек — по первому, поверхностному впечатлению — теряет дорогу, заблуждается. На самом же деле облачко-холмик неисповедимо указывало верный путь к спасению, к обетованным пределам. Приказав ехать навстречу метели, Гринев не только подвергается смертельной опасности, но и как бы предопределяет счастливую развязку всей истории.

Здесь любопытно, кроме того, противостояние Гринева простолюдинам — ямщику и Савельичу. Судьба открывает им только ближайшую выгоду: вернуться, отсидеться, избежать испытаний сейчас. А там видно будет. Эта слепота лучше всего проявляется в ворчливой реплике Савельича: «И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» (VIII, 287). И только потом, по ходу романного действия, оказывается, что герои действительно спешили на свадьбу — холмик-облачко причудливым, но единственно возможным путем вело Гринева к счастливой женитьбе на Маше Мироновой, к обретению покоя и воли.

Мы условились, что в русле символики облака, опустившегося на землю, «Кавказский пленник» и «Капитанская дочка» как бы хронологически обрамляют собой записки арзрумского путешественника, надежно подтверждают стойкость упомянутых образов в творчестве Пушкина. Облако на земле — настоящее или мнимое — лик судьбы; принимающий ее вызов исполняет свое высшее предназначение.

А теперь обратимся к тексту «Путешествия в Арзрум».

Рассказав о своем визите к калмычке, этой степной Цирпее, Пушкин приступает к новой странице своего повествования: степи кончились, начинаются горы Кавка-

за. Отмечая это обстоятельство, Пушкин оставляет в рукописи небольшой пробел и далее записывает:

«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры, ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи» (VIII, 447).

Родственность картины с пейзажем «Кавказского пленника» не вызывает сомнений. Автор сам о том напоминает, когда говорит, что уже видел эти «на краю неба облака» девять лет назад, т.е. во время первой кавказской поездки. Думается, тут нечто большее, чем просто замечание опытного путешественника — мол, бывал уже, не впервой, знаю.

Путь на Кавказ в 1820 году был для Пушкина резкой переменой всей жизни; он отмечал собой ссылку, неволю, последовавшие за ссорой с правительством. Тогда, подъезжая к мнимым облакам на краю неба, поэт принимал вызов судьбы; как бы спрашивал себя, куда влечет Провидение? как бы задумывался — где обетованный конец странствия<sup>22</sup>?

Тот же мотив слышен и девять лет спустя, в 1829 году: что ждет там, за первой горной грядой, похожей на облака? Существенная подробность: строки о горах-облаках при въезде на Кавказ вошли в «Путешествие в Арзрум», т.е. в текст, завершённый к середине 30-х годов. Но написаны они были раньше, в 1829-м, во время самого путешествия. В своей работе «Кавказский дневник Пушкина» Я.Л. Левкович попыталась разделить текст «Путешествия в Арзрум» и те подневные записи, которые поэт набрасывал на бумагу в самые дни поездки. Пейзаж с мнимыми облаками на границе степей — в редакции, близкой к приведенной, — исследовательница уверенно помещает в ранний дневник-протограф<sup>23</sup>.

Значит, описывая свою вторую встречу с горами-облаками, Пушкин **еще не знает**, куда приведут его новые кавказские странствия. Подобно своим героям — Пленнику и Гриневу — он отдается на произвол судьбы, как бы заранее соглашаясь на все ее решения. Такую преемственность подчеркивает и пушкинское упоминание «Кавказского пленника», перечитанного автором по пути, случайно: «многое угадано и выражено верно» (VIII, 451). По традиции, опирающейся на «Кавказский пленник», принято считать, что Пушкин «угадал» здесь нравы и природу, с которыми девять лет назад познакомился лишь издали. Такой намек у поэта действительно есть<sup>24</sup>. Но Пушкин, думается, не зря исключил его из «Путешествия в Арзрум». Оценка ранней поэмы стала от этого более обобщенной, более обязывающей. Может быть, поэт «угадал» и нечто посущественнее, чем «нравы и природу», — например, поворот судьбы, выведший из неволи не только героя, но и автора? Или возможный перелом их байронических характеров? Как знать...

Теперь от первых кавказских впечатлений Пушкина перейдем к последним. «Путешествие в Арзрум», как известно, завершается фразой: «Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве» (VIII, 483). Ей предшествует очень длинный, растянувшийся на 43 журнальных строки<sup>25</sup>, абзац, в котором автор быстро, почти

не задерживаясь, рассказывает о своем обратном пути от Арзрума до Владикавказ. В этом абзаце вновь встречается знакомый нам символ; облако, опустившееся на земную твердь:

«Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось плавал в воздухе, несомый облаками» (VIII, 482).

Запись эта давно и надежно соотнесена со стихотворением «Монастырь на Казбеке» (1829). И прозаические строки дневника, и поэтический образ храма, парящего над облаками, навеяны одним и тем же впечатлением от вида старинной церкви Цминда Самеба<sup>26</sup>. Вот эта стихотворная параллель эпизоду из «Путешествия в Арзрум»:

Высоко над семью гор,  
Казбек, твой царственный шатер  
Сияет вечными лучами.  
Твой монастырь за облаками  
Как в небе реюший ковчег,  
Парит, чуть видный, над горами.  
  
Далекий, вожденный брег!  
Туда б, сказав прости ущелью,  
Подняться к вольной вышине!  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрыться мне! (III, 200).

Стихотворение — одно из самых сильных в пушкинской философской лирике — дает, по нашему мнению, надежные аргументы для объяснения символики облака, опустившегося на землю. Ключевое выражение здесь — «соседство Бога»<sup>27</sup>. Согласно ветхозаветной традиции человеку не дано видеть Бога; появляются зримые образы, только косвенно, условно намекающие на Его присутствие. Таковы, например, три мужа у дубравы мамврийской (Быт., 18, 1–2), некто, борющийся ночью с Иаковом (Быт., 32, 24–26), горящий терновый куст (Исх., 3, 2–4) и др.

Облако, спустившееся с небес и коснувшееся тверди земной, находится в ряду таких образов. Библейский рассказ об исходе избранного народа из фараонова Египта не оставляет в этом сомнений. Когда скитальцы впервые ступают в пустыню, то никто — в том числе и пророк Моисей — не знает дороги к земле обетованной. Поэтому сам Бог указывает путь своему народу. Здесь-то и возникает земное облако как знак, как символ божественного провидения, за которым должно следовать во всех превратностях Исхода:

«Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью.

Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа» (Исх., 13, 21–22).

Явление столпа облачного несколько раз упоминается на страницах второй книги Моисеевой. И всегда в одном и том же контексте: указание пути, свидетельство участия Бога в судьбе идущих по пустыне. Пушкин, как и все его религиозно образованные современники, понимает исход не только (и даже не столько) как реальное движение в пространстве, но и как медленное, трудное приобщение к Единому Богу и Его заповедям. Фигура Моисея несомненно сильно занимала воображение поэта<sup>28</sup>. Он хорошо знал все перипетии драмы вокруг скрижалей, отступничества и возвращения сынов Израилевых на путь истины.

Мы не ставим своей задачей напоминать о массе библейских эпизодов, связанных с божественным облаком. Для нашей темы, однако, необходимо обратиться к финалу книги «Исход», к ее последним стихам. В результате скитаний в пустыне избранный народ не только обретает основы религиозного сознания, но и получает первые понятия о богослужбных ритуалах, постигает начальные контуры грядущей церкви. По Божьему внушению Моисей создает скинию – походный храм с ковчегом и жертвенником, в котором кочевое племя будет совершать религиозные обряды<sup>29</sup>.

Но как обнаруживается присутствие Бога в скинии? Заключительные стихи книги «Исход» свидетельствуют о событии, последовавшем сразу за созданием храма: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполняла скинию.

И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию.

Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое.

Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось» (Исх., 40, 34–37)<sup>30</sup>.

Таким образом, облако Господне имеет в книге «Исход» отчетливое композиционное значение. С него начинаются скитания народа по пустыне; им же они и завершаются. Между этими двумя явлениями славы Божьей заключены все превратности движения от «тьмы египетской» к земле обетованной<sup>31</sup>. В религиозно оформленном сознании перипетии исхода понимаются как высокая аналогия жизненному пути человека и человечества. В этой традиции все «изгнание земное» и есть поиск пути, указанного свыше, следование за облаком Господним.

Кавказские записки Пушкина ориентированы – хотя, может быть, и не полностью – на эти священные страницы. Как и в книге «Исход», в «Путешествии в Арарум» вступление в искушающее пространство и выход из него (т.е. начало и конец) обозначены образно – облаками, опустившимися на землю<sup>32</sup>.

Но аналогия не только в общем для обеих книг композиционном обрамлении странствия. Знакомство Пушкина с библейской традицией проглядывает и в конкретных особенностях текстов.

Например, стоит задуматься над тем описанием монастыря на Казбеке, которое, как мы помним, приведено в конце «Путешествия в Арзрум»: «уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». В кавказском дневнике 1829 года этот пейзаж отсутствует. Более того. Пушкин совершенно иначе описывает знаменитую гору:

«Я ехал мимо Казбека столь же равнодушно, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду...»<sup>33</sup>.

Это никак не вяжется с пейзажем «Путешествия в Арзрум», где монастырь предстает «озаренный лучами солнца». Нетрудно понять, что правдиво ситуация фиксирована именно в дневниковой записи 1829 года; а солнечный вид монастыря в облаках — либо плод поэтического воображения, либо встречен Пушкиным в иных обстоятельствах, не связанных с обратным путем поэта из Арзрума в Россию. Второе предположение кажется более вероятным, так как в наброске из арзрумской тетради, где Пушкин кратко обозначил основные вехи своего движения к Арзруму, есть строчка:

«Дариал, Казбек, осетинцы, похороны»<sup>34</sup>.

Скорее всего за этим глухим упоминанием Казбека, увиденного по пути «туда», на юг, как раз и скрывается картина монастыря, парящего над облаками. Если предположение верно, то возникает вопрос: зачем Пушкин пренебрег здесь хронологией? Для чего ему понадобилось более ранние впечатления приберечь для финала?

Допустим, Пушкин придерживался бы житейской правды. Тогда вид заоблачного монастыря на Казбеке должен бы следовать сразу за «горами-облаками» на границе со степью. Повествование стало бы фактически верным, но, разумеется, исчезли бы как «опоясывающая» композиция, так и параллель с сюжетом библейского исхода; оба основных символа «опустились» бы до простых, случайных наблюдений праздного путешественника.

Книгу «Исход» и пушкинское «Путешествие в Арзрум» связывают не только композиция, но и конкретное наполнение ключевых образов. Библейское облако является в начале пути, в пустыне: у кочевников позади языческий Египет, да и сами они еще недалеко ушли от язычников — нет ни заповедей, ни устойчивого культа, ни государственных институтов, ни своей земли. Облако только обещает все это впереди. Нечто похожее ощущает и Пушкин. Горы-облака зовут его в мир, где государственность слаба, а культ грубой силы куда влиятельнее религиозных запретов и разрешений.

Мы помним, что в финале библейской книги «Исход» божественное облако осеняет уже не просто пустыню, а скинию, т.е. прообраз храма. Таков итог скитаний. Теперь, после всех превратностей исхода, народ вознагражден: он обрел не только заповеди, но и постоянную, передаваемую из рода в род святыню. Подобный же ход просматривается и в «Путешествии в Арзрум». В его начале божественные облака предстают в образе дикой, некультуренной природы; а в конце —



облако облакает храм, т.е. ту же скинию. И тем увенчиваются усилия Пушкина путешественника.

В стихотворении «Монастырь на Казбеке» поэт не только развивает эту же мысль, но и обнаруживает понимание тонкостей библейского текста. Когда «слава Божья» в виде облака наполняла скинию, ни Моисей, ни тем более его спутники не могли в нее войти (Исх., 40, 35). Пушкин ловит мгновение, в которое горный монастырь виден «за облаками». Это значит, что в тот миг «слава Божия» не наполняет скинию, в нее можно войти, «скрыться». А раз облако все-таки рядом, то человек, скрывшийся в «заоблачной келье», именно и оказывается «в соседстве Бога» (III, 200). Не ближе, но и не дальше!

Мотив божественного облака, указующего путь и истину, продолжается и в Новом Завете. Евангелист Лука, например, пользуется им в известном эпизоде Преображения: облако является на горе, и Бог из среды облачной объявляет Христа своим Сыном Возлюбленным (Лук., 9, 34–35). Здесь же путь Христа в Иерусалим, где божественный агнец должен принять крестные муки, называется **исходом** (Лук., 9, 31) — наряду с образом облака это поддерживает ветхозаветную традицию.

Религиозно-ориентированное сознание Пушкина постоянно питается подобными легендарными мотивами. Если бы это не уводило от нашей основной, кавказской темы, можно было бы напомнить о поведении апостола Петра в эпизоде Преображения. Петр не понимает, зачем Христу мученический крестный путь и предлагает — вместо опасного следования за облаком — просто основать райские кущи здесь, на земле (Лук., 9, 33). Примерно так же бессмысленный народ не понимает, зачем Моисей подвергает его мучениям в пустыне. И точно так же — добавим от себя — ямщик и Савельич в «Капитанской дочке» советуют держаться подальше от облачка: гораздо ведь лучше воротиться на постоялый двор, накушаться чаю и поживать до утра (VIII, 287).

Тому, кто уклонится от вызова судьбы, суждено всегда пребывать во тьме египетской.

В следующем веке, на переломе культур и традиций, смысл облачной «славы Божьей» и драмы исхода отойдет на второй план, забудется многими. Многими, но, к счастью, не всеми. В 1962 году, Анна Ахматова в своей «Веренице четверостиший» сказала так:

И было сердцу ничего не надо,  
Когда пила я этот жгучий зной...  
«Онегина» воздушная громада,  
Как облако, стояла надо мной<sup>35</sup>.

После всего сказанного эти стихи объяснить нетрудно. В исходе, в земном скитании современного поэта, путь снова указывает «облако». Но теперь над поэтической скинией стоит не только «слава Божья», но и слава великого пушкинского романа<sup>36</sup>.

Только это, повторим, уже другая, некавказская тема<sup>37</sup>.

## 4.

Мы уже говорили о том, что среди других «земных» мотивов, влекших Пушкина на Кавказ, было желание участвовать в русско-турецкой кампании. Еще в 1828 году поэт в известном стихотворении «Друзьям» утверждал, что кавказскими войнами царь «оживил» Россию (III, 89). Стремление Пушкина побывать в действующей армии этим во многом объясняется. Во многом, но все-таки не целиком.

В кавказское путешествие Пушкин взял с собой рукопись «Бориса Годунова», в которой провозглашался «союз меча и лиры» (VII, 54). Сочетание достоинств воина и поэта в одной судьбе Пушкин хорошо знал: Денис Давыдов. Мотив зависти к «певцу-герою» проходит через все стихотворные и прозаические послания к нему Пушкина. Под обаянием музыки и личности Давыдова был и безвестный лицеист, и — двадцать лет спустя — первый писатель России. Может быть, направляясь на русско-турецкий фронт, Пушкин бессознательно подражал партизану 1812 года, писавшему стихи и не связанному строгой армейской дисциплиной. Во всяком случае штаб-ротмистр М.В. Юзефович, встречавшийся с поэтом на Кавказе, вспоминал потом, что имя Дениса Давыдова было на устах у Пушкина в разгар военных действий<sup>38</sup>.

Напомним и о том, что в описании Казбека в пушкинском «Кавказском дневнике» есть сравнение знаменитой горы со снеговой грудой, **подпирающей небосклон**<sup>39</sup>. Это скрытая цитата из стихотворения Дениса Давыдова «Полусолдат»:

С Кавказа глаз не сводит он,  
Где подпирает небосклон  
Казбека гряда снеговая.

Когда Пушкин рекомендует начальству «не то солдатом, не то путешественником», то и здесь можно различить ориентацию на «полусолдатские» стихи и биографию поэта-партизана.

В духовном обиходе пушкинского времени, ориентированном на «священные страницы», сочетание достоинств поэта и воина было очевидным: псалмопевец Давид, поразивший Голиафа (I Царств, 17, 49). Ассоциацию с ветхозаветным поэтом-ратоборцем вызывала даже фамилия — Давыдов. В самом ее звучании слышались прямые напоминания библейской истории; биография партизана Давыдова, пишущего стихи, по случайному совпадению точно соответствовала деяниям одноименного патриарха<sup>40</sup>.

Свое родство с Давидом-псалмопевцем прекрасно понимали едва ли не все отечественные поэты XVII—XIX веков. Среди тех, кто в своих произведениях ориентировался на легенды о царе-поэте или перелагал русскими стихами его псалмы, были Симеон Полоцкий, А.П. Сумароков, В.И. Майков, П.А. Катенин, А.С. Грибоедов, Ф.И. Глинка, В.К. Кюхельбекер и др.<sup>41</sup>. В этом же ряду и Пушкин, в творчестве которого немало обращений к псалмам и к страницам 1-й и 2-й Книг Царств.

Известны и случаи прямых самоотождествлений Пушкина с царем-псалмопевцем. Одно из них — в эпиграмме «Певец Давид был ростом мал / Но повалил же

Голиафа...» (II, 318)<sup>42</sup>. Другое — в письме к Александру Анфимовичу Орлову от 24 ноября 1831 года. Напоминая адресату о своей полемике против общего литературного противника, Пушкин пишет: «Мал бех в братии моей, и если мой камышек угодил в медный лоб Голиафу Фиглярину, то слава Создателю!» (XV, 2).

В письме к Орлову Пушкин ориентируется не только на основной библейский рассказ о поединке Давида с Голиафом, но и на неканонический 151 псалом, завершающий книгу «Псалтирь». Он начинается стихом «Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего: пасох овцы отца моего...». Далее Давид поет о том, что несмотря на малость свою перед братьями, именно он, Давид, удостоился помазания Господня, а потому и победил иноплеменника и снял поношение с народа своего.

Менее очевидны, но не менее достоверны и другие уподобления. Например, известное место из письма Пушкина к П.А. Вяземскому (ноябрь 1825 г.) — по случаю завершения трагедии «Борис Годунов». Представив основных персонажей своего нового произведения, Пушкин пишет: «Жуковский говорит, что Царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрягать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII, 240). Комментаторы давно и верно объясняют это место письма как пушкинское признание антицарских реплик Юродивого резонерскими, принадлежащими самому автору. Это надежно согласуется с русской народной традицией — видеть в юродивом пророка, обличителя всякого злодейства, хотя бы и царского.

Но, думается, отечественными преданиями здесь дело не исчерпывается. Ведь крамольные реплики, как признает автор, принадлежат ему самому, Пушкину. Значит, поэт, не будучи юродивым, таковым **притворяется**. Аналогия здесь очевидна. Единственный певец Библии, который притворно юродствует, — Давид. По ветхозаветному рассказу Давид, преследуемый царем Саулом, бежит в землю Гефскую, к единоплеменникам убитого им Голиафа. В земле Гефской он пребывает в страхе: местный царь Анхус и его люди могут жестоко отомстить беглецу за смерть Голиафа и других пораженных им, Давидом, филистимлян. И тогда Давид прикидывается юродивым. Вот как повествует об этом Писание:

«И изменил лице свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей.

И сказал Анхус рабам своим: видите, он человек сумасшедший; для чего вы привели его ко мне?

Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» (I Царств, 21, 13–15).

Юродствуя, библейский поэт спасается от рук царя; то же самое, по существу, делает и Пушкин, скрывая свой настоящий облик («уши») под дурацким колпаком.

Конечно, Пушкин, отмечая свое родство с юродивым Николкой, вовсе не старается подражать ветхозаветному патриарху. Форму своего «игрового» поведения Пушкин не заимствует из Библии; да и обстоятельства, в которых действуют псалмопевец и опальный поэт, разделены тысячелетиями и далеко не сходны. Однако, хорошо помня текст Писания, Пушкин должен был осознавать явную аналогию между

библейским эпизодом «юродства» Давида и своим собственным положением опального пророка, вынужденного притворяться безумным.

Нечто подобное происходит, по нашему мнению, и на страницах «Путешествия в Арзрум», и в сфере биографических подробностей второй кавказской поездки Пушкина. Поэт не стремится реально строить свой жизненный путь по библейским образцам, но неизбежно должен осознавать фабульные и характерные совпадения житейского и священного.

Они иногда просто поразительны.

Молодость певца-Давида приходится на последние годы царствования Саула; Дух Господень уже отступил от царя, и он все время возмущаем злым духом. Тогда слуги Сауловы предлагают для успокоения правителя найти человека, искусного в игре на гуслях. На эту роль и приглашается ко двору сын Иессея Вифлеемлянина — Давид. Играя перед Саулом, Давид отгоняет от царя злого духа. И даже удостоивается звания оруженосца. Но идиллия царя и поэта — непродолжительна. Саул удаляет Давида из столицы, и певец возвращается в Вифлеем — пасти овец отца своего (I Царств, 16, 14–23; 17, 15).

Опала Давида никак не мотивирована, но можно понять, что это решение в ряду других несправедливых дел Саула — ведь Бог его покинул. Дальше события развиваются следующим образом. Пока Давид пасет отцовские стада, начинается война с филистимлянами, и оба войска — израильское и филистимское — противостоят друг другу в Иудее. И сорок дней со стороны язычников выступает великаноиноборец Голиаф, который выкликает кого-нибудь из израильтян на поединок; его условие — побежденный на этом поединке и все его соплеменники без общей битвы становятся рабами соплеменников победителя (I Царств, 17, 1–11).

Священная история со всей очевидностью утверждает, что именно Божественное Провидение привело Давида в войско, чтобы сразиться и победить Голиафа. Но для нашей темы гораздо важнее тот конкретный земной повод, по которому Давид покидает свой дом и направляется в воинский стан. Дело в том, что с самого начала кампании в войске находятся сыновья Иессея, братья Давида — Елиав, Аминодав и Самма (I Царств, 17, 13). Вот как звучит библейский рассказ о простых житейских обстоятельствах, определивших присутствие поэта в войске:

«И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям;

...И наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их;

...И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению» (I Царств, 17, 17–20).

Значит, приход поэта на поле сражения первоначально мотивирован простыми житейскими поводами; надо навестить братьев, наведаться об их здоровье и нуждах. Можно только удивляться, сколь точно все это совпадает с одной из мотивировок арзрумского путешествия, выдвинутых Пушкиным: «Мне захотелось туда съез-

дить для свидания с братом и некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход» (VIII, 1024).

Подобно Давиду, Пушкин сначала попадает в тылы, в обоз, и только потом в действующую армию.

Истолкование формулы — «для свидания с братом и некоторыми из моих приятелей» — тоже сближает рассказ о путешествии в Арзрум со страницами Священной Книги. Брат Пушкина, Лев Сергеевич, воевал на Кавказе юнкером-драгуном<sup>43</sup>. А под «некоторыми приятелями» Пушкин разумел прежде всего своих друзей-декабристов, разжалованных и сосланных на Кавказ, — В.Д. Вольховского, Н.Н. Раевского-младшего, М.И. Пущина<sup>44</sup>. Людей, близких по духу и судьбе, Пушкин много раз называл братьями. Вспомним хотя бы знаменитое место из письма к Вяземскому, помеченное августом 1826 года: «повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (XIII, 291).

Тем самым, вслед за Давидом-псалмопевцем, Пушкин мог бы сказать, что отправился «в стан к своим братьям».

Но прямые параллели на том далеко еще не кончаются. В нашу задачу сейчас не входит определять меру и характер участия Пушкина в боях. Однако хорошо известно: поэт все время рвался участвовать в сражениях, что не вызывало особого восторга у его «братьев». Напомним известный эпизод из воспоминаний М.И. Пущина:

«Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был: «Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках... — «Могу тебя порадовать: турки не замедлят представиться...

Пушкин радовался как ребенок тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики»<sup>45</sup>.

В разгар боев Раевский и Пущин, конечно, меньше всего задумываются о соответствии своих действий библейским рассказам — оба офицера просто хотят спасти друга и поэта от смертельной опасности. Но тем не менее они поступают совершенно так же, как братья псалмопевца. Когда старший брат Елиав узнает, что пришедший из дома Давид примеривается к тому, чтобы выйти на поединок с Голиафом, он выговаривает младшему за высокомерие и излишнее любопытство. Мотивы Елиава очевидны: он хочет уберечь младшего от гибели (I Царств, 17, 28).

Еще раз оговоримся: отождествляя себя с библейским поэтом-героем, Пушкин ни перед собой, ни перед другими не берет на себя каких-либо обязательств; он, конечно, не должен буквально подражать древнему патриарху. Но очевидные переключки между кавказской одиссеей Пушкина и легендарными подробностями жизни Давида должны были как-то отражаться в сознании поэта, занимать его воображение.



Весьма показателен, например, мотив поединка, единоборства богатырей перед строем двух враждебных армий, несомненно восходящий к битве Давида с Голиафом. В третьей главе «Путешествия в Арзрум» есть запись, безусловно верно отражающая факт: «Вскоре показались дели-баш и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками» (VIII, 469). Но в известном стихотворении «Делибаш» Пушкин существенно переосмысливает эту ситуацию. Сражаются уже не дели-баш с казаками, а один дели-баш с одним казаком:

Перестрелка за холмами;  
Смотрит лагерь их и наш  
На холме пред казаками  
Вьется красный делибаш.

Делибаш! Не суйся к лаве,  
Пожалей свое житье;  
Вмиг аминь лихой забаве;  
Попадешься на копые.

Эй, казак! Не рвися к бою:  
Делибаш на всем скаку  
Срежет саблею кривою  
С плеч удалую башку.

Мчатся, сшиблись в общем крике...  
Посмотрите! каковы?...  
Делибаш уже на пики,  
А казак без головы. (III, 199).

Нетрудно заметить, что рыцарское единоборство перед строем войск есть сюжет, проходящий через все творчество Пушкина. Уже в «Кавказском пленнике» упомянут «Мстислава древний поединок» (IV, 113). В прозаическом примечании Пушкин со ссылкой на Карамзина объясняет, что Мстислав «воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю» (IV, 117). Позже на роль, сходную с ролью Давида, будет претендовать и герой «Капитанской дочки» Петр Гринев. Во время оренбургской осады он постоянно выезжает из крепости «перестреливаться с пугачевскими наездниками» (VIII, 341).

С этой точки зрения идейное пространство «Путешествия в Арзрум» выглядит незамкнутым. Предшествующие и последующие произведения Пушкина подтверждают верность автора культурной традиции, восходящей к страницам священных Книг.

\* \* \*

Тот факт, что творчество Пушкина ориентировано на высшие проявления человеческого духа, — далеко не новость. Русские философы «серебряного века», авторь-эмигранты давно это установили.

Например, А.С. Позов в поисках аналогий Пушкину в мировой мысли и мировой поэзии называет только одно и совершенно очевидное имя: «Единственная ана-

логия — царь и пророк Давид. Для обоих, Пушкина и Давида, характерен приход к Богу через искусство, через боговдохновенность искусства, через Красоту, артистический путь к Божьим глубинам»<sup>46</sup>.

Известный богослов А.В. Карташев в своей работе «Лик Пушкина» еще в 30-е годы заметил:

«В календарях культуры всех народов есть такие избранные излюбленные лики, которыми любитесь и утешается народная душа, своего рода светские святые. Как есть подобного рода исключительно ценимые и произведения национальной литературы. (...) Тут «благодать любви». Ее нельзя изъяснить, мотивировать до конца; можно лишь отчасти и приблизительно. Это — «священные писания» народов и герои национальных «священных историй». Разве в силах кто-нибудь развенчать потрясающую трогательность истории Авраама, Иосифа, Руфи, Давида, Илии? (...) Их не вырвать из памяти наций. **Это образы из светлой Библии народов.** Их биографии, большей частью окутанные мифами, воспринимаются национальными сердцами как «жития», умиляющие и возвышающие дух. Также «житийно» влечет нас и приковывает к себе и ослепительный образ Пушкина»<sup>47</sup>.

Имя русского поэта, поставленное здесь в один ряд с библейскими патриархами, лишь на первый, поверхностный взгляд кажется неуместным. Духовное родство Пушкина с самыми высокими образами «светлой Библии народов» проявляется едва ли не во всех образцах его многогранного творчества.

И «Путешествие в Арзрум» занимает среди них далеко не последнее место.

<sup>1</sup>См.: например: Тынянов Ю.Н. «Путешествие в Арзрум» //Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. — Т.2. — М.—Л., 1936. — С. 57—73; Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа. — М., 1990. — С. 173—198; Белкин Д.И. Встреча Пушкина с персидским стихотворцем Фазыл-ханом //Литературные связи и традиции. — Вып. 4. — Горький, 1974; Левкович Я.Л. Кавказский дневник Пушкина //Пушкин. Исследования и материалы. — Т. 11. — Л., 1983. — С. 5—26. ее же. К цензурной истории «Путешествия в Арзрум» //Временник Пушкинской комиссии. 1964. — М.—Л., 1967. — С. 34—37; Листов В.С. К истории создания «трибюедовского» эпизода из «Путешествия в Арзрум» //Болдинские чтения. — Горький, 1986. — С. 129—139.

<sup>2</sup>Достаточно напомнить, что подорожную до Тифлиса Пушкин берет еще 5 марта 1829 года, т.е. почти за два месяца до сватовства.

<sup>3</sup>См., например: Гиллельсон М.И., Мильчина В.А. Комментарий //Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Приложение к факсимильному изданию. — Т. 5. — М., 1987. — С. 46—47.

<sup>4</sup>О дворянском культе чинов и о преимуществах военной службы перед всеми другими см.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. — СПб., 1994. — С. 18—45.

<sup>5</sup>Преследует его также чума в Ахалцихе, Эривани и Арзруме, но это другая тема.

<sup>6</sup>Ивановский А.А. А.С. Пушкин //Русская старина. — 1874. — Т. 2. — С. 398—399.

<sup>7</sup>Это заметили, например, С. Гессен и Л. Модзалевский //Разговоры Пушкина. — М.,: 1929. — С. 111 (примечание).

<sup>9</sup>Большая Советская Энциклопедия. — Т. 15. — М., 1952. — С. 432. Это, кстати, и дает Пушкину возможность пометить одно из кавказских стихотворений топонимом — «Лагерь при Евфрате» (III, 163).

<sup>9</sup>В кругу Пушкина Кавказ и понимался как библейский рай. Например, генерал А.П. Ермолов в иронической реплике против Паскевича и его участия в кавказской войне 1828—1829 годов писал: «... в самом раю давал он баталии. Кто другой со времен христианства дрался у источников Тигра и Евфрата». — См.: Эйдельман Н.Я. Указ. соч. — С. 183.

<sup>10</sup>См.: Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиографическое описание). Отдельный оттиск из издания «Пушкин и его современники» — Вып. 9—10. — Спб., 1910. — №№ 166—172; Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. — Л., 1987. — С. 488-501.

<sup>11</sup>Легенда о докторе Фаусте //Издание подготовил В.М. Жирмунский. — М., 1978. — С. 71—72 (Серия «Литературные памятники»).

<sup>12</sup>Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. — М., 1989. — С. 218—233.

<sup>13</sup>Легенда о докторе Фаусте. — С. 60—62.

<sup>14</sup>См.: Осповат Л.С. «Влюбленный бес». Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821—1831 гг. //Пушкин. Исследования и материалы. — Т. 12. — М., 1986. — С. 175—199; Тархов А.Е., Джунь В. «Там колыбель моего Онегина» //Болдинские чтения. — Горький, 1982. — С. 13-22.

<sup>15</sup>См.: Эфрос А. Рисунки поэта. — М., 1930. — С. 61.

<sup>16</sup>См.: Тархов А.Е., Джунь В. Указ. соч. — С. 20—22.

<sup>17</sup>Романс Д. Туманишвили.

<sup>18</sup>См.: Аверинцев С.С. Рай //Мифы народов мира: В 2-х т. — Т. 2. — М., 1982. — С. 364.

<sup>19</sup>По мотивам молитвы Ефрема Сирина написано стихотворение Пушкина: «Отцы пустыньники и жены непорочны» (III, 421).

<sup>20</sup>См.: Лихачев Д.С. Поэзия садов. — М., 1982.

<sup>21</sup>См. главу третью наст. издания.

<sup>22</sup>Первое впечатление и первая его запись очень близки по времени — из письма к Л.С. Пушкину от 24 сентября 1820 г.: «Жалею, мой друг, что ты... со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми» (XIII, 17).

<sup>23</sup>В Ставрополе увидел я на краю неба белую неподвижную массу облаков, поразившую мне взоры тому ровно 9 лет. — Они все те же, все на том же месте. — Это были снежные вершины Кавказа». См.: Левкович Я.Л. Указ. соч. — С. 20.

<sup>24</sup>См.: Левкович Я.Л. Указ. соч. — С. 24.

<sup>25</sup>Современник. — 1836. — N 1. — С. 83—84.

<sup>26</sup>См.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Т. 3. — Л., 1977. — С. 450.

<sup>27</sup>Понятно, что к ветхозаветной символике тяготеет здесь и образ «в небе реющего ковчега», особенно уместный на Кавказе, в окрестностях горы Арарат. Но это другая тема, которая здесь не затрагивается.

<sup>28</sup>Д.С. Мережковский, например, с доверием отнесся к эпизоду из «Записки» А.О. Смирновой, в котором Пушкин говорит о Моисее: «Ни одно из библейских лиц не достигает его величия...» И далее: «Брюллов подарил Пушкину эстамп, изображающий Моисея Микельанжело. Пушкин очень желал бы видеть самую статью». См.: Мережковский Д.С. Пушкин //Пушкин в русской философской критике. — М., 1990. — С. 135.

<sup>29</sup>См.: Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2-х т. — Т. 2. — Спб., б.г. — С. 2071.

<sup>30</sup>Аналогичным образом облако наполняет и храм Соломона в момент его освящения: «И не могли священники стоять на служении по причине облака; ибо слава Господня наполнила храм Господень» (3 Царств, 8, 10–11).

<sup>31</sup>Перед тем, как оглядеть землю обетованную, куда войти ему не дано, Моисей вновь, уже в последний раз увидит «столп облачный» и будет беседовать с Господом (Второзак., 31, 15–16).

<sup>32</sup>Об этой композиционной особенности пушкинских записок см.: Тартаковская Л.А. «Путешествие в Арзрум»: художественное исследование Востока //Творчество Пушкина и зарубежный Восток. — М., 1971. — С. 144.

<sup>33</sup>Левкович Я.А. Указ. соч. — С. 25.

<sup>34</sup>Там же. — С. 23.

<sup>35</sup>Ахматова Анна. После всего. — М., 1989. — С. 168.

<sup>36</sup>Попутно заметим, что образ «воздушной громады» тоже связан у Ахматовой с Пушкиным. Ахматова, как известно, была переводчиком английских текстов в известном сборнике «Рукою Пушкина» и, следовательно, хорошо знала его содержание. В этом сборнике было помещено переписанное Пушкиным стихотворение Адама Мицкевича «Олешкевич. День накануне петербургского наводнения 1824». В переводе этого стихотворения есть строки: «Воздушная громада, как город великанов / Исчезнув в небе... (См.: Рукою Пушкина. — М.—Л., 1935. — С. 12, 535–536, 544).

<sup>37</sup>По-видимому, тот же смысл, смысл библейского образа, имеют «завтрашние облака» в онегинской строфе, завершающей роман В.В. Набокова «Дар» (указано С.А. Фомичевым).

<sup>38</sup>См.: Юзефович М.В. Памяти Пушкина //А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 2. — М., 1974. — С. 109.

<sup>39</sup>Левкович Я.А. Указ. соч. — С. 25.

<sup>40</sup>Насколько прочно псалмопевец Давид осознавался как предтеча последующей поэзии, можно судить, например, по тому, что в XIX столетии в России на могильных камнях поэтов и музыкантов нередко изображали шестиугольную «звезду Давида».

<sup>41</sup>Подробнее об этом см.: Фомичев С.А. Из комментариев к лирике Пушкина. Эпиграмма «Певец Давид был ростом мал...» //Временник Пушкинской комиссии. — Вып. 26. — СПб., 1995. — С. 78–86.

<sup>42</sup>О предлагаемых новой датировке и новом прочтении этой эпиграммы см.: Фомичев С.А. Указ. соч. — С. 83.

<sup>43</sup>См.: Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. — Л. — С. 350.

<sup>44</sup>Там же. — С. 77, 355–356, 362.

<sup>45</sup>Пуцин М.И. Встреча с Пушкиным за Кавказом //А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — С. 90–91. Тем не менее поэт 14 июня 1829 г. ввязался в перестрелку с турками в долине Инжа-Су и был насильно выведен из передовой цепи казаков офицером Н.Н. Семичевым, посланным Н.Н. Раевским. См.: Ушаков Н.И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг. — Часть 2. — Варшава, 1843. — С. 303.

<sup>46</sup>Позов А. Метафизика Пушкина. — М., 1998. — С. 39.

<sup>47</sup>Карташов Антон. Лик Пушкина //Пушкин в русской философской критике. — С. 307.

**П**ушкину было понятно выражение – «корабельная архитектура». Подробно, долгие годы изучая историю Петра Великого, он должен был выявить глубокую связь между сухопутным зодчеством и строением морских судов. В наши дни две созидательные профессии довольно далеко разошлись, обрели множество специфических отличий. Но еще и сегодня мы называем, например, вытянутое в длину пространство храма словом «неф», что по-французски означает «корабль» и восходит к латинскому «navis», т.е. тот же «корабль».

В XVIII столетии в круг знаний артиллерийского офицера – того же, скажем, пушкинского прадеда Аврама Ганнибала – входили основные сведения о зодчестве, фортификации, корабельной архитектуре. Даже еще в начале нашего века русский гражданский инженер вполне профессионально судил о конструкциях судов, об их гидродинамических свойствах. А уж обратившись к историческим источникам петровской эпохи, Пушкин должен был постоянно сталкиваться с родственностью морских и сухопутных искусств, наук и ремесел.

И все-таки парусный флот всегда был для Пушкина предметом возвышенным, романтическим. В «ветрилах кораблей» поэт видел весь путь человечества от самого Ноева ковчега, и образы дальних стран, где никогда не бывал; и отблеск морских побед отечества...

Собирая материалы к «Истории Петра», Пушкин под 1723 годом внес в свой конспект такую краткую запись:

«10-го /.../ августа триумф старого Ботика, дедушки русского флота (см. Голикова /.../etc)».

За этим скупым конспективным наброском – подробный рассказ из «Деяний Петра Великого» И.И. Голикова, хорошо изученный Пушкиным, перечитанный им неоднократно:

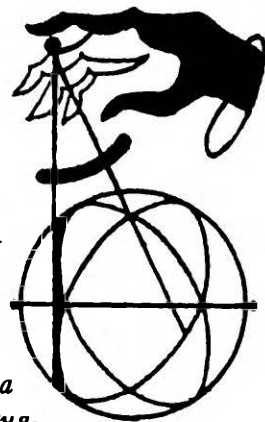
«... Великий Государь между тем сделал самый великолепный праздник, какового по новости его подобного никогда не бывало.

Славный тот ботик, который подал Монарху в младых его летах идею о морских судах, и который возродил в нем желание построить великий флот, по указу Его Величества привезен был в Петербург. Великий Государь, как говорит Г./осподин/ Ломоносов, восхотел и бесчувственному дереву показать преславный знак благодарности. Мы опишем сие обстоятельно.

Император /.../ со всем своим Двором, с Герцогом Голстинским, Принцессами Гессенгольбургскими и со всеми иностранными и своими Министрами, Генералами и почти со всеми Офицерами отправился в Кронштадт, повелев привести на галиоте туда же и ботик сей в препровождении двух сот галер.

Его Величество по прибытии своем повелел вывести весь бывший в гаванях Кронштадтский флот свой, состоявший в 22 линейных кораблях и в великом числе фрегатов, яхт и других морских судов, из гаваней в море. Ботик, или, как





Монарх его называл, дедушка Российского флота, остановлен со своим галиотом, не доезжая Кронштадта, а сопровождавшие его галеры умножили собой флот.

Между тем Государь поставил весь флот сей в порядок и, сделав сему церемониальный план, роздал оный на все корабли и суда; 11 числа в начале 7 часу по утру подняты были на все флоте флаги, и заняли свои места Командиры оного, Генерал-Адмирал яко начальник стал в середине, авангардиею командовал адмирал Крейс, а арьергардиею Адмирал красного флота Петр Михайлов (Государь), и того ж часу у Господина Адмирала красного флота с корабля его Св. Екатерины дан сигнал и Ордер Офицерам его дивизии /.../.

В 11 часов Господин Адмирал красного флота, прибыв на Адмиралтейский корабль «Гангут», стоявший против купецкой гавани средних ворот, роздал всем флагманам новые шафтяные флаги, и Генерал-Адмирал со всеми флагманами сели каждый на свою шлюпку, которых было девять, под своим флагом, и следовали к ботику, стоявшему на галиоте за военною гаванью к Осту.

По прибытии к галиоту Господа Флагманы приняли от Капитана Командира Ивана Синявина ботик, спустили оной на воду и своими руками поставили на нем мачту, а Господин Адмирал Петр Михайлов принял должность Квартирмейстера.

Поелику же тогда при приятности ветр был ходу ботика противной, то должно было вести его флагманским шлюпкам буксиром, а на боту сидящие Вице-Адмирал Сиверс и Гордон, и Шаутбенахты.

Наум Синявин и Сандерс гресли веслами, Вице же адмирал Князь Меншиков исправлял должность ботманскую метанием лота, а Обер-Квартирмейстер Крестьян-Отто канонирскую для салютования кораблям из малых бывших на нем пушек.

В 12 часов, когда ботик сим образом обошел флот, под штандартом возвращался, когда на каждом же корабле и фрегате, мимо которых он равнялся, били в барабаны поход, играли на трубах, и все люди кричали у р а! Коля же скоро достопочтенный сей дедушка по обозрению чад своих входил в гавань, тогда паки не только с кораблей, с галер и бурного флота, лежащего в гавани, но и с крепости поздравлен был валовым выстрелом.

Ея Величество и Их Величества со всем Двором своим благоволили торжество дедушки смотреть с крепости. По окончании всей церемонии Императри-

Петербург. Вид вниз по Неве от наплавного моста. Картина неизв. художника по рис. М. Махаева. 1749



Английская набережная в перв. пол. XIX в. Гравюра Мартенса

Троицкая площадь. Клеймо «Панорамы Петербурга» А. Зубова. 1716

Вид на Петропавловскую крепость со стороны Невы. Гравюра Пикарта. 1704







ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ~



ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ

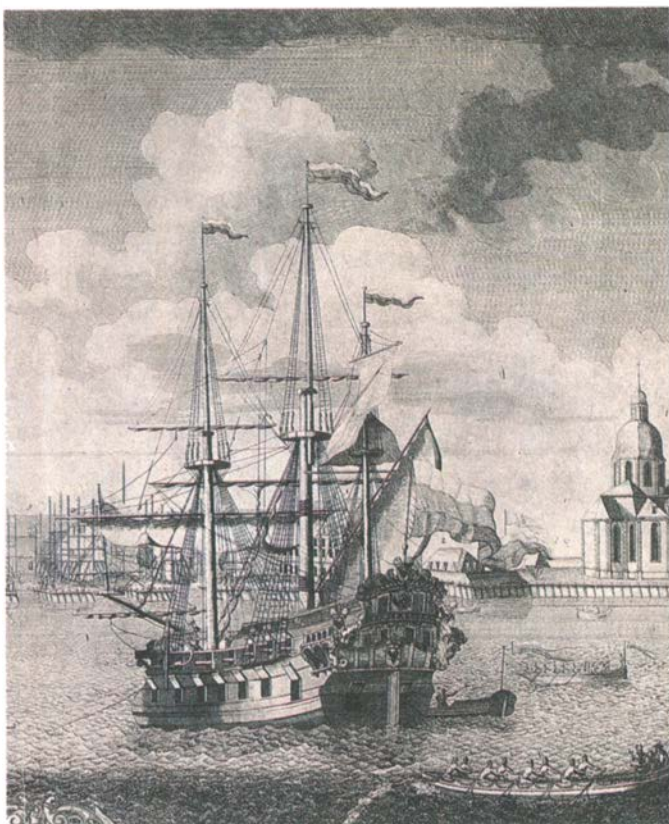






ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ 7



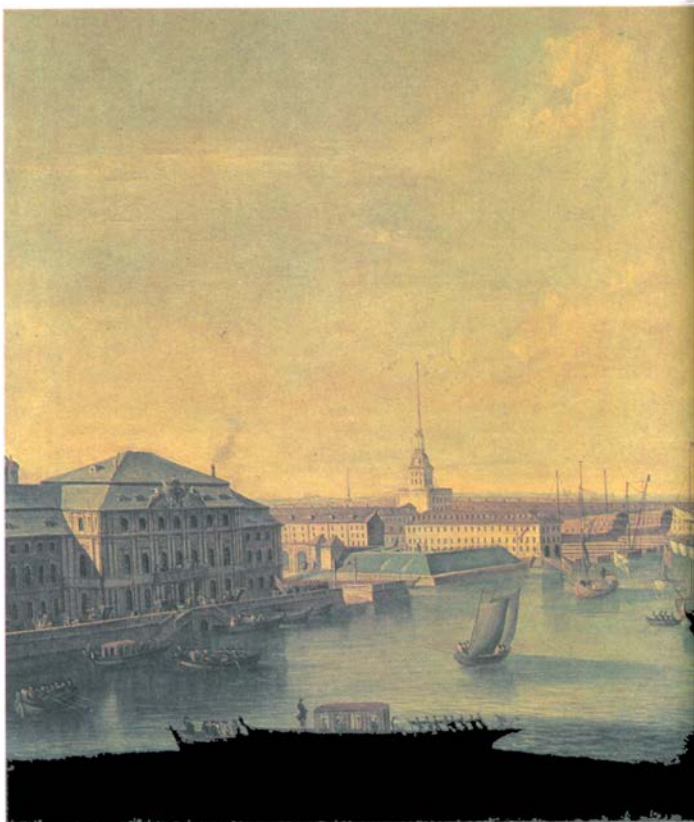


Адмиралтейство. Вид с Невы в 20-х годах XVIII в. По рис. Х. Марселиуса

Вид от Петропавловской крепости на набережную от Литейного двора до Марсова поля. Гравюра-акварель Б. Патерсена. Начало XIX в.

Вид вниз по Неве от Зимнего дворца и Стрелки Васильевского острова. Картина неизв. художника по рис. М. Махаева. 1749

Вид на Петербургский остров со стороны Невы. Гравюра А. Зубова. 1720 (см. с. 288–289)







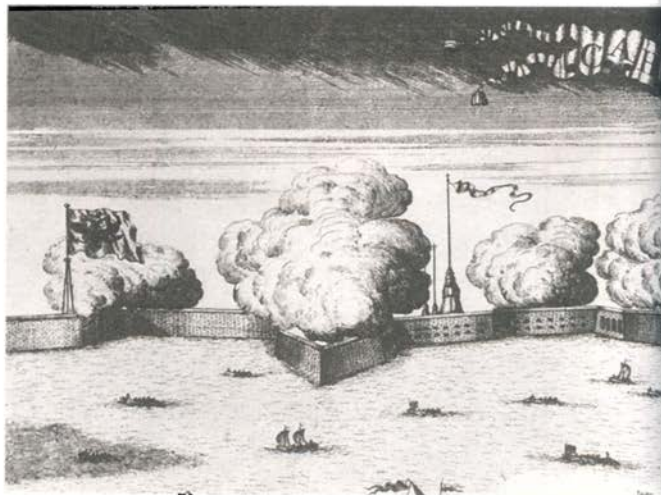
ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ~



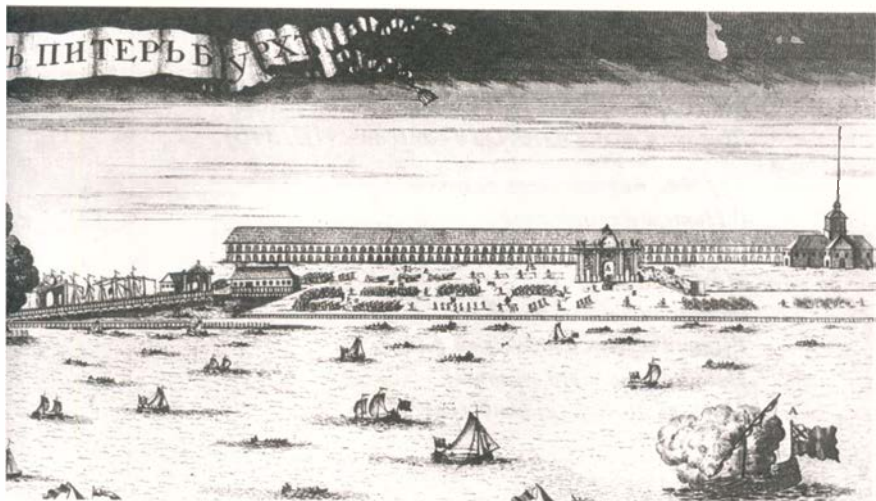


«Панорама Санкт-Петербурга» с видом на Петропавловскую крепость, Адмиралтейство и Васильевский остров. Фрагмент

Петербург первой трети XVIII в.







ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ~

ца угостила всех до самого Обер-Офицера обеденным столом, приготовленным во многих разбитых для сего палатках у военной гавани; палатки оные были сделаны из корабельных парусов. В продолжении стола беспрерывно производилась пушечная пальба и игра на трубах.

12 числа Их Величества со всеми возвратились в Петербург. Ботик сей и при возвращении его в Петербург с такою же честью будет встречен.

А сию последнюю встречу и то удовольствие, какое ощущал тогда Монарх, попросим мы описать Г./осподина/ Ломоносова.

«Сколь радостны были, говорит сей Оратор, Великому Государю в морском деле его успехи, к несказанной пользе и славе Государства рачением его произведенные, легко из того усмотреть можно, что не токмо воздаянием удовольствовал спотфудившихся с собою, но и бесчувственному дереву показал преславный знак благодарности; не вмещают берега великого множества стекавших зрителей; колеблется воздух и стонет от народного восклицания, от шума весел, от трубных гласов, от звука огнедышащих машин. Какое щастие! какую радость нам Небо посылает! Кому на сретение Монарх наш с таковым великолепием исходит? Ветхому ботику, но в новом и сильно первенствующем флоте! Представив сего величество, красоту, могущество и сильные действия, и купно оного малость и худость, видим, что сего никому в свете произвести не было возможно, кроме исполинской смелости в предприятии и неутомимой в совершении бодрости ПЕТРОВОЙ».

По сем Великий Государь повелел сей монумент для вечного сохранения его поставить в Кронверк Санктпетербургской крепости, дабы потомство ведало, что до Его Величества весь флот состоял в том одном ботике».

Знаменитые образы пушкинской лирики восходят к этому и другим подобным описаниям морских маневров в петровскую эпоху. Ломоносов, Сумароков, Голиков вдохновляют Пушкина на поэтическое переосмысление исторических картин...

*Чу, пушки грянули! крылатых кораблей  
Покрылась облаком станица боевая,  
Корабль вбежал в Неву – и вот среди зыбей  
Качаясь плавает, как лебедь молодая.*

*Ликует русский флот. Широкая Нева  
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,  
Широкая волна плеснула в острова.. (III, 310)*

*/.../ Что пирует Царь великий  
В Питербурге-городке?  
Отчего пальба и клики  
И эскадра на реке?  
Озарен ли честью новой  
Русский штык иль русский флаг?  
Побежден ли швед суровый?  
Мира ль просит грозный враг?*



*Иль в отъятый край у шведа  
Прибыл Брантов утлый бот,  
И пошел навстречу д е д а  
Всей семьей наш юный флот,  
И воинственные внуки  
Встали в строй пред стариком,  
И раздался в честь Науки  
Песен хор и пушек гром? (III, 408)*



## Глава VII

---

A large, intricate decorative flourish in black ink, featuring a central oval shape with elaborate, swirling lines extending upwards and downwards. The text is centered within the oval part of the flourish.

**«СЫН  
казненного стрелъца»**

В большом академическом собрании сочинений Пушкина на последних двух страницах раздела, озаглавленного «Планы ненаписанных произведений», помещены пять отрывочных записей, объединенных общим редакционным, не принадлежащим автору заголовком: «Планы повести о стрельце» (VIII, 430—431).

Заключительному, пятому из этих отрывков и посвящена предлагаемая глава.

Вот текст пушкинского наброска, известного исследователям на протяжении шести последних десятилетий:<sup>1</sup>

«Сын казненн.(ого ) стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему П.(етр) поручает свое письмо. — *Приказч.(ик)* вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего, и отдан в солдаты. Стрел. (ецкий сын) посещает его семейство и у П.(етра) выпрашивает прощение молодому (барину)» (VIII, 431).

Текст столь краток, что о полной реконструкции неосуществленного замысла нечего и думать. Однако можно попытаться подробно прокомментировать набросок, установить некоторые существенные фабульные и идейные связи как внутри текста, так и в прилежащем к нему окружении других произведений Пушкина. Все это и входит в нашу задачу.

## I

Интересующий нас набросок обычно датируется примерно 1834 годом Основанием служит водяной знак на бумаге: «А. Г. 1834». Согласно научному описанию рукописей Пушкина, хранящихся в Институте русской литературы, такой знак имеет бумага «N 155<sup>2</sup>. В описании указывается всего на 24 случая употребления бумаги этого типа<sup>3</sup>. Среди них — 17 писем. Только два из них (А. Х. Бенкендорфу — в ноябре и декабре) датированы 1834 годом; остальные 15 приходятся на 1835 год Самое позднее письмо — П. А. Клейнмихелю — от 19 ноября 1835 года.

Если Пушкин пользовался такой бумагой с конца 1834 по конец 1835 года, то, по-видимому, набросок «Сын казенного стрельца», и был написан в этот промежуток времени. Примерная датировка наброска 1835 годом выглядит даже более вероятной, чем общепринятая — 1834 год.

Б. В. Томашевский давно заметил, что «Сын казенного стрельца», возможно, «не имеет отношения к замыслу, с которым связаны первые четыре плана»<sup>4</sup>, т. е. наброски к повести о стрельце. Свое мнение исследователь основывал на различиях исторических эпох, в которые происходит действие: в повести о стрельце — 1682 год, в «Сыне казенного стрельца» — 1711 год, Прутский поход. Первые четыре плана датируются 1833—1834 годами. Если верно предположение о датировке «Сына казенного стрельца» 1835 годом, то мы со своей стороны можем подтвердить версию Б. В. Томашевского; действительно, этот автограф не имеет прямого отношения к четырем предыдущим и его следовало бы печатать отдельно от остальных и под собственным заголовком.

Отметим также несколько разночтений и особенностей в тексте «Сына казенного стрельца».

Во фразе: «*Приказч. (ик)* вдовы доносит на своего молодого барина» (VIII, 431) — над словом «приказчик» Пушкин надписывает: «*Сосед?*» — и подчеркивает написанное слово. В варианте последней фразы указан чин стрелецкого сына — «офицер». Наконец, под текстом Пушкин записывает в столбик  $\frac{1654}{5508}$  т. е. дату по новому летосчислению (от Рождества Христова) пробует обозначить годом допетровского летосчисления — от сотворения мира. Но не завершает своего расчета, который дал бы ему год 7162. Связь даты с планом вероятна, но остается неясным, имеется ли тут в виду реальное историческое событие или вымышленный момент (например, год рождения казенного стрельца, чей сын воспитан вдовой).

Историко-фактографический комментарий к тексту наброска не вызывает особых затруднений.

Отец главного героя служил в стрелецком войске; он не был знатен. Пушкин в трудно датируемой заметке «В древние времена...» пишет, что «дворяне гнушались службою стрелецкою и считали оную пятном для своего рода — по сей причине большая часть их начальников была низкого происхождения» (XII, 203)<sup>5</sup>. О чинах отца героя в плане не говорится: видимо, он не был дворянином по происхождению.

Казнь стрельца, очевидно, не входила в основную фабулу задуманного произведения. Она есть исходный факт, факт предыстории излагаемых происшествий. Однако Пушкин вряд ли мог не прикреплять мысленно это трагическое событие к какому-то реальному и конкретному эпизоду 80–90-х годов XVII столетия — историю регентства Софьи и «начала славных дней Петра» он знал весьма детально. Три исторических момента были в поле зрения Пушкина. Во-первых, осень 1689 года, когда после свержения царевны-регентши был казнен начальник стрелецкого приказа Федор Шакловитый со своими приверженцами. Во-вторых, раскрытие в 1697 году заговора полковника И. Е. Циклера, стоившее жизни заговорщикам из стрельцов. И, наконец, в-третьих, массовые, ставшие легендарными, казни после стрелецкого бунта 1698 года.

В зависимости от характера своего замысла Пушкин мог ориентироваться на любое из трех событий. Дело Шакловитого, известное в пушкинские времена только специалистам, могло все же привлечь внимание автора. Если герой осиротел в 1689 г., то к моменту Прутского похода 1711 года ему должно быть не менее 22 лет. Тогда он вполне бы мог с малолетства воспитываться у вдовы-дворянки, «успевал» бы вступить в службу и получить офицерский чин. В результате же гибели отца в конце 90-х годов, исторически более вероятной, сирота попадал в новое семейство далеко не в раннем младенчестве; его жизнь у приемной матери исчисляется тогда сравнительно недолгим временем. А это должно было несколько ослаблять и мотив благодарности стрелецкого сироты, и возможности подмены одного юноши другим при вступлении в службу. Пушкин, однако, вполне мог пренебречь такой строгой хронологической приуроченностью.



Его замысел, как мы покажем дальше, имел все признаки семейного повествования, в котором нередко использовались некоторые моменты биографий пушкинских предков. Автор поэтому вполне мог отнести семейную трагедию своего героя к раскрытию заговора Циклера в 1697 году, так как среди казненных действительно был предок поэта, стольник Федор Матвеевич Пушкин («С Петром мой пращур не поладил И был за то повешен им» — III, 262).

И, наконец, необходимо более внимательно всмотреться и в драматические обстоятельства стрелецкого бунта 1698 года, завершившегося великой казнью, жертвы которой исчислялись тысячами. Пушкин прекрасно представлял себе масштабы события. В подготовительных материалах к «Истории Петра» оно служит основанием для периодизации, недаром же целая тетрадь материалов озаглавлена: «До 1700 (от казни Стрельцов)» (X, 42).

Почти полтора века отделяли Пушкина от «мятежей и казней» 1698 г. Но память о них была достоянием не одного только круга образованных людей. Она глубоко укоренилась в народном сознании. Известно, например, что мотив отмщения за убиенных стрельцов использовали «агитаторы»-пугачевцы. Один из них излагал историю следующим образом:

«Блаженной памяти государь император Петр Первой казнил стрельцов по наветам бояр, и как после рассмотрел, что казнил их безвинно, то сказал боярам так: был Петр, которой казнил стрельцов напрасно, по одним наветам боярским, будет и еще Петр, который отомстит боярам за стрельцов неповинную кровь»<sup>6</sup>.

Таким образом, народная легенда гласила, что сыновья казненных стрельцов вместе с их внуками и правнуками, предводительствуемые потомком Петра I, т. е. Петром III — Пугачевым, мстили боярам, исправляя старую историческую несправедливость, осознанную уже самим Петром I. Пушкин как историк Пугачева был необычайно чуток и внимателен к такого рода легендам. Мы не знаем — и наверное не узнаем никогда, — был ли он знаком с народным истолкованием пугачевской крестьянской войны как мести за невинно убиенных стрельцов. Если же среди сказаний о Пугачеве, слышанных Пушкиным в 1833 году в поволжских и оренбургских краях, мелькнул мотив связи со стрелецкой казнью, то можно не сомневаться, что он остался в памяти поэта<sup>7</sup>. Разумеется, мы далеки от того, чтобы объявлять народное предание прямым источником пушкинского текста. Оно упомянуто только как свидетельство великой значимости события, определившего во многом судьбы персонажей задуманного произведения.

В пользу версии о казни отца героя именно в 1698 года говорит и еще одно важное обстоятельство. Д. П. Якубович давно провел существенную параллель между замыслом о сыне казненного стрельца и одной из сюжетных линий «Арапа Петра Великого»<sup>8</sup>. Там стрелецкий сирота Валериан воспитан в боярском доме Ржевских; мальчик взят в дом потому, что покойный отец его «во время бунта» (VIII, 26) спас жизнь боярину Ржевскому. Стрелецким же казням в связи с раскрытием заговора Шакловитого и Циклера не предшествовали ярко выраженные бунты.

Кроме трех указанных, у Пушкина была и четвертая возможность: вообще не называть конкретно историческое событие, осиротившее главного героя, а ограничиться обобщенным напоминанием о мятежах и казнях в 80-х и 90-х годах предшествующего столетия, близко затронувших семью. Самое вдовство приемной матери героя могло быть связано с репрессиями конца века. По замыслу Пушкина она — вдова-дворянка: ее родной сын упоминается как «молодой барин». Момент очень важный. Мы помним, что стрелецкий сирота недворянского происхождения, и здесь, как нам кажется, корень всех дальнейших осложнений.

Если продолжать аналогию с «Арапом Петра Великого», то нетрудно заподозрить роман приемьша с названной сестрой. Романическая ситуация легко прослеживается в замысле 1835 года.

Как в большинстве случаев у Пушкина, здесь положение осложнено сословной и имущественной пропастью между влюбленными. Мать девицы-дворянки владеет именем, за которым доглядывает приказчик. А приемьш недворянского происхождения и беден. Надо отметить и еще одно обстоятельство, отягчающее и судьбу влюбленных, и жизнь вдовы: семья, принимающая сына казенного стрельца, поступает вопреки закону. И Пушкин об этом прекрасно знает. Читая и конспектируя труд И. И. Голикова «Деяния Петра Великого...», Пушкин выписывает указ Петра I, помеченный 1700 годом, «О высылке из Москвы *остаточных* стрельцов и о недержании их никому» (X, 56). По этому указу москвичи были не вправе дать убежище у себя не только стрельцам, но также их женам и детям<sup>9</sup>. Значит, уже с самого начала, задолго до доноса приказчика, вдова и ее домочадцы нарушали этот жестокий запрет. Но главные отступления от закона состояли не только в этом.

Фраза из пушкинского плана о приемьше, который «идет в службу» вместо сына приемной матери, влечет за собой необходимость подробного историко-фактографического комментария. В нашу задачу, разумеется, не входит исследование реальной службы дворянских недорослей в эпоху петровских реформ. Достаточно будет ограничиться тем кругом фактов, которые, несомненно, известны Пушкину.

Сама ситуация, при которой один юноша подменяет другого, убеждает в том, что служба недобровольна. Это призыв. Он обязателен. Основной источник пушкинских сведений о Петре — труд И. И. Голикова — сообщает о призыве дворянских недорослей среди акций, предпринятых Петром I в мае 1706 года<sup>10</sup>. Далеко не все, сообщаемое историографом, Пушкин вносит в свой конспект, но этот факт воспроизведен рукою поэта: Петр, пишет Пушкин, «указом повелел нигде не записанных недорослей из дворян, укрывающихся, записывать в службу» (X, 98). Перед абзацем, включающим эту запись, Пушкин ставит знак «нотабене» — NB<sup>11</sup>. В следующей тетради он (снова вслед за Голиковым) отмечает среди актов Петра I за 1706 год указ «О записке недорослей из дворян в драгунь» (X, 109).

Следующие по времени известные Пушкину указы о явке недорослей относятся ко второму и третьему десятилетиям века и потому не имеют отношения к рассматриваемому замыслу; ведь сын казенного стрельца в 1711 году участвует в Прутской кампании уже в офицерском чине, в числе людей, близких к Петру или, по

крайней мере, ему известных. Следовательно, 1706 год можно считать рубежной датой в истории, намеченной пушкинским наброском. Заметим, что отношения действующих лиц с законом заметно осложнились. Во-первых, дворянский недоросль — родной сын вдовы — не идет в службу, укрывается от призыва. Во-вторых, сын казненного стрельца, человек неблагородного сословия, незаконно обретает дворянское достоинство, что помогает ему получить офицерский чин. Молодые люди как бы меняются жребиями: раньше сирота скрывал свое стрелецкое происхождение, теперь скрываться должен недоросль.

Такого рода «переодевания» (в духе Вальтера Скотта) нередки в творчестве Пушкина в 1830-е годы. Вспомним «Барышню-крестьянку», «Анджело», «Дубровского», «Капитанскую дочку». В последнем случае маскарад связан с преступлением, считавшимся в России одним из самых тяжких, — самозванством. В нем повинен теперь и сын казненного стрельца: он переменил имя и тем повысил свой социальный статус. Самозванство всегда отягчалось еще и тем, что нарушало среди других государственных установлений и церковные законы. Ведь перемена прозвания была отказом от покровительства того святого, во имя которого человек был крещен, что почиталось кощунством.

Пушкинский план не дает, к сожалению, материала для суждений об участии женщин в подмене. Можно только догадываться о горе дочери, которую разлучают с возлюбленным, — по аналогии с тем, как плачет в «Арапе Петра Великого» Наталья Ржевская, когда уходит в войско стрелецкий сирота Валериан (VIII, 26). С другой стороны, вдова должна, быть довольна: она сохраняет родного сына от опасностей военной службы и разлучает дочь с юношей, который ей не пара. Впрочем, все это область догадок.

О том, что происходит с героями в пятилетие между 1706 и 1711 годами, мы тоже почти ничего не знаем. Достоверно известно одно: сын казненного стрельца дослужился до офицерского чина. Попытку более конкретно заполнить пробел его биографии мы сделаем несколько позже. О семье вдовы совсем ничего неизвестно: по-видимому, она существует в своем замкнутом патриархальном мирке и, откупившись приемьшем, пока никак не затронута петровскими преобразованиями.

Дальнейшее развитие действий, обозначенное в пушкинском наброске, приводит нас к подробностям Прутского похода Петра I.

Поход 1711 года против турок, как известно, окончился неудачей. Русские войска были окружены на реке Прут, и под угрозой полного поражения Петр I вынужден был согласиться на подписание мирного договора, который предусматривал отказ России от многих прежних завоеваний.

О Прутском походе существует обширная научная литература. Но нас в дальнейшем будет интересовать не столько область строгих и проверенных данных по этому предмету, сколько легендарная ситуация, связанная с письмом Петра I в Сенат. Предание, известное Пушкину и нашедшее отражение в изучаемом наброске, гласит, что Петр, попав в безнадежную военную ситуацию, якобы написал завещание, обращенное к сенаторам.

Известный собиратель анекдотов о Петре I Яков Штелин, к труду которого и восходит бытование легенды, так передает содержание этого письма-завещания: «Уведомляю вас, что я со всею армиею без всякой вины или неосмотрительности с нашей стороны, единственно по полученным ложным известиям, окружен со всех сторон турецким войском, которое вчетверо наших сильнее, и лишен всех способов к получению провианта, так что без особенной Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, как что со всеми нашими людьми погибну либо взят буду в плен. В последнем случае не почитайте меня царем и государем своим и не исполняйте никаких приказаний, какие тогда, может, быть, от меня были бы к вам присланы, хотя бы они и собственной моею рукою были писаны, пока сам я не возвращусь к вам. Если ж я погибну и вы получите верное известие о моей смерти, то изберите достойнейшего из вас моим преемником»<sup>12</sup>.

И анекдот Штелина, и включенный в него текст «завещания» Петра I Пушкин прекрасно знал. В материалах к «Истории Петра» он высказал критическое соображение о подлинности документа: «Штелин уверяет, — писал Пушкин, — что славное письмо *в сенат* хранится в кабинете е. (го) в. (еличества) при императорском дворце. Но к сожалению анекдот кажется выдуман и чуть ли не им самим. По крайней мере, письмо не отыскано» (X, 168).

От этого замечания Пушкина берет свое начало историография прутского «завещания» Петра I. Проблемой подлинности письма до революции занимались Н. Г. Устрялов, С. М. Соловьев, Ф. А. Витберг, Е. А. Белов, а в наше время Е. П. Подъяпольская, Н. И. Павленко и другие историки. Однако Пушкин, как утверждает современный исследователь, был первым кто высказал сомнение в достоверности письма-завещания<sup>13</sup>. В настоящее время мнение о поддельности штелинского текста разделяется всеми серьезными специалистами<sup>14</sup>.

Но одно дело пушкинское понимание «выдумки» письма Штелиным, а другое — необходимость этого «письма-завещания» в ткани художественного произведения. Когда того требовала логика сочинения, Пушкин без колебаний отступал от «низких истин» строго документальной истории. Например, он прекрасно знал обстоятельства Смутного времени, но в «Борисе Годунове» воспроизвел их далеко не буквально: преувеличил роль своих предков, преуменьшил умственные способности патриарха Иова, вольно распорядился некоторыми фактами военной истории. Видимо, «письмо-завещание» с Прута должно было занять место в ряду таких сознательных пушкинских уходов от достоверных источников. В замысле о сыне казненного стрельца оно становится одной из кульминаций, ибо отражено в тексте кратчайшего конспективного наброска.

Итак, герой будущего повествования летом 1711 года, преодолевая турецкие заставы, везет пакет с «завещанием» Петра I из прутского окружения в Россию. Параллельно важные события должны происходить и в оставленном приемышем семействе вдовы-дворянки, где от царской службы скрывается названный брат героя.

В марте 1711 года, незадолго до выступления в поход против турок, Петр I издает указ, прямо влияющий на судьбу недоросля. В подготовительных материалах к

«Истории Петра» Пушкин так излагает его содержание — «объявить: кто същел скрывающегося от службы или о таком возвестит тому отдать все деревни того, кто ухоронивался» (X, 158). И эту запись Пушкин отмечает — на этот раз двумя знаками «нотабене» — NBNB<sup>15</sup>.

Понятно, что такое царское повеление должно было по всей стране стимулировать доносчиков. Но реальных обстоятельств доноса на семью вдовы мы не знаем. Отметим только: вопросы «кто донес?» и «когда донес?» тесно между собой связаны. Мы помним, что, судя по автографу наброска, Пушкин выбирает на роль изобличителя одного из двух персонажей — соседа или приказчика. Для ситуации 1711 года больше подходит доносчик-сосед.

Приказчик у вдовы — вряд ли дворянин; скорее он из холощев, из дворовых. Разоблачение недоросля не принесет ему настоящей выгоды — он ведь по своему социальному положению не может владеть землей и крепостными, а значит ему нельзя «отдать все деревни того, кто ухоронивался». Другое дело — сосед. Он должен быть благородного происхождения. Ибо само понятие «соседство» в дворянском быту определяет собой момент некоего социального равенства, внутрисословной общности. Вспомним диалог из «Евгения Онегина»: «Ты ей знаком?» — «Я им сосед» (VI, 173). Помещику XVIII—XIX веков в голову не пришло бы назвать соседом простолюдина, живущего неподалеку. Значит, доносчиком в 1711 году скорее может быть дворянин, чьи поместья прилежат к землям вдовы. Изобличая соседскую семью, он «округляет» свое имение.

Все это правдоподобно, но не может считаться единственно возможной реконструкцией. Есть и другая версия.

В подготовительных материалах к «Истории Петра» Пушкин приводит целую цепь все более строгих указов о явке дворян в службу, изданных после 1711 года. Нас будут интересовать только три записи, сделанные рукою Пушкина. Первая запись — в тетради, отражающей правление Петра I в 1713 году: «Прибывшие из Москвы сенаторы, — пишет Пушкин, — донесли Петру, что вопреки указу 1711 года многие дворяне от службы укрываются. Тогда Петр издал тиранский свой указ (от 26 сент. (ября)), по которому доносителю, из какого звания он бы не был, отдавались поместья укрывающегося дворянина» (X, 202).

Под следующим, 1714 годом Пушкин записывает: «Цельный месяц (сентябрь. — В. Л.) Петр каждый день присутствовал в сенате (...) Указ о дворянских детях подтвержден был с тою же строгостию, а доносы по оному повелел подавать самому себе» (X, 209).

И, наконец, третья запись — под январем 1716 года: «Петр повелел представлять дворянских детей для обучения и отсылки в чужие края, под опасением описания имения в пользу доносителя, хотя бы и холопа. В минувшем (т. е. 1715 г. — В. Л.) году было их представлено 1006. 26 янв. (аря) имена их напечатаны и разосланы при указе о недорослях» (X, 220).

Все три записи — существенная документальная параллель к замыслу о сыне казненного стрельца. Они свидетельствуют о том, что с осени 1713 года отношение Петра I к неявившимся недорослям резко ухудшается;



Указ этого времени послужил стимулом к новым доносам, в которые оказался вовлеченным широчайший круг лиц — даже и людей холопского звания. Здесь и возможность обогатиться поместьями, и сделать карьеру — ведь есть редчайший случай подать бумагу на высочайшее имя. Зная все эти обстоятельства, Пушкин колеблется: «сосед» или «приказчик»? Если все-таки доносит приказчик, то ситуация тяготеет скорее ко времени не ранее 1713 года.

Заметим попутно, что эпизод доноса приказчика в связи с указами 1713–1716 годов сильно обостряет замысел. Недаром же Пушкин, далеко отступая от текста благонамеренного Голикова, называет эти указы «тиранскими». Мотив для Пушкина не новый. В «Борисе Годунове» упоминаются «дворецкий князь-Василья и Пушкина слуга», которые «пришли с доносом» к родственнику царя (VII, 44). Это еще одно из многочисленных доказательств тиранического характера годуновского правления. Действия Петра в этом эпизоде еще ужаснее — он сам читает доносительские челобитные.

Таким образом, Петр мог познакомиться с доносом приказчика вдовы. Значит, когда сын казненного стрельца приходит просить за поруганное семейство, царь, быть может, уже знаком с обстоятельствами дела. Тут тоже есть прямая типологическая параллель с «Капитанской дочкой»: когда Маша Миронова просит за семью Гриневых, то императрица хорошо знакома с доносительскими показаниями Швабрина.

Теперь подведем итоги наших хронологических выкладок.

Сын казненного стрельца взят на воспитание дворянской вдовой в 80–90-е годы XVII столетия. Около 1706 г. он уходит в военную службу. Летом 1711 года, уже офицером, он везет из прутского окружения письмо-завещание Петра I. Не ранее того же 1711 года (а возможно не ранее 1713 года) родной сын вдовы по доносу лишен чести и имени, а затем отдан в солдаты. После этого сын казненного стрельца пытается прибегнуть к покровительству Петра I, чтобы спасти близкую семью — быть может, семью своей невесты.

Таков первый, историко-фактографический слой комментарий к пушкинскому наброску.

## 2

Теперь нам предстоит ответить на один из основных вопросов: каково происхождение самой формулы «сын казненного стрельца»? Принадлежит ли она Пушкину или обозначение для безымянного героя есть заимствование из источника, знакомого автору?

Ответ на этот вопрос вновь приводит нас к основному сочинению И. И. Голикова.

В первых двенадцати томах голиковских «Деяний Петра Великого» изложена биография монарха, даны его письма, документы. Следующие восемнадцать томов суть «Дополнения к деяниям...», в которых автор нередко отступает от хронологии и даже собственно от биографии. Один из томов полностью посвящен анекдотам из жизни Петра I<sup>6</sup>.

Самое близкое знакомство Пушкина с томом голиковских анекдотов о Петре I сомнений не вызывает. Уже в «Опровержении на критики» (1830) поэт отмечает ошибку Голикова в анекдоте, посвященном арапу Ибрагиму (XI, 153). Мотив из анекдота о Петре-свате, женившем безродного Румянцева, обнаружил в «Арапе» Д. П. Якубович<sup>17</sup>. Теперь оказывается, что чтение дополнительного тома Голикова не прошло бесследно и для замысла о сыне казненного стрельца.

В этом томе помещен анекдот с длинным названием: «Князь Меншиков жалуется государю на князя Долгорукова; следствие о том»<sup>18</sup>. Насколько нам известно, его текст никогда не попадал в поле зрения пушкинистов. История, рассказанная Голиковым, в общих чертах такова.

Князь Долгоруков, отвечающий за снабжение армии, отпускает во все полки синее сукно для мундиров. Для одного полка, полка А. Д. Меншикова, синего сукна не хватило, и оно было заменено зеленым. Меншиков же, не зная причины замены, решил, что зеленые мундиры есть отличие именно его полка. Когда в следующий раз Долгоруков отпустил обычное синее сукно, Меншиков обиделся и послал своего полковника к Долгорукову с вопросом: «для чего на полк его прислано сукно не того *колера*?». Полковник оказался явно не силен в новой, иностранной терминологии петровского реформаторства. Вопрос своего шефа он забавно перевирает: «для чего на полк отпущено сукно не того *калибра*?». Долгоруков за это назвал его глушдом и еще неосторожно прибавил: «да и тот таков же, кто тебя в полковники произвел».

Но производство в чин полковника — компетенция самого царя. Поэтому последовал донос Меншикова Петру: Долгоруков, мол, назвал своего государя глупцом. Петр вызывает Долгорукова для объяснений. Вот как Голиков излагает беседу Петра с князем, обидевшим полковника:

«Государь спрашивает его паки: говорил ли ты присланному к тебе от Меншикова полковнику, что он дурак, а тако ж и тот, кто его произвел в полковники? — Говорил, ответствует князь; но кто ж жалует в полковники? пресекает его речь государь: ведь это я; следовательно, и я у тебя дурак. — Нет, государь, сего ты на свой счет принять не должен; вы знаете, как я вас разумею; а сие сказано мною о Меншикове, который дурака того, из подлости и из изменничья сына производя, довел до полковника, которого ты по его же убеждению уже пожаловал в полковники. Но ты б, по правоте своей, конечно, его не пожаловал в такой чин, ежели б Александр похвалою службы его тебя к тому не убедил. Но спроси, где он служил и чем себя отличил, то окажется вся его заслуга в коварном только ласкательстве и в наушничестве ему, Александру. — Какого же изменника он сын? — спросил паки монарх. Казненного такого-то стрельца, — ответствовал князь; я о сем узнал достоверно и хотел было тебе о том сказать, но ты меня сам предупредил, причем рассказал монарху, за что он назвал его дураком».

Итак, источник основной формулы замысла — «сын казненного стрельца» — приведенный отрывок из текста Голикова.

Для своего наброска Пушкин заимствует у Голикова происхождение героя и его формальное положение — офицер из близкого окружения Петра I. Существенное

сравнение персонажей затруднено. С одной стороны, Пушкин не успел достаточно развить характер сына казенного стрельца, хотя можно почти ручаться, что он олицетворял бы положительное начало повествования; с другой стороны, историограф вовсе не стремится к художественной характеристике своего полковника из опальной семьи. Голиковский офицер в анекдоте — даже не самостоятельно действующий субъект, а скорее объект соперничества Меншикова и Долгорукова. Мотив такого соперничества проходит сквозь несколько соседствующих анекдотов.

Чем мог привлечь внимание Пушкина почти бессловесный персонаж, не отличающийся сильными умственными способностями? Думается, он заинтересовал Пушкина не сам по себе, не как туповатый носитель забавного каламбура «колер — калибр». В судьбе безымянного полковника проглядывают характерные черты эпохи. «Мятежи и казни» совершались так недавно, затронули такие людские массы, что память о них еще горячо кровотоцит в сознании, в быгу всех сословий. Пушкину, конечно, нетрудно было вообразить молодого офицера, усвоившего все новые веяния. Быстро, внешне легко поднимается он по ступеням служебной лестницы. Но в то же время его душу должны терзать и память о казенном отце, и вечный страх разоблачения; получая очередной чин или награду, все более возвышаясь, офицер этот внутренне постоянно ужасается: вдруг кто-нибудь узнает о его происхождении и донесет на «изменничья сына».

Именно так происходит и у Голикова, и у Пушкина. Только в анекдоте прямым доносчиком выступает придворный аристократ Долгоруков, а в пушкинском наброске разоблачение настигает сына казенного стрельца издалека, обнажая корни давней попытки обойти «тиранский» закон.

Симпатии Голикова на стороне Долгорукова. Мы увидим впоследствии, как князь, вызвав гнев Петра на сына казенного стрельца, потом выпрашивает для него прощение. Герой Пушкина — не игрушка царя и вельмож, в повествовании о нем «отразился век» со всеми его противоречиями. Сын жертвы Петра Петру же и служит, служит верой и правдой.

Мы помним, что приемный дворянского семейства уходит в армию по призыву 1706 года. А донос, круто поворачивающий все действие, следует не раньше 1711 года; в том же 1711 году сын казенного стрельца удостаивается неслыханного доверия Петра — везет в сенат письмо-«завещание». На чем основано это доверие? Чем оно заслужено? Пушкин ничего о том не сообщает, оставляя в наброске пятилетие после 1706 года не заполненным событиями. Однако источники, которыми он пользовался, дают основание для гипотезы, которая по меньшей мере не противоречит сведениям, несомненно попавшим в поле зрения Пушкина.

Как уже было сказано в предыдущем разделе, всю историю с письмом-«завещанием» Пушкин знает по «Подлинным анекдотам о Петре Великом» Я. Штелина. Это сочинение и сегодня, два века спустя, служит «единственным источником наших сведений о письме»<sup>19</sup>. Принимая (в чисто художественном плане) всю историю с «завещанием» как факт, Пушкин должен обратить внимание и на обстоятельства, при которых Петр I посылает свое письмо из прутского окружения, в том числе на

эпизод, где государь выбирает курьера, с которым послание должно достичь берегов Невы.

Штелин пишет, что, сочинив свое письмо в походной палатке, Петр вручил его офицеру, «которому все дороги и проходы в тамошних местах были известны; его величество может в том на него положиться, что он благополучно приедет в Петербург». Выбор курьера оказывается верным: на девятый день он благополучно прибывает в столицу<sup>20</sup>.

Разумеется, Пушкин в своем замысле волен и не следовать за рассказом Штелина. Но в памяти Пушкина могла остаться версия исходного анекдота. Ибо она логична и естественна: письмо везет тот, кому в местах при Пруте «все дороги и проходы» известны. Предстоит преодолеть заслоны турецкого окружения, и знание местности тут необходимо.

Можно спорить, знает ли сын казенного стрельца «все дороги» на Пруте. Бесспорно другое — эта местность хорошо известна самому Пушкину. Прутские впечатления поэта относятся к началу 1820-х годов, ко времени кипишевской ссылки. 13—23 декабря 1821 года Пушкин с разрешения своего начальника И. Н. Инзова сопровождает подполковника Якутского пехотного полка Ивана Липранди в его служебной поездке по Бессарабии. Маршрут этой поездки известен: Кишинев—Паланка—Аккерман—Шабо—Татарбунары—Измаил—Болград—Гречены—Готешты—Лека—Леово—Гура-Сарацика—Гура-Галбина—Резены—Кишинев<sup>21</sup>.

На протяжении всех десяти дней поездки воображение Пушкина, судя по воспоминаниям Липранди, тревожили призраки исторических событий, происходивших в этих местах от времен Овидия до XVIII столетия. Вот характерное замечание Липранди, прямо относящееся к местам вокруг Прута: «Подъезжая ко второй станции, к Гречени, он (Пушкин. — В. Л.) дремал; но когда я ему сказал: жаль, что темно, он бы увидел влево Кагульское поле, при этом слове он встрепенулся, и первое его слово было: «Жаль (...)». Тут я опять убедился, что он вычитал все подробности этой битвы, проговорил какие-то стихи и потом заметил, что Ларга должна быть вправо (...) Начало рассветать, когда я ему показал, через Прут, молдавский городок Фальчи»<sup>22</sup>. Как видим, Пушкин хорошо знал историю побед П.А. Румянцева при Ларге и Кагуле в 1770 году и уверенно судил о местности, где происходили битвы.

Тот же интерес и ту же осведомленность Пушкин, надо полагать, обнаруживает и по отношению к местам, связанным с петровской эпохой. Так, под Бендерами, в селе Варница, ему, разумеется, хотелось видеть остатки шведского лагеря, в котором после Полтавской битвы жил Карл XII. Однако Липранди спешил, и в ту поездку посещение Варницы не состоялось<sup>23</sup>. Проследившая маршрут Пушкина и Липранди по карте, нетрудно показать, что они проделали немалую часть того пути, которым Карл XII скакал в 1711 году из Бендер к месту окружения русских на Пруте.

Таким образом, в декабре 1821 года автор столь близок к одному из мест действия своего будущего наброска, что напрашивается вопрос: знал ли Пушкин к этому

времени штелинский анекдот о письме Петра с Прута? Скорее всего, знал. Судить о том можно с большой уверенностью. Ведь первое упоминание о письме Петра из окружения находится у Пушкина в примечании к «Заметкам по русской истории XVIII века», где поэт пишет, что «письмо с берегов Прута» приносит «великую честь необыкновенной душе самовластного государя» (XI, 14). Заметки датированы 2 августа 1822 года, т. е. между поездкой с Липранди и их написанием проходит чуть более полугода.

Даже если принять крайний случай — Пушкин знакомится с анекдотом Штели-на между январем и июлем 1822 года, то и тогда у него есть простая возможность еще в Кишиневе связать свою поездку на Прут с историей петровского письма-«завещания». В сознании Пушкина такое сближение тем вероятнее, что в кишиневское время он знает о Петре если не мало, то во всяком случае гораздо меньше, чем потом, в 1830-е годы. В материалах к «Истории Петра» Пушкин весьма не уверен в подлинности штелинского анекдота. А на полтора десятилетия раньше, в 1822 году, он еще не сомневался в правдивости рассказа о письме-«завещании».

История офицера, скачущего с пакетом из прутского окружения, должна была уже в начале 1820-х годов связываться в сознании Пушкина с зелеными степями Буджака,

Где Прут, [заветная] река,  
Обходит русские владенья. (III, 114)

Это еще не замысел повествования о сыне казенного стрельца — мы даже не можем доказать, что в 1821–1822 годах Пушкин знаком с трудом Голикова<sup>24</sup>, откуда заимствована сама формула произведения. Но нетрудно заметить, как в творческое сознание Пушкина входят впечатления, важные для воплощения будущего замысла. Весьма характерны слова Пушкина в письме к кишиневскому другу Н. С. Алексееву от 26 декабря 1830 года:

«Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов ни поэтических, ни прозаических. Дай срок — надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто» (XIV, 136).

Отсюда явствует, во-первых, что Пушкин не считает «Цыган» поэтическим «следом» своей жизни в Бессарабии — в них действительно нет реальной истории страны. А во-вторых, задуманы, по-видимому, прозаические произведения, как-то реально эту историю отражающие. Думается, тут обещана не одна только повесть «Кирджали». Не позднее 1825 года<sup>25</sup> Пушкин знакомится с анекдотом Голикова о сыне казенного стрельца; ему остается только свести воедино штелинскую фабулу с голиковским персонажем, и замысел изучаемого наброска получит первые контуры.

Выявление источников, которыми пользовался Пушкин, не есть, конечно, достоверная реконструкция авторского замысла. Но все же оно способно как-то направить поиски, как-то очертить хотя бы фабульные связи задуманной вещи. Так, знакомство с материалами, собранными Пушкиным к «Истории Петра», по-видимому, дает ключ к существенной подробности из биографии героя.



Мы помним, что, по Штелину, выбор Петра падает на офицера, знающего местность при Пруте. Откуда такое знание у сына казненного стрельца в 1711 году? Он не может быть уроженцем Бессарабии. До 1706 года он мирно живет в русском доме вдовы-дворянки. Значит, какая-то служебная надобность забрасывает его на берега Прута между 1706 и 1711 годами. Какая же?

Для того чтобы ее определить, обратимся сперва к завершающим строкам основного текста «Полтавы». Последние перед эпилогом поэмы строки повествуют о бегстве Карла XII и Мазепы после поражения. Мазепа покидает родную Украину:

И молча он коня седлает,  
И скачет с беглым королем.  
И страшно взор его сверкает,  
С родным прощаясь рубежом. (V, 63)

Пушкин обрывает здесь историю бегства. Но это не значит, что она ему неизвестна. «Беглый король», преследуемый русской конницей, скрывается, наконец, за турецкой границей.

После создания поэмы проходит несколько лет, и в материалах к «Истории Петра» Пушкин весьма детально прослеживает драматический сюжет преследования Карла XII после Полтавской битвы. Бегство короля, сопровождаемого несколькими сотнями драбантов и запорожцев, начинается от местечка Переволочное. Петр приказывает «рассылкою легких войск» пересечь все дороги (X, 135). Голицын, Боур и Меншиков преследуют бегущих. Петр узнал от Левенгаупта о бегстве Карла в Турцию и «отрядил бригадира Кропотова и Волконского вслед за ним по разным дорогам» (X, 136). Кропотов и Волконский догоняют короля, убивают и берут в плен сотни шведов из королевской свиты (X, 139), но захватить самого Карла не удается.

Последняя запись Пушкина по этому поводу столь важна для нашего сюжета, что мы приведем ее полностью: «Петр писал Апраксину (...), что бригадир Кропотов при местечке Чернявцах на остальных шведов напал (между ими и 500 запорожцев), побил их и перетопил в *Пруте*» (X, 140).

Слово «Прут» Пушкин здесь подчеркивает. Оно наполнено для него двойным смыслом. Тут и собственные впечатления начала 1820-х годов, и ниточка к эпизоду неудачного прутского похода.

Таким образом, для Пушкина русский офицер в 1711 году на Пруте, «которому все дороги и проходы в тамошних местах известны», — вовсе не странная случайность, не насилие над историческими обстоятельствами. Достаточно представить себе, что сын казненного стрельца участвует в Полтавском сражении, а потом в составе отряда бригадира Кропотова преследует рассеянные дружины шведов по буджакским степям, и штелинский намек обретает надежное историческое основание. С другой стороны, у человека, взятого в военную службу в 1706 году, очень много шансов стать участником Полтавской битвы 1709 года. Все сходится.

Когда «при Пруте Петр поручает свое письмо», то это — напоминание о трагедии 1711 года. Окруженный превосходящими силами врагов, по существу отрекаю-

щийся от престола, царь вручает пакет офицеру, который оживляет в памяти его лучшие дни, дни Полтавы.

Конспектируя Голикова, Пушкин не мог не вспомнить собственное путешествие «по степям зеленым Буджака». Мы уже говорили о том, что Пушкин и Липранди были близки к местам событий 1711 года, но немного до них не доехали. Например, Пушкин выписывает у Голикова такой факт: «Петр повелел всему войску идти по правую сторону Прута (дабы река отделяла нас от турок) до урочища *Фальцы*», но «турки не допустили нас занять *Фальцы*» (X, 164, 165). Название «*Фальцы*» Пушкин опять-таки подчеркивает. Спустя век те самые молдавские *Фальчи* ему «показал через Прут» подполковник Липранди.

Пушкин настолько хорошо знает обстоятельства Прутского похода, что без колебаний поправляет мемуариста — известного бригадира Моро-де-Бразе. Сделав перевод и подготовив к печати его записки о походе 1711 года, поэт снабжает собственным примечанием мнение о буджакских степях бригадира, по словам которого там нет ничего, кроме раскаленного песка. «Степи Буджацкие, — замечает Пушкин, — не песчаные: они стелются злачной, зеленой равниною, усеянною курганами. Моро здесь пользуется правом рассказчика. Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава съедена была саранчею» (X, 308)<sup>26</sup>.

Следующими событиями, обозначенными в пушкинском наброске, будут донос приказчика (соседа?) и связанная с ним отдача молодого барина в солдаты.

Мы не знаем, чем была наполнена жизнь стрелецкого сироты от Прутского похода до посещения униженного семейства; не можем даже определить, как эти события соотношены во времени. Единственную известную нам возможность следовать дальше за пушкинским замыслом дает знаменитый голиковский анекдот, тоже обративший на себя внимание Пушкина.

Речь идет о сюжете под названием: «Слуга награждается достоинством морского офицера, а господин его определяется в матрось». Голиков рассказывает историю калужского дворянина Спафариева, посланного за границу. По возвращении Спафариев проваливается на экзамене у самого Петра I. Царь, однако, обращает внимание на слугу-кальмька, который безуспешно пытается подсказать барину ответы на вопросы. Проэкзаменовав кальмька, Петр I присваивает ему офицерский чин, а дворянина отправляет в матросы. «Кальмьк сей, — замечает Голиков, — в 1723 году был уже морским капитаном, а потом дошел по службе и до контр-адмиральского чина, и прозывался *Кальмьковым*»<sup>27</sup>.

История барина и слуги, которые поменялись социальными ролями, лишь отчасти соответствует пушкинскому замыслу. Приемщик все-таки не слуга, и кальмьк служит вместо барина не по тайному умыслу, а по воле самого монарха. И все-таки перемена жребия, так ясно выраженная в голиковском рассказе, не прошла мимо сознания Пушкина-читателя.

Достоинство рода и достоинство личности — вот тема, которая постоянно занимала Пушкина с конца 1820-х годов. Интерес к ней поддерживался как подробным изучением отечественной истории, так и нападками псевдомонархической критики. Пушкину, происходившему из древнего дворянского рода, удалось, как извест-

но, стать выше сословных предрассудков, но в то же время сохранить высокие понятия фамильной и сословной чести.

В «Опровержении на критики» Пушкин отчетливо соотносит оба класса достоинств: «Конечно, есть достоинство выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные — но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами» (XI, 162).

С этой точки зрения анекдот Голикова весьма для Пушкина показателен. Петр ставит личное достоинство над родовым, но не уважает сословной чести. То же самое происходит и в наброске о сыне стрельца: сирота возвышен по способностям и знаниям, а молодой барин унижен вопреки своему происхождению. Двойственность петровских преобразований выступает здесь для Пушкина в чистом виде; она то и накладывает свой отпечаток на все столетие, отделяющее Пушкина от Петра I.

Но обратимся снова к фабуле наброска.

За моментом, когда молодой барин по доносу лишен имения и отдан в солдаты, следует развязка, обозначенная Пушкиным в одной фразе: «Стрелецкий сын посещает его семейство, и у Петра выпрашивает прощение молодому барину». По этой фразе, совершенно лишенной исторической конкретности, не так просто даже гипотетически воссоздать обстоятельства развязки замысла о сыне стрельца. Д. П. Якубович сделал попытку несколько развить пушкинский намек. Получилось вот что: «Приемыш, уже ставший офицером, по просьбе любимой девушки обращается к Петру, и тот, помня старую услугу, в награду прощает молодого барина»<sup>28</sup>.

В основе истолкования Д.П. Якубовича, видимо, лежат аналогии с «Капитанской дочкой», где инициатива обращения за царской милостью принадлежит невесте и где государыня милует офицера и дает ему возможность соединиться с невестой. Но такая аналогия кажется все-таки недостаточной. Во-первых, Пушкин отчетливо видит историческую разницу между жестоким правлением Петра и несколько смягченным просвещением веком Екатерины II, «которая поставила Россию на пороге Европы» (XVI, 393; подлинник на французском). Во-вторых, к чему Пушкину два произведения со столь сходной фабулой?

Видимо, следует — хотя бы и весьма осторожно — наметить другие возможности развязки.

Прежде всего заметим, что «прощением молодому барину» драматическое напряжение пушкинского замысла далеко еще не разрешается. Главный герой произведения не он, а его названный брат, сын казенного стрельца. Когда «стрелецкий сын посещает семейство», он неизбежно должен столкнуться с трагическим положением — ему нельзя жениться на любимой девушке. У Якубовича подразумевается ее отказ от свадьбы, пока родной брат не восстановлен в правах; отсюда «просьба девушки», толкающая жениха искать царской милости. Но исследователь не учитывает, что ситуация осложнена еще и самозванством стрелецкого сироты. Он носит

имя и фамилию родного брата своей невесты. Брачный обыск, предшествующий венчанию, при любом исходе грозит разрушить счастье влюбленных. Если жених и невеста будут признаны родными братом и сестрой, то свадьбе не бывать. Если же они докажут свое неродство, то обнажится скрываемое происхождение жениха — сына казенного стрельца — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому стрелецкий сирота должен «выпрашивать» у Петра милости не только для «молодого барина», но и для себя. Получит ли он царское прощение? Соединятся ли влюбленные? Вот об этом-то в пушкинском наброске нет ни слова.

У Голикова есть намек на возможную развязку. Рассказывая о событиях конца 1720 года, историограф упоминает об одной царской милости: «Простил великодушно тех, которые под своим именем вместо себя других отдали в рекруты, когда они принесли в том самовольно повинную»<sup>29</sup>.

Часть пушкинского конспекта, которая должна была отражать эти строки, к сожалению, не сохранилась. Поэтому мы не знаем, как акцентировал бы Пушкин факт, сообщаемый Голиковым. Но он вряд ли существенно повлиял бы на пушкинский замысел. Речь ведь идет о рекрутчине, а не о явке дворянских недорослей. Кроме того, Петр «простил великодушно» тех, кто повинился добровольно. А пушкинский герой все-таки жертва доноса.

Не станем гадать о развязке. Обратимся вновь к источникам, известным Пушкину.

Изложение голиковского анекдота «Князь Меншиков жалуется государю на князя Долгорукова...» мы прервали на том месте, когда Долгоруков разоблачает перед Петром I происхождение меншиковского любимца — полковника, «сына казенного такого-то стрельца». О дальнейшей судьбе офицера Голиков повествует так: «По велику же его величество верил во всем сему мужу (Долгорукову. — В. Л.), то и обратился весь гнев его уже на Меншикова; однако же не дав оному его почувствовать, помолчав немного, сказал Долгорукову: хорошо, дядя, я все сказанное тобою исследую, и тогда же в удовлетворение обиды, причиненной ему, полковника того приказал арестовать и отвести в крепость»<sup>30</sup>.

Мы уже говорили, что нельзя проводить полную аналогию между персонажем Голикова и героем замысла Пушкина. Но все-таки анекдот давал Пушкину некоторое понятие о том, как подобные дела решались у Петра I.

В чем виноват голиковский полковник, сын казенного стрельца? В разговоре с князем Долгоруковым он всего только спутал значение слов «колер» и «калибр». Это не преступление. Оскорбленный затем собеседником, он пожаловался своему шефу Меншикову — действие тоже не криминальное. Долгорукова обидел не полковник, а Меншиков, истолковавший слова своего соперника как выпад против государя. Однако в крепость «в удовлетворение обиды» идет полковник. За что? Видимо, за то, что он сын казенного стрельца, скрывавший свое происхождение. Никакой иной вины за ним нет.

Об этом свидетельствует и дальнейшее развитие сюжета у Голикова. Меншиков идет к Долгорукову просить за своего любимца. Долгоруков согласен заступиться

за полковника перед государем, если Меншиков поможет докончить и спустить на воду корабль, начатый Долгоруковским «кумпанством». Меншиков соглашается. На спуске корабля Долгоруков действительно просит за арестованного. Вот развязка анекдота после этой просьбы: «Великий государь похвалил его великодушие, и тот час простил его (сына казненного стрельца. – В. Л.) и освободить повелел. Князь, возблагодаря монарха, ту ж минуту (...) адъютанта своего послал к полковнику сему объявить о сем указе государевом; и велел притом сказать ему, что если государь сам о чем будет спрашивать его, то б сказал ему всю правду, не осмелялся отнюдь что-либо утаить, а паче солгать; но до сего однако же не дошло: его величество уже не видал его; ибо в наказание князя Меншикова определил его в одну дальнюю крепость комендантом, куда и должен был он на другой день по освобождении своем отправиться»<sup>31</sup>.

Совет Долгорукова сыну казненного стрельца впредь не осмеливаться «отнюдь что-либо утаить» окончательно проясняет причину бедствия, постигшего офицера. Конечно, он пешка в крупной игре двух князей, интригующих при государе, но все-таки в крепость он попадает в прямой связи с сокрытием своего происхождения от «изменника».

Пушкин, конечно, не обязан следовать за Голиковым. Но он знает, чем кончается дело у историографа. Это знание способно влиять на его художественное решение. Во всяком случае можно предположить, что Пушкин вряд ли видел в финале простое и благостное прощение стрелецкого сироты и его соединение с невестой. Из того, что пушкинский герой «выпрашивает» милость для названного брата, еще не следует благосклонность Петра к нему самому.

Апологет государя Голиков полагает, будто Петр простил сына казненного стрельца. На самом деле из анекдота явствует совсем другое: Петр заменяет арест более легкой мерой наказания – ссылкой «в одну дальнюю крепость». Но Пушкин-то, читая голиковский текст, это прекрасно понимает. Раздумывая над судьбой своего героя, он может выстроить ее и в согласии с версией историографа, и в полемике с нею.

Во всяком случае офицер, попадающий вместо столицы «в одну дальнюю крепость», есть фигура, хорошо знакомая нам по «Капитанской дочке». Это или добродетельный Гринев, следующий воле отца, или злодей Швабрин, сосланный по воле начальства. Пушкин мог и не остановиться на этой развязке для сына стрельца, но не исключено, что такой конец истории им рассматривался как вариант.

Далее конкретизировать было бы рискованно.

Остается рассмотреть еще одну возможность развязки, хорошо известную Пушкину. Речь идет о царской милости, которая круто и трагически поворачивает судьбы героев. В исследовании об «Арапе Петра Великого» Д. П. Якубович отметил, что основной фабульный ход незавершенного пушкинского произведения заимствован из голиковского анекдота «Щедрость монарха в награждении заслуг»<sup>32</sup>. Связь между анекдотом Голикова и романом о царском арапе действительно бросается в глаза.

Историограф рассказывает о бедном и безродном любимце Петра Александре Ивановиче Румянцеве, который задумал жениться. Но Петр, посмотрев выбранную



Румянцевым невесту, решает расстроить свадьбу. Монарх уверен, что жених достоин лучшей партии. Он женит молодого офицера на другой, на дочери графа Матвеева, а затем осыпает молодую чету милостями — жалует чины, титулы, деревни и т. д.<sup>33</sup> Голиков, излагая все эти события, ничуть не сомневается в мудрости и милосердии государя. Пушкин же совершенно переосмысливает ситуацию. Царская милость обернется страшным горем для всех действующих лиц. Навсегда разлучены влюбленные Наташа и Валериан; страдает в семейственной жизни Ибрагим; не будет счастлив и внебрачный ребенок Наташи. Последствия «милости» Петра тяжело скажутся не только на судьбе героев, но и на жизни следующих поколений семьи.

Напомним: роман о царском арапе незавершен и при жизни автора не печатался. Пушкин опубликовал только два отрывка (VIII, 1049), которые вне контекста всего произведения совершенно не выявляли ни сюжета, ни характеров действующих лиц. Поэтому история о царской «милости», разрушающей счастье влюбленных, могла быть использована Пушкиным и в повествовании о сыне казненного стрельца.

Допустим, Петр прощает не только молодого барина, но и стрелецкого сироту; за доставку письма с Прута, за другие служебные подвиги царь готов забыть обман, сопутствовавший началу карьеры. Но что, если монаршие благодеяния простираются и дальше? Что, если бедная дворяночка кажется Петру не парой для молодца, и царь берется сосватать ему невесту получше? Тогда вступает в свои права драматическая коллизия, намеченная в повествовании о царском арапе. Стрелецкий сирота по аналогии со своим черным двойником возносится на высокую служебную и родословную ступень, но расплачивается за это крахом своего личного счастья.

Насильственная женитьба — нередкий мотив у Пушкина. Наталья Ржевская в «Арапе Петра Великого» и другая «молодая Ржевская» в плане повести о стрельце, Маша Троекурова из «Дубровского» — все это образы женщин, выданных замуж не по любви, без их выбора. Даже в «Каменном госте» есть едва намеченная черта: бедная мать велит красавице Анне «дать руку» богатому дону Альвару. Ни разу в пушкинских произведениях семья, созданная посторонней волей, не была счастлива. Если бы для истории стрелецкого сироты Пушкин выбрал такую развязку, то вряд ли она стала бы исключением из правила. Милость Петра обрекала бы на мучения и офицера, и его возлюбленную, и жену из «лучшей фамилии».

Мотивы прощения героя Петром и последующей насильственной женитьбы ясно читаются в черновиках поэмы «Езерский», написанной незадолго до наброска о сыне казненного стрельца. Напомним строфу поэмы:

Тогда Езерские явились  
Опять в чинах и при дворе  
При императоре Петре  
Один из них был четвертован  
За связь с Царев(ною) (?) — другой  
Его племянник молодой  
[Прощен] и [милостью окован]  
И умер знатен и богат.  
Он на голландке был женат (V, 399-400)

В вариантах этой строфы находим важные разночтения: «четвертован за бунт стрелецкий»; «Сам государь его женил на [внучке ]немке» (V, 400).

Значит, еще до наброска о сыне казненного стрельца в сознании Пушкина возникал образ героя, чья вина перед Петром восходит к временам стрелецкого бунта и отягчена казнью родственника. Прощение и выгодная женитьба не по любви на немке или голландке фабульно соответствуют румянцевскому анекдоту, идейно же — трагической формуле Пушкина: «Прощен и милостью окован».

Мы не знаем, какой именно анекдот Голикова положил бы Пушкин в основу развязки — румянцевский? долгоруковский? калмыцкий? Или вообще направил бы свое повествование по иному, совершенно не известному нам пути? Дело не в том, верны или неверны наши конкретные предположения. В 1835 году, набрасывая строки о сыне казненного стрельца, Пушкин еще и сам мог не делать выбора, мог не задумываться о том, чем завершить произведение. Вполне возможно, что на стадии столь раннего плана автор «сквозь магический кристалл» почти не различает развязки и даже не особенно ею озабочен. Дело, повторяем, не в этом. Гораздо важнее понять, как, на какой литературно-исторической и мемуарной основе складываются представления Пушкина о петровской эпохе, о судьбах людей, захваченных лавиной реформ.

Поскольку тридцатитомные «Деяния...» были основным источником сведений Пушкина о Петре I, постольку мы и пытались искать существенные параллели между текстами Голикова и едва намеченным пушкинским замыслом. Такие параллели несомненны. И столь же несомненно коренное переосмысление голиковских и штелинских сюжетов, положений и характеров в творческом сознании Пушкина.

3

В начале главы мы говорили о том, что изучаемый набросок следовало бы публиковать не в общей подборке «Планов повести о стрельце», а отдельно, под собственным заголовком. Пушкин, конечно, видел в перспективе широкое, многоплановое произведение, не связанное напрямую с более ранними текстами о временах регентства царевны Софьи.

Произвольная подверстка плана о сироте к планам о регентстве, допущенная в большом академическом и других собраниях сочинений, механически распространила на замысел не только тематическое, но и жанровое определение: «Планы повести о стрельце». Между тем сам Пушкин не называет замыслами повести ни первые четыре, ни пятый из набросков. Поэтому к установлению жанра задуманного Пушкиным произведения необходимо отнестись с понятной осторожностью. Трудности при этом очевидны.

Фабула «Сына казненного стрельца» изложена всего в четырех не очень длинных фразах; обозначены только шесть действующих лиц; завязка и развязка едва намечены; внутренняя хронология произведения еще до конца не установлена. В таких обстоятельствах нелегко отличать рассказ от повести, повесть от романа. Тем более что в пушкинские времена (да и позднее тоже) границы между прозаически-

ми жанрами не были совершенно отчетливыми<sup>34</sup>. Поэтому долгие рассуждения о том, задумал Пушкин роман или повесть, были бы неизбежно схоластическими. Гораздо вернее, кажется, продолжить сопоставление наброска с другими произведениями Пушкина, но уже не на материале отдельных мотивов, а на уровне целостных построений.

Замысел «Сына казненного стрельца», как мы убедились, основывался у Пушкина на мощном пласте документальных и мемуарных свидетельств и был подкреплен собственными впечатлениями автора, побывавшего на месте действия. Метод, которым Пушкин выстраивает историю стрелецкого сироты, больше всего напоминает начало работы над «Капитанской дочкой». Ранние планы романа о пугачевском восстании (VIII, 928–930), относящиеся к 1833–1834 годам, и стилистически, и по смыслу сходны с изучаемым наброском.

Последовательность авторских усилий в обоих случаях одинакова. Сначала идет изучение исторической эпохи во всех ее реальных проявлениях; ближайший результат — документированное повествование. В первом случае это завершенная «История Пугачева», во втором — незавершенная «История Петра». Но еще задолго до окончания документальной книги, еще на стадии сбора материала, Пушкин как бы на полях исследований набрасывает контуры будущих исторических романов<sup>35</sup>. Пугачевская тема приводит Пушкина к образу дочери казненного капитана, петровская — к образу сына казненного стрельца.

Довершает сходство остро сюжетная подоснова обоих замыслов, частный анекдот, вокруг которого концентрируются события «большой» истории. В варианте предисловия к «Капитанской дочке» автор отметил: «Анекдот служащий основанием повести нами издаваемой, известен в Оренбургском краю» (VIII, 928). Точно так же и набросок «Сын казненного стрельца» восходит к анекдотам петровского времени. Не будет большой натяжкой сказать, что замысел «Капитанской дочки» примерно так относится к «Истории Пугачева», как замысел «Сына казненного стрельца» относится к «Истории Петра».

Между опубликованием «Истории Пугачева» и выходом в свет «Капитанской дочки» прошло более двух лет. К январю 1837 года поэт еще далек от завершения «Истории Петра». Значит, если принять нашу аналогию, исполнение замысла о стрелецком сироте могло быть отложено Пушкиным на конец 1830-х или даже начало 1840-х годов.

Как ни велик соблазн поискать в наброске черты пушкинского творчества, каким оно могло быть после 1837 года, мы от такой попытки откажемся. Достаточно уже того, что замысел «Сына казненного стрельца» находит твердые параллели в мире пушкинской прозы и поэзии; развитие идейного и образного потенциала этого мира и было прервано гибелью писателя.

Выбор героя определялся общими чертами творчества зрелого Пушкина. Стрелецкий сирота есть универсальный персонаж. По своему происхождению он человек простонародной среды, близкий родственник Самсона Вырина и Адрияна Прохорова из «Повестей Белкина». Но воспитание юноши, все его понятия о чести и

службе — дворянские. Вместе с тем его дворянство изначально ущербно; ведь он воспитанник, т. е. лицо, страдающее на манер Валериана из «Арапа Петра Великого» или барышень из «Пиковой дамы» и «Романа в письмах».

Такие персонажи, что давно замечено, вытесняют блестящий онегинский круг в пушкинском творчестве 1830-х годов. Конечно, во времена Петра I еще далеко до массовой разночинной среды, но и в историческом замысле нетрудно проследить новые веяния, новые проблемы, которые будут волновать русское общество на подходе к середине XIX столетия. С такой точки зрения эпоха, в которую формально происходит действие, до какой-то степени условна. В 1835 году — видимо, одновременно с «Сыном казенного стрельца» — Пушкин пишет «Спены из рыцарских времен», герой которых, Франц, выступает как идеально внесловный тип. Рожденный в купечестве, он усваивает рыцарские понятия, а затем становится вождем крестьянского мятежа.

Пушкин отчетливо видит размывание средневековых сословий в России. В его творчестве оно оставляет глубокий и заметный след. Художественное чутье, усиленное историческими изысканиями, приводит его к временам Петра I как началу краха старой сословной структуры<sup>36</sup>.

Сын казенного стрельца служит Петру I; этим многое сказано. Тут основное противоречие: человек, чей отец погублен Петром, служит императору верой и правдой. Почему? Чем объяснить логику его поступков, его поведения? Самый первый и самый естественный ответ на эти вопросы очевиден: сын казенного стрельца понимает необходимость петровских преобразований для России; это понимание дает ему силу для того, чтобы возвыситься над личной обидой и действовать на пользу отечеству.

Такое объяснение представляется верным, но неполным. Вряд ли пушкинский замысел основывался только на одних социальных мотивах. Личность Петра I, его характер — вот что должно привлекать стрелецкого сироту, вот что заставляет его быть в рядах сторонников петровских реформ. У нас совсем мало материала для суждений об образе Петра I; он только едва намечен в наброске. Но оба упоминания о нем — в благожелательном контексте. Эпизод с письмом «завещанием» из прутского окружения рисует нам облик идеального государя, который ставит интересы своей страны выше личных притязаний, который способен жертвовать не только престолом, но и самую жизнь ради благополучия нации.

Подобно Ибрагиму, герою «Арапа Петра Великого», стрелецкий сирота готов «быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа» (VIII, 12). Можно более или менее ручаться, что таковы ощущения героя во время Прутского похода и позже, вплоть до самого поворота сюжета, за которым следует развязка. Не зная достоверно смысла развязки, мы не можем судить и о том, хватило ли стрелецкому сироте готовности служить Петру и после своего разоблачения. Столь же трудно предугадать эволюцию образа Петра — остается ли он до конца идеальным государем?

Любопытно заметить, как «мысль быть сподвижником великого человека» в конце второй главы «Арапа Петра Великого» мгновенно сменяется другого рода «мыслями» в эпиграфе к следующей, третьей главе, взятом из трагедии В. К. Кюхельбекера «Аргивяне»:

...Как облака на небе,  
Так мысли в нас меняют легкий образ,  
Что любим днесь, то завтра ненавидим. (VIII, 13)<sup>77</sup>

Семейная трагедия, ждавшая Ибрагима вслед за «милостью» царя, вполне могла если не поколебать, то усложнить образ идеального государя в сознании арапа. У стрелецкого сироты при неблагоприятной развязке еще больше поводов «завтра ненавидеть» того, кто вчера казнил отца, а сегодня, допустим, разлучает с любимой или ссылает в дальнюю крепость.

Так или иначе, сюжет, в основе которого лежит судьба человека из «униженного и растоптанного» рода, был хорошо подготовлен всем пушкинским творчеством 1830-х годов. Вслед за Валерианом этот мотив сопровождает Евгения из «Медного всадника» и просматривается в судьбе семейства Гриневых из «Капитанской дочки». «Пращур» старика Гринева «умер на лобном месте» (VIII, 370) при Анне Иоанновне, а сам старик тем не менее верно служит престолу и от сына своего Петруши требует такой же честной службы.

В служебном поприще «родов дряхлеющих обломка» можно различить и автобиографический момент, некоторую соотнесенность с жизненным путем самого Пушкина в 1830-е годы. Но это уже другая тема, далеко выходящая за рамки исследования<sup>78</sup>.

\* \* \*

Известно пушкинское определение одного из главных литературных жанров начала XIX в.: «В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (XI, 92).

Набросок плана о стрелецком сироте, относящийся к середине 1830-х годов, обещал многоплановое, широко отражающее петровскую эпоху вымышленное повествование. Полтора века русской жизни должны были предстать в нем с той верностью и полнотой, какие отличают все произведения исторической прозы Пушкина.

<sup>1</sup>Первую публикацию см.: Зильберштейн И.С. Из бумаг Пушкина. — М., 1926. — С. 31–32.

<sup>2</sup>См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. /Сост. Л.Б. Модзалевский и Б.В. Томашевский. — М.—Л., 1937. — С. 108–109.

<sup>3</sup>Там же. — С. 326.

<sup>4</sup>Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 6. — Л., 1978. — С. 552.

<sup>5</sup>На связь между набросками «Сын казненного стрельца» и «В древние времена. . .» указывается в комментариях к кн: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под ред. М.А. Цявловского. — Т. 5. — С. 664.



<sup>6</sup>Цит. по: Клябанов А.И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. — М., 1977. — С. 157 (примеч.).

<sup>7</sup>Напомним, что многих участников бунта 1698 г. Петр I сослал в Поволжье и на Урал, так что память о кровавых событиях конца XVII в. должна была там жить в семейных преданиях. Заметим также, что среди мест ссылки мятежников-стрельцов была и Астрахань, о чем Пушкину было известно (X, 43), а приведенная А.И. Клябановым легенда записана в 1774 г. в Саратове (Клябанов А.И. Народная социальная утопия... — С. 156—157).

<sup>8</sup>См.: Якубович Д.П. «Арап Петра Великого» // Пушкин. Исследования и материалы. — Л., 1979. — Т. 9. — С. 290.

<sup>9</sup>См.: Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... — СПб., 1837. — Т. 2. — С. 28.

<sup>10</sup>Там же. — С. 219.

<sup>11</sup>См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 9. — Л., 1979. — С. 113.

<sup>12</sup>Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. — М., 1829. — Ч. 1. — С. 62—63.

<sup>13</sup>См.: Павленко Н.И. Три так называемых завещания Петра I // Вопросы истории. — 1979. — № 2. — С. 134.

<sup>14</sup>См.: Там же. — С. 138.

<sup>15</sup>См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 9. — С. 179.

<sup>16</sup>Голиков И. И. Дополнения к Деяниям Петра Великого. — М., 1796. — Т. 17.

<sup>17</sup>Якубович Д.П. Указ. соч. — С. 271.

<sup>18</sup>Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... — Т. 17. — С. 193.

<sup>19</sup>Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 129.

<sup>20</sup>См.: Подлинные анекдоты о Петре Великом... — Ч. 1. — С. 60—61.

<sup>21</sup>См.: Трубецкой Б. Пушкин в Молдавии. 4-е изд. — Кишинев, 1976. — С. 132—133.

<sup>22</sup>А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 1. — М., 1974. — С. 311.

<sup>23</sup>См.: Трубецкой Б. Указ. соч. — С. 133—135.

<sup>24</sup>См.: Листов В.С., Тархова Н.А. Труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого. . .» в кругу источников трагедии «Борис Годунов» // Временник Пушкинской комиссии. 1980. — Л., 1983. — С. 114.

<sup>25</sup>См.: Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина. — М., 1979. — С. 86.

<sup>26</sup>У того же Моро-де-Бразе Пушкин мог заимствовать любопытную для нас подробность. Оказывается, за две недели до окружения, когда войска уже шла по буджакским степям, Петр устроил 27 июня большой праздник в честь второй годовщины Полтавского сражения. Моро подробно описывает стол на 220 персон, священника, говорящего проповедь («Феофан Прокопович», — добавляет Пушкин), угощение императрицы (X, 309—310). Здесь еще один важный для нашего сюжета мотив, связывающий Полтавскую битву с Прутским походом.

<sup>27</sup>Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... — Т. 17. — С. 260. Пушкин хорошо знал «калмыцкий анекдот». Так, первая фраза этого анекдота: «Между множеством разосланных Монархом в чужие края молодых Россиян (...) находился один из достаточных калужских помещиков» — почти дословно повторена Пушкиным в зачинах «Арапа Петра Великого» (ср. VIII, 3) и статьи «Александр Радищев» (XII, 30).

<sup>28</sup>Якубович Д.П. Указ. соч. — С. 290.

<sup>29</sup>Голиков И.И. Деяния Петра Великого... Т. 7. — С. 178.

<sup>30</sup>Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... — Т. 17. — С. 198.

<sup>31</sup>Там же. — С. 200—201.

<sup>32</sup>Якубович Д.П. Указ. соч. — С. 271.

<sup>33</sup>Голиков И.И. Дополнения к Деяниям... — Т. 17. — С. 119.

<sup>34</sup>Сам Пушкин, например, называет «Капитанскую дочку» то повестью (VIII, 928), то романом (XV, 70).

<sup>35</sup>Мы, разумеется, отвлекаемся здесь от реальных историко-хронологических деталей, связанных с воплощением замыслов Пушкина о Пугачеве и Петре; речь идет о широко понимаемой логике движения пушкинских замыслов.

<sup>36</sup>В «Романе в письмах» устами героя несомненно говорит сам автор: «Древние фамилии приходят в ничтожество (...) Состояния сливаются» (VIII, 53).

<sup>37</sup>Пушкин близко к тексту цитирует слова Протогена (действие III, явл. 3). Эти стихи Кюхельбекер приводил в примечании к «Отрывку из путешествия по Германии» в альманахе «Мнемозина» (1824). См.: Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. — Л., 1979. — С. 29.

<sup>38</sup>Нам приходилось касаться этой темы, см.: Листов В.С. Один мотив из болдинского «Отрывка» А. С. Пушкина «Несмотря на великие преимущества» // Болдинские чтения. — Горький, 1983. — С. 109—118.

**П**ушкин хорошо знал архитектурный облик русской провинции.

Странствия поэта по градам и весям родной страны начались очень рано. Двенадцатилетним мальчиком он совершил свое первое далекое путешествие — из Москвы в Петербург. Именно тогда, в 1811 году, будущий поэт увидел с десяток городов и городков Московской, Тверской, Новгородской и Петербургской губерний, познакомился с бытом почтовых станций, с бесконечностью российских дорог.

Потом судьба опального и ссыльного чиновника забросила его на юг — Кавказ, Крым, Кишинев, Одесса. Нам сегодня трудно оценить смысл этих поездок с точки зрения людей начала XIX века. Русское дворянство, кажется, лучше знало Париж, чем дальние окраины собственной державы. Экзотика присоединенных и присоединяемых к империи земель привлекала, манила новизной. Недаром же славу молодого, восходящего Пушкина составили так называемые «южные» поэмы — «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».

В них, однако, собственно «архитектурная» составляющая сравнительно скромная — в описаниях «хижинок татар» или ханского дворца в Бахчисарае больше романтических условностей, чем реального проникновения в существо быта, в особенности предметной среды. С другой стороны, и сами новые города не давали поводов к особенно глубоким суждениям. Та же Одесса, основанная при Екатерине Второй, еще не знала собственных традиций, была причудливой, подчас случайной смесью средиземноморских, азиатских и русских образов. Такой она и предстает перед нами в «Путешествии Онегина».

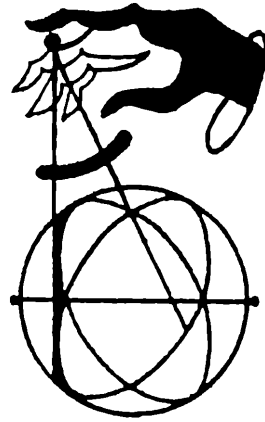
Понимание коренной русской провинции пришло к Пушкину в период ссылки в Михайловское в 1824–1826 гг. Патриархальная замкнутость уездных и заштатных городков Псковщины, стандарты престижных ампирных включений в изысканной мир близких предместий, «версты полосаты» на въезде — все это постоянно окружало поэта целых два года. Уже одно то, что Пушкин дал Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», свидетельствует о глубоком проникновении автора «Онегина» в образ жизни всех сословий. Основные фабульные связи будущей гоголевской комедии уже намечены в плане, набросанном Пушкиным в 1833–1834 гг.:

«Криспин приезжает в Губернию NB на ярмонку — его принимают за (нрзб)... Губерн. (атор) честный дурак — Губ.(ернаторша) с ним кокетнич. (ает) — Криспин сватается за дочь». (VIII, 431).

В подтексте этого плана нетрудно разглядеть пейзаж обыкновенного русского города — собор на центральной площади, здание присутственных мест, гимназия, богоугодные заведения, пустующие в обычное время торговые ряды ярмарки, пожарная каланча. Прелесть таких тихих уголков отечества Пушкин, конечно, понимал. Однако — в годы михайловской ссылки особенно — провинциальная затхлость уездов, однообразие их существования должны были его просто бесить своей непреодолимой, безысходной застойностью.

Вот эпиграмма, обращенная Пушкиным к двум сразу захолустным городишкам, расположенным в «далеких северных уездах»:

Есть в России город Луга  
 Петербургского округа;  
 Хуже не было б сего  
 Городишки на примете,  
 Если б не было на свете  
 Новоржева моего. (II. 35)



Новоржев и Луга здесь только эмблематические выражения для десятков и сотен подобных «городишек», бывших у Пушкина «на примете». В биографии поэта известны так называемые «годы странствий» – примерно с 1826 по 1831-й – когда он объездил пол-России: от Петербурга до Поволжья и от Москвы до Кавказа. Голос самого автора звучит в устах рассказчика повести «Станционный смотритель»:

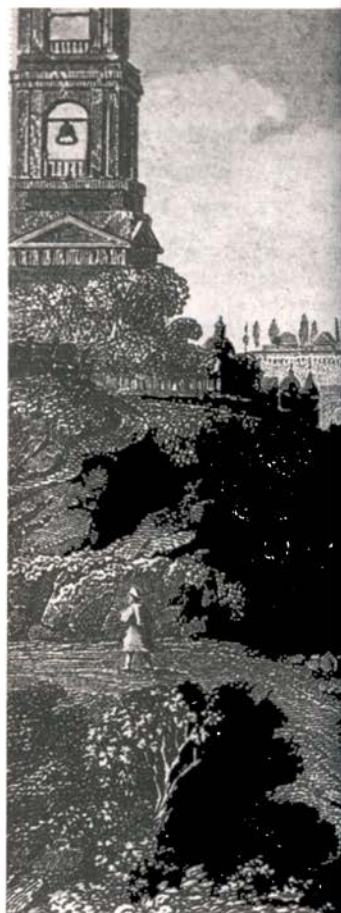
«Изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо...» (VIII, 97).

В годы тридцатые – вместе с женитьбой – начался период относительной оседлости Пушкина. Однако и тут провинция неодолимо его притягивает. В 1833 году, работая над «Историей Пугачева», он покидает Петербург для Урала и Поволжья, где ищет не только документальный материал, но еще и набирается впечатлений для будущей «Капитанской дочки». Зарисовки архитектурных памятников с натуры – у Пушкина редкость. А все же в его дорожных записях есть несколько графических набросков, сделанных в приволжских городах – Казани, Симбирске.

Пушкин остро чувствует житейские парадоксы архитектурных впечатлений. Например, герой «Капитанской дочки» Петруша Гринев на подъезде к Белогорской крепости заворожен самим словом «крепость». Он ожидает увидеть мощные оборонительные сооружения, грозные амбразуры, ошестившиеся пушками. Вместо этого видит он что-то очень похожее на простое русское село: «Я (...) ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирды сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными...» (VIII, 294).

Въезд в город. Акв. архитектора  
Ф. Кампорези

Торжок. Паиорама. Гравюра  
Флойда по рис. А. Арнольди







Нижний Новгород. Вид с Волги.  
Литография по рис. Кленце

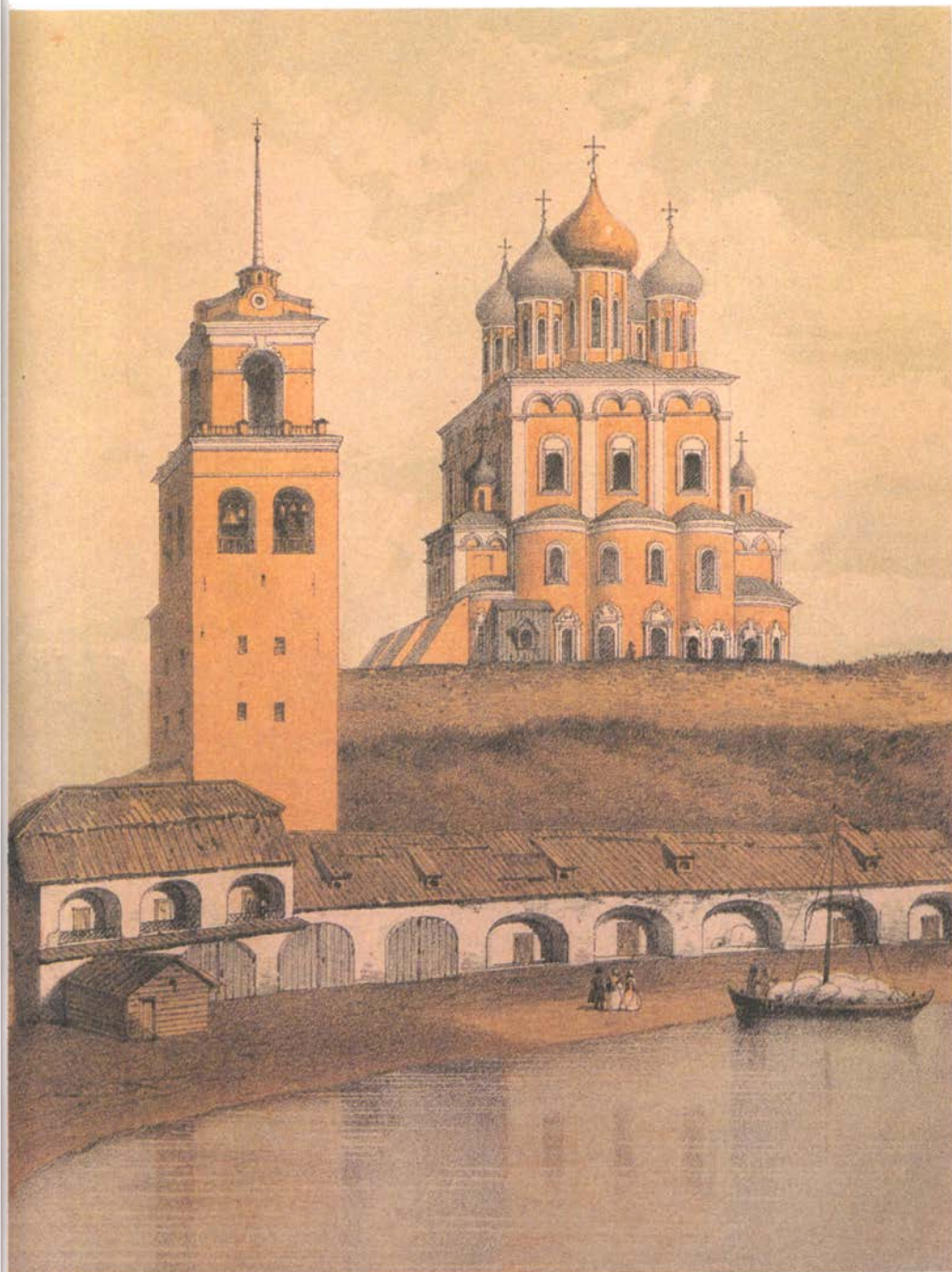
Гверь. Акв. М. Казакова



ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ∞







Новгород. Панорама с Волхова.  
Гравюра перв. пол. XIX в.

Псков. Троицкий собор.  
Цветная литография. XIX в.

Псков. Виды развалин каменной городской стены с западной стороны. Литография из альбома И. Селезнева. 1839



ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ∞







Арзамас. Литография

ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ∞





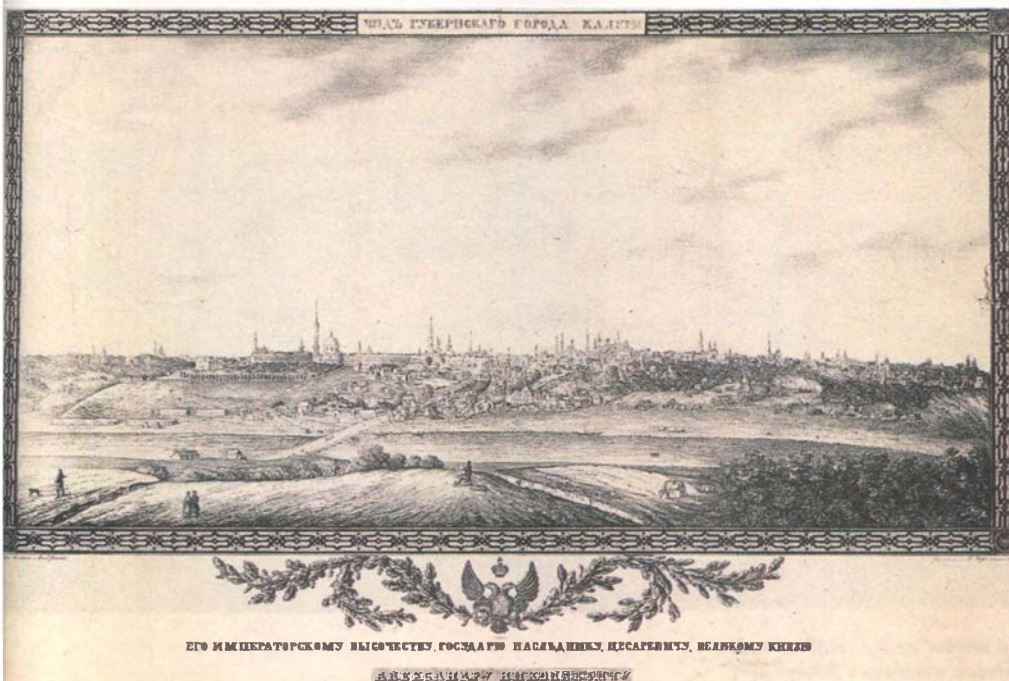
Псков. Троицкий собор по рис. 1689 г. Реконструкция Ю. Спегальского

Калуга. Площадь перед Торговыми рядами в перв. пол. XIX в. Реконструкция М. Нащокиной

Псков. Собор Иоанна Предтечи. XII–XV вв.







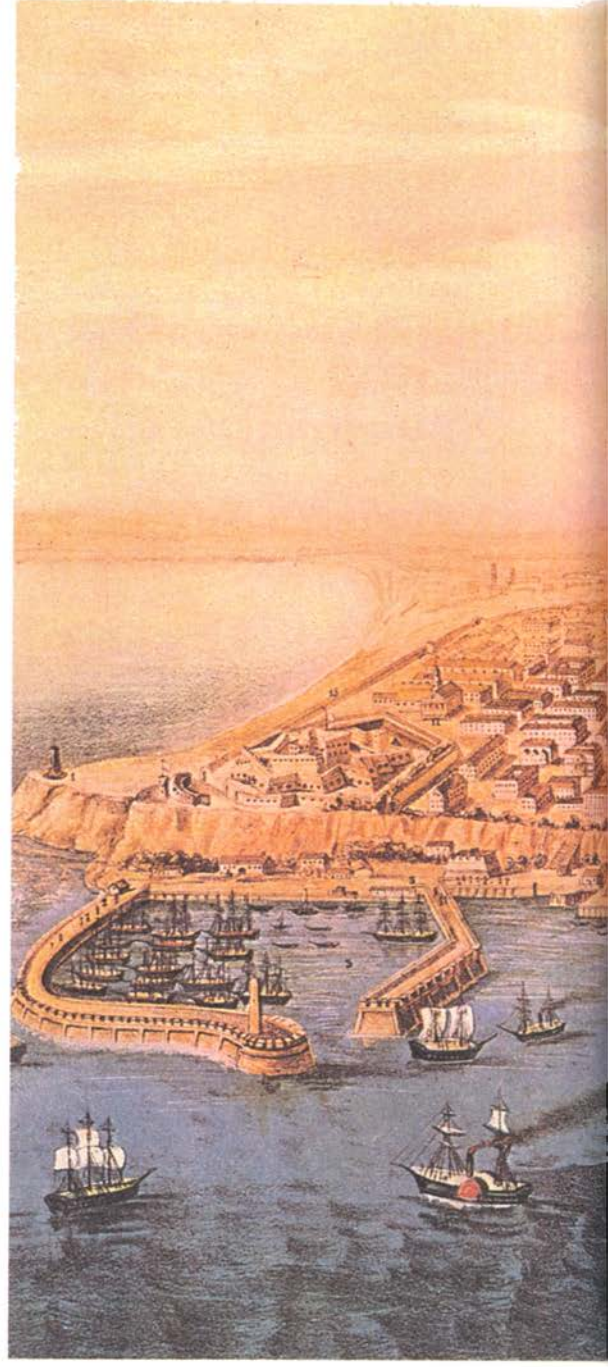
Остров. Вид каменной крепости с южной стороны в конце XVIII в. Литография XIX в.

Изборск. Вид развалин каменной крепости. Литография XIX в.

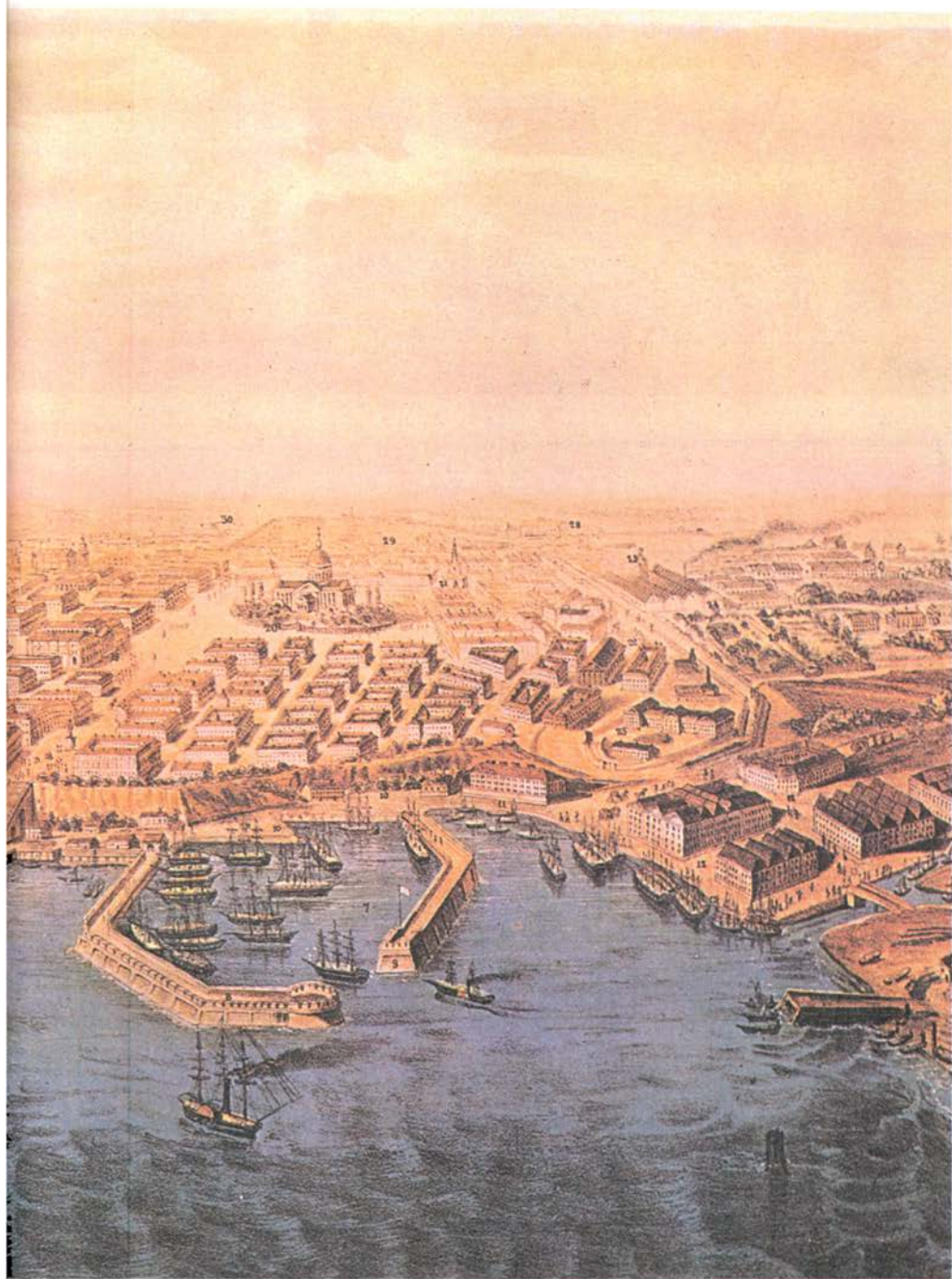
Вид губернского города Калуги. Рис. и литография К. Тромона. 1837



ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ∞

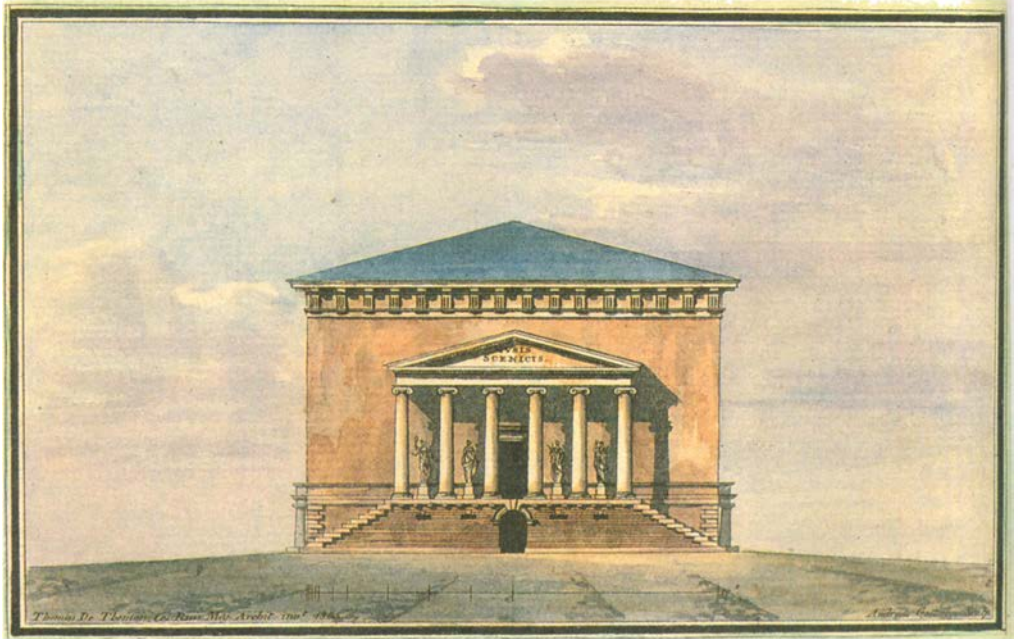
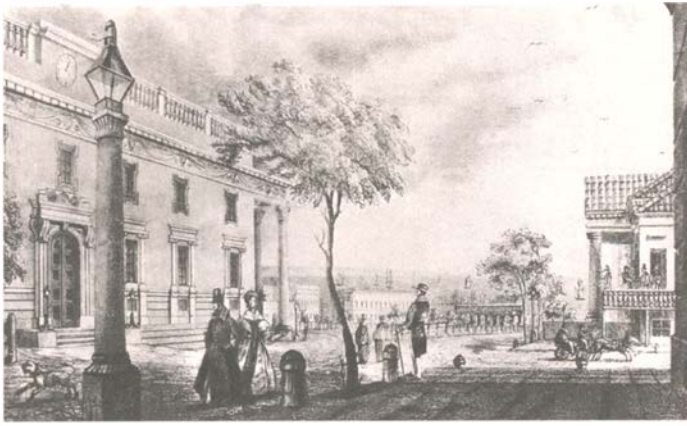






Одесса. Вид города, гавани и укреплений с птичьего полета. Литография сер. XIX в.





*Можно не сомневаться, что, посетив эти места через полвека после своего героя, Пушкин застал тот же самый пейзаж ничуть не изменившимся. История, конечно, ушла вперед даже и здесь, но декорации исторического действия остались прежними. Это и придает пушкинским описаниям в «Капитанской дочке» такую абсолютную и непрекаемую достоверность.*

*Как бы подводя итог своим многолетним странствиям, поэт пишет знаменитые «Дорожные жалобы»:*

*Долго ль мне гулять на свете  
То в коляске, то верхом,  
То в кибитке, то в карете,  
То в телеге, то пешком?*





Одесса. Площадь перед театром. 1837. Литография Н. Анискевича по рис. К. Боссоли



Одесса. Ришельевская улица. 1830-е годы. Литография по рис. Ф. Гросса

Одесса. Театр. 1804–1809. Архит. К. Тома де Томон

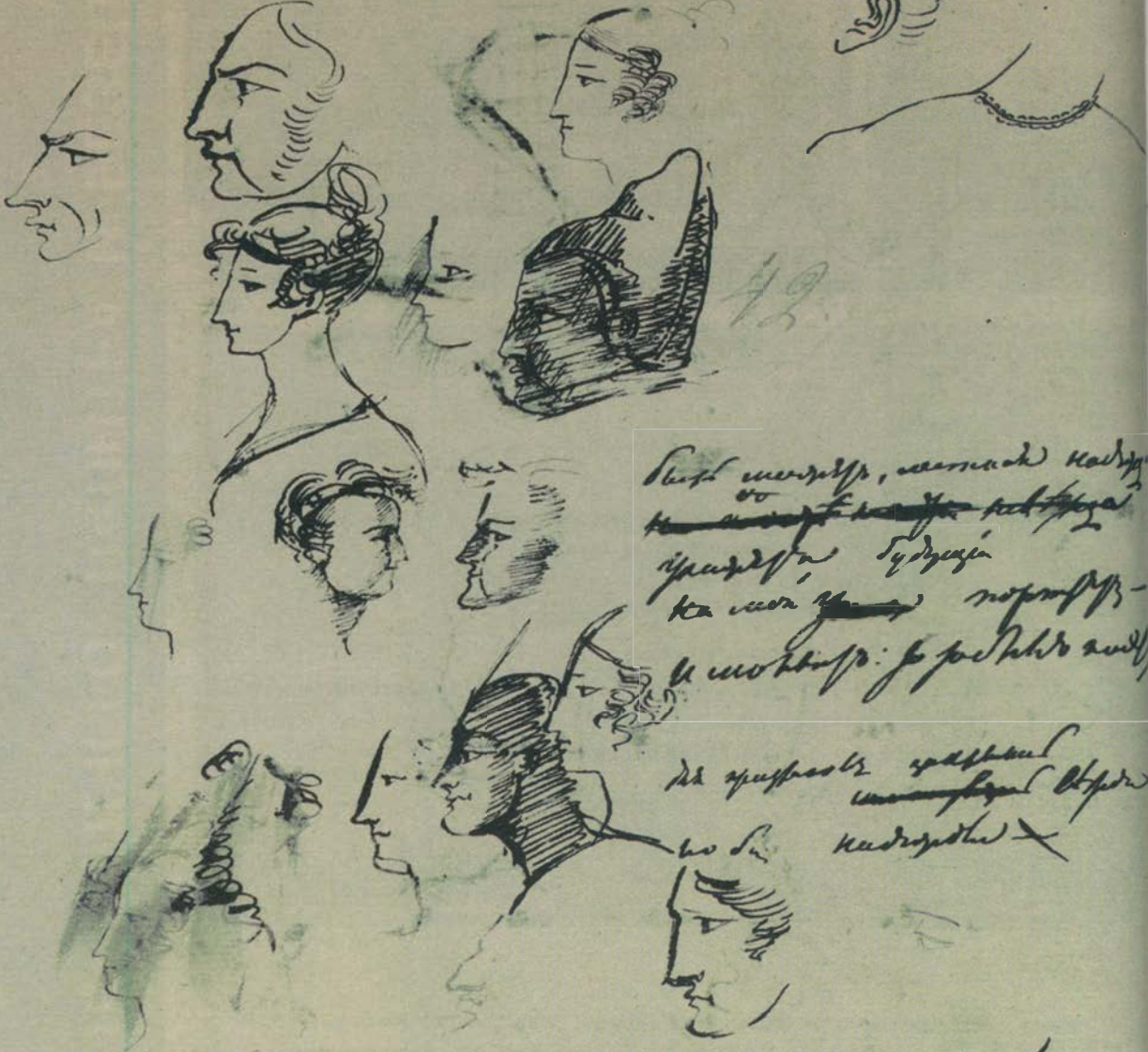
Одесса. Соборная площадь. Литография Н. Анискевича по рис. К. Боссоли

*Не в наследственной берлоге,  
Не средь отческих могил,  
На большой мне, зная, дороге  
Умереть Господь судил... (III, 177)*

*Предсказание сбылось лишь отчасти.*

*Русская провинция все же осталась для Пушкина великой питательной средой – там рождались многие образы его произведений; там находил он благодарных, понимающих читательницу и читателей...*

or y...  
~~...~~  
 ...



...  
 ...  
 ...

...  
 ...



...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

## Глава VIII

---



**Островное  
пророчество**



Опора на культурные, мифологические традиции — несомненная особенность пушкинского творчества. Она надежно выявляется во многих стихотворениях, на страницах прозы и драмы, в эпистолярном наследии. О том же свидетельствует обширный круг источников, отразивший — документально и мемуарно — весь жизненный путь поэта.

Нужны ли примеры? Каждый, кто внимательно читал Пушкина, знает их множество. Культ Богородицы или пророчество Исайи, сказание об Иосифе Египетском или драма блудного сына, страсти Иова многострадального или новозаветный эпизод ухода рыбаков-апостолов — список таких обращений Пушкина к священной истории можно продолжать без конца. Но нас занимает не только и даже не столько ориентация пушкинского сознания на тот или иной текст великих Книг, сколько глубина и последовательность такой ориентации.

Часто один и тот же поэтический образ, восходящий к священному писанию или преданию, как бы преследует Пушкина от времен лицейской юности до самых последних дней жизни, развивается, наполняется новыми смыслами, испытывается в разных контекстах.

Одному из таких образов, оставивших, по нашему мнению, след в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836), и посвящена предлагаемая глава.

1.

Начнем с двух простых утверждений, вовсе нынче не полемичных.

Во-первых, стихотворение «Памятник» итоговое. В нем завершаются раздумья Пушкина о судьбах России и ее поэта, раздумья, прошедшие через всю жизнь. Тут историко-философское и моральное резюме всего, что наполняло течение пушкинской мысли от ее истока почти до самого устья; тут магистрал творчества.

Во-вторых, стихи пророческие. Их мощные лучи проникают далеко за черту скорой гибели поэта, высвечивают грядущее, пока еще сокрытое от пушкинских современников.

Можно без конца множить высокие эпитеты и употреблять превосходные степени — в этом нет необходимости.

Поэтому скажем сразу: исходной точкой наших размышлений станет маленькая странность, по-видимому, до сих пор не привлекавшая внимания истолкователей. Эта странность — кажущееся резкое масштабное несоответствие текста стихотворения его атрибуции в автографе. Под последней строкой белого автографа стихотворения Пушкин делает характерный завершающий прочерк и ставит:

«1836

авг. 21.

Кам. остр.»<sup>1</sup>

Кажется, объяснить эту запись нетрудно. Совершенно ясно, что Пушкин написал стихотворение в августе 1836 года на Каменном острове, т. е. в дачной местности под Петербургом. Сомнений быть не может — именно свое последнее лето поэт проводит с семейством на каменноостровской даче.

Но так ли все просто?

Перечитайте мысленно «Памятник», снова—в который раз!—убедитесь, как высоко парит стихотворение над временем и пространством. Почти два тысячелетия, прошедшие от горациева «Egegi monumentum», сопряжены в нем с будущим, продолнным едва ли не до конца времен, — «...доколь в подлунном мире/Жив будет хоть один пиит». В строфах «Памятника» слышны отголоски многих языков и культур, прощупываются живые связи России с Западом и Востоком—дух захватывает от шага этой поэзии.

И с этой-то высоты Пушкин почему-то различает дачную местность под Петербургом, ничем не примечательное течение жизни; все, что связано с записью, завершающей стихотворение, по первому впечатлению ведет к чисто бытовым реалиям. Размеренное дачное существование, глухой предосенний сезон; у Пушкина еще не кончился траур по недавно умершей матери.

Наталья Николаевна уже начала помаленьку выезжать. Ее отлучки на «минеральные балы»—скромные полуофициальные приемы на водах у императрицы—вызывают легкую зависть сестер. Они изредка ездят в театр, но больше скучают. Иногда врываются шумные ватаги молодых Карамзиных—все некстати. Прибаливают дети; нет денег, долги. Семейственная жизнь не располагает к увеселениям.

Вот о чем должна была бы напоминать Пушкину строка о Каменном острове, будь она простой топографической формальностью. Но в этом случае Пушкин, может быть, просто не проставил бы место написания стихотворения, как не проставлено оно под многими его произведениями. Мы склонны видеть здесь не одно только топографическое указание, но преимущественно какой-то важный для автора намек, смысловой акцент.

Такое предположение, если бы оно подтвердилось, заполнило бы отмеченную пропасть между нерукотворной высотой пушкинского стиха и низкой истиной, «скукой загородных дач», как говорил потом А. А. Блок.

Можно привести немало примеров того, как Пушкин выставляет под стихами топоним не по простым фактическим соображениям, но движимый чисто художественными мотивами. Давно известно, скажем, что многие «южные» стихотворения 1820 года помечены в автографах местами, явно противоречащими датам. Элегия «Погасло дневное светило...» завершена пометой «Черное море. 1820. Сентябрь», что не согласуется с письмом автора к брату Льву от 24 сентября того же года. Строго фактически либо время, либо место, указанное здесь Пушкиным, ошибочно. То же самое в стихотворении «Увы, зачем она блистает...»—в одном его автографе сразу два равноправных топонима: «Киев» и «Гурзуф». Столь же сомнительный «Юрзуф, 20 октября» проставлен под стихотворением «Мне вас не жаль, года весны моей...»— в тот день Пушкин уже в Крыму не был.

Для нашей темы особенно важна условная топонимика в двух стихотворениях: «К чему холодные сомненья?..» и «Герой». Первое (оно же и послание к П. Я. Чаадаеву) Пушкин публикует в составе «Отрывка из письма к Д.» с пояснением, будто эти рифмы посетили его в Крыму на развалинах храма Дианы. Между тем стихотворение написано четырьмя годами позже и вдалеке от Крыма.



Стихотворение «Герой» создано в Болдино, но помечено: «Москва» — Пушкин, как мы помним, связывал содержание стихов с приездом Николая I в Москву, охваченную холерой в сентябре 1830 г.<sup>2</sup> Этот случай самый показательный. Авторская атрибуция произведения выступает здесь как некая художественная условность, как элемент образной ткани стихотворения.

К этим стихам нам предстоит еще возвращаться; пока заметим только, что обе вещи — и «Герой», и «К чему холодные сомнения?..» — суть размышления поэта о двух истинах: истине высокой, поэтической, и истине низкой, приземленно-буквальной. А топоним в обоих стихах стоит как бы на границе двух миров — образного и буквально-го. И может читаться поэтому двойственно.

Что-то подобное происходит, по нашему мнению, и с топонимом «Каменный остров» в автографе «Памятника». Простой, так сказать, «рукотворный» смысл пометы понятен: пусть стихотворение действительно написано летом 1836 года на Каменном острове, и это факт биографии поэта.

Но попробуем понять топоним и в другом, небытовом ряду, соотносить его с образным миром стихотворения.

Мы условились в начале, что будем принимать «Памятник» как произведение пророческое, обращенное в грядущее, за черту земной жизни поэта. Значит, можно описать положение вещей так: *некто, обладающий пророческим даром, находится на каменном острове, где ему приходит видение будущего*. Попытаемся, исходя из этого, проникнуть в символический смысл ситуации и назвать первоисточник, на который здесь очевидно ориентируется Пушкин.

Образ пророка, которого на острове посещает видение, мог иметь в пушкинские времена одну и притом совершенно ясную аналогию: *Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса*. Остров как место, где будущее открывается пророку, обозначен уже в первой, вводной, главе этого знаменитого раннехристианского сочинения:

«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.

Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Алфа и Омега, Первый и Последний;

То, что видишь, напиши в книгу...» (Апокалипсис. 1: 9–11).

И далее, на протяжении следующих 22 глав, Иоанн описывает свои видения — страшный суд, борьбу сил небесных с дьявольскими, наказание грешников и возвышение праведных и, наконец, новое небо и новую землю как венец апокалиптической символики. Вот что является автору на острове Патмос (или Пафмос). Именно на ситуацию Апокалипсиса — пророк на острове — ориентируется Пушкин, когда ставит под своим пророческим «Памятником» весьма обязывающий в этом контексте топоним: «Каменный остров».

Такой вывод, разумеется, требует серьезных подтверждений.

Первое и главное из них мы найдем в письме Пушкина к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года, отправленном из кишиневской ссылки в Петербург. Вот начало этого письма: «Не правда ли, что вы меня не забыли, хотя я ничего не писал и давно не получал

об вас никакого известия? Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух да еще без некоторых избранных соскучишься и не в Кишиневе. <...> В руке твои предаюся, отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христоролюбивому пастырю поэтического нашего стада...» (XIII, 29).

Строки этого письма на полтора десятилетия старше стихотворения «Памятник». Они надежно свидетельствуют, что, во-первых, образ острова как места нахождения пророка прочен в сознании Пушкина и что, во-вторых, поэт уже ясно соотносит, сближает в своих представлениях апокалиптический Патмос и петербургский Каменный остров. Конечно, Кишинев не буквально остров; конечно, под «жителями Каменного острова» здесь надо понимать царскую семью, проводящую лето за городом. Но само столкновение Патмоса и Каменного острова в одной пушкинской фразе знаменательно; оно не должно быть упущено в предыстории «Памятника».

К тексту письма Тургеневу нам еще предстоит вернуться; пока же приведем доказательства того, что мотив островного пророчества не покидает Пушкина и в последующие годы.

Быть может, нигде и никогда до «Памятника» Пушкин не сознавал так ясно свой дар, как в Болдино осенью 1830 года. Сравнение уединенного, холерными карантинами отрезанного от мира селения с островом, конечно, напрашивалось и с полной ясностью выступило в переписке поэта, о чем мы уже говорили, обращаясь к стихотворениям «Когда порой воспоминанье» и «Отрок».

«Я живу в деревне как в острове» (XIV, 121) — это из письма к А. А. Дельвигу от 4 ноября. И еще—это уже из письма к невесте от 11 октября: «Болдино имеет вид острова, окруженного скалами» (XIV, 115; подлинник по-французски). К середине болдинской осени Пушкин пишет диалогическое стихотворение «Герой» и отправляет его в Москву М. П. Погодину. В сопроводительном письме—знакомый образ: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях—но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять *никому* моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную...» (XIV, 121–122).

В следующем, 1831 году Пушкин снова упомянет Патмос—на этот раз в письме к П. А. Плетневу. Именем знаменитого новозаветного острова будет названо место карантинного заточения Плетнева, спасавшегося от холеры в усадьбе под Петербургом (XIV, 193).

Достаточно.

Совершенно ясно, что в сознании Пушкина, хорошо знакомого со Священным писанием, ситуация видения на острове была осознанна и активна. Она прослеживается не только в письмах, но и во многих произведениях.

Островное видение присутствует и в «Медном всаднике» — ведь именно на острове стоит Тот, кто «дум великих полн», кто прозревает будущее. Близки по значению образы «острова малого» из заключения поэмы и «печальный остров—берег дикой» из стихотворного наброска «Когда порой воспоминанье...» (III, 243–244)<sup>3</sup>.

Прямой апокалиптический сюжет находим и в другом известном «островном» произведении Пушкина—устной повести «Уединенный домик на Васильевском». Записавший ее Владимир Титов позднее вспоминал, что «честь вымысла» именно апокалиптических мотивов, связанных с «числом зверя 666», игроками-чертями и всей главной нитью рассказа, принадлежит Пушкину<sup>4</sup>. Заметим и то, что, кажется, замечено не было: в кульминационный миг повести пожар охватывает уединенный домик, и старая грешница, быть может убийца, сторает без покаяния — родственность этого эпизода на острове и детали апокалиптической картины «страшного суда» кажется довольно близкой: в Откровении Иоанновом «от огня, дыма и серы» гибнут среди других те, кто не раскаялся в убийствах своих (Апокалипсис. 9: 13—21).

Но вернемся из области видений к реальной строке, завершающей стихотворение «Памятник». Пушкин знает, конечно, не только канонический текст Иоаннова Откровения, но и простой географический факт: остров Патмос реально существовал и существует в Эгейском море—независимо от того, верно ли предание о том, что римский император Домициан изгнал сюда христианского праведника. Вполне доступен Пушкину и другой географический факт: Патмос есть остров скалистый, каменный. Об этом можно было прочесть в любом энциклопедическом справочнике, в записках любого из многочисленных путешественников к святым местам.

Сошлемся, например, на выдержавший пять изданий к началу XIX века путевой дневник русского монаха Василия Григоровича-Барского—одно из самых распространенных в пушкинское время сочинений. Подробнее мы скажем о нем в своем месте; сейчас же отметим описание Патмоса. То, что остров каменист, автор подчеркивает даже с некоторой назойливостью. Дома на Патмосе черны, утверждает Григорович-Барский, они выстроены из местного материала, «понеже весь остров черный раждает камень». И далее: «...есть пещера каменная от древле, в ней же святыи Иоанн Богослов Евангелие и Апокалипсис написа». В похвале одному из патмосских монахов, пробовавших заниматься на острове земледелием, путешественник замечает, что он «прежде неплоден и сух камень у плодоноси» и тем облагородил вид «убогаго и сухаго острова»<sup>5</sup>.

Таким образом, игра вокруг «Памятника» упрощенно сводится к такой формуле: новозаветный Патмос есть от природы каменный остров, а петербургский Каменный остров отвечает легендарному и своим названием, и как местонахождение провидца.

Подобное сближение двух островов, отмеченное в сознании поэта, было бы просто любопытным, если бы не два обстоятельства, такому сближению сопутствующих.

Во-первых, Пушкин как бы ставит себя на место одного из самых почитаемых святых, и отсвет суда Божьего как бы падает на стихотворные строки.

Во-вторых, среди линий пушкинского творчества, завершаемых «Памятником», видится и линия, связанная с провидческим даром автора, даром высоким, а главное, вполне осозанным.

Оба эти обстоятельства заслуживают пристального изучения — *даже независимо от пометы «Каменный остров» под текстом итогового стихотворения.*

2.

Если провидческую линию творчества, по которой Пушкин пришел к «Памятнику», представить себе в виде древесного ствола, то, вероятно, окажется, что мощные его ответвления будут подчас не менее важны, чем основная вертикаль, ведущая от корней к вершине. Поэтому, продолжая наблюдения над пушкинским текстом, мы поведем наш рассказ от лицейских опытов к «Пророку» и «Герою», но по мере необходимости будем свободно отвлекаться в стороны. Ибо в мире пушкинского стиха, по нашему мнению, нет и быть не может закосневших, статических понятий «важное» и «второстепенное».

Предчувствие пророческого дара посещало Пушкина уже очень рано, в юности,—творчество лицейской поры надежно доказывает это. Но тут далеко не все еще понято. И вот пример.

В своей работе «Строфика Пушкина»<sup>6</sup> Б. В. Томашевский открыл странную, труднообъяснимую переключку. Во всем стихотворчестве Пушкина больше нет, оказывается, строфы «Памятника»—нет этого шестистопного ямба с перекрестными рифмами, где последняя, четвертая, строка усечена до четырех стоп и завершена мужским окончанием. Из этого правила есть только одно исключение: завершающая строфа лицейского стихотворения 1815 года «Наполеон на Эльбе»:

Простерлась тишина над бездною седою,  
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,  
Все смолкло... трепещи! Погибель над тобою,  
И жребий твой еще сокрыт! (I. 118)

Сокрыт, таким образом, не только жребий полководца, но и повод, по которому поэт написал итоговую вещь строфой, испробованной лишь однажды, в юности. М. П. Алексеев сопровождает эту ситуацию вопросительным комментарием: «Предстоит еще, следовательно, определить, чем вызвано было обращение Пушкина к этой строфе только дважды за всю жизнь— в начале и в конце литературного поприща»<sup>7</sup>.

Ответ, нам кажется, надо искать не только (или даже не столько) в развитии пушкинской метрики и строфики, сколько в смысловом сравнении обоих стихотворений.

Заметим, кстати, что постоянный оппонент Пушкина в Кишиневе Владимир Раевский в свое время не понял в стихотворении «Наполеон на Эльбе» именно те самые места, которые дают повод к сближению лицейского опыта с грядущим «Памятником». В своем мемуарном отрывке «Вечер в Кишиневе» Раевский так высмеивает пушкинские строки:

«Один во тьме ночной над дикою скалою  
Сидел Наполеон!

<...>Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою... Слишком странная фигура!<...>

И, к дальним берегам возведши взор утрюмый,  
Свирепо прошептал:  
Вокруг меня все мертвым сном почило (...)

Ночью смотреть на другой берег! <...>

И спящих вод прервется тишина?..  
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами.

<...>Ну, любезный друг <...> На Эльбе ни одной скалы нет! <...> Не у места, если бы я сказал, что волны бурного моря плескаются о стены Кремля или Везувий пламя извергает на Тверской»<sup>8</sup>.

Критика Раевского по-своему совершенно точна. Она становится в тупик именно там, где возвышенное прозрение сменяет низкую истину. Что происходит с Наполеоном? Он изгнан на остров, и здесь ему приходит видение будущего—победоносное возвращение во Францию, успех, слава, т. е. именно то, чему суждено свершиться на «сто дней», в один из этих «ста дней», Пушкин и пишет свое стихотворение. Следовательно, молодой поэт относит героя во времени несколько назад и одаряет пророчеством, которому—он знает—суждено сбыться. В условном мире стиха «сто дней»—грядущее, поэтому Бонапартово видение обставляется всеми атрибутами известной культурной традиции—изгнанничество, каменный остров, скала, ночь.

Эти традиционные знаки поэту, конечно, важнее простой фактографии; ему все равно, есть на настоящей Эльбе скалы или нет и можно ли видеть дальние берега по ночам. Видение приходит, и оно — спектакль, который требует таких, а не иных подмостков.

Провидческие лавры Пушкин отдает здесь Наполеону; понятно, образ полководца тревожит сознание молодого поэта, который еще далеко не дерзает примерить на себя пророческие символы. Но важно уже и то, что на Патмос—Эльбу Пушкин помещает не древнего святого, что следовало бы сделать канонически, а своего светского современника, хотя бы и самого прославленного. Из зерна такой возможности и вырастет потом уверенное самосознание автора «Памятника».

Раевский привычно видит в «Наполеоне на Эльбе» романтическую поверхность; признаки другого культурного начала от него ускользают — немудрено. Дело тут не только в противоборстве литературных школ. «Вечер в Кишиневе» написан не позднее 1822 г., Пушкин еще не создал тех своих вещей (включая «Памятник»), которые «обратным» светом высветили бы раннее стихотворение.

Когда после гибели Пушкина Жуковский переменит в первой строфе «Памятника» Александрийский столп на Наполеонов, то это, конечно, исказит стихи в угоду цензурным требованиям. Но ход мысли Жуковского оказывается не вовсе за пределами пушкинских представлений — свидетельством тому и «Наполеон на Эльбе», и еще более стихотворение «Герой», о котором речь впереди.

Строфическая аналогия «Наполеона на Эльбе» с «Памятником», по-видимому, отражает не только формальную, но и смысловую родственность произведений, а шире—непрерывность некоторых мотивов самосознания Пушкина: от начальных шагов творчества до самого конца.

Продолжение этой линии отчетливо видно в цитированном уже письме Пушкина к А. И. Тургеневу из Кишинева от 7 мая 1821 года.

Называя место своей ссылки островом Патмосом, Пушкин более чем прозрачно намекает на ту роль, которую он здесь себе присваивает. Новозаветное выражение из



того же письма «В руце твои предаюся, отче!» лишний раз подчеркивает тот литературный источник, который в данном случае пародируется.

Молодой Пушкин уже смеет рекомендоваться провидцем, но делает это пока еще шутя, несерьезно. Его заботит не столько пророческий ореол, сколько увлекательная возможность вырваться на несколько дней в Петербург с помощью доброго Александра Ивановича. Свою просьбу о протекции он обставляет апокалиптическими атрибутами — благо, к тому есть реальный повод: изгнанничество.

Тургенев должен, по мысли поэта, хлопотать за него перед «жителями Каменного острова», т. е. перед царской фамилией, отдыхающей летом под Петербургом. И конечно же, для Тургенева, прекрасно знакомого и с римской, и со священной историей, совершенно понятен еще один намек в письме Пушкина, не менее важный.

Как только ссыльный Пушкин ставит себя на место Иоанна Богослова, так и его гонитель немедленно обретает черты своего исторического прототипа. По христианской легенде, Иоанн изгнан на Патмос жестоким римским императором Домицианом; значит, роль этого древнего деспота отводится гонителю Пушкина императору Александру I. Тургенев, несомненно, оценил такой ход и мысленно продолжил сравнение. Ибо Домициан, как известно, боролся за власть с отцом своим Веспасианом, а это тоже черта императора Александра, не совсем оставшегося в стороне от убийства своего отца, Павла I.

Но царевубийство, римские параллели к русской истории — все это сложные темы; они увели бы нас слишком далеко. Вернемся к основному для нас смыслу письма.

Пушкин, как мы помним, обещает Тургеневу подарок, если тому удастся выгребовать поэта из Кишинева—Патмоса: «Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христоролюбивому пастырю поэтического нашего стада...» (XIII, 29). О каком пушкинском сочинении идет здесь речь?

В своих комментариях к письмам Пушкина Б. Л. Модзалевский, не колеблясь, называет «Гавриилиаду»<sup>9</sup>. Основной его аргумент здесь — хронологический. «Гавриилиада» завершена в апреле 1821 г., а письмо помечено маем того же года. Вряд ли так. «После чего-то» вовсе не значит «вследствие чего-то».

У Пушкина нет ни малейшего основания называть «Гавриилиаду» сочинением во вкусе Апокалипсиса. Вся эта фривольная сказка построена на показаниях евангелистов-синоптиков, преимущественно на начальных стихах Евангелий от Матфея и от Луки. Прямых мотивов Благовещения и Рождества, пародируемых в «Гавриилиаде», нет ни в Евангелии от Иоанна, ни тем более в упоминаемом Пушкиным Апокалипсисе.

Сомнительна и возможность посвящения «Гавриилиады» Александру Ивановичу Тургеневу. Камергер, директор департамента, Тургенев был пятнадцатью годами старше своего корреспондента. Его умеренный либерализм не выдерживал даже выпадов молодого Пушкина против Карамзина; видеть свое имя в посвящении «Гавриилиады» было бы для Тургенева прямым оскорблением; кроме того, это подвергало бы его опасности. Пушкин же всегда относился к Тургеневу с уважением, а обращаясь к нему с просьбой, тем более должен был избегать ложных шагов.

Для отношений Пушкина и Тургенева показательное другое стихотворное послание — «Свободы сеятель пустынный» одно из сложнейших произведений пушкинской

философской лирики. Автор направил его Тургеневу при письме из Одессы 1 декабря 1823 года (XIII, 79). В нем если и нет прямой ориентации на апокалиптический сюжет, то уж во всяком случае пророческое начало выражено ясно и совершенно всерьез. Пророк здесь обращается со своей проповедью слишком «рано, до звезды», т. е. до восхода вифлеемской звезды, символа рождения Спасителя. Поэтому его пророчество пропадает втуне — «...потерял я только время/Благие мысли и трудь». Для Пушкина тут, заметим попутно, не только понимание косности текущей социальной ситуации, но и обидно ранняя стадия его провидческого самосознания. В том же письме, по поводу первых песен «Онегина», Пушкин пишет — «захлебываюсь желчью» (XIII, 80).

В декабре 1836 года, на самой высшей точке расцвета своего дарования, Пушкин будет читать А. И. Тургеневу «Памятник»<sup>10</sup>.

Таким образом, «Свободы сеятель пустынный...», «Онегин», а позднее «Памятник» и «История Петра» — вот класс пушкинских произведений, обсуждаемых с А. И. Тургеневым, вот уровень общения поэта со старшим другом. «Гавриилиаде» тут, кажется, не место.

Поэтому ответить на вопрос, о каком «сочинении во вкусе Апокалипсиса» идет речь в письме 1821 года, пока не удастся. Не исключено, что это какое-то произведение, до нас не дошедшее, а то и вовсе ненаписанное, — Пушкин ведь только обещает его Тургеневу.

Клеточка 1821 года в «сетке» стихов, предшествующих «Памятнику», остается незаполненной.

Перед нами не стоит задача оглядеть всю биографию Пушкина как предысторию итогового стихотворения. Однако двухлетнее отшельничество в Михайловском, в котором поэт провел «изгнанником два года незаметных», нуждается в некоторых пояснениях.

Ни стихи, ни переписка михайловской поры не дают такого отчетливого понятия о местонахождении провидца, как это было раньше в Кишиневе или позднее в Болдино. Одно лишь короткое послание к П. А. Осиповой помечено: «С. Михайловское. 25 июня 1825» (II, 935). Но здесь топоним несомненно надо понимать только буквально — послание адресовано в соседнее село Тригорское и содержит суетный намек на предполагаемое бегство из Михайловского за границу («Но и в дали, в краю чужом» и т. д.) (II, 395).

Чувствует ли Пушкин в Михайловском какое-нибудь оскудение, ослабление своего дара? Какой-нибудь провал пророческого самосознания? Конечно, нет. Наоборот, духовные силы его и творческие способности достигают полного расцвета. «Я верую в пророчества пиитов» (VII, 54), — говорит один из героев в «Борисе Годунове», и это, видимо, голос самого Пушкина михайловской поры.

Но северное изгнание отличается от южного. Там, в Крыму, Кишиневе и Одессе, был полный простор высоким самосравнениям: «печальный странник», Овидий, Иоанн. Сами обстоятельства места как бы способствовали патмосским видениям. В Михайловском — не то; здесь поэт пророчествует вопреки своему положению, вопреки месту. И это одна из важных черт трагедии поэта.

Родовое имение, тягостная отцовская опека, открытый духовный надзор — все это остро противоречит высокой традиции изгнанничества. С Одессой поэт теряет не только

блестящий круг собеседников и собеседниц, слушателей и слушательниц, не только рассеяние городской жизни (всего этого и в Болдино не было). Михайловским нанес чувствительный удар по его *позиции*, по его понятиям о месте пророка в мире. Ибо вторая ссылака—это как бы попытка превратить Пушкина из опального проповедника в фонвизинского недоросля, чьи интересы не должны простираться дальше столовой и девичьей, о чем у нас уже шла речь.

Вот этой невозможностью обитания избранника в «наследственной берлоге» можно, кажется, объяснить уже упомянутый пушкинский ход: мысленно переносить стихи, написанные в Михайловском, на юг, приурочивать их к местам и временам южных странствий. Такой перенос происходит со стихами: «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Виноград», «О дева-роза, я в оковах», «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла...», «К чему холодные сомненья? ...» — дело не только в их «южной» сюжетике, но и в понятной неохоте автора обнажить настоящие обстоятельства создания стихотворений.

Но Пушкин — прорицатель по-прежнему. В письме к П. А. Плетневу по поводу сбывшегося предсказания в стихотворении «Андрей Шенья» он не удерживается от победного возгласа: «Душа! я пророк, ей-богу, пророк! я Андрея Ш<енья>» велю напечатать церковными буквами во имя от<ца> и сы<на>» (XIII, 249). Но теперь просьбы выгнать его из ссылки не сопровождаются высокими литературными параллелями, как четыре года назад в письме к Тургеневу. Теперь сравнение свое, домашнее: юродивый из «Бориса Годунова», безвестный, гонимый даже детьми.

Пушкин, однако, и в Михайловском не отказывается совсем от сознания избранности и формулу заточения выбирает хоть и уничтожительную, но все-таки из прежнего провидческого ряда. В черновике письма к В. Ф. Вяземской он замечает: «И вот, я— пророк в отечестве своем» (XIII, 114; подлинник по-французски). Афоризм о пророке, не имеющем чести в своем отечестве, вновь возвращает нас к новозаветной традиции и даже конкретнее—опять к автору Апокалипсиса, который приводит это выражение в главе 4 своего благовествования (Иоанн. 4: 44).

Выход из положения непризнанного избранника приходит к Пушкину осенью 1826 года — со стихотворением «Пророк». В литературе, порожденной этим стихотворением и гипотетическим циклом, к которому оно, возможно, принадлежало, есть несколько версий его истории; местом создания стихов называют и Михайловское, и фельдъегерскую карету, увозящую поэта в старую столицу, и самую Москву. Все возможно. Нас, однако, занимает не история «Пророка», но его логика, его место на пути к «Памятнику».

Круг самосознания автора здесь, конечно, не тяготеет к узнаваемой реальности. «Пустыня мрачная» бесконечно далека от родительского гнезда и вообще от суетного мира. «Пророка» принято связывать с главой VI библейской Книги Исаяи. Там поэт нашел и шестикрылого серафима, и уголь, взятый клещами из жертвенника и приложенный к устам, и глас Божий: «...пойди и скажи этому народу...» (Исайя. 6: 2—9).

Но внимательное чтение обнаруживает в «Пророке» не одни только ветхозаветные параллели. В стихотворении отчетливо видны детали картины апокалиптического «Страшного суда», едва только намеченные в библейском пророчестве. Когда

серафим отверзает зеницы и уста странника, когда он рассекает ему грудь мечом и оставляет, подобно трупу, лежать в пустыне, то здесь ясно слышны более поздние, новозаветные мотивы, близко напоминающие об Апокалипсисе. Только «Страшный суд» совершается не над всем народом, погрязшим во грехе, а над одним человеком. Он и обретает достоинство пророка.

Близость текста книги Исайи к сочинениям Иоанна Богослова хорошо известна. Ее отмечает, например, шлиссельбуржец Н. А. Морозов. В своей книге «Пророки» он прямо связывает по смыслу книгу Исайи с четвертым евангелием и Апокалипсисом. Да и шестикрылый серафим как орудие Божьего суда есть фигура патмосского видения, а не только ветхозаветного пророчества.

Движение мысли Пушкина—непрерывно. Но рамки нашей работы по необходимости вынуждают отмечать линию лишь отдельными точками. Следующей такой точкой, «точкой роста» пророческого самосознания, будет для нас Болдино, первая болдинская осень.

## 3.

Стихотворение «Герой», написанное в дни «болдинской осени» 1830 года, уже упоминалось как важнейшее звено, связующее ранние прозрения Пушкина с его итоговым «Памятником». Сомневаться не приходится, напомним, поэт сам пишет в письме М. П. Погодину в Москву: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь...» (XIV, 121).

«Песнь» эта необходима и в цепи наших наблюдений—хотя, конечно, стихотворение глубины бездонной и может быть понято совершенно иначе<sup>11</sup>. Нас занимает только патмосский мотив, роднящий «Героя» с «Памятником», и в этой связи некоторые источники и обстоятельства, важные для такого истолкования пушкинского стихотворного диалога.

Почему Пушкин назвал «Героя» апокалиптической песнью? Как в этом стихотворении переосмыслены атрибуты болдинского затворничества? В чем смысл беспокойства поэта о цензурных трудностях при печатании вещи? Вот вопросы, которые займут наше внимание.

На первый вопрос ответить вроде бы нетрудно: сразу слышится мотив, знакомый нам по лицейскому стихотворению. Когда Поэт в своем монологе говорит о Наполеоне:

...на скалу свою  
Сев, мучим казнию покоя,  
Осмеян прозвищем героя,  
Он угасает недвижим... (III, 252)

то в родстве с «Наполеоном на Эльбе» невозможно сомневаться. Опять остров, опять скалы, опять опальный кумир—налицо весь каталог прежней символики. Но такое сходство не должно обманывать. Ибо оно простой пережиток ранних чувствований Пушкина. Наполеону «Героя» по сравнению с ним же на Эльбе не хватает главного: *пророческого видения*. Теперь у него все в прошлом. И дело тут не только в простой

верности историческим фактам, но прежде всего в повышении самосознания Пушкина; автор «Пророка» уже не нуждается в Наполеоновом плаще; откровение свыше он теперь встречает сам, в собственном своем облике Поэта.

Потому же вся первая половина монолога, где перечисляются славные символы, построена как отрицание: «не у счастья на лоне», «не в бою», «не зятем кесаря», «не там, где на скалу свою...»—и т. д. Традиционный образ Наполеона не нужен; это анахронизм.

Апокалиптический смысл песни надо искать в более глубоких ее мотивах. Прежде всего—в мотиве «Страшного суда», который выражен здесь сильнее, откровеннее, чем в «Пророке» и других сходных по смыслу произведениях. Давно замечено, что Пушкин переосмысливает реальную холерную эпидемию, задержавшую его в Болдино, в чуму, в этот «бич Божий» европейской средневековой традиции. Полнее всего такое переосмысление видно в «Пире во время чумы». Но даже в болдинских письмах Пушкин нет-нет да и называет обмолвкой холеру чумою — например, в письме к невесте от 11 октября (XIV, 115) или в письме к Плетневу около 29 октября (XIV, 118).

Заметим попутно, что в первой публикации «Героя» (Телескоп. 1831. № 1. С. 6.46—48) и в беловом автографе слово «Чума» оба раза начинается с прописной буквы—еще деталь, обнажающая не бытовое, а высокое понимание этого события у Пушкина; думается, эту деталь нельзя упускать при дальнейших публикациях стихотворения.

Когда Наполеон «хладно руку жмет Чуме», то в его добровольной подверженности Божьей каре поэт видит нечто гораздо более высокое, чем все полководческие и государственные успехи.

Но вот что замечательно. Пушкин вовсе не начинает стихотворный диалог «Героя» с прямого мотива Божьей кары. Ему предшествует монолог Друга о славе. Напомним его начало:

Да, слава в прихотях вольна.  
Как огненный язык, она  
По избранным главам летает,  
С одной сегодня исчезает  
И на другой уже видна.  
За новизной бежать смиренно  
Народ бессмысленный привык... (III, 251),

Может показаться, что суждение о мирской славе лишь интродукция, лишь контраст к следующей теме апокалиптического суда в его чумном образе. Но это не так. Монологом Друга пророческая тема уже началась.

Видение огненного языка, упдающего на главу смертного, ориентировано на новозаветную ситуацию: именно таким образом апостолы исполняются святого духа после Вознесения Христова (Деян. 2: 1—4). Каждый из учеников, сподобившийся прикосновения небесного огня, обретает дар пророчества и глаголения на всех языках, что и поминается в христианский праздник Пятидесятницы.

Кажется, будто у Пушкина речь идет только о мирской славе, которая так и останется ложным даром, зависимым от прихотей бессмысленного народа,—даже



несмотря на традиционно высокий образ обретения этого дара. Но дело обстоит не так просто. Пророческая тема развивается дальше. В монологе Друга слышен мотив соотношения земной и небесной славы, знакомый Пушкину как раз из уст патмосского тайновидца. Иоанн Богослов в благовествовании своем грозит Божьим гневом всем тем, кто озабочен мирским судом. «Как можете веровать,— вопрошает евангелист,—когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите» (Иоанн. 5: 44).

Тут завязка драмы. Поэту и Другу — персонажам стихотворения «Герой»—предстоит понять, где проходит граница между земным и небесным прикосновением «огненного языка».

Тема сравнения суда земного и суда небесного приходит к развязке в конце монолога Поэта:

...Небесами  
Клянусь: кто жизнь свою своей  
Играл пред сумрачным недугом,  
Чтоб ободрить угасший взор,  
Клянусь, тот будет небу другом,  
Каков бы ни был приговор  
Земли слепой... (III, 252)

Обстоятельства островного затворничества (Болдино—Патмос) и видение «Страшного суда» в его чумно-холерном облике уже объясняют, почему Пушкин назвал «Героя» апокалиптической песнью. Не исключено, однако, что самосознание поэта подкреплено здесь не только сочинением евангелиста, но и более поздними источниками.

Мы упоминали уже путевой дневник Василия Григоровича-Барского, где Патмос описан как каменный остров, как скала в море. Теперь приходит время познакомиться с его записками внимательнее. Ключевое для нас место его дневника относится к декабрю 1736 года, когда киевский «пешеходец» во второй, а может быть, и в третий раз, посещает Патмос.

Дело в том, что русского путешественника на Патмосе застает чума. Вот несколько строк его описания: «...Богу хотяшу казнити нас грех ради наших допусти на остров Патм нанестися губительству, обще глаголемому *чума*, си есть мору, и тогда весь народ разбежеса от домов своих и уединяшеса всяк по горам, вертепам; монастырь же святого *Иоанна Богослова* заключился с иноки <...> аз же Божиим смотрением не отступив от дома, иде же житьельствовах в граде, и умирающим на всяк день двум или трем нечаянно, по частях и краях острова; от них же иные исчезаху от губительства, иные же от глада, и многие без погребения ошашася, страха ради сообщения»<sup>12</sup>.

Описание патмосской чумы занимает у Григоровича-Барского три страницы; мы узнаем, что в чумном плену автор провел четыре месяца, но молитвы Богу и Иоанну Богослову, пишет он, «сохрани мя жива».

На тех же страницах книги мы узнаем, что трудолюбивый странник не потерял времени чумного затворничества даром. Он поэт—в книге приведены образцы его виршетворчества. А в одиночестве при моровом поветрии ему еще удалось сочи-

нить полную латино-греческую грамматику, важный труд: «из нея же может всякий Грек книжен <...> научиться совершенно грамматики Латинской»<sup>13</sup>.

Аналогия с болдинской осенью тут очевидна; она просто колет глаза. Один русский поэт на реальном Патмосе удержан настоящей чумой. Другой переживает те же страсти в своем отечестве: Болдино—аналог Патмоса, а холера замещает чуму. И оба писателя-затворника, разделенные целым столетием, полностью отдаются своему призванию.

Таким образом, патмосские ассоциации Пушкина, несомненно восходящие к новозаветной символической, могли быть усилены и отечественной традицией.

Мы говорили, что патмосская тема начинается с первых строк «Героя», с монолога Друга о мирской славе. Теперь пора сказать, что это не совсем точно,—она начинается еще раньше, с эпитафии к стихотворению. «Герою», как известно, «предшествует ключевой эпитафия, эпитафия-вопрос: «Что есть истина?» Вопрос обращен Понтием Пилатом к Христу, как повествует о том патмосский изгнанник Иоанн в своем благовествовании (Иоанн. 18: 33).

Чтобы понять этот символический слой «Героя», необходимо напомнить евангельский сюжет. Христос, схваченный служителями первосвященника, приведен в преторию, и Понтий Пилат спрашивает его: ты ли Царь Иудейский? На что Христос отвечает: царство мое не от мира сего, я пришел свидетельствовать об истине. После этого Пилат и задает свой вопрос, поставленный Пушкиным в эпитафия к «Герою»: «Что есть истина?».

Христос не отвечает Пилату. Почему? Да потому, что Христос полагает *себя самого* воплощением истины. «Я есмь путь и истина» (Иоанн. 14: 6), говорит Христос раньше, на тайной вечере.

Таким образом, по благовествованию, Пилат и смотрит, и слушает; но истину, выраженную молчанием божественного агнца, ему не дано постичь—это не от мира сего.

По аналогии с раннехристианской легендой в «Герое» высокую истину не понять «посредственности холодной». В земном образе божества она видит всего только человека, подобного себе. А в герое — Наполеоне — только гениального карьериста, триумфатора без сердца.

Понятно, как эпитафия из Иоанна связан со строками о «низких истинах» и «возвышающем обмане». Пусть в реальности полководец не подвергал себя чумной опасности—все равно в сфере «возвышающего обмана», в области высокой условности, это произошло, и «герой сердца» становится «небу другом». Эта ситуация, видимо, дает ключ и к одному из возможных толкований эпитафия. Если Христос предстает перед Пилатом как истина, то это конечно же не факт из тьмы низких истин, а явление горних высот духа. Поэзия сродни таким явлениям.

Припомним исходное «апокалиптическое» письмо Погодину — Пушкин опасается цензурных препятствий к печатанию «Героя». Чего же именно он боится? Сопоставления Наполеона в чумной Яффе с Николаем I в холерной Москве? Возможно. Но мы видели, что все-таки Николай не упомянут в стихотворении вовсе, а параллель, спрятанная в дате посещения государем холерной Москвы, несомненно для царя комплиментарна. Погодин, которому стихи посланы для печатания, так и по-

нимает их смысл. Когда весной 1837 года ему придет мысль опубликовать «Героя» в послепушкинском «Современнике», он напишет письмо Вяземскому, в котором напомним, что Пушкин запретил выставлять свое имя под стихотворением, и добавит: «Клеветники увидят, какие чувства питал к нему (т. е. к царю.—В. Л.) П(ушкин), не хотевший, однакож, продираться со льстецами»<sup>14</sup>.

Если Пушкин не подписывает «Героя», чтобы «не продираться со льстецами», то намеки на государя его вряд ли волнует по цензурным поводам. Лесть (а значит и все, что понимается как лесть) не запретна.

Запретно другое: слишком, может быть, поэтическое понимание христианской истины как возвышающего обмана. Здесь мировоззрение Пушкина действительно не совпадает с требованиями синодальной религиозности. Тот же условно-поэтический ход мы найдем потом и в каменноостровской детали «Памятника», когда, как уже было замечено, Пушкин вольно ставит себя на место канонического и весьма почитаемого апостола Иоанна. Почему же нет? Ведь и «Памятник», и патмосское откровение равноправно сосуществуют в горнем мире поэтических видений, не стесняемых никакими каноническими, а тем более государственными запретами.

Такое высокое поэтическое восприятие религиозных ценностей пронизывает все творчество Пушкина — особенно с рубежа 1830-х годов.

Эпиграф из Иоанна Богослова есть, по нашему мнению, ключ далеко не только к «Герою»; он выявляет ту же тему, завершаемую «Памятником», и в других пушкинских произведениях. Изучая «Капитанскую дочку», В. Б. Шкловский давно показал, что важен не только, а иногда и не столько сам текст пушкинского эпиграфа, сколько весь контекст, в котором находятся слова, вынесенные в эпиграф, в исходной ситуации источника, откуда эти слова взяты<sup>15</sup>.

Контекст вопроса: Что есть истина?—мы помним. Ответом на него служит *молчание*. Это молчание и есть крайнее выражение истины в устах богочеловека.

Едва ли не полная аналогия этой ситуации находится в великой заключительной ремарке «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует» (VII, 98).

Ремарка служит ответом на вопрос боярина Мосальского:

«Что же вы молчите? кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Родственность двух безмолвий — евангельского и народного—кажется очевидной. Тут слышен отзвук известной поговорки: глас народа—глас Божий.

Заключительную ремарку трагедии можно даже попытаться объяснить с помощью строгого силлогизма. Если глас народа есть глас Божий, то и безмолвие народа есть безмолвие Божье, т. е. истина. Значит, в ремарке «Народ безмолвствует» заключен момент высокой истины. Народ терпелив; подобно божественному агнцу, он отдает себя на заклание. Но в безмолвии народном, как и в молчании сына Божьего, уже предчувствуется грядущий Страшный суд, апокалиптическое видение возмездия: «И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда...» (VII, 23).

В «Памятнике» тема этих двух судов—мирского и Божьего — получает у Пушкина свое завершение. Оно отнесено в некое идеальное будущее, где достигнута полная гармония: жертва угодна Богу и принята, муза послушна Божьему велению, поэт любезен народу.

\* \* \*

Мы начали с утверждения, что «Памятник» есть стихотворение итоговое; затем проследили, как патмосская тема прошла через два десятилетия пушкинского творчества. Путь этот намечен нами пунктирно—мы отдаем себе отчет в том, что по ходу нашего изложения вопросов возникло, вероятно, больше, чем было получено ответов. Но есть ли вообще в пушкинском мире окончательные ответы?

И все-таки на очереди вопрос, который сейчас, в заключение, необходимо поставить.

Если мы утверждаем, что в «Памятнике»—итог всего творчества Пушкина, то, значит, мотив патмосского пророческого тайновидения должен найти в стихотворении свой отзвук. Есть ли такой отзвук в тексте самого стихотворения? Или вся наша догадка основывается только на топониме «Каменный остров» и общей родственности других пророческих стихов «Памятнику»?

Нам кажется, что такой отзвук есть.

Пушкин поздней поры, как известно, был особенно чуток к раннехристианской культурной традиции—обращался к поучениям Ефрема Сирина, делал выписки из житийной литературы; в последнем, по-видимому незавершенном, цикле стихов смело противопоставлял евангельское духовное начало официальному культу. Отчетливее всего это выступает в стихотворении «Мирская власть».

Здесь не место поднимать старую проблему—входил или не входил «Памятник» в последний пушкинский стихотворный цикл. Достаточно будет только напомнить о близости «Памятника» и последних стихотворений. Одна из важных сторон этой близости—именно патмосская тема. Наиболее пророческие по своему смыслу стихи последнего цикла «Мирская власть» и «Когда за городом задумчив я брожу» тоже помечены топонимом «Каменный остров». Это не все. В «Мирской власти» стихи, посвященные картине распятия, основаны на тексте «Евангелия от Иоанна». Только там, в четвертом евангелии, сказано о близком присутствии при крестных муках «Марии-грешницы и пресвятой девы», о чем свидетельствует Иоанн, находящийся там же.

Отрывок «Сосны» («Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел.. .») помечен датой: «26 сентября». Можно предположить, что это не только дата написания стихов, но и день поминовения Иоанна Богослова. Кстати будет напомнить, что патмосского тайновидца церковная традиция полагала покровителем художников, и день 26 сентября считался их праздником<sup>16</sup>.

Но обратимся к тексту самого «Памятника».

Первая же его строфа дает нам некий символический образ, вознесшийся выше Александрийского столпа. Этот столп вызвал к жизни целую литературу; обсуждались мотивы колоссального сооружения древней Александрии, Александрова колонна на Дворцовой площади в Петербурге, монумент, воздвигнутый Румянцевым в честь 1812 года, и, наконец, Вавилонский столп библейской книги «Бытие».

Все соотношения правомерны.

Однако если вчитаться в пушкинские строки, то станет ясно, что поэт ставит тут смысловой акцент не на Александрийском столпе, чем бы он ни был, а на некоем образе, который *выше* этого монумента. Что же выше? Другими словами, каков образный эквивалент памятника, сложившийся в сознании Пушкина?

В первой строфе «Памятника» главный мотив есть несомненно *сравнение*, сравнение двух высоких символов. Проще и прямее всего было бы, конечно, сравнение рукотворного столпа со *столпом же*.

Но именно в Апокалипсисе дан образ нерукотворного столпа. В главе 3 мы находим обращение свыше к Иоанну; в нем сказано о суде над «сатанинским сборищем» и об отделении праведников, побеждающих искушения, от грешников. Голос свыше вещает пророку:

«Се гряди скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего. . .» (Апокалипсис. 3: 11–12).

Образ праведника, послушного велению Божию и получающего достоинство нерукотворного столпа в грядущем храме, очень близко связывает начальные строки «Памятника» с патмосским откровением. В этом же культурно-историческом русле можно понимать и некоторые другие мотивы пушкинского стихотворения. Но полный разбор всего этого смыслового слоя сейчас не входит в нашу задачу.

Отметим только еще один патмосский мотив в следующей, второй, строфе «Памятника». Для этого нам придется напомнить, как завершается Иоанново благовествование. В его последней главе Иоанн Богослов рассказывает о том, как Иисус, поручив апостолу Петру свою паству, т. е. церковь, покидает учеников и вообще жизнь земную. Следующую картину Иоанн дает глазами Петра и говорит о себе, любимом ученике Спасителя, в третьем лице: «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус (...). Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе *до того?* (...) И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе *до того?»* (Иоанн. 21:20–23).

В этом отрывке Иоанн-тайновидец, покровитель художников и истолкователь божественного логоса, явно противопоставлен Петру, олицетворяющему, как известно, церковь. У Иоанна свое избранничество и свой путь — до самого второго пришествия.

Апостолы сказали свое слово: «ученик тот не умрет». Иисус же не утвердил, но и не отрицал их мнения—впереди у Иоанна высокое видение на каменистом острове Патмос, и тем будет отличаться бессмертие его души от бессмертия других учеников: «То, что видишь, напиши в книгу...» (Апокалипсис. 1: 11).

К мере, характеру смертности и бессмертия Иоанна тут близко приходится пушкинское откровение:

Нет, весь я не умру, — душа в заветной лире  
Мой прах переживет и тленья убежит...

Довольно. Дальнейшее соотнесение строк Пушкина с культурным наследием двух тысячелетий повело бы к обширному анализу текста «Памятника» и совсем далеко увлекло бы нас от нашей темы.

Осталось только сказать, что патмосское мироощущение есть лишь часть, лишь одна из областей пушкинского самосознания. Оно вовсе не отрицает других русел, по которым движутся мысль и чувство поэта. Когда мы акцентируем в «Памятни-



ке» апокалиптические мотивы, то это ничуть не входит в противоречие с горацианско-державинской традицией.

В том-то, может быть, и сила пушкинских произведений, что они никогда целиком не «поглощаются» какой-то одной традицией, одной школой, философской или эстетической. И тогда каждую единицу текста можно рассматривать с разных точек или даже полей зрения — нередко это единственный способ почувствовать глубину и разнообразие Пушкина.

Сложная смысловая тектоника «Памятника», в котором каждая строка аккумулирует тысячелетние культурно-исторические пласты,—прекрасный пример такой полифонии.

<sup>1</sup>Перебеленный автограф основной редакции хранится в Институте русской литературы РАН. Его фотокопию см.: Алексеев М.П. Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» — Л., 1967. — С. 237.

<sup>2</sup>См.: Пушкин. Письма: В 2-х т. — Т. 2. — М.—Л., 1928. — С. 474.

<sup>3</sup>Подробнее об этом см.: Ахматова Л.О Пушкине. — Л., 1977. — С. 157; Клейман Н.И. О тексте пушкинского наброска «Когда порой воспоминае...»//Болдинские чтения. — Горький, 1977. — С. 62—79.

<sup>4</sup>См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 9. — Л., 1979. — С. 383.

<sup>5</sup>Пешеходца Василия Григоровича-Барского — Плаки-Албова, уроженца киевского, монаха антиохийского путешествие к Святым Местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1732, а оконченное в 1747 году, им самим писанное. 5-е изд./С предисл. В. Рубана. — СПб., 1800. — С. 372—376, 378.

<sup>6</sup>Пушкин: Исследования и материалы. — Т. 2. — М.—Л., 1958. — С. 76.

<sup>7</sup>Алексеев М.П. Указ. соч. — С. 122.

<sup>8</sup>Раевский В.Ф. Вечер в Кишиневе//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. — Т. 1. — М., 1974. — С. 369.

<sup>9</sup>Пушкин. Письма. — Т. 1. — М.—Л., 1926. — С. 223

<sup>10</sup>См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 4-е изд. — М., 1987.

<sup>11</sup>См., например: Краснов Г.В. Апокалиптическая песнь А. С. Пушкина (К спорам о стихотворении «Герой»)//Проблемы пушкиноведения: Сб. науч. трудов. — Л., 1976. — С. 59—66.

<sup>12</sup>Пешеходца Василия Григоровича-Барского...

<sup>13</sup>Там же. — С. 483.

<sup>14</sup>Цит. по кн.: Пушкин. Письма. — Т. 2. — С. 474.

<sup>15</sup>См.: Шкловский В. Заметки о прозе Пушкина. — М., 1937. — С. 88—130.

<sup>16</sup>О 26 сентября как дне Иоанна—покровителя художников см.: Рус. арх. 1868. — С. 33—34 (публ. И. М. Снегирева). Та же дата—26 сентября — стоит и под болдинским стихотворением «Ответ анониму» (1830). Пророческое начало выражено в нем явно и сильно.

**Е**два ли найдется серьезный российский историк или философ XIX–XX столетий, который в размышлениях своих о судьбах отечества не коснулся бы проблемы двух столиц, не отдал бы дань «вечному» противостоянию Москвы и Петербурга. Соперничество главных городов, олицетворяющих как бы два пласта исторического быта России, всегда занимало мыслителей.

*И Пушкин – не исключение.*

Его суждения о Москве и Петербурге и – шире – о московском и петербургском периодах русской истории давно занимают и литературоведов, и специалистов в области зодчества. Соответственно сложились и два взгляда на самого Пушкина. Питерцы неустанно напоминают о том, что для поэта «отечеством» было Царское Село и что он любил «Петра творенье». Москвичи же давно и небезуспешно ищут корни биографии и творчества Пушкина в старой столице, противопоставляемой «немецкому» и бюрократическому Петербургу. Тут подчас высказываются весьма тонкие суждения. Например, во вступлении к «Медному всаднику», этой оде северной столице, есть такие строки:

*Красуйся, град Петров, и стой  
Неколебимо как Россия. (V, 137)*

Московский читатель улавливает здесь некий скрытый смысл. Вдумайтесь, утверждает он, ведь «град Петров» не признан отечеством, он не Россия, а пока еще только «к а к Россия». Ко времени Пушкина Петербургу всего сто лет, и его «регулярность» еще не прижилась в традиционном пространстве городов и сел Московской, т.е. в коренной Руси.

Сам Пушкин вряд ли отчетливо «слышал» в своих стихах такие обертоны, но вечный спор двух российских столиц его несомненно занимал. К середине тридцатых годов этот спор, думается, потерял для поэта свою инфантильную остроту, перешел в спокойное русло понимания различий в культурных и бытовых навыках соотечественников. Свои краски в это понимание вносило и знакомство с произведениями «циркуля зодчего».

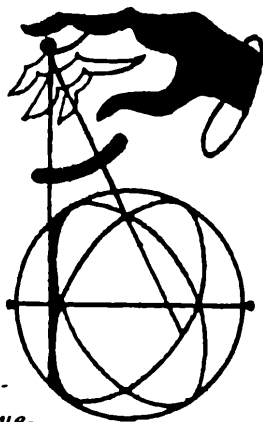
После «Медного всадника» – примерно в 1834–1835 годах – Пушкин пишет эссеистическую статью «Путешествие из Москвы в Петербург», где серьезно затронута проблема русского столичного двуединства. «Лирический» герой этого произведения совершает свое путешествие, держа в руках известную крамольную книгу А.Н. Радищева. По дороге этот герой, весьма близкий самому Пушкину, ведет мысленный, воображаемый диалог с Радищевым, часто спорит с ним и редко соглашается.

В ходе этого спора об основных российских реалиях Пушкин дает глубокую характеристику столицам. Под его пером возникает красочная картина быта и нравов:

*«Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при*

мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится...(...).

Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало. Нekoгда в Москве преbывало богатое неслужащее боярство, вельможы, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изo всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками; московские обеды ... вошли в поговорку. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудаковитый выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рошу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запятки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздничная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки, проказники – все исчезло: остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую поговорку «vieilles comme les rues»: московские улицы, благодаря 1812 году молодежи московских красавиц, все еще цветущи и розами! Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяце за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава Богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейсте-





Петербург. Вид на Измайловский мост через Фонтанку, казармы и Троицкий деревянный собор в 1810-х годах. Раскрашенная гравюра с рис. М.-Ф. Дамам-Демартре

Петербург. Вид набережной Фонтанки от Измайловского моста. Литография К. Бегрова по рис. Е. Есакова. 1823

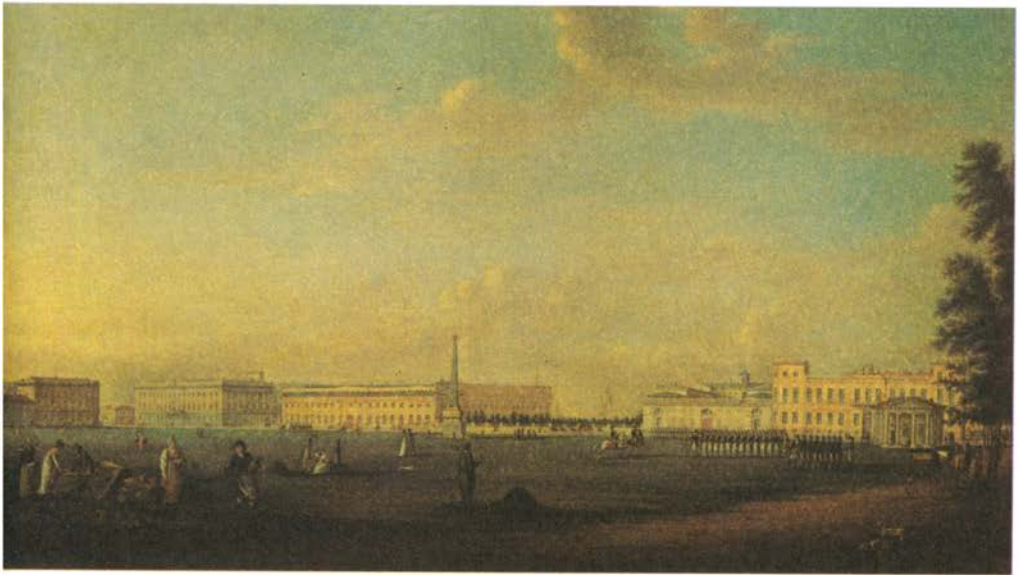


Вид от Васильевского острова в сторону Петропавловской крепости и Дворцовой набережной. Фрагмент панорамы центра Петербурга, выполненный Д. Аткинсоном в 1805–1807 гг.

Петербург. Сенная площадь и церковь Успения. Гравюра-акварель Б. Патерсена. 1801

Петербург. Вид Марсова поля в нач. XIX в. Картина И.-Г. Майра





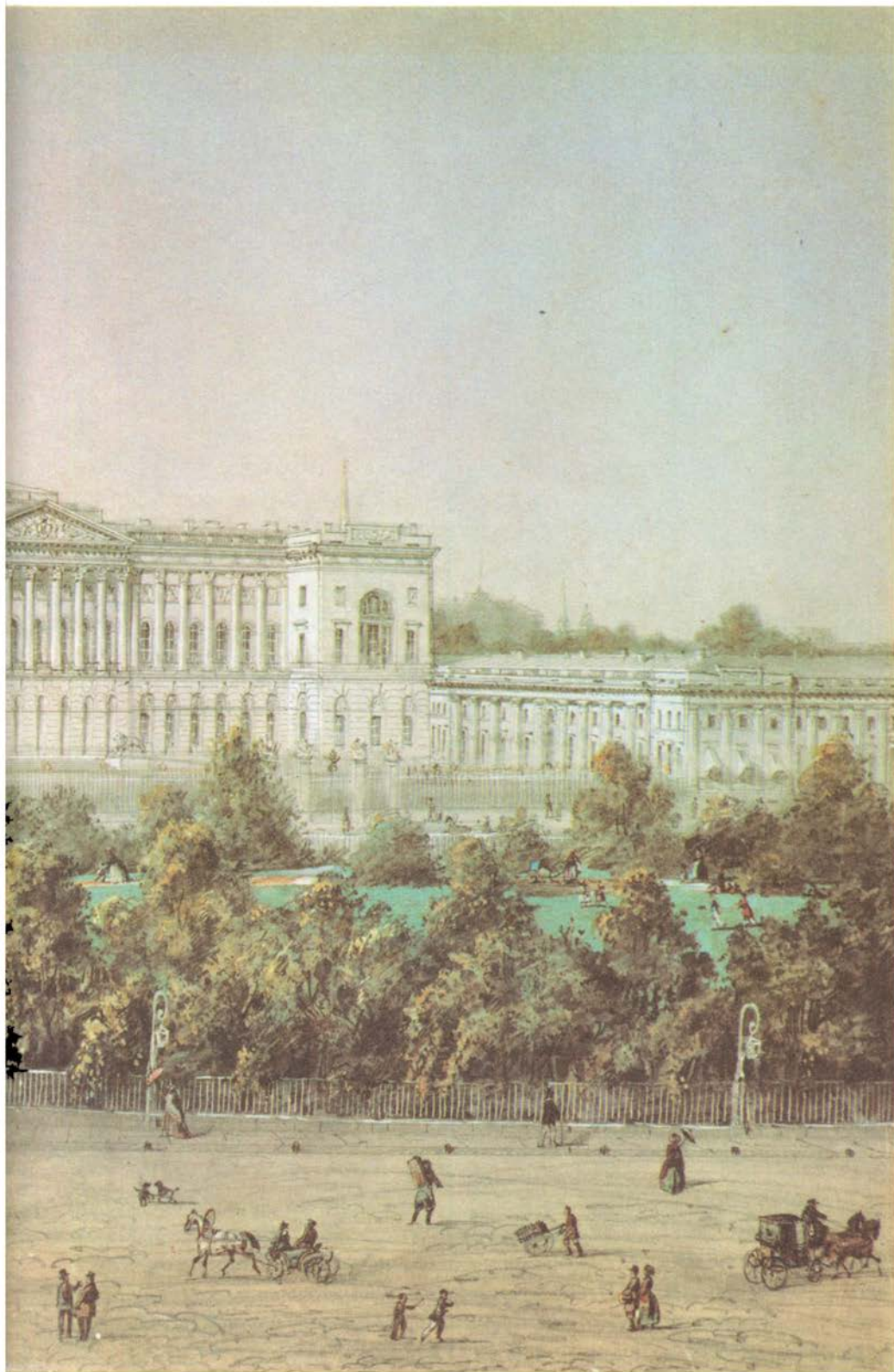
ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ☉



ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ







Петербург. Вид Михайловского дворца с площади. Аква. И. Шарлеманя

ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ





ров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет (...).

Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом» (XI, 245–247).

Пушкин верно понял, что унижение Москвы – временное. Собственно, это даже не падение города, а скорее медленное отмирание старой дворянской культуры XVIII столетия с ее дворцами и усадьбами, гербами и каретами. Чиновнику, бюрократическому Петербургу отныне противостоит не боярская Москва, а скорее торговая, купеческая. «Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством» (XI, 247).





Петербург. Михайловский замок со стороны площади Коннетабль. Картина Б. Патерсена

Петербург. Угол Невского проспекта и набережной Мойки у дворца Строганова. Литография К. Бегрова с рис. В. Форлоппа. 1820-е годы

Петербург. Адмиралтейская башня в створе Невского проспекта. Литография 1830-х годов



ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ







Петербург. Вид на Стрелку Васильевского острова от Петропавловской крепости. Художник Ф. Алексеев. 1810

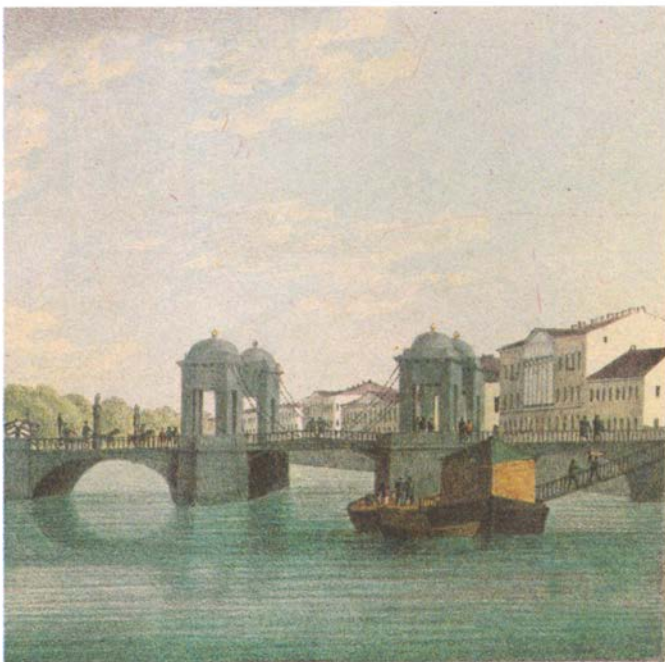


Петербург. Вид на Михайловский замок со стороны Симеоновского моста через Фонтанку. Литография-акварель А. Мартынова

Петербург. Вид на Николо-Морской собор и Никольский гостинный двор. Художник Б. Патерсен

Петербург. Дворцовая площадь. Литография по рис. Шарлеманя. Сер. XIX в.

Петербург. Вид Михайловского замка. Литография по рис. А. Мартынова







ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ

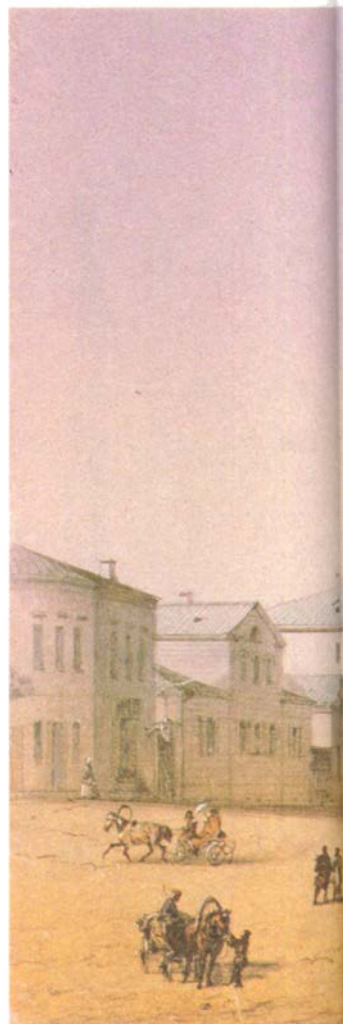




Москва. Вид Никитской улицы в Земляном городе в сторону Никитских ворот. Фото конца XIX в.

Москва. Вид Никитской улицы. Реконструкция Т. Соколовой

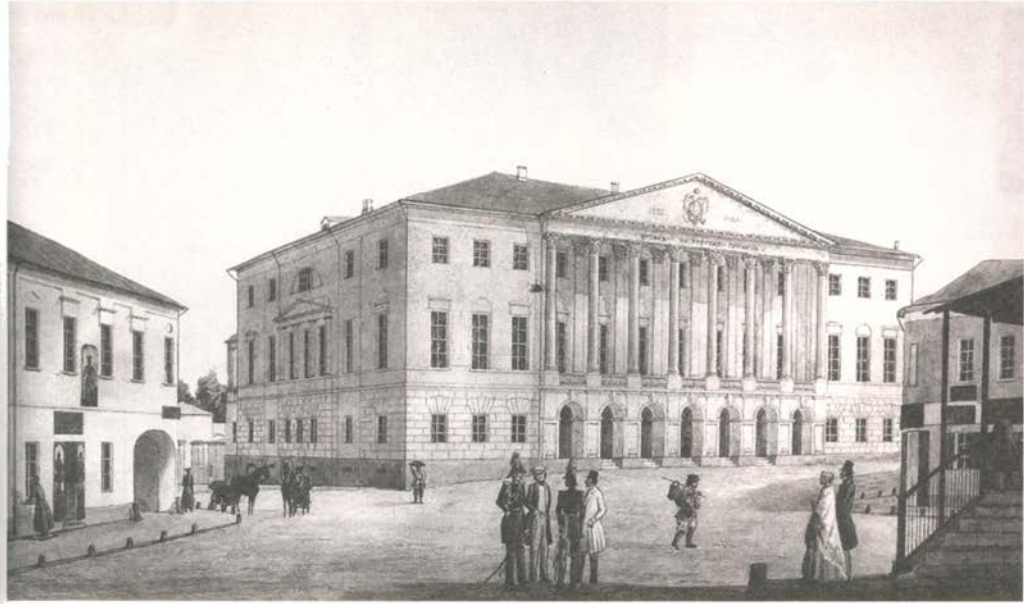
Москва. Дом Хрущевых—Селезневых на Пречистенке (ныне музей А.С.Пушкина). Архит. А.Г. Григорьев. 1815—1816



Москва. Вид дома А.И. Мусина-Пушкина и церкви Богоявления Господня в Елохове. Акв. И.И. Шарлеманя

Москва. Дом А.И. Мусина-Пушкина на Разгуляе. Акв. Барановского





ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ

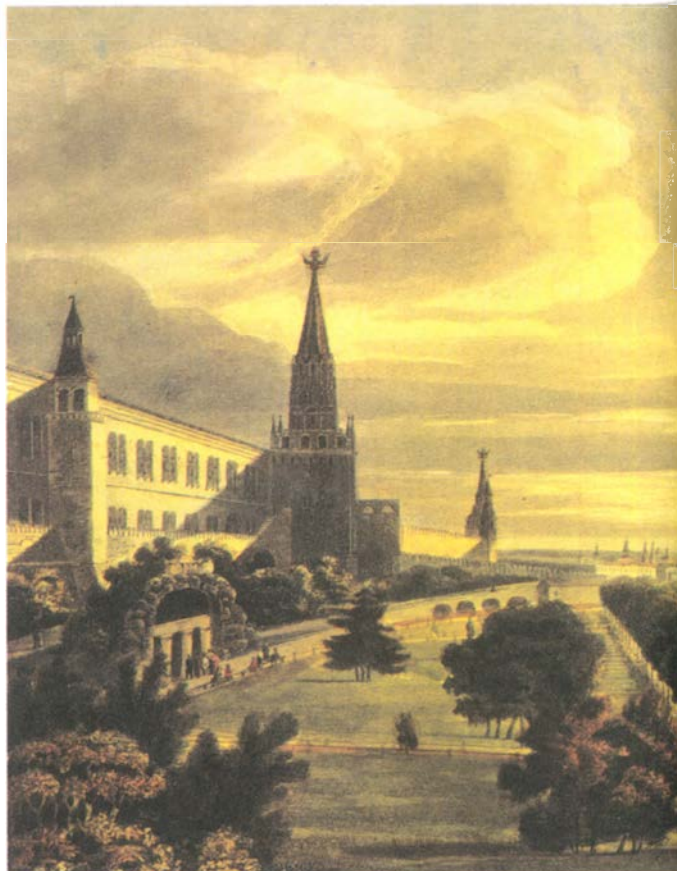




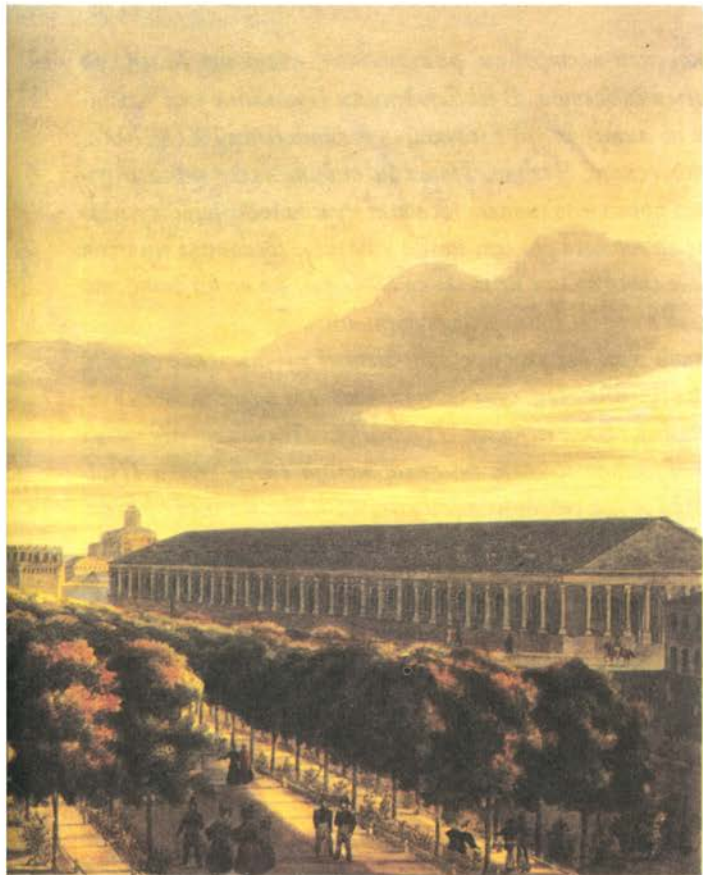
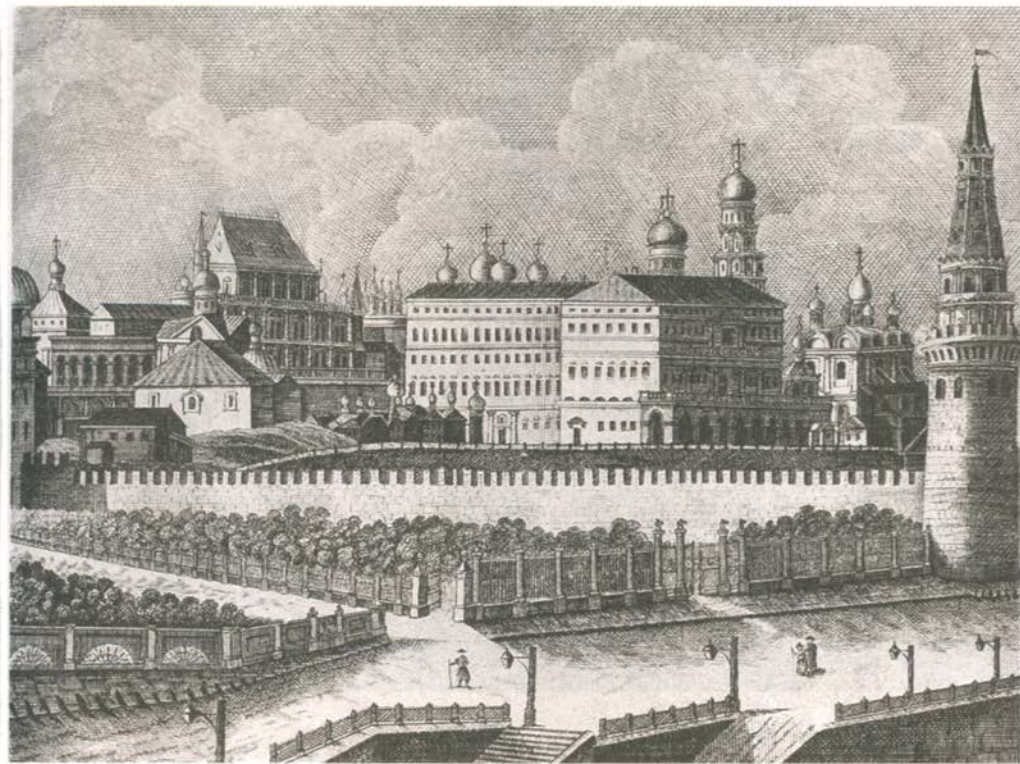
Жилая застройка послепожарной Москвы. Вид Заузья. Фрагмент плана столичного города Москвы. 1827

Вид Александровского сада со стороны Кремлевской набережной. Фрагмент плана столичного города Москвы. 1827

Москва. Манеж и Кремлевский сад. Литография О. Кадоля







ГДЕ ЦИРКУЛЬ ЗОДЧЕГО, ПАЛИТРА И РЕЗЕЦ ☉



Москва. Тверская улица. Вид в сторону Кремля. Литография О. Кадоля. 1834

*Обсуждение судьбы московской застройки, разумеется, выходит далеко за пределы чисто архитектурных сюжетов. В наблюдениях Пушкина уже слышны мотивы, знакомые нам по литературе следующих десятилетий XIX века, по произведениям А.Н. Островского, Чехова. Пушкин видит лишь начало пути – купечество пока только приспособливает к своим нуждам дворцы и усадьбы аристократии; но уже не за горами время, когда «третье сословие» начнет само строить для себя, определять облик не только Москвы, но даже отчасти и Петербурга, еще коснеющего в своем имперском достоинстве.*

*Вместе со старой Москвой как бы уходит, кончается пушкинское время, золотой век дворянского просвещения. Ни купечество, ни тем более чиновничество уже не сродни Карамзину, Вяземскому, Пушкину, Дельвигу, всему их аристократическому кругу. Чувство некоего предела, конца своей эпохи Пушкин поэтически выразил тогда же, в середине тридцатых годов, написав рекевием старой усадьбе,*

*Мне жаль, что мы, хуже наемной  
Дозволя зрабить свой доход,  
С трудом ярем заботы темной  
Влачим в столице круглый год,  
Что не живем семьею дружной  
В довольстве, в тишине досужной,  
Старая близ могил родных*

*В своих поместьях родовых,  
Где в нашем тереме забытом  
Растет пустынная трава;  
Что геральдического льва  
Демократическим копытом  
У нас лягает и осел:  
Дух века вот куда зашел! (V, 100–101)*



~~Handwritten text at the top of the page, including the word 'Seydler' and 'Maurice'.~~

~~Handwritten text, possibly a name or title, with a large underline.~~

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

~~Handwritten text, possibly a name or title.~~

~~Handwritten text, possibly a name or title.~~

~~Handwritten text, possibly a name or title.~~

~~Handwritten text, possibly a name or title.~~

Handwritten text on the left margin, possibly a name or title.

Handwritten text on the left margin, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

~~Large block of handwritten text in the middle of the page, possibly a list or notes.~~

Handwritten text on the left margin, possibly a name or title.



~~Handwritten text, possibly a name or title.~~

Handwritten text, possibly a name or title.

~~Handwritten text, possibly a name or title.~~

Handwritten text, possibly a name or title.

~~Handwritten text at the bottom of the page, possibly a name or title.~~

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a name or title.



## Глава IX

---



О пропущенной  
главе  
«Капитанской дочери»



Обращаясь к «пропущенной главе» пушкинского романа, мы должны в самом кратком виде — буквально двумя словами — напомнить хорошо известную текстологическую ситуацию.

Летом 1836 года Пушкин завершает работу над той стадией романа, которую принято называть «буланинской» редакцией, так как главный герой (будущий Гринев) носит здесь фамилию Буланин. Сразу по завершении «летней» редакции Пушкин приступает к ее переделке и не позднее ноября уже располагает окончательным, ныне хрестоматийным текстом — романом «Капитанская дочка».

Автограф «летней», «буланинской» редакции не сохранился — по-видимому, уничтожен самим автором. Однако ж в бумагах Пушкина остался текст, первоначально озаглавленный «Глава XII»; затем Пушкин исправил заглавие на другое — «Пропущенная глава» — и не включил ее в состав «Капитанской дочки»<sup>1</sup>. В этой главе Гриневы еще названы Буланиными, а Зурин носит фамилию Гринев. Кроме того, «летней» редакции принадлежит и сохранившийся ранний набросок заключения (VIII, 905–906).

Мы не знаем — и, вероятно, не узнаем никогда, — в чем состояли главные отличия «буланинской» редакции от окончательной, «Гриневской». Ни «Пропущенная глава», ни кратчайший набросок заключения не дают ответов на самые очевидные вопросы: почему Пушкин, завершив роман летом 1836 года, сейчас же начал его переделку? Что не удовлетворило автора, уже поставившего было последнюю точку? Какие именно поправки им внесены: были ли это изменения крупного идейного и художественного порядка? уточнения фабулы? разработка версии отдельных характеров?

Все это, повторяем, неизвестно.

Но все-таки наше незнание должно быть конкретно, должно основываться на каких-то наблюдениях, иметь какие-то, хотя бы легкие, контуры. Выяснению этих контуров мы и посвящаем дальнейшее изложение.

«Пропущенная глава» (VIII, 375–384), в которой Буланин попадает в отцовское имение в разгар крестьянского бунта, надежно свидетельствует, что многие фабульные спеления «Капитанской дочки» в «летней» редакции уже были. Петруша с верным Савельичем уезжал из родительского дома; проигрывал деньги офицеру в трактире; жил в окраинной Белогорской крепости, где влюблялся в дочь коменданта и соперничал с безнравственным Швабриным; был помилован Пугачевым после штурма крепости; покидал мятежников с Машей, имея от Пугачева пропуск; вступал в полк правительственных войск, действовавших против бунтовщиков. Словом, Буланин, вероятно, был двойником будущего Гринева. В конце романа Екатерина II его прощала, о чем, бесспорно, говорит набросок заключения (VIII, 905–906).

Все эти сходства важны. Ибо только на их фоне приобретают смысл различия — точнее сказать, фабульные неувязки между «Пропущенной главой» и окончательной редакцией романа.

Первым важным сигналом становится тут линия Савельича.

Петр Гринев, вступая в гусарский полк Зурина, отпускает Савельича — верный слуга должен сопровождать Машу в деревню, к старикам Гриневым (VIII, 362—363). Точно так же, видимо, действовал и Буланин: иначе не объяснить, почему он застанет и Машу, и Савельича во взбунтовавшемся селе. Но дальше две версии романа существенно расходятся.

В конце «Пропущенной главы» Буланин покидает родную деревню вместе с полком, чтобы принять участие в завершении кампании против Пугачева. «Я сел верхом — рассказывает Буланин.— Савельич опять за мною последовал — и полк ушел» (VIII, 383).

Это малозаметное обстоятельство заставляет внимательно отнестись, по крайней мере, к двум эпизодам «Капитанской дочки» — к сцене ареста героя в главе XIII и семейной драме в родительском доме в главе XIV, когда приходит весть об аресте Петруши. Оба эпизода в «буланинской» редакции не могли быть полностью аналогичны окончательному тексту.

Зурин, прежде чем объявить Гриневу арест, выслал из избы некоего безмянного гриневского денщика (VIII, 364). Это понятно: ведь дядька Савельич находится в этот момент далеко, в родительском доме героя и при аресте присутствовать не может. Другое дело — «летняя» редакция. Там Савельич сопровождает Буланина до конца кампании, и арест барского дитяти, вероятно, должен был произойти у него на глазах.

Это отчасти подтверждается и общеизвестной симметрией строения пушкинского романа. Савельич ведь уже однажды видел, как те же правительственные гусары арестовали его барина (VIII, 360), — «буланинская» редакция могла вновь привести его к этому несчастью.

Не станем гадать, как вел себя верный слуга, разлучаемый с Буланиным. Заметим только, что отсутствие Савельича в барском семействе позволяет утверждать, что старик Буланин узнавал об аресте сына иначе, не так, как старик Гринев.

Когда тревожные слухи об аресте сына достигли усадьбы, старик Гринев «строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева <...>, но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал» (VIII, 369). Андрей Петрович на несколько недель обрел спокойствие, пока письмо князя Б.\*\* из Петербурга не повергло его в полное отчаяние: он поверил в измену сына.

Буланин-отец поставлен в существенно иные обстоятельства. Об аресте сына он узнает либо от Савельича, если тот возвращается домой до письма князя Б.\*\* , либо уж сразу из этого письма<sup>2</sup>. Однако независимо от подобных деталей Буланин-отец должен сразу и бесповоротно принять мнение Савельича: измены не было. Ни слухи, ни письмо сановного родственника, ни даже официальный приговор суда не могли бы его поколебать.

Почему? Да потому, что твердость этого мнения Буланина-отца предопределена всем содержанием «Пропущенной главы». Что ему слухи, что ему вести из растленного екатерининского Петербурга, когда он сам, своими глазами, видел, как его сын

Петруша храбро дрался с бунтовщиками. Ведь оба, отец и сын, уже были влекомы к виселице, и только счастливый случай избавил обоих от смерти, подобной смерти капитана Миронова (VIII, 381).

Если наше предположение, верно, то «Капитанская дочка» отличается от «буланинской» редакции не только в деталях, но и по многим коренным смысловым мотивам.

Заметим, что в окончательном тексте старик Гринев проявляет твердую последовательность. Он не верит оправдательным письмам Савельяча из Белогорской крепости, но принимает всерьез клевету, исходящую от Швабрина, — отсюда те ругательства, которые он обрушивает на сына в колоритном своем письме. «Мальчишка», «сорванец», «дурь» — вот его выражения (VIII, 309). Этим как бы психологически подготовлено его доверие к вести об измене сына.

Не менее последовательно и его отношение к Маше Мироновой. Он принимает ее в дом вовсе не как будущую сноху, но только как «дочь заслуженного воина, погибшего за отечество» (VIII, 358). Поэтому Маша скрывает истинный смысл своего отъезда в Петербург. Маша знает, что будет просить в столице за возлюбленного. Андрей Петрович полагает, что сирота будет хлопотать об устройстве своей судьбы, и отпускает ее из дому навсегда со словами: «Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника» (VIII, 370).

Так обстоит дело у Гриневых.

Теперь посмотрим, что происходит в семье Булаиных. Для этого вновь обратимся к «Пропущенной главе».

Петруша Буланин скачет по пустынной дороге от Волги к родному дому. Вот его дорожные размышления: «Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. — На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева» (т. е. будущего Зурина. — В. Л.) (VIII, 376). Мало заметная деталь, но она мгновенно высвечивает всю картину. Предъявив пугачевскую бумагу, Петр Буланин мог не подвергаться оскорблениям Андрухи-земского и не сидеть в «анбаре». Пока не явился Швабрин, Петруша, как офицер-пугачевец, мог бы даже семью свою освободить.

Однако Петр Буланин не только честен, но и умен. Он понимает, что бумага Пугачева, предъявленная в родном доме, навсегда погубит его репутацию в глазах отца. Отец не даст родительского благословения, без которого Маша замуж за него не выйдет. Все счастливое будущее рухнет тогда мгновенно.

Эпизод «анбарного сидения» и последующие события «Пропущенной главы» решающим образом меняют исходные представления старика Булаина. Он убеждается, что его Петруша служил «как надлежит честному офицеру» (VIII, 378). Полное оправдание получает теперь и дуэль сына со Швабриным — старик ведь и сам стрелял в этого негодяя и изменника. Наконец, Маша, готовая отдать жизнь за сво-

их благодетелей, становится для него более чем просто «дочерью заслуженного воина, погибшего за отечество» (VIII, 358).

Вырвавшись из рук Швабрина, Буланин-отец дает согласие на брак Петра Андреевича и Марии Ивановны. Они получают родительское благословение (VIII, 383). На финал буланинской истории это обстоятельство должно влиять несомненно и сильно.

К моменту ареста Петруши капитанская дочка — его невеста. Следовательно, член семьи Буланиных. Для самосознания людей пушкинской и предпушкинской эпохи это весьма обязывающая ситуация. Приведем в пример самого Пушкина. Вот его обращение к деду невесты: «Милостивый государь, Афанасий Николаевич! С чувством сердечного благоговения обращаюсь к Вам, как главе семейства, которому отныне принадлежу» (XIV, 89). Это написано в мае 1830 года, т. е. задолго до свадьбы. Точно таким же образом Маша принадлежит семейству Буланиных, главою которого является Андрей Петрович. Для семейной хроники это весьма важно.

А теперь вернемся к событиям, следующим за «Пропущенной главой». Попробуем их увидеть глазами старика Буланина. До сообщения об аресте его семейственная жизнь совершенно безоблачна: сын отлично служит, будущая сноха прелестна, бунт усмирен. Ожидаются возвращение Петруши и свадьба.

Но вот приходит весть об измене сына и его аресте. Обстоятельства, при которых старик об этом узнает, нам по-прежнему неизвестны: письма Б.\*\*\*? рассказ Савельича? официальное сообщение? Но независимо от этого мнение Андрея Петровича Буланина, кажется, нетрудно предугадать: клевета! Семья стала жертвой клеветы.

По-видимому, самосознание старика Буланина как главы оклеветанной семьи есть, с одной стороны, важное отличие «летней» редакции от «Капитанской дочки», а с другой — некий предел, за которым «Пропущенная глава» перестает отвечать на вопросы о старом финале романа.

Дальше начинается область гипотез.

Мы не знаем, что было в «буланинской» редакции. Но, по крайней мере, можно с осторожностью наметить, чего там не было. Например, не было тайногоговора Маши и Авдотьи Васильевны, скрывающих от старика цель поездки девицы в Петербург. Не было горестного напутствия старика несостоявшейся снохе с пожеланием доброго жениха, «не ошельмованного изменника». Семья была едина в своей оценке случившегося несчастья.

Но вот вопрос: мог ли Андрей Петрович Буланин, уверенный в невинности сына, остаться в стороне от борьбы за его судьбу? Мог ли он, глава семейства, бездействовать перед лицом гнусной клеветы? Ответить не беремся. Но трагическое противоречие его положения понять можно.

Сословная честь, круг дворянских амбиций значат для него много. Это едва ли не смысл всей его жизни. Тут нет сомнений. Но верховным судьей в вопросах дворянской чести является императрица, которую он не любит и не почитает, если, как



и Гринев-отец, он выходит в отставку после переворота 1762 года. Во всяком случае, Буланин не посылает сына служить в разгневанный екатерининский Петербург, так что тут его родство с Гриневым несомненно. Добиваясь же законного опровержения клеветы и строго юридического оправдания сына, Буланин должен был бы идти на компромисс с собственной совестью, т. е. признать Екатерину II, развратницу, убийцу мужа, высшим авторитетом в вопросах чести.

Мы не знаем, подвергал ли Пушкин своего героя такому жестокому испытанию. Однако же и полностью сбрасывать такую возможность со счета нельзя. В этом убеждает один из ранних планов романа, написанный около 1833 года<sup>3</sup>. Вот как Пушкин замышлял фабульное развитие своего повествования:

«Крестьянск<ий> бунт — помещик пристань держит, сын его —

Мятель — кабак — разбойн.<ик> вожатый — Шванвич ст<арый> — Молод<ой> чел<овек> едет к соседу, бывш<шему> воеводой — Марья Ал. сосватана за плем.<я>ника кот<орого> не люб.<ит>. М<олодой> Шв<анвич> встречает разб<ойника> вожат<ого> — вступает к Пугачеву. Он предвод<ительствует> шайкой — Является к Марьи Ал. — спасает семейство, и всех

Последняя сцена — Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь — Уезжает — Пугачев разбит. Мол<одой> Шв<анвич> взят — Отец едет просить Орлов. Екатерина> Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, 929).

Разумеется, Шванвич-отец может не иметь ничего общего с Андреем Петровичем и Буланиным. Столь же, разумеется, что в концовке «буланинской» редакции романа вряд ли действовал Дидро. Но запись об отце главного героя, который едет просить за сына у Екатерины II, весьма многозначительна в контексте «Пропущенной главы». То, что Пушкин называет в плане «Последней сценой», фабульно очень близко именно «буланинской» редакции: бунт мужиков в имении отца героя, приезд героя на помощь отцу, отъезд его в армию, последующий арест.

Если по плану 1833 года Шванвич спасал своего отца как офицер-пугачевец, то упоминание о пропуске, выданном Пугачевым, который «на всякий случай имел в кармане» молодой Буланин, становится ясным отголоском раннего замысла. Летом 1836 года автор отчетливо помнит фабульный ход, занимавший его еще три года назад.

В плане «Крестьянский бунт...» Пушкин намечает контуры симметричного построения. Сначала сын спасает отца от пугачевцев. Потом отец спасает сына от правительственных репрессий. Но в мире Шванвичей—Швабриных действия, по видимому, не отягчены моральными сложностями. Молодой офицер мог бы вызвать отца, рекомендуясь прямо при нем сподвижником Пугачева. А старик, герой давних трактирных ссор с Орловыми, не имеет нравственных препятствий для обращения к императрице — в плане 1833 года нет и намека на Белогорскую крепость, на отказ отца послать сына служить в екатерининский Петербург.

В мире Буланиных все гораздо сложнее. Но тем не менее Пушкин в «Пропущенной главе» экспонирует часть ранней симметричной композиции: сын приез-

жает спасти отца, но бережет при этом дворянскую честь. Если симметрия сохранялась, то перед автором романа возникала трудная задача: как сделать старого Буланина спасителем сына, но оставить Андрея Петровича самим собой, т. е. честным «стародумом», стойким неприятелем императрицы? Прямой, законный ход к стопам государыни для него невозможен — это потеря чести. Значит, и Пушкин, и его герой могли рассчитывать только на какое-то счастливое стечение случайных обстоятельств.

Но симметричная композиция пушкинского романа весьма строга. Каждая счастливая случайность есть в нем как бы функция от заранее предъявленного аргумента. Сначала Петруша по сути дела подарит сто рублей офицеру в симбирском трактире, а уж потом будет выручен этим офицером. Сперва герой пожалует заячий тулупчик Пугачеву, а уж после будет им помилован и обласкан. Так же сперва Савельич спасет барина, кинувшись в ноги самозванцу, а затем барин не оставит Савельича в руках пугачевцев при подъезде к Бердской слободе. Поездка Гринева к Пугачеву из Оренбурга и поездка Маши из деревни к императрице тоже вполне симметричны.

Нечто близкое, подобное, проглядывает и в «буланинской» редакции.

Если какой-то счастливый случай помог Андрею Петровичу Буланину у императрицы, то исходное обстоятельство, надо думать, было заявлено в романе заранее, еще до XII (будущей «Пропущенной») главы<sup>4</sup>. Если же такое счастливое обстоятельство предъявлено не было, то вся «последняя сцена» прощения сына повисала в воздухе, начинала выбиваться из композиционной логики романа. В сущности говоря, Пушкину нужно было выбрать из двух возможностей. Первая: Буланин-отец чуточку сродни старому Шванвичу (из плана 1833 г.), имеет связи при дворе Екатерины II (князь Б.? Орловы?); он прибегает к покровительству императрицы через третье лицо, что и дает ему способ беречь свое понятие о чести. Второе: Буланин-отец вовсе не спасен сыном; тогда можно не заставлять гордого старика кланяться венценосной развратнице.

Первая возможность соответствовала бы «буланинской» редакции; вторая прямо вела к основному тексту, т. е. к роману «Капитанская дочка».

О том, что Пушкин на всем протяжении работы над романом помнил план 1833 года, свидетельствует не только «Пропущенная глава», фабульно-близкая этому плану. Уже завершив переделку «буланинской» редакции, Пушкин в известном письме от 25 октября 1836 года отвечает на вопросы цензора П. А. Корсакова: «Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки Пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (XVI, 177–178).

«Буланинская» редакция могла быть несколько более ранней стадией ухода романа «от истины». Но, как ни заманчиво представить себе Андрея Петровича Буланина, «кинувшегося в ноги» императрице, у нас все-таки слишком мало фактиче-

ских оснований для того, чтобы вдаваться в глубокие обсуждения такой возможности. Мы твердо знаем, что императрица простила Петрушу Буланина, но не знаем, кто добился этого прощения: Маша? Андрей Петрович? или отец и невеста вместе?

Одно только можно сказать определенно: прощение Буланина было достигнуто не так, или, по меньшей мере, не совсем так, как прощение Гринева. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить хрестоматийное послесловие к «Капитанской дочке» с наброском послесловия к «буланинской» редакции.

Вот окончательный текст: «В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова» (VIII, 374).

А вот из послесловия к «буланинской» редакции: «Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание сына его: Петр Андреевич умер в конце 1817-го года» (VIII, 906).

Таким образом, дочь капитана Миронова вовсе не упоминается в рескрипте Екатерины II на имя Андрея Петровича Буланина. Разумеется, это еще не доказывает, что она не ездила в Петербург и не встречалась с императрицей. Но можно предположить, что ее роль в финале романа была несколько иной, по-видимому, более скромной. Это предположение хорошо согласуется с догадкой Ю. Г. Оксмана: роман обрел название «Капитанская дочка» лишь осенью 1836 г., лишь при переделке «буланинской» редакции<sup>5</sup>.

Тот же Ю. Г. Оксман верно связал название «Капитанская дочка» со становлением жанра «семейной хроники как сюжетной основы утверждаемого им (Пушкиным.— В. Л.) исторического повествования нового типа»<sup>6</sup>.

Суждения об особенностях этого повествования нового типа можно несколько продолжить, основываясь как на достижениях пушкиноведения последних лет, так и на приведенных наблюдениях.

В финалах обеих редакций романа сосуществуют как бы два идейных начала: государственно-правовое, олицетворяемое Андреем Петровичем Буланиным-Гриневым, и милосердное, олицетворяемое Машей Мироновой. Именно она, как мы помним, просит у императрицы милости, а не правосудия (VIII, 372). И тем пролагает путь к торжеству справедливости.

Подробный и изящный анализ соотношения идей правосудия и милосердия в пушкинском романе содержится в работах Ю. М. Лотмана и В. Э. Вацура, к которым мы и отсылаем<sup>7</sup>.

«Пропущенная глава» и набросок послесловия дают возможность предположить, что правосудное начало и его носитель Андрей Петрович Буланин в «летней» редакции занимали больше места. Причину надо, по нашему мнению, искать не только в эволюции взглядов Пушкина. Понятие «герой сердца» Пушкин вводит в свою лирику еще в 1830 года, задолго до замысла «Капитанской дочки». Сильное правовое начало сопровождает работу над ранними редакциями романа, думается, потому,

что оно в сознании Пушкина лучше соответствует историческим реальностям XVIII столетия.

Здесь, по-видимому, возникает положение, сходное с хорошо известной ситуацией вокруг главного героя романа. Вот уже полвека — с тридцатых годов — идут споры о том, почему Пушкин отступил от мысли сделать главного героя-дворянина пугачевцем. Одни исследователи склонны видеть тут результат цензурных запретов, тяготевших над Пушкиным (Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский). Другие полагают, что Пушкин-реалист прекрасно видел пропасть, отделявшую передовое дворянство от «черного народа», а потому Гринев-пугачевец утратил бы всякое историческое правдоподобие (В. Б. Александров, Н. Н. Петрунина)<sup>8</sup>.

Теперь оказывается, что истолкование эволюции образов отца и невесты героя — ничуть не проще.

Вернемся к плану 1833 года. Ситуация, обозначенная здесь Пушкиным, вполне соответствует реальностям дворянского быта екатерининских времен. Отец просит у государыни простить виноватого сына, для чего прибегает к протекции при дворе (Орлов?). Возлюбленная сына, уже получившая имя Маша («Марья Ал.»), никаких самостоятельных поступков не совершает; она объект, а не субъект действия. Если угодно, ее можно рассматривать как приз, разыгрываемый между молодым Шванвичем и нелюбимым женихом (племянником воеводы?). Такая роль вполне обыкновенна: она и сорок лет спустя будет тяготить Полину, героиню пушкинского «Рославлева» (VIII, 153).

Свое понимание обстоятельств екатерининского царствования Пушкин отчетливо выразил в статье «Александр Радищев», написанной весной 1836 года, — как раз в пору, когда «буланинская» редакция была для него актуальна. Вот его оценка: «Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства, наши Законы, не изменившиеся со времен Петра 1-го, их строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего уважать человечество; если подумаем: какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, то преступление Радищева покажется: нам действием сумасшедшего» (XII, 32).

«Политические обстоятельства» 1791 году существовали, конечно, и в 1774 году, да еще отягченные крестьянской войной. Сила правительства абсолютна и необъятна. Поэтому реальный, нелитературный дворянин, попавший в положение Буланина-отца, может рассчитывать только на силу закона, на правосудие императрицы, как бы он к ней лично ни относился. Другого пути нет. Другой путь — «действие сумасшедшего».

Как поступил Буланин-отец, мы по-прежнему не знаем. Но старик Гринев, верящий в измену сына, ведет себя точно так, как и подобает представителю «суровых людей», носителей абсолютных государственно-правовых воззрений. Он замыкается в себе, понимая не только безнадежность, но, главное, и ненужность действий в защиту сына.

Точно так же мы не знаем, как вела себя невеста Петра Буланина. Но суженая Петра Гринева, пусть и не замеченная в «действиях сумасшедшего», все-таки сильно выбивается из обстоятельств своего времени. Она принимает самостоятельное решение, переменяющее всю ее судьбу,— уже это одно выводит ее из ряда обыкновенных современниц. Больше того, героиня осмеливается, открыта и без всякой поддержки при дворе опровергать официально принятое и утвержденное императрицей решение. Так далеко не заходили даже неординарные пушкинские героини следующего столетия — Полина из «Рославлева», онегинская Татьяна.

Пушкин прекрасно понимал, что с образом Маши Мироновой и сопутствующими ему условиями финала роман сильно отрывался от «политических обстоятельств» исторического времени. «Суровые люди» екатерининского двора, конечно, мало походили на добрую Анну Власьевну и приветливую даму, прогуливавшуюся в царскосельском парке.

«Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (XVI, 177—178) не только фабульно, но и своим нравственно-философским смыслом.

Пушкин в «Капитанской дочке» готов кое-где поступиться узко понимаемым историческим правдоподобием, но зато вносит в роман опыт своего времени. Конечно, оно тоже «жестокий век». Но шесть десятилетий, отделяющих автора от его героев, все-таки не прошли даром. По крайней мере, они показали, что в самодержавной России, даже «смягченной» в дни Александровы, человек не может рассчитывать на государственно-правовые начала. В их рамках не уважается то, что Пушкин называет «человечеством».

Выходом из этой реальности служит утопия — «герой сердца», действующий в другом, негосударственном измерении, добивающийся справедливости не на основе закона, а скорее вопреки ему. Таков Пугачев, нарушающий установления своего мужицкого государства; такова сильно идеализированная Екатерина II, пренебрегающая имперским законом ради влюбленных. «Героям сердца» на тронах соответствуют «герои сердца» в быту — Петр Гринева, Маша Миронова.

Говоря строго, все они не персонажи русского XVIII столетия, а уж тем более не «типичные представители» его.

Перечитывая летом 1836 года только что завершенную «буланинскую» редакцию романа, Пушкин не был удовлетворен своим трудом. Не потому ли, что мотивы милосердия, милости к падшим, звучали в нем недостаточно громко и отчетливо?

<sup>1</sup>Пушкин А.С. Капитанская дочка. — Л., 1984. — С. 91, 293.

<sup>2</sup>Возможно, «буланинской» редакции соответствовало не вошедшее в основной текст романа упоминание о письме к Марии Ивановне, отправленном Петром Андреевичем при аресте (VIII, 901).

<sup>3</sup>Это единственный автограф на бумаге такого типа (№ 206). См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме: Научное описание/Сост. Л.Б. Модзалевский и Б.В. Томашевский. — М.—Л., 1937. — С. 108, 332.



<sup>4</sup>Так, если Буланин-отец носил какие-то черты старого Шванвича из плана 1833 г., то в его молодости могло быть близкое знакомство с братьями Орловыми; например, услуга Орлову до 1762 года дает теперь ход к императрице.

<sup>5</sup>Оксман Ю. Г. Пушкин в работе над романом «Капитанская дочка» // Пушкин А. С. — Указ. соч. — С. 166.

<sup>6</sup>Там же.

<sup>7</sup>Лотман Ю. М. Идеальная структура «Капитанской дочки» // Пушкинский сборник. — Псков, 1962. — С. 15—16; Вагуро В. Э. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. — Л., 1986. — Т. 12. — С. 317—319.

<sup>8</sup>См.: Оксман Ю. Г. Указ. соч. — С. 164—165; Томашевский Б. В. Пушкин. — М.—Л., 1961. — Кн. 2. — С. 288—289; Александров В. Пугачев (Народность и реализм Пушкина) // Литературный критик. — 1937. — № 1. — С. 38; Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки» // Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М. Над страницами Пушкина. — Л., 1974. — С. 97. Мнения сторон хорошо суммированы и подытожены в статье: Макогоненко Г. П. Исторический роман о народной войне // Пушкин А. С. Указ. соч. — С. 202—204.

**В** своих обращениях к материалу зодчества Пушкин не всегда оставался на твердой, реальной почве. Воображение поэта, случалось, увлекало его в область архитектурной фантазии, в образное описание сказочной, никогда не существовавшей предметной среды. Казалось бы, в этой зыбкой, совершенно неупорядоченной сфере трудно искать какие-то правила, какие-то закономерности. Тем не менее сам Пушкин знал по крайней мере одно условие, которого придерживался, когда сочинял сказки, фантастику, чертовщину.

Чтобы это условие понять, придется напомнить, что в 20–30-е года XIX века лидером русской литературной фантастики был Владимир Федорович Одоевский. С его творчеством Пушкин был хорошо знаком. Участвуя в составлении альманаха «Северные цветы на 1832 год», издаваемого «в память Дельвига», Пушкин прочитал и поместил здесь довольно странное сочинение Одоевского, как раз и посвященное архитектурной фантазии. Речь идет о прозаическом отрывке под названием: «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» («Труды кавалера Джамбатисты Пиранези»).

Фабула отрывка, говоря коротко, сводится к тому, что в одной из книжных лавок Петербурга рассказчик случайно встречает полусумасшедшего человека и заводит с ним разговор об архитектуре. Человеку этому, понятно, нужны деньги, и добрый автор уже готов раскрыть перед ним свой кошелек.

«— А много ли вам надобно? — спросил я с участием.

— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу — сто миллионов.

— На что же так много? — спросил с я удивлением.

— Чтобы соединить сводом Эгнэ с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начнется парк проектированного мною замка»<sup>1</sup>.

Дальше оказывается, что собеседник автора — славный итальянский архитектор-фантаст Джамбатиста Пиранези, вовсе не умерший в 1778 году, а подобно Агасферу, наказанный бессмертием. Он скитается по городам и странам, ищет возможности для воплощения своих безумных проектов. И не находит... Все это написано, может быть, занимательно, но натужно и претенциозно.

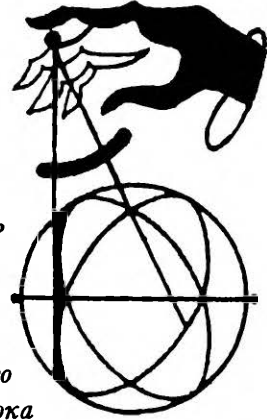
Заметим кстати, что Пушкин знал — хотя бы из Одоевского — о творчестве Пиранези, о его архитектурных фантазиях, гравюрах, постройках. Листы пиранезиевых гравюр, описанные в «Орета...», могли быть одинаково знакомы и Одоевскому, и Пушкину.

Об отношении Пушкина к фантастике Одоевского позднее вспоминал граф Владимир Соллогуб:

«Одоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин его книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделялся общими местами:

— Читал... ничего... хорошо...

Видя, что от него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел, тут Пушкин сказал:



– Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно»<sup>2</sup>.

Вот эта легкость, непринужденность выдумки скорее всего и была первым условием творения пушкинского сказочного мира. Под пером поэта как бы в мгновение ока воздвигались волшебные дворцы и рыцарские замки, храмы и хижиньы, невиданные города и романтические руины. Вспомним хотя бы «Сказку о рыбаке и рыбке», где восхождение злобной старухи к вершинам власти каждый раз обозначено все более престижным архитектурным пейзажем.

Из окончательного текста сказки Пушкин исключил эпизод, оставшийся в черновиках, – старуха не хочет быть «вольной царицей», а хочет быть «римскою папой». И вот как выглядит предметный мир, который ее теперь окружает:

*Добро, будет она римской папой.  
Воротился старик к старухе  
(Перед ним монастырь) латынский,  
По стенам латынские монахи  
Поят латынскую обедню.  
Перед ним вавилонская башня,  
На самой на верхней на макушке  
Сидит его старая старуха,  
На старухе сорочинская шапка,  
На шапке венце латынский,  
На венце тонкая спица,  
А на спице Строфилус птица. (III, 1087–1088)*

Причудливое сочетание латинского монастыря с Вавилонской башней и папской тиары со сказочной птицей на спице дает понятие о полете ничем не ограниченной пушкинской фантазии. Не забудем и о том, что за всем этим призрачным великолепием, великолепием для выскокци – мерещатся читателю бедная землянка и перед ней то самое разбитое корыто, с которых начиналось бессмысленное восхождение старухи. Фикции действия в точности соответствует и фикция декораций.

Столь же легко, как бы само собой, складывается фантастический архитектурный пейзаж в «Сказке о Царе Салтане». Остров на котором княжит Гвидон, есть идеальное средоточие справедливости, красоты и общего благополучия. Об этом свидетельствует первый же образ островной столицы:

*Вот открыл царевич очи;  
Отрясая зрезы ночи  
И дивясь, перед собой  
Видит город он большой,  
Стены с частыми зубцами,  
И за белыми стенами  
Блещут маковки церквей  
И святых монастырей. (III, 511)*

*В одну ночь, по волшебству, возникает целый мир, в котором побеждены зло и несправедливость. И основная «социальная» идея, конечно же, выражена в архитектурном образе:*

*Все в том острове богаты,  
Изоб нет, везде палаты. (III, 519)*

*Лет за сорок до того, как Пушкин написал свою «Сказку о Царе Салтане», удивительное движение возникло среди русских мужиков центральных губерний. Пошел слух, будто где-то далеко на востоке есть страна Беловодье, в которой люди живут по Божьей правде; управляют той страной православные священники; никто никого не обижает; все сыты и счастливы. А расположено то Беловодье на острове в Опоньском (Японском?) море, и находят его по звону церковных колоколов, слышному издалека. Весь XIX век – и даже еще в начале XX – по следам этой сказки шли, ехали, плыли крестьяне – кто через Сибирь, а кто и морем, через Одессу. Красивая легенда гнала их с насиженных мест на поиски несбыточного счастья.*

*Конечно, близкое сходство утопического Беловодья с «чудесным островом» пушкинской волшебной сказки не должно обманывать. Пушкин не заимствовал прямо из преданий и суеверий. Но вечная отечественная мечта о полной правде и справедливости одинаково жила и в мужицкой избе, и в «палатах» первого поэта.*

*Так уж русское сознание устроено...*

*Конечно, архитектурная фантазия встречается у Пушкина далеко не только в сказках – там она просто выражена яснее, нагляднее. Вымышленная среда возникает и на тех страницах, где поэт ведет свой рассказ о героях, как бы существующих в условном историческом времени и в условных обстоятельствах. Таковы, например, действующие лица и декорации «Маленьких трагедий» или «Сцен из рыцарских времен», где условному средневековью должны соответствовать столь же условные, в сущности, фантастические башни, замки, кривые старинные улочки, сумрачные сводчатые залы и подземелья, заброшенные кладбища.*

*Все это едва намечено в пушкинских ремарках, но полноправно входит в плоть и кровь произведений, задает тон драматическим опытам. Мы помним, что Пушкин никогда не бывал в странах Западной Европы; это тем более делает фантастическими его попытки – хотя бы скупно, вскользь – нарисовать пейзаж средневекового европейского города: Лондона, Мадрида, Майнца,*

*Рима... Пушкин их не видел, но вообразил – вообразил по тем же законам, которые так, кажется, и не постиг В.Ф. Одоевский – то есть легко, артистично, непринужденно.*

*Несмотря на это у Пушкина-драматурга архитектурные фантазии вовсе не подмости для легкого, веселого действия. Наоборот. Тут декорации трагедий, которые сам-то Пушкин не склонен был называть «маленькими». В подвале скупого рыцаря Филиппа царит страшный могильный холод. А на кладбище под Мадритом зрителя (читателя?) не покидает ощущение близкого присутствия потусторонних сил...*

*Как все это «вырастает» из монологов и реплик героев, вовсе не описывающих предметную среду? Не знаем. Тут одна из многих загадок пушкинской фантастики...*

<sup>1</sup>Альманах «Северные цветы на 1832 год»/Издание подготовил Л.Г. Фризман. – М., 1980. – С. 29–30.

<sup>2</sup>См.: Разговоры Пушкина/Сост. С.Гессен и Л.Модзалевский. – М., 1929. – С. 205.



Handwritten text at the top of the page, including the word "novelista" in the upper right corner.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script, some of which are crossed out with horizontal lines.



Continuation of handwritten text at the bottom of the page, including some underlined words and a signature-like mark at the very bottom.

## Глава X

---

A large, intricate decorative flourish in black ink, featuring a central oval frame with elaborate, swirling lines extending above and below it.

**«Клио  
против Эвтерпы»**

Творчество Пушкина как историка царствования Петра I привлекает внимание читателей и исследователей на протяжении многих лет. Образ монарха-реформатора, известный по художественным произведениям («Полтава», повесть о царском арапе, «Пир Петра Первого» и др.), дополняется в творчестве Пушкина научно-исторической прозой, публицистикой, конспектами, анекдотами, записями бесед поэта с современниками. Такой обширный и разнообразный материал создает в пушкинском мире некое идейное и тематическое пространство, условно называемое — «Пушкин и Петр».

В этом пространстве подготовительным материалам к «Истории Петра» принадлежит особое, ни с чем не сравнимое место. Читатель, обратившись к пушкинским конспектам, испытывает двойственное чувство: с одной стороны — ощущаются напряжение и острый смысл классической прозы, а с другой — все тонет в бездне конкретных фактов, не всегда значительных и не каждый раз толкуемых автором. Это чередование впечатлений точно выразил А.Т.Твардовский, под 5 января 1958 года записавший в своей рабочей тетради: «Читал «Историю Петра» Пушкина — чудесные тезисы, огромный объем материала, бездна деталей, имен, географии и прочего. Читаю как будто на неизвестном языке — что понятно, а что и непонятно по незнанию, но все же интересно и удивительно»<sup>1</sup>.

Между тем у «чудесных тезисов» Пушкина — своя история, свой неповторимо особенный путь к читателю.

## 1.

Взгляды Пушкина на историю Петра складывались в первой трети XIX века, когда наука о прошлом в России еще не полностью выделилась из общей, синкретической области искусств и гуманитарных наук. Границы между исторической наукой, художественной литературой, этнографией, политической экономией, страноведением, фольклористикой, религиоведением и т.д. еще были размыты, неотчетливы. Уже одно это не позволяет судить об историческом профессионализме Пушкина, пользуясь современной терминологией. Кроме того, ретроспективно направленная мысль Пушкина выявляется не только (и даже не столько) в «Истории Петра» и других специально-исторических трудах («История Пугачева», «История Украины», «Заметки по русской истории XVIII века» и др.), сколько во всем корпусе его прозаических и поэтических произведений, публицистики, писем. Свое понимание векового пути России Пушкин выразил, в основном, в образной, художественной форме. Исторические знания и исторические ощущения поэта «растворены» в тех же красках, которыми писаны стихи, повести, драматические опыты.

Понимание образной природы наследия Пушкина-историка необходимо для его изучения.

По указанным причинам в творчестве Пушкина вряд ли следует искать некую систематическую и последовательную концепцию истории Петра Великого. Это скорее область общечеловеческих страстей, чувствований и характеров, иногда более,

а иногда менее погруженных в обстоятельства прошлого. Довольно ясно черты пушкинского историзма определены П.А.Вяземским в статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»:

«В Пушкине было верное понимание истории: свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость. Он был чужд всех систематических, искусственно составленных руководств; не только он им был чужд, он был им враждебен. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Он не задал бы себе уроком и обязанностью во что бы то ни стало либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами.

Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатления; он был одарен воображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все эти качества — необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в достаточной мере»<sup>2</sup>.

Взгляды Пушкина на историю Петра эволюционировали вместе с общественной позицией поэта — от молодого либерализма к гуманной разновидности легитимизма, к глубокому осознанию традиционных моральных ценностей.

Подход поэта к раннему материалу петербургского периода отечественной истории во многом определяется хронологической близостью событий; Пушкин сознает, что современная ему жизнь протекает в условиях, заданных XVIII веком, реформами Петра и Екатерины II. Это сравнительно недавнее прошлое; его нравы и быт сохранились во многих чертах и на протяжении первых десятилетий XIX века. Письменные источники дополняются живыми свидетельствами людей старшего поколения, самого Петра I, конечно, не заставших, но несших с собою живую традицию дедов и отцов. Пушкин особенно ценил устные воспоминания отца и дяди, рассказы Н.К.Загряжской, И.И.Дмитриева, П.А.Ганнибала, И.А.Крылова, Н.М.Карамзина и др.

Образ XVIII столетия складывался у Пушкина в основном по источникам (письменным и устным), т.к. русская историография предшествующего века была представлена лишь несколькими именами — Н.М.Карамзин, И.И.Голиков, Я.Я.Штелин, Д.Н.Бантыш-Каменский, М.М.Щербатов, Феофан Прокопович, В.Г.Рубан, П.И.Рычков и немногие другие.

Историческая оценка Петра I и его реформ прошла в сознании Пушкина несколько этапов. В «Заметках по русской истории XVIII века» (1822) молодой, свободолюбивый автор признавал необходимость преобразований и «выгоды просвещения». Вместе с тем Пушкин отметил, что следствием реформ стали разделение нации на простой «народ» и «бритых бояр», а также «схоластический педантизм» бюрократии. Не позднее середины 20-х годов поэт уже хорошо знаком с основными реалиями петровской поры, что дает ему обширный материал как для художественного осмысления эпохи, так и для строго исторических суждений.

Рубежными для пушкинского понимания XVIII века стали события 1825-1826 годов, когда после поражения декабристов император Николай I начал насаждать культ Петра I и рассматривать собственное царствование как продолжение дел великого реформатора. На протяжении нескольких лет Пушкин поддерживал «игру» царя с петровским наследием, что нашло свое отражение в стихотворениях «Стансы» (1826), «Друзьям» (1828), в неоконченном романе о царском арапе (1827) и других произведениях.

Однако уже к концу 20-х годов отношение поэта к Петру I сильно удалилось от официальной апологетики. Оценивая через век результаты петровских преобразований, Пушкин все более акцентирует внимание на современном засильи чиновничества, противопоставляет свои и карамзинские патриархально-дворянские идеалы бюрократической системе, возникшей в начале XVIII века. Поэт сочувственно относится к попытке правительства провести антикрепостнические и антибюрократические реформы, понимает их как корректировку крайностей петровского переворота. В письме к П.А.Вяземскому (1830) Пушкин давал оценку проекту манифеста, подготовленного секретным комитетом, работавшим с декабря 1826 года: «Государь уезжая оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы».

Провал этих реформ в связи с польским восстанием 1830-1831 годов усложнил отношения Пушкина с правительством, усилил критическую составляющую в воззрениях на Петра и его преобразования.

Во всем корпусе пушкинских текстов и высказываний можно условно наметить три основных, тесно друг с другом связанных русла интереса поэта к петровской теме: история преобразований, характер и биография Петра I, судьба личности в условиях социального переворота в конце XVII — начале XVIII столетий.

Образ России, поднятой «на дыбы», обобщает представления Пушкина о реформах Петра. Но долготелее изучение исторических реалий дало Пушкину глубокое знание внутренних связей, подробностей эпохи. В рабочих тетрадях он не ограничил свое внимание художественно эффектными темами — стрельцкие бунты, сражения, строительство Петербурга, казни мятежников, придворная жизнь и т.д. Здесь отражены коренные вопросы политической и социально-экономической истории, законодательство, становление системы государственных учреждений.

Одним из важнейших актов царствования Петра I Пушкин считал указ о единонаследии 1714 года («Указ о майоратстве»), уравнивший в имущественных и служебных правах вотчинников и дворян. В прекращении действия этого указа при Петре III и Екатерине II поэт видел причину раздробления имений между неслужащими наследниками, что вело к общему упадку дворянского сословия. Этот взгляд Пушкина ясно выражен в «Романе в письмах» и других произведениях.

В тех же рабочих тетрадях прослежены основные вехи перехода от приказов Московского царства к новой системе центральных органов управления — коллегиям,



подробно изложены вопросы имущественного права, торговли, строительства армии и флота, прослежены шаги российской дипломатии, перемены в быту всех сословий и т.д. Особое место занимает здесь и история русской православной церкви, в частности, уничтожение патриаршества и создание духовной коллегии — Синода.

Обобщая свои впечатления от работы над петровским законодательством, Пушкин отметил: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика».

Пушкин хорошо знал темные стороны правления Петра I (массовые казни, гибель людей на строительстве Петербурга, дело царевича Алексея, интриги и пьянство при дворе и т.д.), но тем не менее находился под обаянием крупной, державной личности первого российского императора. Образ Петра особенно выигрывал на фоне его преемников, неспособных к крутым поворотам государственного руля. В легенде о Петре Великом, творимой поэтом, преобладали общекультурные черты: царь сравнивался с библейскими и античными героями, подчеркивались его патриотизм, следование государственным интересам, понимание дел и людей, самоотверженное служение отечеству. Внимателен Пушкин и к окружению Петра, к его сподвижникам; особенно занимает поэта образ собственного предка по материнской линии, арапа Ибрагима Петрова, чья фигура мощно — и, несомненно, исторически преувеличенно — выступает на страницах «Евгения Онегина», «Арапа Петра Великого», «Моей родословной», «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений».

В пушкинское время неофициальная общественная мысль еще не разделилась окончательно на западнические и славянофильские течения. В этих условиях попытки Пушкина художественно осмыслить положение личности в обстоятельствах коренной социальной ломки, ориентированной на западные образцы, следует признать новаторскими. Сколь бы ни сочувствовал Пушкин реформатору и реформам, он глубоко проник в смысл и характер частных трагедий и катастроф, сопровождавших преобразования. «Волей роковой» вмешиваясь в людские судьбы, Петр несет либо гибель и разорение, либо насильственное, формальное «счастье». Уже в «Арапе Петра Великого» Пушкин соперничал своим героям — Наталье Ржевской, Валериану, Ибрагиму — которые расплачивались лучшими своими чувствами за монаршьё желание разрушить мир старинного родового боярства. Тот же мотив звучал и в плане повести «Сын казненного стрельца», и в варианте поэмы «Езерский», где один из персонажей был Петром «прощен и милостью окован». В «Медном всаднике», действие которого происходит век спустя, памятник Петру, «горделивый истукан», все еще преследует петербургского чиновника Евгения.

В итоге отношение Пушкина к Петру I и его реформам окончательно разошлось с официальной версией, что и было фиксировано императорским запретом «Медного всадника».

Положение Пушкина как политического мыслителя осложнялось и его постоянной агрессией против «новой аристократии», порожденной петровскими преобразо-

ваниями. Близкие потомки этой новой знати, выскочки, занимали ключевые государственные посты и, разумеется, без восторга встречали пушкинские напоминания об их старшей родне — портных, поварах, целовальниках или торговцах блинами. Раздражение многих влиятельных лиц могло быть вызвано намеками «Моей родословной», «Родословной моего героя» и даже образом вздорной старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке».

Характерен — особенно в 30-е годы — постоянный интерес Пушкина к истории знатных семей, чья известность брала свое начало при Петре и рядом с Петром. Например, в томе тех же голиковских «Деяний...» Пушкин отметил закладкой страницу<sup>3</sup>, на которой историк рассуждает о склонности Петра I доверять серьезные акции людям в малых чинах — в противовес вельможам. «В Истории Его Величества, — замечает здесь Голиков, — нередко встречается, что он при знатных Начальниках держал таких в малых чинах, но доверенных людей; а сии и были для них, так сказать, грозою или глазом его. Из числа таковых были Офицеры: Ушаков, Румянцов, Волков, Писарев, Щепотев, Пискорский и другие некоторые»<sup>4</sup>.

Новая знать, возросшая на служебном поприще, близко граничила с чиновничеством, с поповичами, вроде М.М.Сперанского; а это в пушкинском кругу почиталось несчастьем, что и было основным мотивом «Записки о Древней и Новой России» Н.М.Карамзина. Поэт называл ее «драгоценной рукописью».

С карамзинской критикой крайностей петровских преобразований, точнее, их исторических последствий, Пушкин был согласен.

Вместе с тем, самого Петра и совершенную им «революцию» Пушкин почитал явлением глубоко национальным, русским. Комментируя записки французского авантюриста Моро-де-Бразе, принимавшего участие в Прутском походе 1711 года, Пушкин настойчиво подчеркивает разделение петровских сподвижников на «русскую» и «инострannую» партии. Приверженность государя к соотечественникам для Пушкина очевидна; она его постоянно радует. «Моро не любит русских, — утверждает поэт, — и недоволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него по-неволе. С какой простодушной досадою жалуется он на Петра, предпочитающего своих полудиких подданных храбрым и образованным иноземцам!» И еще: «Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали партии русской».

В конечном счете столь же национально почитал Пушкин и всю петровскую реформу.

Здесь не место обсуждать старую проблему подлинности записок А.О.Смирновой в целом. Но одно из интересующих нас мест несомненно следует принять, т.к., по выражению С.Л.Франка, достоверность здесь «совершенно очевидна по внутренним основаниям»<sup>5</sup>. Сочинительница мемуаров не могла бы самостоятельно прийти к следующему явно пушкинскому суждению:

«Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком, несмотря на то, что сбрил свою бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр

думал, как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра?»<sup>6</sup>.

Глубина этого суждения, пусть и высказанная в ослабленной мемуарной форме, все равно потрясает каждого, кто причастен русской культуре. Во-первых, отсюда следует, что в отечественной истории петровское новаторство Пушкин рассматривает как явление традиционное, имеющее аналогии в великокняжеских усилиях Ольги, Владимира Святого, Ивана III. А во-вторых, Пушкин уже предвидит то будущее России, в котором допетровский и петровский пласты сознания соотечественников сольются столь же неразделимо, как к XVIII веку на русской почве слились славянское язычество и греческое православие.

Шаг пушкинской исторической мысли здесь беспримерно широк; он преодолевает толщу столетий...

## 2.

Замысел «Истории Петра» и несколько этапов его воплощения приходятся у Пушкина на последнее десятилетие жизни. Подробная и детальная хронология его работы затруднена, т.к. источники по этому предмету немногочисленны и противоречивы.

До середины 20-х годов ничто, кажется, не свидетельствует о специальном интересе Пушкина к царствованию Петра I. Несколько мыслей в «Заметках по русской истории XVIII века», несколько случайных упоминаний имени реформатора в письмах и стихах — вот, по-видимому, и все, что связывает пушкинское творчество с переворотом столетней давности. Однако общий интерес к петровской теме проявляется у поэта не позднее, чем в годы южной ссылки.

Приятель Пушкина И.П.Липранди рассказывал, как Александр Сергеевич искал следы прутского лагеря Карла XII в Молдавии, а потом, в 1824 году, беседовал с казаком Николай Искрой, помнившим, якобы, времена Северной войны<sup>7</sup>. К анекдотам о Петре I приводили Пушкина и семейные предания — о царском арапе Ибрагиме<sup>8</sup> и о любимце государя Юрии Алексеевиче Ржевском, деде А.М.Ганнибал<sup>9</sup>.

Первым дошедшим до нас свидетельством серьезного пушкинского замысла о Петре I явилась дневниковая запись А.Н.Вульфа, сделанная 16 сентября 1827 года после визита в Михайловское. Он застал Пушкина у рабочего стола, на котором рядом с сочинениями Монтескье, Альфьери и Карамзина лежало издание «Журнала Петра I»<sup>10</sup>. Далее Вульф пишет:

«Играя на бильярде, сказал Пушкин: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра, а Александрову — пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря»<sup>11</sup>.

В реплике Пушкина — все значительно. Время Петра поставлено здесь в общую связь с тысячелетней историей России — от варяжских князей до царствующего

императора. Требование «непрерывно описывать современные происшествия» дает понятие об источниковедческих приоритетах будущего историографа — потомки так же станут ссылаться на наши записки, как мы сегодня строим свои исторические труды на дневниках и воспоминаниях предков. «Перо Курбского», применяемое к истории Александра I, есть образ критического подхода к материалу прошлого — и близкого, и далекого<sup>12</sup>. Poleмический выпад против Н.М.Карамзина в контексте собственных планов намекает на возможность личного соперничества с автором «Истории Государства Российского».

Краткая запись Вульфа обладает достоинством очевидной достоверности. Это не позднейшие мемуары, а дневниковая заметка, написанная сразу после беседы; она принадлежит человеку, которого содержание сообщаемого никак лично не затрагивает. Следовательно, можно уверенно считать, что осенью 1827 года Пушкин уже вынашивал замысел: непременно написать историю Петра Великого.

Общие контуры этого замысла можно наметить.

Всего только год назад — в сентябре 1826 года — в судьбе Пушкина произошел важнейший поворот. После известной беседы с императором Николаем I поэт, ранее подозреваемый во всех либеральных и атеистических грехах, был возвращен из ссылки и формально обласкан монархом. Но отношение к новому государю складывалось у Пушкина, разумеется, далеко не только по мотивам личной благодарности. В сентябрьской аудиенции 1826 года Николай I обещал Пушкину нечто очень важное для страны — видимо, коренные реформы, совпадавшие с державными идеалами поэта: смягчение крепостничества, ограничение власти чиновников, очищение и укрепление дворянского сословия. Казалось, все это не останется только благими пожеланиями. Уже в начале декабря 1826 года царь приступил к реформам в указанных направлениях; был создан секретный комитет, призванный подготовить преобразования. И Пушкин, как мы убедились, знал о его работе.

Одновременно — с лета 1826 года — шла победоносная для России война с Персией; императорские войска громили иранскую армию и штурмом взяли Эривань в октябре 1827 года — как раз в дни, когда Пушкин беседовал с Вульфом.

Исторические параллели напрашивались.

Начало царствования Петра I сопровождалось бунтами, дворцовыми переворотами, расколами и казнями. Но затем нестроения были преодолены; укрепилась власть сильного монарха, государство очистилось верно направленными преобразованиями; военные победы стали апофеозом славы отечества. Нечто подобное Пушкин рисовал себе и в текущей истории николаевского правления: за кровавой развязкой дела 14 декабря и должны были следовать благодетельные реформы, военные победы, возвышение умных государственных мужей.

Под знаком таких или подобных историко-политических размышлений и складывался у Пушкина замысел на тему о Петре. Кроме уже помянутых стихов «Стансы» и «Друзьям» ему соответствовали главы из романа о царском арапе и поэма «Полтава». Во всяком случае царствования Петра I и Николая I Пушкин в эти годы не собирался описывать «пером Курбского». Более того. В его сознании укрепляется

очевидная аналогия между судьбой предка, арапа Ибрагима, и его, Пушкина, собственным предназначением. Арап был, как известно, «царю наперсник, а не раб». Похожую роль видел для себя и Пушкин — служить добру у трона «нового Петра», т.е. Николая I<sup>13</sup>.

Желание писать историю Петра есть, таким образом, симптом нового отношения Пушкина к власти. От полного неприятия александровской эпохи поэт переходит к заинтересованному ожиданию, к желанию способствовать реформаторским усилиям молодого императора. Это далеко еще не готовность вступить в службу, но уже и не оппозиционность недавних времен.

Важно, однако, подчеркнуть, что «История Петра» зарождается как вольный замысел вольного Пушкина. В этой будущей работе он не стеснен еще никакими внешними условиями, запретами, ограничениями. Свобода обращения с темой естественно звучит в деревенской глуши, в мирной беседе с приятелем.

На рубеж 20—30-х годов приходится и другой существенный сдвиг сознания Пушкина. Не отказываясь от лирики, поэт начинает переходить к более спокойным, более «рассудительным» видам и жанрам произведений: прозе, драме, документальному повествованию. Он и сам замечает, как надоел и превратился в мальчишескую забаву четырехстопный ямб. Перевалив за тридцать лет, Пушкин готов потеснить лирическую музу Этерпу для Клио, музы истории. Барон Е.Ф.Розен вспоминал, как Пушкин судил о возрасте литератора: «... бывало, Пушкин спросит: не написал ли я новых пьес? и всегда советовал не пренебрегать при серьезном, продолжительном занятии драмою минутами лирического вдохновения. «Помните, — сказал он мне однажды, — что только до 35 лет можно быть истинно-лирическим поэтом, а драмы можно писать до 70 лет и далее!»<sup>14</sup>.

Склонность к историческим изысканиям вокруг Петра I приходится, следовательно, на скрещение нескольких потоков пушкинского самосознания — политических, художественных, даже и возрастных. С зимы 1831 года Пушкин женат, и это тоже вносит свои коррективы не только в образ жизни, но и в характер кабинетных занятий: все влечет поэта к повседневным размышлениям о судьбах отечества, к спокойным исследовательским трудам.

Поворот судьбы наступит Пушкина там, где он меньше всего мог его ожидать, — в аллее царскосельского парка.

Шло лето 1831 года, первые, «медовые» месяцы семейной жизни. Нетрудно представить себе, с каким восторгом Пушкин вновь, после полутора десятилетий разлуки, открывал для себя потаенные уголки, знакомые еще с времен лицейских, как дарил свои пенаты молодой жене. Счастливые недели Пушкины проводили на даче Китаевой; там поэт перечитывал старые стихи, писал сказки, принимал петербургских друзей.

История не сохранила точную дату того утра, когда в дальней и совершенно пустынной парковой аллее встретились на прогулке две четы — государь с государыней и отставной чиновник Пушкин с женой. Их величества были полны благосклонности и снисходительности. Пока дамы, отступив на несколько шагов, щебета-



ли о своем, Николай ласково беседовал с поэтом — как живешь, Пушкин? что пишешь? И Пушкин, доверчиво глядя в глаза императору, отвечал, что живет хорошо, пишет сказки.

Потом разговор почему-то зашел о Петре Великом. Фрейлина Россет, вероятно, со слов поэта, так записала беседу:

«Государь сказал Пушкину:

— Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме.

Пушкин ответил:

— Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники.

Государь рассмеялся и сказал:

— Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах»<sup>15</sup>.

В записи Россет легендарна только первая часть — обмен репликами о саардамском домике. Но и он требует внимания — ведь Пушкин в несерьезной, шутливой форме просится в службу: при Петре — хоть в дворники. Царь необычайно чуток к таким просьбам. Особенно сейчас, когда служить готов не какой-нибудь очередной карьерист, а первый поэт России, вчерашний либерал и фрондер. Во второй реплике царь как бы ловит Пушкина на слове — служи. И тут же милостиво повышает его в чине, назначает не дворником, а придворным. Придворным историографом.

С осени 1831 года отставной Пушкин после семилетнего перерыва возвращается в службу, в прежнее свое ведомство иностранных дел.

3 сентября Пушкин пишет из Царского Села в Москву П.В.Нащокину: «У меня, слава Богу, все тихо, жена здорова, царь (между нами) взял меня в службу, т.е. дал мне жалования и позволил рыться в архивах для составления «Истории Петра». Дай Бог здравия Царю!».

Эйфория Пушкина понятна. Вместе со званием историографа он, как ему кажется, обретает новую и весьма высокую жизненную позицию. До него в России было всего два государственно признанных историографа: в XVIII веке — М.М.Щербатов и в начале XIX века — Н.М.Карамзин. Оба отличались самым высоким положением. Сенатор, действительный тайный советник Щербатов прославился при Екатерине Великой как яркий публицист и суровый критик режима; он позволял себе разоблачать многие неприглядные стороны политики и быта при дворах императриц. Карамзин же в конце царствования Александра I был ближайшим советником монарха.

Царское Село еще помнило, как государь Александр Павлович, выходя на утреннюю прогулку, стучал в окошко Карамзину. День начинался с неспешного шествия по аллеям: император и историограф мирно беседовали, обсуждали все — от текущих дел до философских и религиозных материй. Карамзину при дворе смертельно завидовали, но его авторитет был непререкаем<sup>16</sup>.

Пушкину летом 1831 года, вероятно, виделось что-то подобное; он страдает «простодушием гениев». Ему кажется, что вместе со званием Карамзина он сможет унас-

ледовать и его положение — доверенность государя, возможность влиять на ход дел, поводы преподавать монарху исторические уроки. Имя Карамзина недаром возникает под пером Пушкина в переписке, связанной с возвращением в службу. Это из июльского письма А.Х.Бенкендорфу: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу современем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого...».

Сокровенное стремление выражено здесь в отрицательной форме. На пушкинское «не смею и не желаю» А.А.Ахматова отвечала прямо и коротко:

«И смел, и желал»<sup>17</sup>.

Развивая ту же мысль, она выявила очень важную грань пушкинского самосознания:

«В биографии Пушкина этот вопрос имеет очень серьезное значение.

30-е годы для Пушкина — это эпоха поисков социального положения. С одной стороны, он пыгается стать профессиональным литератором, с другой — осмыслить себя как представителя родовой аристократии.

Звание историографа должно было разрешить эти противоречия.

Для Пушкина это звание неотделимо было от образа Карамзина — советника царя и вельможи, достигшего высшего придворного положения своими историческими трудами»<sup>18</sup>.

Петербургский светский крут, в котором как раз с 1831 года вращается Пушкин, настроен был совершенно иначе. Решение царя поручить поэту «Историю Петра» встретили здесь с явным непониманием и тайным скепсисом. В столичном окружении Пушкина все прекрасно помнят и его выключку из службы, и недавние дела о крамольных стихах «Гавриилиады», «Анрея Шенья»; здесь имена Пушкина и Карамзина разделены непроходимой пропастью. Нестерпима сама мысль о том, что звание историографа — да еще и с заданием писать о Петре I — удостоен кумир легкомысленных молодых людей и уездных барышень. Куда ему до Карамзина, — вот общее мнение.

Об этом подробно рассказал в своих памятных записках дипломат Н.М.Смирнов, почитавший Пушкина «человеком, наиболее замечательным в России». Говоря о поручении государя написать историю Петра Великого, Смирнов замечает: «Многие сомневались, чтоб он был в состоянии написать столь серьезное сочинение, чтоб у него достало на то терпения... Любя свет, любя игру, любя приятельские беседы, Пушкин часто являлся человеком легкомысленным, ветреным и давал повод судить о нем ложно. Быв самого снисходительного нрава, он легко вступал со всеми на приятельскую ногу, и эта светская дружба, соединенная с откровенным обращением, позволяла многим думать, что они с Пушкиным друзья и что они коротко знают его мысли, чувства, мнения и способности. Эти-то мнимые друзья и распространяли многие ложные мысли о нем и представили его легкомысленным и неспособным для трудов, требующих большого постоянства»<sup>19</sup>.

То же будет на всем протяжении оставшейся жизни Пушкина; даже близкие друзья не верили в его способности историка. Н.М.Языков осенью 1833 года писал

историку М.П.Погодину: «У нас был Пушкин... Заметно, что он вторгается в область Истории (для стихов еще бы туда и сюда) — собирается собирать плоды с поля, на коем он ни зерна не посеял — писать Историю Петра, Екатерины I и далее...»<sup>20</sup>.

Светский и дружеский круги как бы отказывали Пушкину «соотечественнику» в достоинстве пророка. Уже хотя бы поэтому при «Истории Петра» Пушкин становился невольником чести. Успех этого труда был бы не только крупным научным и литературным событием, но и знаком достойного положения в обществе. Напротив, неуспех подтвердил бы невыгодное для Пушкина общественное мнение.

Но дело осложнилось сразу.

Пушкин замышлял историю Петра I как вольное сочинение. Теперь же о свободе воплощения замысла нечего было и думать. По ведомству иностранных дел шло жалование. Царь ждал от Пушкина книгу, поддерживающую строго официальный культ державного реформатора. Положение Карамзина было легче — свою «Историю Государства Российского» он довел только до воцарения Романовых и мог открыто обсуждать темные стороны правлений Ивана Грозного, Бориса Годунова, Василия Шуйского и других доромановских венценосцев. Свою критику монархов XVIII века Карамзин дал в потаенной «Записке о древней и новой России», предназначенной только для Александра I и его ближайшего окружения.

От Пушкина же требовалась общедоступная книга, прославляющая династию и прямо утверждающая Николая I в качестве преемника Петра Великого.

Между тем оснований для такого сближения двух реформаторов оставалось все меньше и меньше. Преобразования, начатые Николаем I, совершенно выдохлись. Июльская революция 1830 года во Франции и последовавшее за ним восстание патриотов в русской Польше испугали царя и начисто отбили у него желание что-нибудь в государстве переменить. Последнее заседание «Комитета 6 декабря» состоялось в 1832 году<sup>21</sup>, и с тех пор все разговоры о реформах замолкли при дворе на долгое время. Возникал очевидный парадокс: император оставлял за собой роль преемника и последователя Петра Великого, но не вел государственных преобразований.

Поэтому и роль Пушкина-историографа становилась неясной — в какой мере теперь можно следовать официальной схеме, по которой полагалось искать общность между державными усилиями Петра I и Николая I? Как согласовать петровскую революцию с николаевской косностью, с текущим бюрократическим застоєм? Видимо, Пушкин на первых стадиях своей работы предпочитал обо всем этом не задумываться.

Позволение императора «рыгаться в архивах» Пушкин старался использовать как можно шире и глубже. Уже в январе 1832 года историограф вступает в переписку с ведомством внутренних дел, а затем, получив соответствующие разрешения, начинает посещать петербургские и московские архивохранилища и библиотеки.

«Здесь кстати будет перечислить, — писал первый биограф поэта П.В.Анненков, — все места, с которыми Пушкин вошел в сношения после всемиловитвейшей доверенности, облекшей его правом пользования сокровищами государственных ар-

хивов. Вслед за первым дозволением он получил высочайшее согласие на рассмотрение библиотеки Вольтера, находящейся в императорском Эрмитаже (29 февраля 1832); затем получил право сношения с С.-Петербургским архивом инспекторского департамента и с московским отделением его, препроводившим к нему три книги, касавшиеся до истории графа Суворова-Рымникского... Вместе с тем ему открыт был главный Московский архив министерства иностранных дел, которому, между прочим, посвятил он несколько месяцев 1836 года — последнего года своей жизни. С сокровищами государственного архива он ознакомился под руководством и наблюдением его сиятельства графа Димитрия Николаевича Блудова. Так разнообразны были археологические занятия Пушкина»<sup>22</sup>.

Работа Пушкина над архивными фондами начала XVIII века представляет собой отдельную тему, до сих пор исследованную недостаточно<sup>23</sup>. Скажем только, что постоянный интерес к неопубликованным источникам Пушкин сохранил до конца жизни.

Вместе с тем — вопреки мнениям И.Л.Фейнберга и некоторых других исследователей — Пушкин не стал профессиональным архивистом и археографом. В работе над источниками он остался прежде всего писателем, поэтом. Острая характерность, художественная парадоксальность исторической ткани занимали его гораздо больше, чем полнота и объективность картины прошлого. Примером такого художественного подхода Пушкина может служить его обращение к переписке Петра I. Чтобы проникнуть в характер своего главного героя, Пушкин скопировал почерк государя «факсимильно», т.е. по существу перерисовал начертание букв письма Петра к князю В.В.Долгорукову, написанному в 1713 году<sup>24</sup>.

Собственноручные архивные выписки Пушкина для «Истории Петра», сделанные в 1832-1836 годах — всего за двумя исключениями<sup>25</sup> — до нас не дошли. Нет даже прямых доказательств их существования. Возможно, разрешение работать в секретных архивных фондах Пушкин в 1832—1833 г.г. использовал вообще не по прямому назначению, т.е. не для «Истории Петра», а для другой, «побочной» работы — «Истории Пугачева»<sup>26</sup>. Когда П.В.Анненков в цитированной работе упоминает выданные Пушкину архивные материалы А.В.Суворова, то речь идет об интересе поэта к полководцу как участнику подавления пугачевского бунта. Книгу о Пугачеве Пушкин начал писать весной 1833 года; следовательно, предшествующие месяцы должны были уйти на соби́рание архивных и печатных свидетельств екатерининских времен. А «История Петра» если и продвигалась вперед, то весьма медленно.

Причины, по которым петровская тема развивалась неторопливо и уступала пугачевской, — неясны. Можно сделать два предположения. Во-первых, Пушкин полагал книгу о бунте более актуальной; с нею он выводил из забвения исторический эпизод, доказывающий опасность действий Петра I и его наследников, непрочность привилегий своего, дворянского сословия. Такая книга, книга-предупреждение, должна была как бы подвести промежуточный итог преобразованиям XVIII века в целом. Во-вторых, у «Истории Пугачева» было и другое важное преимущество: она была сочинением вольным, незада́нным.

Тут сказалась органическая неприязнь Пушкина к службе, к подконтрольным занятиям. Еще десятилетием раньше, в Кишиневе, у Пушкина состоялся весьма характерный разговор с князем П.И.Долгоруковым, чиновником министерства финансов. Князь посетил поэта, сидевшего у Инзова под арестом, и посочувствовал положению невольника. А затем записал в своем дневнике: «Несмотря на свое заточение, Пушкин мне не завидует. Он сказал мне на счет моих непрерывных занятий: «Я предпочел бы остаться запертым на всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться»<sup>27</sup>.

Теперь же, вместе с «Историей Петра», поэт как раз и обрел служебное дело, за которое следовало отчитываться — и не просто перед очередным начальником, а перед самим государем. Продолжая дело Н.М.Карамзина, Пушкин не мог не знать, что автор «Истории Государства Российского» отдавал императору главы своего труда по мере их готовности. Александр I прочитывал очередные страницы и принимал от историографа следующие<sup>28</sup>. Возможно, Николай I ожидал от Пушкина чего-то подобного. Но шли месяцы и годы, а Пушкин не спешил делиться написанным с венценосным заказчиком. Да, строго говоря, в итоге 1831—1833 годов показывать было еще нечего. Пушкин только осваивал новую для себя профессию, навыки которой вырабатывались не столько на «Истории Петра», сколько на потаенном пока пугачевском сюжете, далеко не столь актуальном для императора.

6 февраля 1833 года на балу в австрийском посольстве царь сам заговорил с Пушкиным о том, как продвигается работа над «Историей Петра». Всех подробностей беседы мы не знаем. Нетрудно, однако, понять, что диалог был для Пушкина необычайно труден — тем более, что состоялся он на парадной лестнице посольского особняка, на глазах множества гостей, да еще в присутствии А.Х.Бенкендорфа и Д.Н.Блудова<sup>29</sup>. Вряд ли Николай I прямо потребовал у Пушкина отчет о полутора годах усилий; бальная обстановка мало подходила для подобных служебных переговоров. Но Пушкин ясно понял, что царский интерес к «заданному» труду не остыл и что император ждет первых результатов.

Воспользовавшись случаем, Пушкин попробовал объяснить царю, сколь необъятна поставленная задача, и попросил себе помощника — московского историка М.П.Погодина. Предварительный уговор с Погодиным у Пушкина состоялся еще в Москве, несколькими месяцами раньше. Чтобы сообщить Погодину итог разговора с царем, Пушкин ждал верной okazji в Москву целый месяц. Вот как поэт передает в письме характерное напряжение диалога с царем: «... я тут же представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно, и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при вашем имени, было нахмурился — (он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец и славный царь). Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д.Н.Блудов все поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий. К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа. Таким образом дело слажено...»<sup>30</sup>.



Но дело не сладилось. Погодин, по-видимому, трезвее, чем Пушкин, оценивал предлагаемые обстоятельства. Царское разрешение сотрудничать с Пушкиным звучало для Погодина как приказ. Если московский историк не хотел помогать Пушкину, то последнее, на что он, Погодин, мог рассчитывать — это только на неофициальный характер царского слова на балу. И еще на скромность Пушкина, который не станет докучать начальству, жалуясь на несостоявшегося помощника. В ответном письме Пушкину Погодин рассыпается в благодарностях, но сильно затуманивает суть дела: не хочет переезжать в Петербург, предлагает создать какую-то комиссию для издания «Истории Петра», просит похлопотать о своих литературных притязаниях. Это письмо (от 29 марта 1833 года) полно чисто светской учтивости. Подлинное свое отношение к проекту Погодин доверил дневнику, куда еще 11 марта занес:

«Письмо Пушкина об Петре. Пошли удачи. Пушкину хочется свалить с себя это дело»<sup>31</sup>.

Погодин несколько опережает события; весной 1833 года Пушкин вряд ли сознательно хочет «свалить с себя» бремя официальной историографии. Но мотив беспокорства, неуверенности в благополучном исходе дела Погодин в письме поэта уловил верно. Во всяком случае расчет Пушкина на помощь Погодина не оправдался. С проблемой петровской истории поэт остался один на один.

К осени 1833-го — два года от начала службы — работа над «Историей Петра» продвинулась весьма мало; за это время написаны сказки, «Русалка», «Дубровский», «Песни западных славян», «Анджело», «История Пугачева», «Пиковая дама», многие стихи; начаты «Капитанская дочка» и «Медный всадник». Только исторический труд о Петре I, кажется, совершенно остановился. Всю опасность своего положения Пушкин прекрасно осознавал: его светская репутация серьезного человека, обремененного доверием царя, находилась под угрозой. Путь поэта, для которого «условий нет», пришел в противоречие с условиями служебного сочинения.

Так уже было однажды, в 1826 году, когда по прямому заказу императора Пушкин писал «Записку о народном воспитании», давшуюся ему нелегко — собственные его взгляды уже тогда трудно примирялись с державными ожиданиями заказчика.

Поездка осенью 1833 года по Волге и Уралу, по следам пугачевского восстания, отодвинула работу над «Историей Петра» еще дальше, в неопределенное будущее. В сентябре, беседуя на «мальчишнике» с братьями Языковыми, Пушкин говорил, что хотел бы «... писать историю Петра... и далее, вплоть до Павла Первого»<sup>32</sup>. Желание писать исторический труд по конец XVIII столетия, как видим, далеко не совпадает с правительственным заданием — сочинять только «Историю Петра». Реплика у Языковых заставляет вспомнить приведенную ранее беседу Пушкина с А.Н.Вульфом в 1827 году: поэт собирался начать с истории Петра и довести ее до своего, XIX века.

Возможно, что к осени 1833 года Пушкин уже как-то отделял свой собственный исторический труд от задания, сформулированного Николаем I. Во всяком случае хронологические рамки вольного и служебного трудов — не совпадали.

С этой точки зрения необходимо понять постоянный интерес позднего Пушкина именно к послепетровской истории, к временам императриц и Павла I. Тогда завершенная книга о Пугачеве и сведения, собираемые Пушкиным — от «Table-talk» до записок Екатерины II, биографий В.Н.Татищева, А.В.Суворова, Г.А.Потемкина и т.д., — суть контуры грандиозного замысла истории XVIII столетия, оставшегося воплощенным лишь в очень малой степени.

Тем самым труд о Петре Великом как бы двоился, «расщеплялся». Собственно пушкинский, личный проект состоял в том, что эпоха Петра выступала как естественное начало новейшего времени в России и продолжалась преемниками северного исполина — вплоть до Александра I. Все это следовало описывать либо «без гнева и пристрастия», либо остро критически, «пером Курбского». Другой план, связанный с заданием императора, предусматривал только биографию и деяния царственного реформатора — с неизбежными атрибутами государственного культа.

Работая больше над пугачевской темой, чем над «Историей Петра», потерпев неудачу с М.П.Погодиным, наконец, уехав далеко от столиц, Пушкин должен был испытывать если не страх, то уж несомненное беспокойство: как развязать затягивавшийся узел? Как выполнить задание царя, не поступившись совестью, не согнув шеи?

Отзвук этого беспокойства слышен в беседе Пушкина с В.И.Далем по пути в Бердскую слободу под Оренбургом в том же сентябре 1833 года. «Пушкин, — записывал Даль, — воспламенился в полном смысле этого слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме деесписания о нем, создаст и художественное в память его произведение. «Я еще не смог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю это чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно»<sup>33</sup>.

Намек на то, что пока «мы стоим к нему близко», слишком близко — совершенно прозрачен. Через два века, когда наследие Петра перестанет быть державным культом, о нем можно будет «судить свободно», а уж тем более без подобострастия.

«Художественное произведение» в память Петра I — скорее всего замысел романа, известного под названием «Сын казненного стрельца». Однако план этого произведения будет записан Пушкиным не ранее 1834, а скорее даже в 1835 году. Содержание задуманной вещи вполне отвечало не только реалиям русской жизни начала XVIII столетия, но и чертам собственного положения Пушкина. Герой, «сын казненного стрельца», облечен высоким доверием монарха, но за это вынужден расплачиваться службой, полностью отнимающей личную свободу. Он, если следовать выражению Пушкина, «прощен и милостью окован» — родственность героя и автора тут несомненна<sup>34</sup>.

Осенью 1833 года в Болдине Пушкин писал петербургскую поэму «Медный всадник» — о судьбах отечества, о человеке, чье личное благополучие принесено в жер-

тву высшим государственным интересам. Разумеется, смысл поэмы этим не исчерпывается. Автобиографическая составляющая в «Медном всаднике» замечена давно и неоднократно обсуждалась исследователями<sup>35</sup>. Такие обсуждения обычно идут в русле соотнесения судьбы родов, униженных в эпоху империи — рода Пушкиных и неназванного рода Евгения. Но в поэме, видимо, есть и прямой, современный личный мотив. Его кульминация — преследование героя Петром, знаменитое «тяжелозвонкое скаканье» за спиной чиновника. Напомним:

И во всю ночь безумец бедный  
Куда стопы ни обращал,  
За ним повсюду Всадник Медный  
С тяжелым топотом скакал.

Значение строфы повышается и тем, что она дает название всей поэме. Мы привыкли к многозначному, к многосмысловому объяснению пушкинских строк. Поэтому в хрестоматийных стихах поэмы можем различить и след собственных, личных тревог Пушкина, преследуемого повсюду тяжелым призраком заданного труда — труда о Петре, царственном всаднике.

Даже в Болдине, в деревенской тишине, Пушкин слышал у себя за плечами звучание петербургской державной меди.

Скорее всего на третьем году от официального начала службы поэт понимал уже, как трудно будет достойно выйти из положения, в которое он оказался загнанным — и собственной неосторожностью, и желанием царя. Чувствительный удар ждал Пушкина по возвращении из Болдина: на рубеже 1833 и 1834 годов ему присвоено скромное придворное звание — камер-юнкер<sup>36</sup>. Принято считать, будто Пушкин обиделся потому, что это пожалование не отвечало его возрасту. Возможно; тем более, сам поэт много раз именно так и объяснял свое раздражение. Однако в камер-юнкерском звании спокойно обретались многие придворные средних лет и даже доживали свой век маститые старцы. Пушкина обидело, а по его темпераменту даже взбесило, другое: будучи просто историографом, он еще мог считаться естественным преемником Щербатова и Карамзина. А теперь, поставленный в ряд с камер-юнкерами, он как бы утрачивал свою исключительность, высоту своего предназначения. Приговор света разумелся сам собою: Пушкин не Карамзин, что и требовалось доказать.

На деле пожалование доказывало нечто совсем иное: самое звание историографа при дворе Николая I невысоко стояло, значило гораздо меньше, чем в просвещенные времена XVIII-го и в начале XIX-го столетий.

Таким образом, к середине 30-х годов положение Пушкина становилось все более затруднительным. К прежним невзгодам — зависимость от цензуры, неприязнь критики, денежные хлопоты — прибавились новые, связанные с подготовкой «Истории Петра». Поэт страдал от мучительного несовпадения собственных взглядов с направленностью официального заказа, а заодно и от светского злословья. Самые нетерпеливые салонные сплетники уже начали намекать на новую роль сочинителя Пушкина — роль неудачливого историографа...

## 3.

Последние годы жизни Пушкина (1834—1837) были временем высокого творческого взлета. Он определялся более всего «Капитанской дочкой», «Сценами из рыцарских времен», стихами так называемого «каменноостровского цикла», публицистикой «Современника» и другими, не менее известными произведениями. «История Петра», над которой Пушкин усиленно работал, служит как бы фоном, как бы постоянным сопровождением остальных его занятий. Однако чем дальше, тем больше краски этого фона сгущаются, приобретают самостоятельное значение.

К 1834—1835 годам поэт, разумеется, не разочаровался в архивных изысканиях; но понял — для работы в архивах над обширной петровской темой нужны долгие годы усидчивых занятий. Необходимо было менять весь образ жизни и, подобно Карамзину, запирается в ученом кабинете — для полного погружения в изучаемое историческое время. Весь петербургский быт семьи Пушкиных, да и все остальные творческие замыслы поэта не соответствовали такому затворническому труду.

Через несколько лет от начала историографических усилий Пушкин решает серьезно упростить себе задачу. Причины этого шага, кажется, нетрудно понять.

Во-первых, предыдущий исторический опыт — «История Пугачевского бунта» — встречен публикой более чем прохладно. Книгу не читают, не покупают. Для Пушкина это тяжелый удар; вопрос даже не в авторском самолюбии. Дело хуже. Книгой о Пугачеве Пушкин вывел из небытия целый исторический период, преданный «вечному» забвению по указу Екатерины II. Казалось бы, образованное общество должно было броситься читать и обсуждать труд, извлекать исторические и нравственные уроки из самого материала, еще вчера бывшего секретным. Ничего подобного не произошло. Именно о такой глухоте и слепоте публики Пушкин напишет потом в знаменитом письме к П.И. Чаадаеву: «...наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние»<sup>37</sup>. Следовало ли и дальше метать бисер в свинарнике?

Во-вторых, как уже было сказано, сам замысел «Истории Петра» все более отчетливо растекался по двум руслам — подцензурному, служебному; и — вольному, собственному. Глубоких архивных изысканий требовал, главным образом, этот второй труд, не стесненный казенными, культовыми условиями. Для той книги, которую уже несколько лет ждал от Пушкина император, многие архивные изыскания не были так уж необходимы.

В этих условиях обращение Пушкина к голиковским «Деяниям Петра Великого, мудрого преобразителя России...» было и логичным, и оправданным. Ибо старое сочинение несло в себе едва ли не весь корпус апологетически трактованных фактов, располагало основные события в строгой хронологической последовательности и давало известный простор для собственных размышлений. Единственное обстоятельство, которое могло бы остановить Пушкина, вряд ли было ему известно: Николай I являлся большим поклонником «Деяний...» и, по свидетельству А.О. Смирно-

вой-Россет, «знал все 20 томов Голикова наизусть»<sup>38</sup>. Совпадение фактической подосновы будущей книги Пушкина и «Деяний...» могло бы в глазах императора выглядеть некоторой слабостью, недостатком.

Так или иначе, но в середине 1830-х годов Пушкин приступает к конспектированию «Деяний...». Точная дата начала этой работы — неизвестна. Традиционно считается, что это январь 1835 года, т.к. в первой же тетради конспекта — «Извлечения из Введения. Штраленберг.» — есть помета: «Январь 16 — 11 1/2 ч.». В другой тетради, в которой события доведены «до 1700 г.», стоит дата «25 января». Наконец, в последней тетради встречаются еще две пометы: «14 декабря 1835» и «15 декабря». Доказательством тому, что все это этапы работы над конспектом, служит дневник Пушкина, где под февралем 1835 года отмечено: «С генваря очень я занят Петром». Отсюда и делается вывод — все пометы конспекта суть даты работы над сочинением Голикова. Значит, «материал по истории Петра написан был в течение 1835 года»<sup>39</sup>.

Но такое обоснование — недостаточно. Пушкин обозначает только январские дни и не выставляет года. Между тем, есть как минимум две записи самого Пушкина, которые, с одной стороны, равноправны отметке в дневнике, а с другой — намекают на более раннюю датировку работы над Голиковым. Речь идет о письмах поэта к жене, Н.Н.Пушкиной.

26 мая 1834 года, в ответ на недошедшее до нас письмо Натальи Николаевны, Пушкин пишет: «Ты спрашиваешь меня о Петре? идет помаленьку, скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулк»<sup>40</sup>. И в том же, 1834 году, 11 июня: «Петр I-ый идет, того и гляди напечатаю 1-ый том к зиме»<sup>41</sup>.

Если Пушкин весной и летом 1834 года еще не приступил к конспектированию «Деяний...», то эти два замечания просто не поддаются объяснению. Никакой активности архивных занятий в середине 1834 года не отмечено; нет также выписок из литературы, которые мы могли бы отнести к этому времени. На чем же тогда основан оптимизм автора? Почему он надеется напечатать первый том к зиме 1834—1835 года?

Непротиворечивая хронологическая картина работы над конспектом получается в случае, если мы дату над «Извлечениями из Введения. Штраленберг» будем читать: «1834/Январь 16 — 11 1/2 ч.». Тогда к маю-июню того же 1834 года конспект может быть продвинут Пушкиным до того хронологического рубежа, где автор видел конец первого тома своего сочинения. Отсюда — надежда издать этот том к зиме.

Но тогда требует истолкования пушкинское выражение из майского письма: «идет помаленьку, скопляю матерьялы». Думается, здесь Пушкин говорит все о том же конспекте голиковских «Деяний...». Еще И.Л.Фейнберг отметил, что Пушкин видел в «Деяниях...» только свод источников, подборку материалов для своего труда — не более того<sup>42</sup>. А реплика «идет помаленьку» как раз и отражает медленные темпы конспектирования.



Тем самым оно могло растянуться почти на два полных года — от января 1834 до декабря 1835-го.

Можно представить себе, что работа не была ритмичной. Пушкин то принимался за «Деяния...», то надолго — возможно, на целые месяцы — забрасывал их; потом наверстывал упущенное. Поэтому дневниковая запись: «С генваря /1835/ очень я занят Петром» — не должна рассматриваться как свидетельство именно начала конспектирования труда Голикова. Скорее, здесь возобновление работы, оставленной, например, летом или осенью 1834 года. Вероятность такой паузы очень велика — летом драматические события, связанные с попыткой Пушкина уйти в отставку; осенью — поездка в Полотняный завод, Москву и Болдино. Все это не располагало к монотонным академическим занятиям.

Сама попытка отставки в июне 1834 года до сих пор объяснялась главным образом денежными затруднениями, перлюстрацией личных писем и вообще климатом петербургского двора. Все это верно. Но нельзя, думается, сбрасывать со счетов и желание Пушкина избавиться от официального задания. Царь готов был принять отставку, но выдвинул условие: отставной Пушкин теряет право заниматься в государственных архивах. Такое условие больно било по самолюбию поэта; царский запрет как бы подтверждал правоту света, заранее «знавшего» несостоятельность Пушкина-историографа. Кроме того, без архивов был бы похоронен личный, альтернативный замысел Пушкина — начать с царствования Петра I и написать историю XVIII столетия.

Самочувствие поэта, летом 1834 года уже понимавшего всю тяжесть взятого на собственные плечи труда, ясно выступает на страницах его писем. Еще накануне эпизода с отставкой Пушкин как бы подводит итог трехлетней государственной службы: нет ни возможности спокойных занятий, ни уважения к его усилиям, ни даже денег.

Из июньского письма 1834 года к Н.Н.Пушкиной:

«У меня решительно сплин /.../. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу /.../. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения»<sup>43</sup>. И далее: «...виноват я из добродушия, коим переполнен до глупости, несмотря на опыты жизни»<sup>44</sup>.

Пушкин не объясняет жене, в чем состояло то «добродушие до глупости», которое привело поэта на казенную службу. Понятно. Наталия Николаевна ведь присутствовала при начальном разговоре с императором в царскосельском парке. Отголосок той беседы теперь и прозвучал в письме — три года спустя. А вывод, сделанный Пушкиным, опасно противоречит всей бюрократической традиции: опала, немилость государя, легче презрения. Можно не сомневаться — тут ключ ко всей биографии позднего Пушкина.

Год спустя — летом 1835-го — Пушкин вновь попытается обрести свободу, получить длительный отпуск. Этот отпуск он получит. Но осень 1835 года в псковском

имении окажется не самой плодотворной. Во всяком случае, нет никаких признаков того, что работа над историей сильно продвинулась вперед. Если Пушкин действительно завершил конспект биографии Петра по Голикову в декабре 1835 года, то отсюда должен был начаться новый этап его отношений с этой работой.

Здесь не место оценивать содержание всего того, что Пушкин знал и думал о Петре I. Но, познакомившись с широким кругом источников, поэт, конечно, далеко ушел от простых апологетических воззрений. Мало тут помогает и рассуждение о том, что к Петру I и его реформам Пушкин, дескать, относился «двойственно». К предмету своих изысканий Пушкин подходил не статистически — «двойственно», «тройственно» и т.д., — а с полным и многосторонним пониманием, как и подобало художнику. В его сознании, в принципе, могло жить столько точек зрения на ход истории, сколько он знал участников событий. И «правда» каждого из героев прошлого была достойна внимания и едва ли не равноправна другим «правдам» — несть им числа.

С такими установками работа над «Историей Петра» была, конечно, безбрежна и мучительна. Будучи «человеком с предрассудками», т.е. человеком нравственным, Пушкин должен был жестоко страдать от тех моральных падений, которые прослеживались в биографии его героя. Речь шла не только о «мятежах и казнях» начала царствования, но и о последующих насилиях и репрессиях — напомним хотя бы (почти наугад) о гибели оклеветанных Кочубея и Искры, о тысячах жизней, положенных в фундамент новой столицы, о доносах и бражничестве при дворе. Да мало ли еще о каких темных сторонах «славных дел»? И вот один из нерадостных выводов, сделанных Пушкиным в беседе с актером М.С.Щепкиным в 1836 году:

«Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его истории, потому что есть много фактов, которых я никак не могу согласить с личным моим к нему уважением»<sup>45</sup>.

В последние месяцы жизни Пушкин не питает иллюзий. Он знает, что «История Петра» в том виде, в каком ждет ее царь, написана не будет. Следовательно, не будет и напечатана. Все невзгоды своего положения Пушкин хорошо понимает. Ибо роль неудачливого историографа в обществе ему уже присвоена; самые нетерпеливые карьеристы готовы даже перенять у него историографическое достоинство.

В начале 1836 года Н.А.Полевой обратился через А.Х.Бенкендорфа к царю с просьбой — разрешить ему, Полевому, писать «Историю Петра». Царь, однако, оставил эту просьбу без последствий и наложил многозначительную резолюцию: «Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной коллегии, двоим и в одно и то же время поручать подобное дело было бы неуместно»<sup>46</sup>. О домогательствах Полевого, поддержанных III отделением, Пушкин мог и не знать. Но опасное внимание государя к заданному историческому труду он несомненно чувствовал. Срок завершения работы поставлен не был; однако, годы шли, внимание Николая I не ослабевало; и монаршьё терпение могло истощиться в любой момент.

В дневнике и письмах Пушкина, в показаниях мемуаристов мы находим много свидетельств того, как поэт с середины 30-х годов избегал придворной жизни, укло-

нялся от так называемых «царских выходов», не радовался балам в Зимнем и Аничковом. Это обычно объяснялось оппозиционностью Пушкина, его склонностями к писательскому труду, к другим способам проводить время. Все так. Но и боязнь встречи с царем, который мог прямо спросить о сроках поднесения «Истории Петра», тоже не следует сбрасывать со счета.

В мае 1836 года Пушкин приезжает в старую столицу. Формальный повод — занятия в Московском архиве Коллегии иностранных дел<sup>47</sup>. По существу — последняя попытка все-таки собрать материалы для выполнения царского задания. Попытка, как и следовало ожидать, не удастся. С 6 по 20 мая Пушкин несколько раз навещает архив, читает описи, отбирает дела, с которыми следовало бы ознакомиться в первую очередь<sup>48</sup>. В эти дни, по всей вероятности, к нему приходит окончательное понимание: наездами, наскоками с петровским архивом не сладить. Нужна медленная и постоянная работа — без отвлечений, без журналистики «Современника», без той повседневной борьбы за существование, в которой прошли все последние годы. В коллежском хранилище он бывает мало; предпочитает навещать своего приятеля, директора архива А.Ф.Малиновского дома. А там речь идет далеко не только о Петре Великом. Поэт и архивист обсуждают едва ли не все прошлое отечества — «Слово о полку Игореве», «смутное время», биографию князя Д.М.Пожарского, пугачевский бунт, деятельность Е.Р.Дашковой — да мало ли что еще<sup>49</sup>.

Атмосфера московских занятий хорошо чувствуется в письмах к жене: «Жизнь моя прескучная. Дома не сижу — в Архиве не роюсь. Сегодня еду во второй раз к Малиновскому». Это из письма от 11 мая<sup>50</sup>. И далее — 14 мая: «В Архивах я был, и принужден буду опять в них зарыться месяцев на 6; что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму»<sup>51</sup>.

Ни «посмертный» жандармский обыск, ни последующие усилия исследователей не обнаружили в бумагах Пушкина серьезных следов московских архивных занятий в мае 1836 года. Творческое сознание писателя, видимо, целиком было занято «Капитанской дочкой», изданием «Современника», каменноостровскими стихотворениями. А «История Петра» стояла, не продвигалась.

Талант Пушкина-историка находился скорее в сфере острого «соображения понятий», чем в области скрупулезного собирания фактов. Поэт и сам это знал. В том же 1836 году, желая помочь старому лицейскому товарищу, барон М.А.Корф послал Пушкину довольно обширный библиографический список литературы о Петре I — барон когда-то сам замысливал писать на эту тему. Корф помнил, что Пушкин уже много лет занимается Петром; поэтому в письме, сопровождающем список, скромно заметил: «... посылаю тебе, любезный Александр Сергеевич, /.../, чтобы пополнить твои материалы, если, впрочем, ты найдешь тут что-нибудь новое». Список Корфа привел Пушкина в явное смущение. В ответном письме поэт благодарит барона и замечает: «Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях /.../. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитированных книг мне неизвестна /.../. Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в особенности)».

То, что спокойно давалось усидчивому чиновнику Корфу, противоречило «человеческой природе» Пушкина. Стоило ли поэту погружаться в архивные глубины, если «большая часть» опубликованных по теме книг осталась вне поля его зрения? И пробел этот выяснился только через пять лет после получения официального задания.

Было от чего прийти в отчаяние.

Французский политик и литератор Ф.Леве-Веймар, посетивший Пушкина на каменноостровской даче в июне, вполне оценивал как глубокие исторические идеи поэта, так и его тревогу по поводу будущей книги о Петре. «Он не скрывал/.../ — вспоминал Леве-Веймар, — серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он /.../ разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах»<sup>52</sup>.

Образ «всадника медного» по-прежнему стоял за плечами, не отпускал, преследовал.

Тогда же, летом 1836 года, Пушкин набрасывает четверостишие, явно продолжающее мотив погони, известный нам по петербургской поэме:

Напрасно я бегу к Сионским высотам  
Грех алчный гонится за мною по пятам...  
Так /?/ ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,  
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

В «Медном всаднике» преследователем был прямо Петр Великий, «кумир на бронзовом коне». А в роли жертвы выступал родственник автору «где-то служащий» чиновник, но все же формально не сам автор. Теперь, два с половиной года спустя, мотив остается неизменным, но тайное и явное как бы меняются местами. Названа жертва — «я», первое лицо, лирический герой. Зато аллегорически скрыто «лицо» преследователя — «грех», «голодный лев».

Мы далеки от мысли, будто под «грехом» и «львом» тут надо понимать все того же Петра I. Но для нас очевидно, что в условиях 1836 года среди «грехов», преследующих Пушкина, есть и великая тяжесть, связанная с несносными историографическими усилиями. Ведь и она греховна. Сам поэт говорит об этом, когда определяет свое положение как «зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия»<sup>53</sup>. Уж честолюбие в таком контексте — грех несомненный. Именно эта служебная зависимость и есть средоточие всех бед. Недаром же строки черновика «Напрасно я бегу к Сионским высотам...» написаны на одном листе со стихотворением «Из Пиндемонте»<sup>54</sup>, где мысль та же: «Зависеть от властей, зависеть от народа / Не все ли нам равно? Бог с ними...».

На протяжении всего последнего года жизни Пушкин мучительно пытался распутать крепко затянутый узел проблем — «нарушение семейственного спокойствия», долги, неприязнь света. Трудно идущая книга о Петре тоже занимает место в этом списке; она отразилась даже в дуэльной истории.

Н.Я.Эйдельман давно заметил, что исследователи долгое время недооценивали обстоятельств зимы 1836 года. Пушкиным владела какая-то страшная нервическая разгоряченность, толкавшая его на необъяснимые действия. Он вступал в столкновения с малознакомыми, ничем не провинившимися перед ним людьми. Только в первых числах февраля его едва удалось остановить, отвести от поединков с дипломатом С.С.Хлюстиным, с членом Государственного совета князем Н.Г.Репниным и с чиновником В.А.Соллогубом. Поводы, по которым Пушкин посылал свои вызовы, были ничтожны, по существу надуманы.

«Если бы одна из трех несостоявшихся дуэлей все же произошла, — писал Эйдельман, — какие бы это имело последствия? Даже при исходе, благоприятном для обоих участников (разошлись, обменявшись выстрелами), эпизод невозможно было бы скрыть от властей; по всей видимости, Пушкина /.../ ожидало бы наказание, например, ссылка в деревню. Таким образом, судьба сама бы распорядилась: в любом случае прежней придворной жизни пришел бы конец, но уже никак не могла бы возникнуть тема «неблагодарности» к императору»<sup>55</sup>.

Можно еще добавить: «конец придворной жизни» становится для Пушкина особенно желанным именно с зимы 1836 года. Напомним — в декабре 1835-го он завершил конспектирование Голикова и, видимо, понял всю бесплодность своего труда в русле официального задания. Только теперь начинает сбываться трехлетней давности предположение М.П.Погодина — «Пушкину хочется свалить с себя это дело». Разумеется, поэт вряд ли так холодно и трезво ставил свою задачу: выхожу на поединок, подвергаюсь суду, получаю отставку и ссылку в деревню — какое счастье... Но подсознательно он все-таки ощущал, что дуэль есть выход, есть способ развязать все узлы. Легковесные вызовы тоже, конечно, не украшали Пушкина, серьезного человека и отца семейства. Бретерство было ему не по летам; утрированная чувствительность в вопросах чести в свете и в обществе осуждалась. И все-таки Пушкин предпочитал обвинения в бретерстве толкам о неблагодарности государю, слухам о несостоятельности исторических занятий, назойливым визитам петербургских кредиторов. Словом, дуэль вела к опале, а «опала легче презрения».

Если бы судьба распорядилась иначе и развязка последовала бы зимой 1836 года, то потом никто, конечно, и не вспомнил бы мелкую подробность того бального сезона — ухаживаний какого-то кавалергарда за светской дамой. Куда более весомые и по существу трагические обстоятельства преследовали Пушкина и дальше, весь последний год его жизни, что «надо постоянно иметь в виду, размышляя над последней, состоявшейся дуэлью поэта»<sup>56</sup>.

Ноябрьское столкновение Пушкина с Геккернами (конечно, куда более серьезное) все-таки по признаку поисков выхода — становится в ряд с предыдущими, несостоявшимися дуэлями. Не будем обсуждать перипетии ноябрьской истории — они хорошо известны<sup>57</sup>. Но два обстоятельства следует напомнить.

В скандально известном «дипломе», полученном Пушкиным 4 ноября, адресат был назван не только рогоносцем, но еще и «историографом ордена» рогоносцев<sup>58</sup>. Удар, следовательно, наносился не только чести семьи, но и достоинству Пушкина-мыслителя, Пушкина-историка. Намек был совершенно прозрачен: серьезную «Ис-



торию Петра» он написать не может, а вот история собратьев-рогоносцев ему как раз по силам. Пушкин прекрасно знал те версии биографии Петра I, которые отмечали неверность его жены — императрицы Екатерины. Если авторы анонимного «диплома» тоже это знали (а это без труда вычитывалось из зарубежных жизнеописаний императора и даже из Голикова), то труд Пушкина потешно обозначался так: один рогоносец пишет историю другого.

Гнев Пушкина был понятен и оправдан. Но надо подчеркнуть, что своим вызовом поэт вступался не только за честь семьи, не только за репутацию Натальи Николаевны. Он отстаивал и свое право писать историю отечества, быть независимым и уважаемым литератором.

Другое обстоятельство тех дней связано с аудиенцией у царя.

23 ноября, когда противников — Пушкина и Дантеса — удалось развести, когда опасность поединка миновала, Николай I принял Пушкина в Аничковом дворце.

О последней встрече поэта и царя с глазу на глаз известно мало. Ни один из собеседников письменных воспоминаний о ней не оставил. В кругу друзей Пушкина было известно, что император, подготовленный Жуковским, выслушал поэта внимательно и сочувственно; в борьбе с Геккернами царь принял сторону Пушкина, признал его правоту. И заодно взял с Пушкина слово — не драться. А если вновь возникнут осложнения, Пушкин получил разрешение обращаться прямо к его величеству<sup>59</sup>.

По представлениям людей пушкинского круга поэт победил, добился редкого успеха. Из Аничкова дворца он должен был выйти счастливым, спокойным, благодарным царю и Василию Андреевичу Жуковскому, столь удачно посредничавшему в завершении всей ноябрьской дуэльной истории. Но — ничего подобного Пушкин не испытывал. Напротив. Все его друзья и знакомые в один голос утверждают, что в дни и недели после беседы с государем Пушкин стал еще мрачнее и раздражительнее, чем прежде. Почему? И почему он никому внятно не рассказал, что же произошло между ним и царем при аудиенции в Аничковом? Для сравнения: об аудиенции 1826 года в Московском Кремле существует великое множество воспоминаний, сообщений, пересказов с обеих сторон; все это «обросло» литературой и даже полемикой, критическими несогласиями.

Ничего похожего нет вокруг визита Пушкина в Аничков 23 ноября. Оба участника встречи в сущности потом промолчали. Конечно, сюжет основного разговора был достаточно щекотливым. Но ограничилось ли все этим основным сюжетом? Фактов нет. И, видимо, никогда не будет.

Остаются только предположения.

Вспомним: от 1831 года, когда Пушкин получил царское задание написать книгу, прошли ровно пять лет. Оба собеседника очень хорошо об этом помнили. И — вполне правдоподобно, что царь, разобравшись с гнусной интригой Геккернов, в конце аудиенции спросил о Петре. Задал все-таки тот самый роковой вопрос, которого так избегал и так боялся Пушкин: где «История Петра»? не пора ли уже что-нибудь представить на прочтение?

Ответить по-прежнему было бы нечего.

С другой стороны, царь как бы отнимал у Пушкина последнюю возможность достойного, рыцарского выхода из тупиковых жизненных обстоятельств — взял обещание не драться на дуэли. Собственно, поединки и так были запрещены российскими законами. Но, видимо, в ходе беседы Николай I почувствовал, что общий запрет тут недостаточен. Теперь, посылая или принимая вызов, Пушкин не просто нарушал бы государственные установления, но еще и не сдерживал слово, данное монарху. В дворянской среде это почиталось чем-то совершенно немислимым, невозможным. Степень несвободы для поэта еще повышалась.

Пушкин после разговора с царем был мрачен и желчен; друзья — даже близкие — не понимали, в чем дело. Характерно словечко П.А.Вяземского, записанное Софи Карамзиной: Пушкин «выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает»<sup>60</sup>. Остроумец Вяземский тогда вряд ли догадывался, сколько косвенной трагической правды содержалось в его салонной шуточке. Обида состояла, конечно, не в том, что кавалергард на какое-то время перестал преследовать Наталью Николаевну, а в том, что общество — от царя до близких друзей — связало его, Пушкина, по рукам и ногам. Даже дуэль, понимаемая как суд Божий, была ему недоступна...

Шли последние недели жизни поэта.

Они были наполнены событиями, весьма далекими от спокойных занятий историей; листы с конспектами голиковских «Деяний...» лежали нетронутыми. О поездке в Москву, о продолжении сбора материалов в архиве Коллегии иностранных дел — нечего было и думать. «История Петра» тяжелым бременем лежала на жизни, на творческих движениях поэта. Между тем общество постоянно и некстати напоминало ему об этой тягостной историографической должности.

В начале января Пушкина посетил лицеист IV выпуска Д.Е.Келлер, переводивший дневник сподвижника Петра I Патрика Гордона. Говорили о трудностях петровской истории. После беседы Келлер записал:

«Александр Сергеевич на вопрос мой, скоро ли мы будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимаюсь единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам»<sup>61</sup>.

Можно себе представить, с каким чувством Пушкин выслушивал этот постоянный вопрос о своем историческом труде: «скоро ли мы будем иметь удовольствие прочесть...?». В свете он, вероятно, отвечал как-то односложно и немедленно прерывал разговор. Но Келлер тоже занимался историей Петра, был гостем поэта, и беседа носила профессиональный характер. И Пушкин — на шестом году занятий — честно признал:

«Я до сих пор ничего еще не написал...».

О том, что официальная «История Петра» выполнена не будет, он даже себе признается с трудом, со страхом. Поэтому Келлеру — если тот верно записал слова поэта — он излагает какой-то полуфантастический план: завершить «Историю Пет-

ра» в полгода-год, а потом сверять с документами, к которым во время основной работы он, значит, прибегать не станет. Нормальный ход исторического исследования, известный Пушкину хотя бы по «Истории Пугачева», тут совершенно искажен; все поставлено с ног на голову.

Но в заключение беседы Пушкин сказал Келлеру об официальной «Истории Петра» простую и ясную правду — итог многолетних усилий и размышлений:

*«Эта работа убийственная /.../ если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее»<sup>62</sup>.*

Вместе с тем, Пушкин не бросает своего первоначального свободного замысла — написать историю XVIII века, куда органически вошло бы и время Петра Великого. Примерно в те же дни, когда состоялась беседа с Келлером, Пушкин присутствовал на вечере у Фикельмонов и, по словам А.И.Тургенева, рассказывал занимательные истории из времен Петра I и Екатерины II<sup>63</sup>.

Видимо, последний, с кем Пушкин всерьез делился своими планами «Истории Петра», был Александр Иванович Тургенев. Он приехал в Петербург в конце ноября 1836 года. В багаже Тургенева были важные находки — копии документов по истории России XVII—XVIII вв., выявленных им в зарубежных архивах. Сам Александр Иванович писал, что прибыл с «богатыми и важными приобретениями, в Парижских архивах мною сделанными: особливо в Архиве Мин/истерства/ ино/странных/ дел, где я списал почти все, относящееся до России, с оригинальных бумаг, начиная с первых сношений с Францией прежде Петра I — до первых двух годов царствования им/ператрицы/ Ел/изаветы/ Петр/овны/ включительно»<sup>64</sup>.

Тургенев в декабре 1836 — январе 1837 года часто встречался с Пушкиным (они и жили рядом, на Мойке) и щедро делился с ним своими архивными находками. Александр Иванович знал еще Пушкина-ребенка, дружил с ним всю жизнь; и никогда эти два человека не были так близки друг другу, как в те последние недели.

Но — если наше предположение о ноябрьской беседе поэта и царя верно — встречи с Тургеньевым осложнялись для Пушкина одним важным обстоятельством. Александр Иванович был озабочен судьбою своего брата Николая, декабриста-эмигранта, уже второе десятилетие живущего за границей. Своей целью Тургенев ставил примирение брата с царем, аудиенции у которого Александр Иванович и ждал в Петербурге. Той же цели должны были служить и парижские документы, которые А.И.Тургенев желал поднести государю.

С восторженным интересом читая тургеньевские копии, Пушкин не мог не понимать, как отзовется на них император. Он, конечно, поблагодарит Александра Ивановича, но немедленно вспомнит о своем историке Петра — Пушкине. Том самом Пушкине, который за пять с половиной лет, прошедших от разговора в царскосельской аллее, так ни строки о Петре Великом и не представил. Сейчас, в январе 1837 года, Пушкин меньше всего нуждался в опасном царском внимании к «Истории Петра» и к своей персоне. Шли дни и недели — царь не спешил принимать А.И.Тургенева; для обоих друзей ожидание, несомненно, становилось мучительным.

Знакомство государя с тургеньевскими бумагами времен Петра I могло дамокловым мечом нависать над Пушкиным; возможно, грозило ему непредсказуемыми последствиями.

Мы не утверждаем, конечно, будто Пушкин погиб из-за «Истории Петра». Причин, по которым он вышел на свою последнюю дуэль, много. И не стоит их перечислять. Но совершенно ясно, что в том узле неразрешимых вопросов, который стянул его жизнь, «История Петра» была одной из самых суровых нитей. Всего за неделю до поединка поэт при цензоре Никитенко признавал, «что историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать»<sup>65</sup>.

«Убийственная работа»...

Но дуэль не была для Пушкина актом абсолютного отчаяния. Он нарушал слово, данное царю; он нарушал государственные законы; он нарушал, наконец, нормы светского поведения. Но то был единственный выход из тупика, единственная возможность разрубить весь узел разом. Оставшись в живых, он несомненно получал бы ссылку несвободу, но зато свободу личных занятий, свободу своих творческих усилий. Вот как судил о его целях А.Н.Вульф, когда-то первым узнавший в Михайловском об историографических планах поэта:

«Перед дуэлью Пушкин не искал смерти; напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал заплатить за это лишь новою ссылкой в Михайловское, куда возьмет он и жену, и там-то, на свободе предполагал заняться составлением истории Петра Великого»<sup>66</sup>.

Но это была бы совсем другая «История»...

\* \* \*

Ровно к столетию беседы царя с поэтом в царскосельском парке — летом 1931 года — М.И.Цветаева написала стихотворение «Петр и Пушкин». Она не занималась научными изысканиями вокруг своей темы; просто поэтическим чутьем своим поняла противоестественность той роли, которую Пушкин играл при дворе Николая I. Следуя традиции пушкинских «Стансов», она предьявляла Николаю счет как бы от имени Петра; как бы доказывала, что августейший потомок «неподобен» пращур:

Сей, не по снегам смутлолицый  
Российским — снегов Измаил!  
Уж он бы заморскую птицу  
Архивами не заморил!

Сей, не по кровям торопливый  
Славянским, сей тоже — метис!  
Уж ты б у него по архивам  
Отечественным не закис!<sup>67</sup>

В научном досье нашей темы отклик Цветаевой не обладает прямой доказательностью. Но он все же убедителен как мнение человека, стоящего ближе нас к культуре Пушкина, к представлениям людей его времени. В петербургском свете среди тех, кто был рядом с развернувшейся драмой, Цветаева нашла бы и понимание, и единомыслие.

Долгие годы (с 1825-го) жил в Петербурге князь Людвиг Фридрих Генрих фон Гогелоз-Кирхберг, вюртембергский посланник при дворе Николая I. Россию он любил и по-своему понимал; даже и женат был на русской — Екатерине Ивановне Голубцовой<sup>68</sup>. С нерусской аккуратностью все это время посылал он в свое вюртембергское министерство иностранных дел депеши с обзорами петербургских новостей.

Вот — в переводе с французского — отрывок из его депеши от 9/21 февраля 1837 года — о гибели Пушкина:

«...Об этой злополучной дуэли больше не говорят, и мне передавали, что таково желание императора, положившего конец всем разговорам на эту тему/.../ Правительство императора, без сомнения не должно сожалеть о человеке, который в своих сочинениях постоянно проповедовал свободу и даже несколько раз нападал на высокопоставленных лиц, имея в виду их нравственность и их политические мнения. Назначение Пушкина историографом было только средством связать его перо и отвлечь его от поэзии, в которой каждый стих выражал чувства, мало соответствующие тем, какие хотели бы видеть у большинства нации»<sup>69</sup>.

Гогелоз написал свою депешу 9 февраля. А через два дня Александр Иванович Тургенев, похоронивший Пушкина в псковских Святых горах, представил, наконец, свои исторические бумаги государю. Еще через два дня, встретив А.И.Тургенева на балу во французском посольстве, царь благодарил Александра Ивановича за поднесенные документы. Очень благодарил<sup>70</sup>. Но о Пушкине и не вспомнил.

В результате так называемого «посмертного обыска» императору доставили то, что жандармы сочли «Историей Петра». На самом деле то были тетради с конспектами «Деяний...» Голикова. Прочитав их, Николай I вынес свой вердикт: «Сия рукопись издана быть не может по причине неприличных выражений на счет Петра Великого»<sup>71</sup>.

Только Пушкин был уже неподсуден царю земному...

<sup>1</sup>Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953—1960)//Знамя. —1989. — №8. — С. 157.

<sup>2</sup>А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х томах. — Т.1. — М., 1974. — С. 151.

<sup>3</sup>См.: Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С.Пушкина (Библиографическое описание) Отдельный оттиск из издания: «Пушкин и его современники. — Вып. IX-X. — СПб., 1910. — С. 29.

<sup>4</sup>Голиков И.И./ Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России.. Ч. 2. — М., В Университетской Типографии, у Н.Новикова, 1788. — С. 233 (примеч.).

<sup>5</sup>Франк С. Пушкин как политический мыслитель//Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX вв. — М., 1990. — С. 413.

<sup>6</sup>Записки А.О. Смирновой, урожденной Россет. — М., 1999. — С. 221.

<sup>7</sup>См.: Липранди И.П. Из дневника и воспоминаний//А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. — Т.1. — С.332—335.

<sup>8</sup>См.: Старк В.П. Пушкин и семейные предания его рода//Легенды и мифы о Пушкине. — СПб., 1994. — С. 66—83.



<sup>9</sup>Павлицева О.С. Воспоминания о детстве А.С.Пушкина//А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. — Т.1 — С. 51.

<sup>10</sup>Вульф А.Н. Из дневника//Там же. — С. 416.

<sup>11</sup>Там же.

<sup>12</sup>Тот же образ и в дневниковой записи Пушкина от 1 января 1834 г.: «Так я же сделаюсь русским Dandea». Филипп Данжо — маркиз, разоблачитель нравов французского двора. Его воспоминания и дневники в 4-х томах хранились в личной библиотеке Пушкина.

<sup>13</sup>Подробнее об этом см. главу пятую наст. издания.

<sup>14</sup>Розен Е.Ф. Ссылка на мертвых//Сын Отечества. — 1847. — № 6. — Отд. 111. — С. 12.

<sup>15</sup>Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. — М., 1989. — С. 566.

<sup>16</sup>Эйдельман Н. Последний летописец. — М., 1983. — С. 113.

<sup>17</sup>Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2-е. — Горький, 1984. — С. 33.

<sup>18</sup>Там же. — С. 33-34.

<sup>19</sup>Смирнов Н.М. Из «памятных записок»//А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — С. 234, 235.

<sup>20</sup>См.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. — Т.4. — СПб, 1891. — С. 161; Литературное наследство. — № 16—18. — С. 715.

<sup>21</sup>Архипова Т.Г. Секретный Комитет 6 декабря 1826 года//Труды Московского государственного историко-архивного института. — Т.20. — М., 1965. — С. 213

<sup>22</sup>Анненков П.В. Материалы для биографии Пушкина. — М., 1984. — С. 324—325.

<sup>23</sup>См. разделы «Пушкин в работе над историческими источниками» и «В Государственном архиве» в кн.: Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. — М., 1985. — С. 64—65, 121—133.

<sup>24</sup>См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. — М.—Л., 1935. — С. 594—595. Между этими страницами — факсимильное воспроизведение прорисей почерка Петра I Пушкиным.

<sup>25</sup>Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 10. — 1938. — С. 443—457.

<sup>26</sup>См.: Овчинников Р.В. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»). — Л., 1969.

<sup>27</sup>Долгоруков П.И. 35-й год моей жизни, или два дни ведра на 363 ненастья//Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 1. — С. 375. Реплика Пушкина — по- французски.

<sup>28</sup>Эйдельман. Указ. соч. — С. 113.

<sup>29</sup>Абрамович С. Пушкин в 1833 году. Хроника. — М., 1994. — С. 80, 574.

<sup>30</sup>См.: Пушкин. Письма: В 3-х т. — Т.3. — М.—Л., 1935. — № 521.

<sup>31</sup>Погодин М.П. Из «Дневника»//А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. — Т.2. — С. 25.

<sup>32</sup>Исторический вестник. — 1883. — № 12. — С. 537.

<sup>33</sup>Даль В.И. Воспоминания о Пушкине//А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. — Т. 2. — С. 224.

<sup>34</sup>См. главу седьмую наст. издания.

<sup>35</sup>См.: Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С.Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения//Пушкин А.С. Медный всадник. — Л., 1978.

<sup>36</sup>Абрамович С. Указ. соч. — С. 591.

<sup>37</sup>Переписка А.С.Пушкина: В 2-х т. — Т.2. — М., 1982. — С. 290 (подлинник по-французски).

<sup>38</sup>Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. — С. 199.

<sup>39</sup>См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. — Т. 9. — Л., 1979. — С. 378—379.

- <sup>40</sup>Пушкин А.С. Письма к жене/Издание подготовила Я.Л.Левкович. — Л., 1987. — С. 58.
- <sup>41</sup>Там же. — С. 62.
- <sup>42</sup>См.: Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. — М., 1987. — С. 109, 116.
- <sup>43</sup>Пушкин А.С. Письма к жене. — С. 60.
- <sup>44</sup>Там же.
- <sup>45</sup>См.: Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. — Т.2. — М., 1984. — С. 341.
- <sup>46</sup>Абрамович С. Пушкин. Последний год жизни. — М., 1994. — С. 45-47.
- <sup>47</sup>Долгова С.Р. Алексей Федорович Малиновский//Малиновский А.Ф. Обзорение Москвы. — М., 1992. — С. 203.
- <sup>48</sup>Абрамович С. Пушкин. Последний год жизни. — С. 181—182.
- <sup>49</sup>Долгова С.Р. Указ. соч. — С. 204.
- <sup>50</sup>Пушкин А.С. Письма к жене. — С. 79.
- <sup>51</sup>Там же. — С. 80.
- <sup>52</sup>Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Изд. 4-е. — М., 1987. — С. 347-348.
- <sup>53</sup>Пушкин А.С. Письма к жене. — С. 60.
- <sup>54</sup>См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание/Сост. Л.Б.Модзалевский и Б.В.Томашевский. — М.—Л., 1937. — С. 92.
- <sup>55</sup>Эйдельман Н. Уход//Новый мир. — 1987. — № 1. — С. 122.
- <sup>56</sup>Там же.
- <sup>57</sup>Абрамович С. Пушкин. Последний год жизни. — С. 400—415.
- <sup>58</sup>См.: Вересаев В. Пушкин в жизни. — М., 1984. — С. 484 (подлинник по-французски).
- <sup>59</sup>Абрамович С. Пушкин. Последний год жизни. — С. 413—414.
- <sup>60</sup>Там же. — С. 430.
- <sup>61</sup>Фейнберг И. Читая тетради Пушкина (1987). — С.114—115.
- <sup>62</sup>Абрамович С. Пушкин. Последний год жизни. — С. 478.
- <sup>63</sup>См.: Письма Александра Тургенева Булгаковым. — М.—Л., 1939. — С. 204.
- <sup>64</sup>Фейнберг И. Читая тетради Пушкина (1985). — С. 146.
- <sup>65</sup>Никитенко А.В. Дневник: В 3-х т. — Т.1. — Л., 1955. — С. 193.
- <sup>66</sup>Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине, записанные М.И.Семевским//Пушкин в воспоминаниях современников. — Т.1. — С. 415.
- <sup>67</sup>Цветаева Марина. Соч.: В 2-х т. — Т. 1. — М., 1988. — С. 276.
- <sup>68</sup>Гласе А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам вюртембергского посольства//Временник Пушкинской комиссии АН СССР. — Л., 1977. — С. 6.
- <sup>69</sup>Там же. — С. 12.
- <sup>70</sup>Фейнберг И. Читая тетради Пушкина (1985). — С. 151.
- <sup>71</sup>Там же. — С. 14.

~~Handwritten text, mostly illegible due to heavy scribbles and corrections.~~

~~Handwritten text, including the word 'Determination' on the right side.~~



# Приложение



## **Иллюстрации**

(к главам I, II, IV, V, X)

**Савво-Сторожевский монастырь. Преображенская церковь**

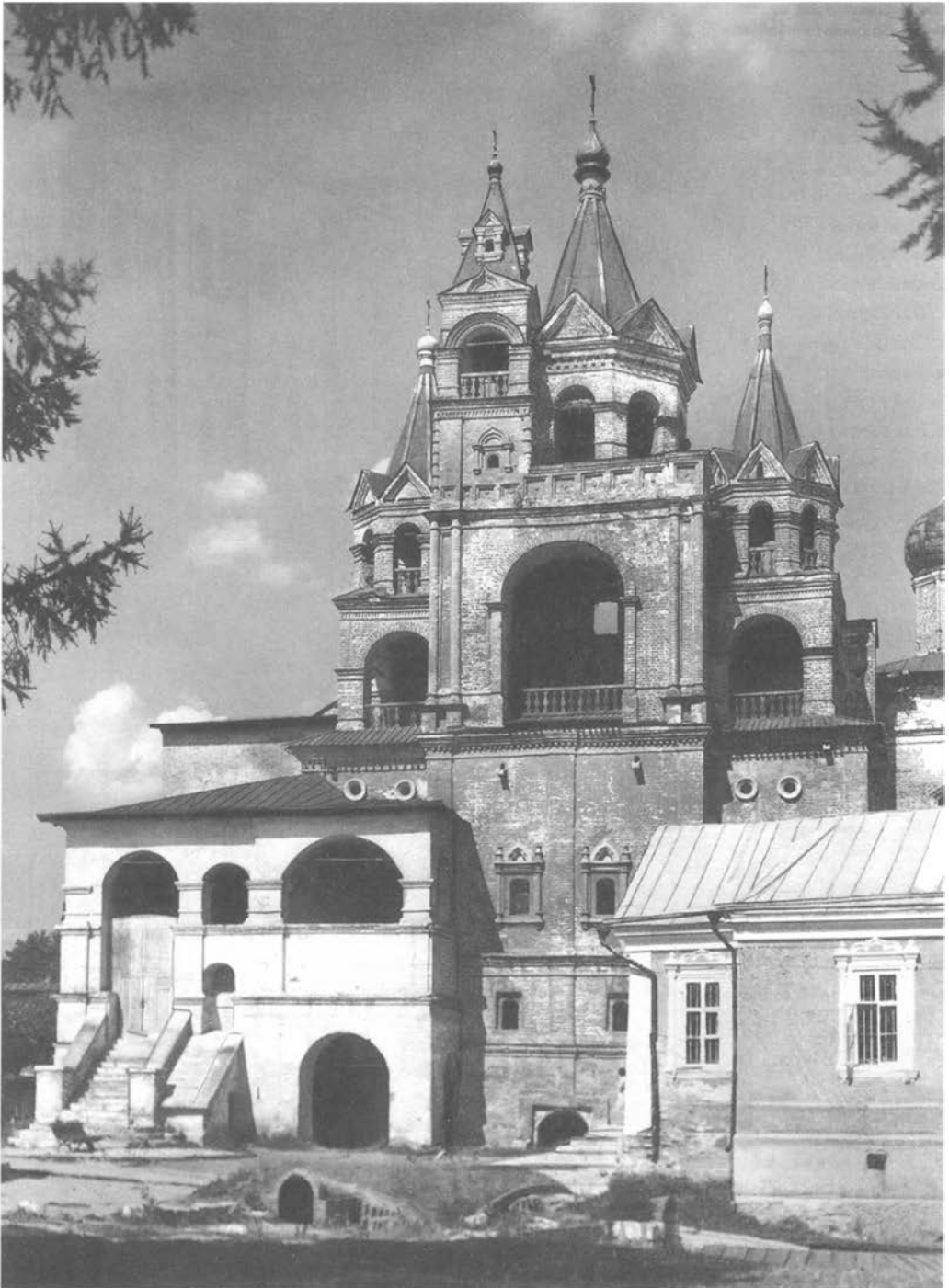


**Троицкая надвратная церковь.  
Подклет**



**Троицкая надвратная церковь.  
Деталь убранства парадной  
лестницы**





Савво-Сторожевский монастырь.  
Звонница

**Иллюстрации к гл. I**



**Савво-Сторожевский монастырь. Собор Рождества Богородицы**

**Дворец царя Алексея Михайловича**

**Царицыны палаты**

**Иллюстрации к гл. I**





**Савво-Сторожевский монастырь.  
Братский корпус**

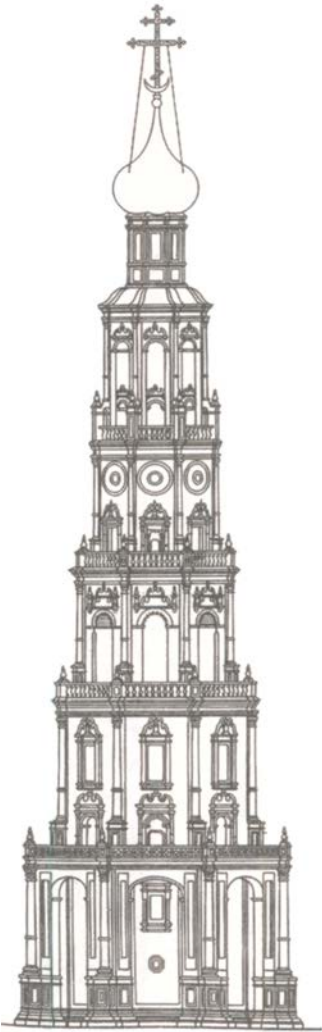
**Крепостная стена с угловой  
башней**





Савво-Сторожевский монастырь.  
Красная башня







Москва. Колокольня Новодевичьего монастыря

Новодевичий монастырь. Трапезная, собор, колокольня. Рис. Н. Тамонкина. 1940

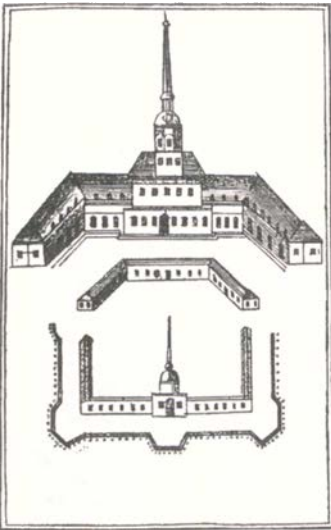
Новодевичий монастырь. Гравюра П. Пикара. Нач. XVIII в.

Благовещенский собор Московского Кремля

Новодевичий монастырь







Москва. Палаты Юсуповых.  
XVIII в.

Петербург. Первоначальное и  
мазанковое адмиралтейства. Гра-  
виюра Челнокова. 1711

Успенская звонница Московско-  
го Кремля. 1605





Углич. Палаты угличских князей

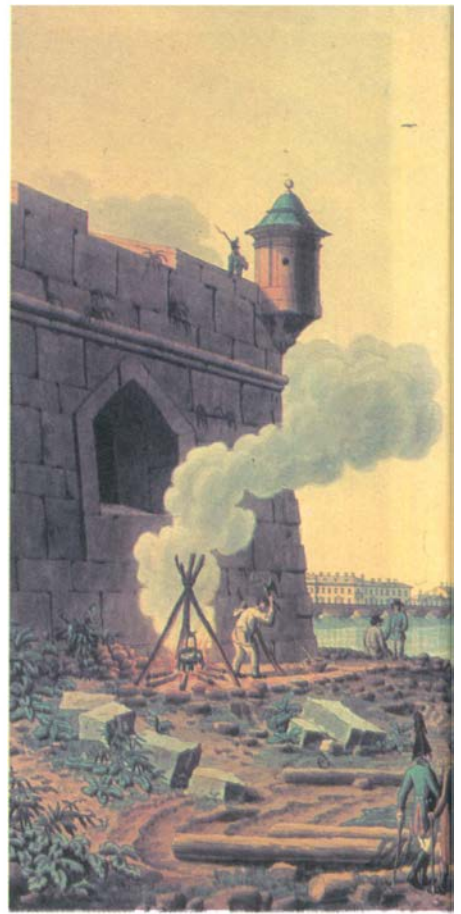
Петербург. Летний дворец. Художник К.П. Бегров





Петербург. Сенатская площадь в нач. XIX в. Художник Б. Патерсен

Петербург. Набережная Невы от Летнего сада до Мраморного дворца. Гравюра-акварель Б. Патерсена. 1806

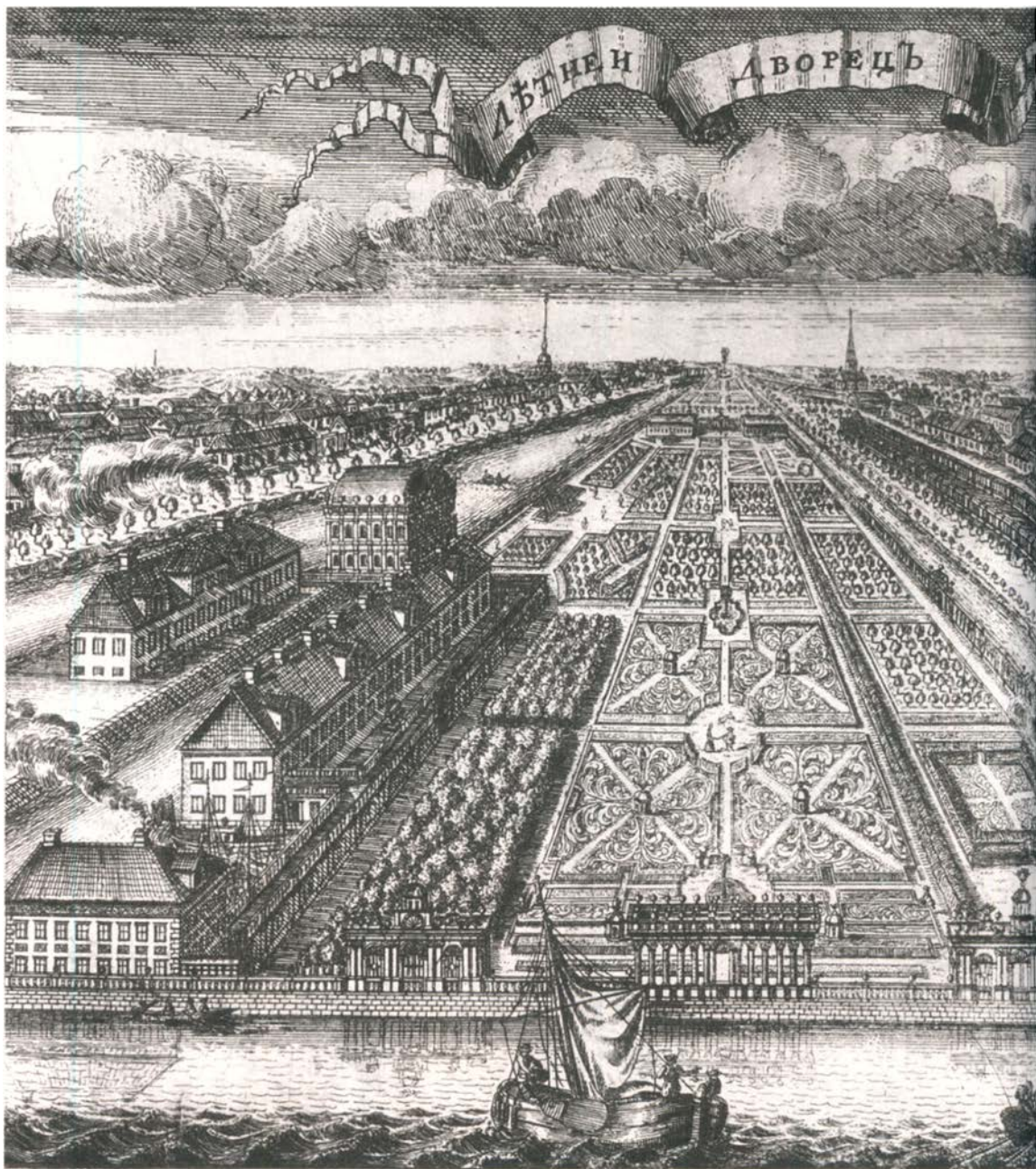


## Иллюстрации к гл. II

Петербург. Вид Зимнего дворца со стороны Невы. Фрагмент панорамы Д. Аткинсона. Нач. XIX в.



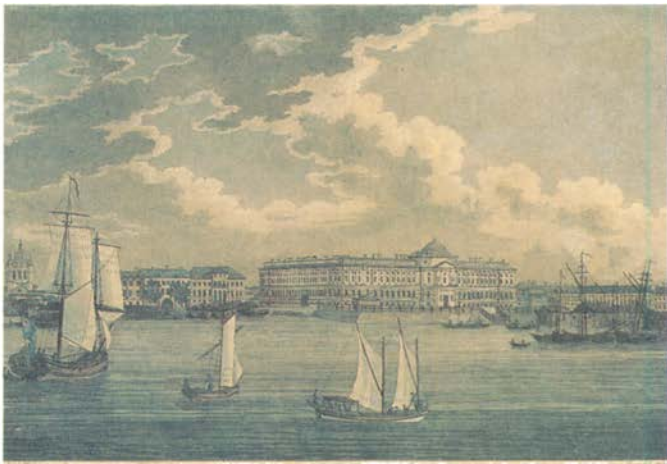




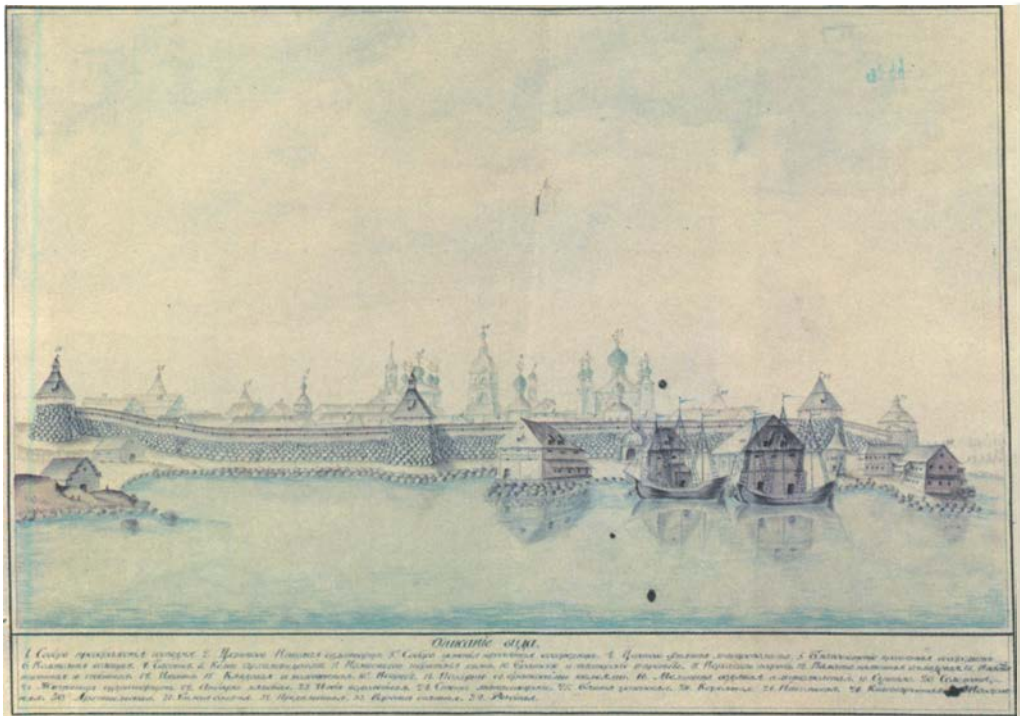
Летний сад. Клеймо «Панорамы Петербурга» А. Зубова. 1716

Петербург. Набережная Васильевского острова и здание Академии художеств. Ахв. И. Херна





ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.



**Вид Соловецкого монастыря.  
Кон. XVIII в.**

**Икона «Св. Зосима и Савватий  
Соловецкие с видом Соловецких островов». XVII в.**







Икона «Св. Зосима и Савватий  
Соловецкие с видом монастыря».  
1709



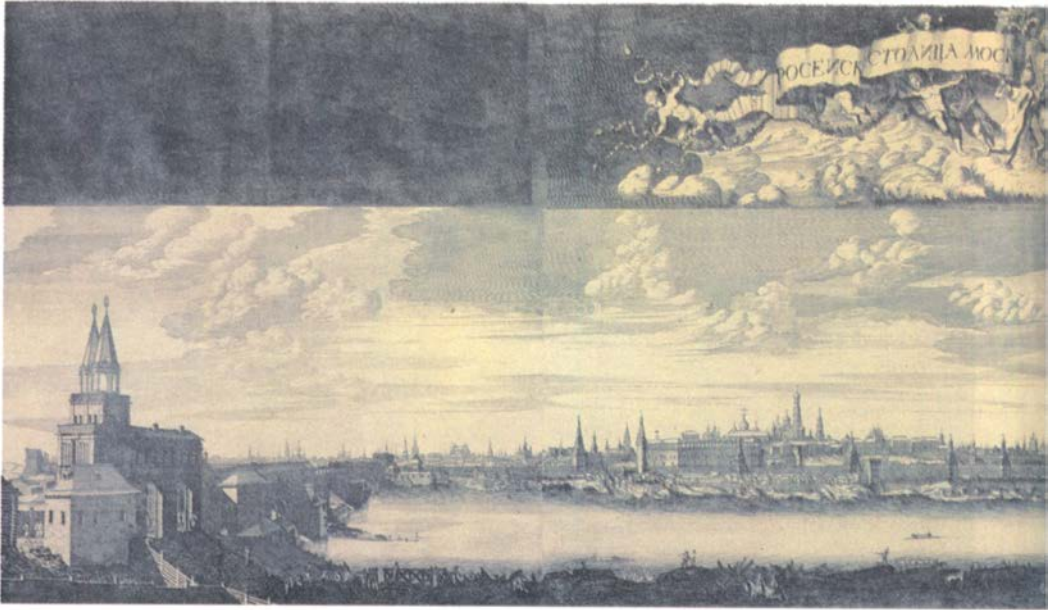




**Рим. Площадь перед собором  
Св. Петра**

**Вид на Московский Кремль.  
Гравюра Ж. Делабарта**

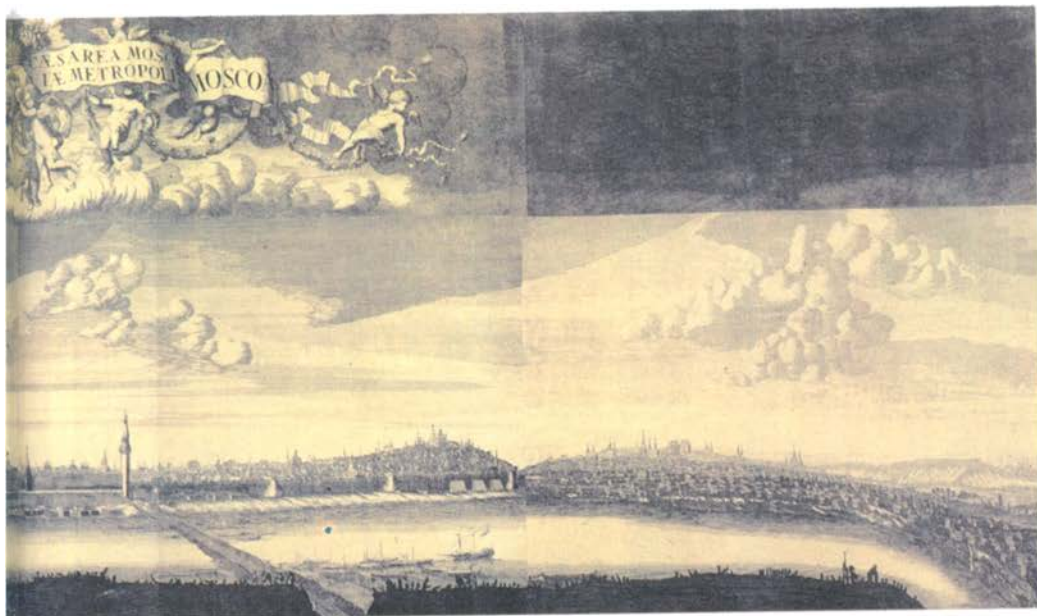
**Москва. Воскресенская площадь  
во время коронации Николая I.  
Литография Куртена. 1826**



**Панорама Москвы. Вид с Каменным мостом на Замоскворечье. Гравюра П. Пикарта при участии Я. Бликланда (?). Ок. 1707 г.**

**Москва. Вид на усадьбу Ф.А. Головина в Немецкой слободе. Гравюра А. Шхонебека. 1705**



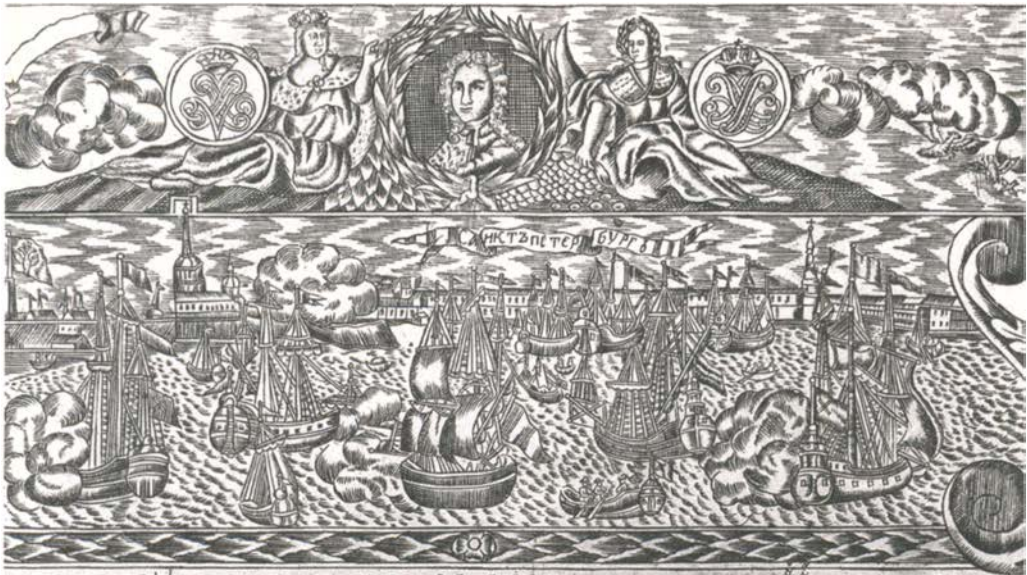


Иллюстрации к гл. X



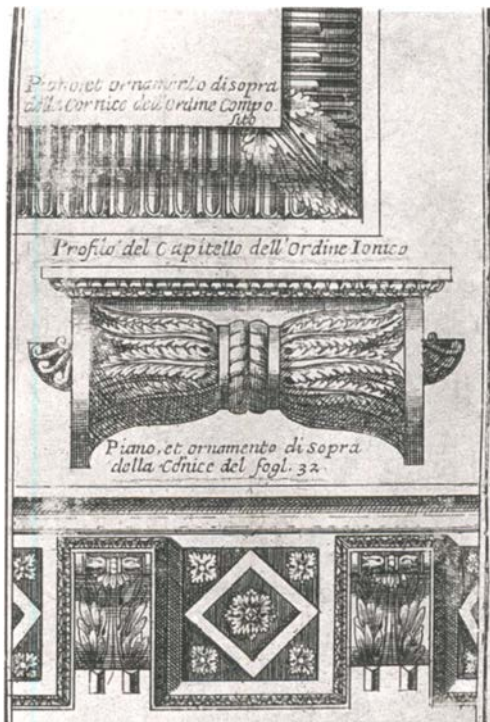






Фронтиспис первой части книги «Учение и практика артиллерии...». М., 1711. Гравюра П. Пикара

Петербург в конце 1700-х — начале 1710-х годов. Карта Финского залива. Гравюра В. Киприанова (?). 1713



Профиль ионической капители и орнамент коринфского ордера. Из книги «Правило о пяти чинах архитектуры Якова Барочия до Вигнола». 1709



Фронтиспис книги «География генеральная...». СПб., 1718

## Иллюстрации к гл. X

Ораниенбаум. Вид на дворец Меншикова со стороны залива. Гравюра по рис. М. Махаева. Вт. пол. XVIII в.





Фейерверк в Петербурге по случаю победы в битве при Грейнаме. 20 сентября 1720 г. Гравюра неизвестного автора



## Оглавление

От автора .....	7
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 1 .....	8
Глава I. «На тихих берегах Москвы» .....	13
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 2 .....	24
Глава II. От «Бориса Годунова» к «Арапу Петра Великого» и «Медному всаднику» .....	41
Переключки через века и десятилетия .....	42
«Он роду не простого...» .....	45
Легенда о черном предке .....	48
«Копеечка» и царственный всадник .....	56
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 3 .....	66
Глава III. Над страницами «Евгения Онегина» .....	81
Исторический роман в стихах .....	82
Поэт «фонвизинствовал» .....	89
«Ум, любя простор, теснит...» .....	92
Скрытый псалом .....	96
«О древней и новой России» .....	100
«Одну Россию в мире видя» .....	105
От Фауста до Онегина .....	111
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 4 .....	120
Глава IV. Во дни болдинской осени .....	137
Вокруг отрывка «Когда порой вспоминаешь...» .....	138
О князьях Елецких .....	154
«Слава в прихотях вольна» .....	160
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 5 .....	176
Глава V. «Нравственность в природе вещей» .....	183
Саморазоблачение героя .....	184
Благодать и закон. «Моцарт и Сальери» .....	190
«Стамбул гяуры ныне славят...» .....	196
Пушкин и польское восстание 1830–1831 годов .....	202
Пушкин и Г.А. Пакатский .....	207
Образ Фауста в пушкинском плане «Сцен из рыцарских времен» .....	214
«Напрасно я бегу к Сионским высотам...» .....	222
Немецкие сказки Музеуса .....	228
Грибоедовский эпизод .....	232
Автограф с десятью темами .....	239
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 6 .....	252
Глава VI. Библейские мотивы «Путешествия в Арзрум» .....	261
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 7 .....	284
Глава VII. «Сын казенного стрельца» .....	297
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 8 .....	322
Глава VIII. Островное пророчество .....	337
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 9 .....	356
Глава IX. О пропущенной главе «Капитанской дочке» .....	375
«Где циркуль зодчего, палитра и резец» – 10 .....	386
Глава X. «Кляно против Эвтерпы» .....	391
Приложение .....	423



videtur, sed uerba, significatioque in se et in  
sua parte, non pariter inuoluntate figurati  
significatio non habet, et non a seorsum  
de seorsum, sed in seorsum uerba  
comparatio signum, et uerba uerba uerba

et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba

et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba

et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba

et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba

et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba

et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba  
et uerba uerba uerba uerba uerba



Kest zovadhelvordh nono agyruy  
 ymanus chavobbeuud. - npeyubaly  
 u gynnur vauud u et bouud. unuud  
 chubud npeyubauud - Noddygynp  
 no conobou poynt - roudo up uer dther  
 uou chud, enp. y? - do vadobellou.  
 ofatr. vep. r. - afa, agy. ? - Mepuud  
 vepuud - Mynud vobye - u dypso-  
 byo - bouyud; out ju is mouud  
 ofe dydt - Kest apuboyup kypuud  
 chud gannou; Kest ev et uer buud dther  
 bouud vobye, our ydther - u apu-  
 vobye dydther. Nonouyud  
 ev uer uer, our dyp, koud u  
 bouud dyp - uer uer ydther? obo-  
 dther u vobad dther u uer uer uer  
 the ydther ev vobad dther.

Kest ev uer vobad dther  
 vobad dther. - vobad dther  
 no uer uer vobad dther.  
 Kynud uer vobad dther  
 u vobad dther u vobad dther. vobad dther  
 vobad dther, vobad dther, vobad dther, uer vobad  
 Kest u vobad dther vobad dther uer vobad dther



В.С. ЛИСТОВ

НОВОЕ  
О  
ПУШКИНЕ

Стройиздат

ISBN 5-274-02257-X



9 785274 022576